ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

Одесский
литературно-художественный
журнал

1(49)'2024

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературной критики
Александр КАРПЕНКО

Общественный совет:
Дмитрий Бураго (Киев), Евгений Голубовский (Одесса),
Владимир Гутковский (Киев), Олег Дрямин (Одесса),
Алёна Жукова (Торонто), Олег Зайцев (Минск),
Вера Зубарева (Филадельфия), Андрей Костинский (Харьков),
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Интернет-версия журнала: ursp.org/index.php/yuzhnoe-siyanie

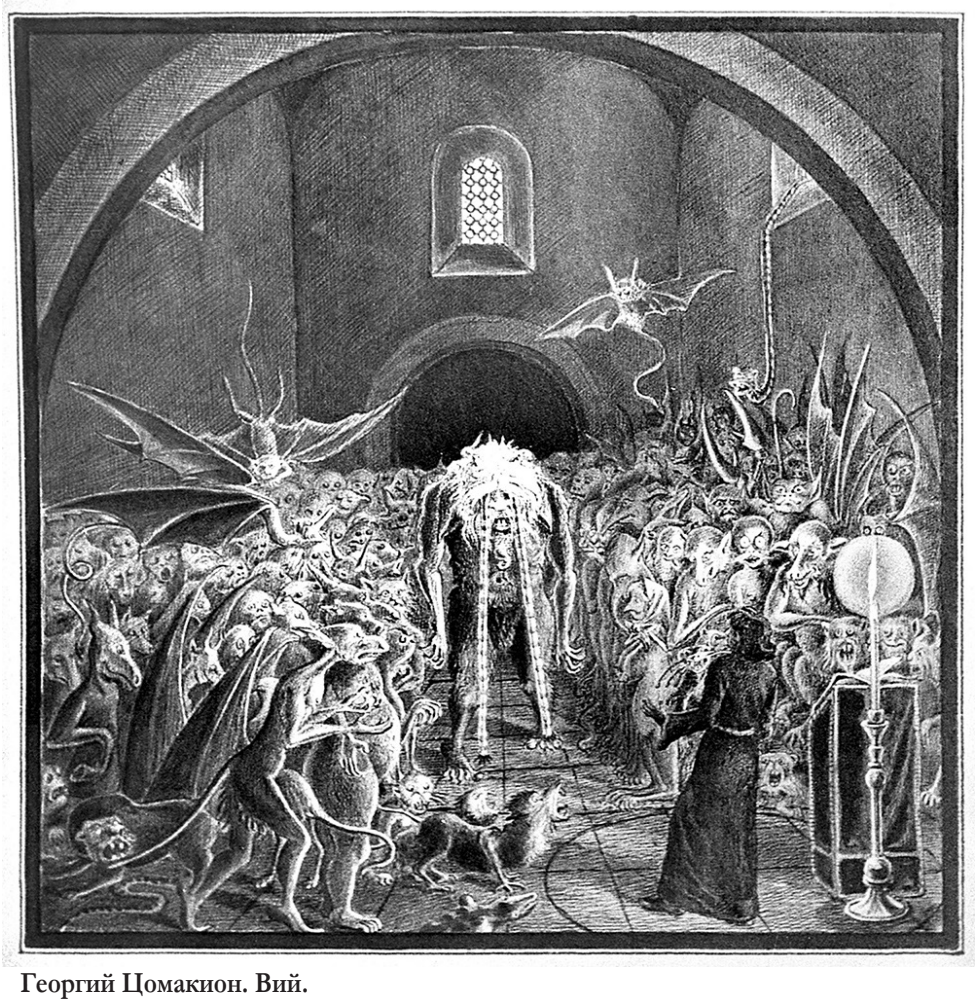
Ariella Publishing
Philadelphia
2024

Литературно-художественный журнал «Южное Сияние» (№1, 2024)
Literary magazine «South-lights»
ISSN 2226-647X

Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»
Founder – Public organization «South-Russian Writers Union»

Published by Ariella Publishing | Philadelphia, Pennsylvania
First printing October 2024

© «Южное Сияние», 2024



Георгий Цомакион. Вий.

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Валерий Сухарев. **По прихоти сумерек.** *Стихотворения* 6
Одесса – Санкт-Петербург: Ирина Дежева. **Письма Грете.** *Цикл стихотворений* 12
Одесса – Германия: Лев Либолев. **Вживаясь понемногу в нижний ярус.** *Стихотворения* 18

ПРОЗА

Одесса – Сиэтл: Элла Мазько. **Инсталляции цвета маренго. Солёный май.** *Повесть* 24

ПОЭЗИЯ

Москва: Ирина Ермакова. **Цикадная прямая речь.** *Стихотворения* 45
Москва: Виктор Коркия. **Источник жизни и заразы.** *Стихотворения* 51
Ростов-на-Дону – Москва: **Юрий Перфильев. Каждый сам себе слеза.** *Стихотворения* 56

ПРОЗА

Одесса: Андрей Никитин. **Подарок из прошлого.** *Рассказы* 60
Одесса – Иерусалим: Евгений Кузьмин. **Попутчики.** *Рассказ* 75

ПОЭЗИЯ

Киев: Дмитрий Бураго. **Семь киевских октав.** *Стихотворения* 81
Пекин: Ирина Чуднова. **Воспитание малым.** *Стихотворения* 87
Симферополь: Марина Матвеева. **Детёныш танца добыт охотником.** *Стихотворения* 92

ПРОЗА

Одесса: Виктория Колтунова. **В ожидании трёх часов дня.** *Рассказ* 98
Одесса: Александр Щедринский. **Ганс.** *Рассказ* 103

ПОЭЗИЯ

Москва: Андрей Крюков. **Рыб летающих червонцы.** *Стихотворения* 107
Тольятти: Галина Булатова. **Автобус едет в декабре…** *Стихотворения* 113
Самарканд – Саратов: **Леонид Негматов. Лемминги бросаются с обрыва.** *Стихотворения* 118

ПРОЗА

Энгельс: Александр Бурмистров. **Ненаписанный рассказ** 122
Москва: Роман Багдасаров. **Две сказки** 133

‹ОКОЕМ›

Красногорск: Ольга Пойманова. **Чудак-человек.** *Рассказ* 140
Москва: Полина Михайлова. **Плачь.** *Рассказ* 141
Симферополь: Геннадий Веретельников. **Саночки.** *Рассказ* 143
Нижний Новгород: Эдди Крок. **Два садовника.** *Рассказ* 145
Ульяновск: Илья Таранов. **Ванечка.** *Рассказ* 147

ПРОЗА

Днепропетровск – Франкфурт-на-Майне: Татьяна Окоменюк. **Есть только миг…** *Рассказы* 150
Оберхаузен: Ранса Шиллимат. **Долги ночи – белы снеги.** *Рассказ* 158

ПОЭЗИЯ

Копенгаген: Нина Гейдэ. **Курс его прямо на айсберг.** *Стихотворения* ... 162
Москва: Александр Правиков. **Темнее кажутся пустоты.** *Стихотворения* ... 167
Тверь: Марина Крутова. **С проездным билетом по Вселенной.** *Стихотворения* ... 172

ПРОЗА

Кан, Нормандия: Валерий Байдин. **Та Одесса.** *Из путевых заметок* ... 176
Москва: Станислав Айдинян. **Глейзер в Одессе и Москва.** *Очерк* ... 178

‹ЛИТМУЗЕЙ›

Москва: Елена Вадюхина. **Последний переезд.**
О перевозке гроба Лермонтова из Пятигорска в Тарханы и о событиях предшествующих ... 181
Смоленск: Валерия Кирсанова. **Смерть Сергея Есенина.** *Очерк* ... 193

‹СЕТЧАТКА›

Вологда: Елена Титова. **Варлам Шаламов о Марине Цветаевой** ... 201

‹КАМЕРА-ОБСКУРА›

Лиссабон: Маргарита Берёзкина. **Наталиа Коррейа – Сивилла с Азорских островов** ... 207

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

Небо – это крышка чемодана. *О книге Ганны Шевченко «Хохлома, берёзы и абсурд»* ... 215
О дщери Петровой стихами и прозой. *О книге Владимира Буева «Елизавета»* ... 217
Неудавшаяся тишина. *О книге Михаила Гундарина «Непоправимый день»* ... 219
Как устроены кот и его хозяин. *О книге Вячеслава Харченко «Кот Беня, Лена и окрестности»* ... 221
Поэтический путеводитель. *О книге Эдуарда Учарова «Стиходворения»* ... 225
Кельтская мифология и скелеты в шкафу. *О романе Анны Маркиной «Кукольня»* ... 225
Частица Бога. *О книге Дмитрия Зиновьева «Бозон Хиггса»* ... 227

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«Избыток жизни – сам себе смысл». *О книге Владимира Гандельсмана «В небе царит звезда»* ... 230
«Жизнь между смертью и чудом». *О книге Валерия Байдина «Быть русским»* ... 231
Авангард с краеведческим уклоном. *О книге Елены Коро «Сано чара»* ... 233
«Пусть говорят – он жил с покоем врозь…». *О книге Александра Мельника «Время летучих мышей»* ... 234
Машина времени Андрея Грицмана. *О книге «Далее везде»* ... 236
«Взгляни на мир из нового пространства…». *О книге Татьяны Кайсаровой «Слепое сопряжение»* ... 238
Космос сердца Лидии Григорьевой. *О книге «Термитник 3. Роман в штрихах. Книга третья»* ... 240
«Со мной случилась жизнь…». *О книге Татьяны Богдановой «Пригоршни звездопада»* ... 242
«Поэзия как форточка в сознании». *О книге Владимира Козлова «Зачем поэзия»* ... 244
Ирония и юмор спасают мир. *О книге «Красная Шапочка. Декамерон»* ... 245
Интеллектуальная игра Игоря Гора. *О книге «О. Бендер-младший. Комиссар радости»* ... 247
«Душа летит навстречу звёздам…». *О книге Алексея Прохорова «Метанойя»* ... 249
«Лучшее имя ей – пламя…». *О романе «Amor» Анастасии Цветаевой* ... 251
Предсказания Михаила Лермонтова. *О книге «Белеет парус одинокий. Избранные стихотворения»* ... 253

‹ШКАФ›

Пекин: Ирина Чуднова. **Трезвение перед лицом времени.** *О новой книге Юлии Долгановских* ... 257

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

ПО ПРИХОТИ СУМЕРЕК

ВЕЧЕРНЕЕ

Стерхи по струнке стоят и стоят вдоль дороги,
среди болот, по колено и в профиль в закате;
похожий на свалку пикап и литовские боги –
вот и гении этой глуши; и гибкая, на самокате

летит и мурлычет мелодию почта, с глазами
малость навыкате, и голенастей скульптуры,
сбежавшей из города – там не сдавшей экзамен
по хирургии судьбы и по реверансам культуры.

Экая тишь, прямо выселки мира и туч баррикады,
всё не назойливо и не надо: и алкаши, и цикады, и дети,
покуда ты мимо живёшь их сообщества, но как рады
обстать и насесть, попросить и украсть – как везде на свете.

Спрятаться можно в лесу, но и там ненароком
встретишь хозяйку, пытливую и молодую, с грибами:
ягодами защекочет и шнапсом заговорит – белобока,
а языком – сорока, и всё, и конец, и бог с вами и нами.

Цапли и аисты – это антенны пространства Жемайте,
нерукотворный Бёрдслей для имеющих очи.
Пьяные, вы к рассвету ложитесь, и сколь не сжимайте
в объятьях хозяйку – то простыня. И хозяйка рядом хлопочет.

***

Ближе к осени все чудесные нейросвязи леса
приходят в разлад, теряя причины и следствия,
и человек, там гуляя, отнюдь не грибник, а стресса
и прочих невзгод носитель сломанный; бедствия

этого имярека обширны, напрасны и – главное –
не впрок, он ищет виновных, присных, свидетелей,
и вот енот торопливый, лис запоздалый и наглая
совища, похожая на семафор, и беглая белка, и эти

жуки всепролазные, – словом, общественность леса
даёт ему мягко пинка, говоря: нам не жаль, ты не наша
ошибка, с такою же, рядом, нелепицей в юбке, и интереса
местного к вам не будет, хоть жгите костры и варите кашу.

А хоть на стволы взлезайте, как допотопные мыси;
и имяреки садятся на пень, и темнеет, и лица у них,
как деревянные ложки с глазами и ртами унылыми; выси
древесные новых ищут нейроконтактов; и только псих

собачьего роду-племени, что увязался оплошно, в надежде
что-нибудь съесть с ними рядом, бубня и тараща очи,
стелется и повиливает; и шепчутся папоротники, как прежде
шептались они, когда было о чём, и тени легли ближе к ночи.

ИЗ ОТРЫВНОГО КАЛЕНДАРЯ

Всю-то ночь как усталый Майлз Дэвис ныла
калитка, работая пугалом для пернатых
и объектом малой разрухи для странников, с пылу
выпивших свой жаркий литр; вообще, пенаты

ближе к осени столь разноголосы, особо – ночами,
когда отлежал себе всё, и душу тоже, кряхтя и стеная
при лучине, на оттоманке изрядной, и звенела ключами
закрытая дверь, и кошка в угол смотрела, и в дебрях сарая

что-то жило и шуршало, и морзе уток ночных, и мигание
слезящихся окон поезда, бормотливого, как идиот, –
всё подавало знак, манило рефлексами (лампа, стакан), и в нагане
ночи патронов хватало на всех, кто здесь и сейчас живёт.

Этой порой возвращаются призраки с летних вакаций,
впечатлений нездешних полны, как ты когда-то поездкой
к кому-то в село: там гордые гуси гудели, там вакцинацией
мучили милых бурёнок, и яростный поп пил самогонище едкий.

Как всё склонно к уходу, любовь моя, как почти неизменны
все к вычитанью привычки; и не прирастать нам рогожей,
людьми и неким взглядом на них – даже призрак и стены,
на которых нет тени его, всё понятнее день ото дня, и дороже.

***

Есть еле слышимый звукоряд у тишины, и та же она
у пустующей оркестровой ямы, с рядами хромых
пюпитров, у раковины ушной под водой; из окна
если вылететь, можно услышать фугу, звучавшую миг.

Для кого в пыльной комнате говорит радиоточка
и для кого соседи бубнят за тонким простенком?
Ваше присутствие кончилось здесь: джинсы, сорочка,
никого не убившая бритва, диван без владельца; просекко,

что распили с тоски, был мерзок, горки кофейного праха
в чашках – как в засохших колодцах ветрами надуло;
не ходит никто, не сидит и не плачет в пространство, и взмаха
руки и ресниц довольно, чтобы образ смести со стула.

Музыка не-присутствия, исчезновения, но не забвения.
В людях принято толковать надежды и устремления духа,
бедную плоть за шкаф запихав как картину судьбы, поколения, –
всё так пронзительно зря и некстати, точно свистнули в ухо.

Тихая женщина длинным бульваром идёт, фонари отмечая
чётным-нечётным шагом, в сумке кофе и сыр, багет и сигареты,
плещет в бутылке вино – снарядом без цели; во дворе, огорчая
сумерки безразличием, кошки на тёмные окна глядят до рассвета.

ВИЗИТЫ

Дух и сердцебиение смирив, глянь туда;
рядом с трубой, над крышей, на вялом фоне
жидкой осенней ночи – отец, его образ дан
просто: немотность губ и дымка лица; он не

ищет контакта, но зримо свидетельствует своё
появление, и неизвестно, видит ли мир его, но
знаю, что слышит, и – одновременно – птица зовёт
другую, и шепчутся, листву листая мелко и мирно.

Мать – это складки занавеси теневые, её лица
нет, но ощутимо движение воздуха, холод, и этот
всегда отдалённый звук – лига высоких нот, без конца
одних и тех же, жутких и затихающих ближе к рассвету.

Они не встретились там, разминулись, хватило земной
им пересылочной доли, наполненной всем, что бывает
с людьми средь других дел и лиц; за мною ли, не за мной –
я никогда не гадаю, они как почта – случайная и полевая.

ОТКРЫТКА-НАПОМИНАНИЕ

Как, ты погляди, краснеет, рыжеет и бронзовеет
листва, заражённая осенью, словно дыханье болезнью;
эти шиньоны и парики как пример гламура, и суховея
летнего кашля ветров, заунывнее скрипа дверей железных.

Так – рано седеют головы у героев измен и разлук,
у разоренцев внезапных и оттого безумных на время;
глянь ненароком, но пристально – «кодаком» – на этих, мук
претерпевших, страдальцев, но то люди, не жаль их; в креме

и пудре осенних дней, женские лица матовее и холоднее,
и очи так не пылают, как в знойный полдень лета: ногу
слегка отставив и в чём-то газовом, она сквозит, и за нею
видны трамвай, светофор и разной иной ерунды немного.

А у листвы – себорея птиц, что лохматят её, а под деревами
тени фарфоровых кошек сидят и молчат, паче шнапса внутри
бутылок у тех алкоголиков, что на скамейках грустят не словами
но глотками и вздохами, дозами слабого ветра, и на них посмотри.

МАЗОВЕЦКИЙ ВЕНОК

Ферма стоит у излуки озера и у входа
в первые папоротники хрусткого леса,
с его розницей ягод и прелью мхов; природа
к путнику здесь холодна, просто задник, завеса.

В длинные, словно напев, сумерки неторопливый
хозяин, кобылу поглаживая по той же привычке,
что и молодую жену, пьёт дремучий нектар из сливы,
таинственно охмелевает, и слыхать перестук электрички.

Если бы низким здесь небесам сделать МРТ, вплотную
приставив к их ренуаровой плоти аскетичные трубы,
то из каминных пещер повеют, отнюдь не земную
имея природу, звуки и голоса бессловесные и безгубые.

Будет и посвист сов ночами будить, и иных невидимых тварей
разноголосица, и дерев переклички, и крестов на погосте
гудение – точно они под током, и призрак авиакатастрофы, гари
на недалёком холме – всё в плоти небес слыхать. Досужие гости,

забросив судьбу и пожитки сюда на пару дней – для пьянки,
рыбалки и сытных завтраков, если дано им, что вряд ли, сумеют
что-то намёком расслышать ночами, жуткое – как будто изнанка
жизни вдруг приоткрылась, как древний профиль на камне, камея.

***

Говорливые голуби ночи ворчливо мешают листву,
вроде медленных пальцев – купюры, и поздний прохожий,
себе подсветив телефоном и словно не наяву,
то ли в раздумьях остановился, а то ли ищет похожие

приметы местности с теми, что мнил себе отыскать,
но в замешательстве курит и нехотя пьёт из фляги:
иное пространство гудит в голове и ушах, иная тоска
стен и машин его окружает, и небо из мокрой бумаги.

Так мы переступаем робким шажком в чужие края;
много подробной лепнины, торсы её, руки и лица,
воронки арок и вкрадчивый сквознячок; и, себя не тая,
тени застенчиво смотрят и ждут, и всё мучительно длится.

И мы перенимаем ту частоту дыхания, а заодно и ту
перспективу, что приняты там, куда живущий обычно
и во снах не горазд заглянуть, соразмеряя пульс и высоту,
куда он забраться боится, с масштабом стены кирпичной.

***

Который год я говорю с крышами и облаками,
в этом нет слезы одиночества, неудобной позы
вечером, за столом, где посуда, не касаясь боками,
живёт свою жизнь без меня и кошки – её угрозы.

Во всём этом есть ненормальность отсутствия звуков,
лишних для праздного слуха жителя закоулков
собственного существа, и мнимый солипсизм – это наука
себя отличить от зеркала, как булыжник от булки.

Я себе сам придумал барокко жизни, многоголосие
снов – жаль, что коротких, чтобы дослушать сполна
всё, что навеяно жизнью и смертью; листва постарела, и осью
между светом и тьмой, через парк и дальше идёт война.

Темы и люди толкутся в уме, сообщаясь по прихоти
сумерек или почти сумасшествия кошкиных взглядов –
всегда не понятно куда – люди и доли их, к ним не надо идти,
и сами они не приходят: столешница, виски, чуток шоколада.

Градского или Вертинского в собеседники бы; нынче темнеет
самую малость раньше, чем в скользкие дни июля,
когда духота опахалом махала, и штору штормило, и с нею –
всю эту шаткую жизнь, и бессонная будущность была в карауле.

***

К вечеру двинулся в путь торопливый дождь,
минуя дорогой парки, витрины, дома, –
так пролистывают страницы, чтобы, уняв дрожь,
не угадать злодея, расстроиться из-за ума

медленного и простецкого, как воровство
старух в магазинах, где всё худо стоит и лежит;
дождь любит трубы, покатость крыш, у него
страсть стекать или падать в лужи, полные лжи

кривых фотографий, и люди ему – материал
для проверки скорости хода, подбора слов
и практичности ткани и красок; недавний мурал
портит себя, подтекая улыбкой; и дует с углов

пространства бесхозного города, и в темноте
он мокнет и распадается, как и прежде, на «да» и «нет»,
меняет молекулярность и цвет судьбы, и давно не те
трамваи, люди и кошки в глазах пешехода, ему красный свет.

И арки гудят от звуковых копий шума дождя, и сам
он искажён в повторе́ньях кривых переулков ночных…
Учишься вкрадчиво жить ощупью пальцев и по голосам,
часто уже за точкою невозврата сюда, в этот день и стих.

НА ПОРОГЕ

Вы на молу закурили, дует, на вас из пучины
таращится медуза-грёза, глупо похожа на люстру,
и горизонт завален небесным бельём; мужчины,
вроде меня, припадают к фляге – разрешил Заратустра.

Заката не ощутить, разве – по запахам: не дары
морские у моря (вот реверанс плеоназма), и не
ром ароматный в ладони бокала, а кудлаты пары
чаш и мангалов, и чайка висит светильником в вышине.

Завтра ты скажешь: – Ну, здравствуйте, осень, мы вас
так заждались средь погодных невзгод и военных снов
о чём-то мирном и долгом, как трасса, а покуда, сейчас
и здесь – веник из сухостоя, бутыль, яблоки, что припасено.

Говори-говори про настающие новые дни, про печаль
человека, с его никому не нужными, но такими простыми
намёками, знаками ласк, чаще ответными, чем от души; и даль
дня этой поры сойдётся с вечерней тишью; простынешь.

И вот, пробуя беглую воду этих времён мизинцем, и ты, голуба,
почувствуешь смертный привкус грядущей опавшей листвы,
что после под ноги ляжет, шурша – что была и царила; губы
обветрились или закатом опалены; над морем ветер идёт «на вы».

***

Перемигни, светофор базедовый, переключи
нудное лето на осень, и цвета небес и домов
безвоздушной поры на глубину тонов; ключи
в скважине сами сделали оборот; и для умов

мечтательных и неторопливых – время начать
подсчёт не сбывшегося никогда, и в этом году:
пришло безвременье со своим хронотопом, печать
войны влепив в небеса и души, что в смерть уйдут.

Стоит человек, у него есть возраст и пол, но судьбы
нет, есть видимость действий, возможно, семья, долги,
дети дурацкие, чувства, а власть на фабриках строит гробы
всех размеров и рангов, и им не давят ни галстуки, ни сапоги.

Не колыбельная эта осенняя песня, не блюз и не джаз,
скорее, она погребальная и а-капельная, как перезвон
осиротевших колоколов на ветру и общая – про вас и нас…
Не поминки покуда: перемигнул светофор, зазвонил телефон.

***

Вот, проваляешься сутки лицом в потолок,
с грузным лицом размышляющего на досуге:
что-то мешает смотреть, и паук заволок
муху в тенёта; и трещины, жёлтые дуги, –

то проступили стихии; и люстры каскад –
там дотянуться до пыли сложней героине
этого саспенса для домохозяек – там висят
мысли-самоубийцы, резвы, как на героине.

Мнимые самоубийцы прекрасны, это они
театр для себя одних сделали поприщем, а не
те, кто парят за окном или тихо свисают, одни,
силясь помочь тем, с разъятыми венами в ванне.

ИРИНА ДЕЖЕВА

ПИСЬМА ГРЕТЕ

ПИСЬМО 1

Я вдыхала заморский сандал
Привезённый тётей
Под картинки предков
Кто где бывал
Особенно в Царском селе летом
Я влюбилась в тебя тогда
Когда была не нужна работа
И все автоматом живя
Нюхали детское
Белым вепрем
Я бежала к тебе
Через все мужские тайны
В субботу
Я стреляла в тех, кто отказывал
В Летнем саду в свиданье
Мне мерещился твой оскал
То во сне, то в Grand баскетболе
То в тюрьме
То на красной дорожке
То в отчем горе
Я стесала на братских вершинах
Все лишние чуда
Я оставила граммы в земле
Поиграем, любимая
В будду не будду
Я нашла твой высокий лоб
Падая
С такого запрета
Целовать не откладывай
И страницы не порть
Закладками
Не попутчиц
Не лис
Соседок
Грета
Мне фонарь был другом
Того ленинградско-индийского ветра
Он всё знал о тебе, обо мне
Как нам быть
И где напето
Он зачал непонятно как
Фонтан

Он бесспорно был зол и молод
Накурен и пьян
Прости, моя слава, и сладость, Быль, ржа
Курляндский обрыв, нет почты
Честит мечта
Но я так люблю молчать
Глядя в твои самые грустные
Самые нужные глаза
Всё, нюхаем сандал
Зализываем раны
Avec moi

ПИСЬМО 2

Я наступаю на камень
Норд указующий весть
Ходка блаженной зарёй
В твоей одежде
Я набралась чесоткой
Вместо чернил
Веря какой-то надежде
Петя
Я на Олимпе любви
Ставлю крест
Иглы, искры, нагваль, истома
Я на пути великого слома
Ты где-то вдали есть
Любовь не кричит, не зовёт, не стонет
Молит кости бросить на камне
Греть либо грести толком
Умея лишь петь псалмы
Либо пороть, мхом лезть
Тома тебя называл Давид
Скоро
Похожим похожее срубит
Грета
Всего лишь сопли
Хули болит
Я заползаю в камень
Немею
Нет другого пути
Сохну, но стук сапога
В седые и сбритые
Сутью сдобренные тиски
Милая
Как ты смогла
Рану спутать с подсказкой
Лекарню с массажным столом
Да, люди твоя маска
Койка – дом
Я вытекаю с камня
Веки смочить вискарём
Гнать твои спасы в псарню
Чтобы не видеть жён

ПИСЬМО 3

Я стану звездой рока
Великая Грета
Ради тебя
И две Бастилии окружу
Остыну на дне бурбона
И ужин шаолинь закажу
Наемся, напьюсь, наплачусь
И вживусь в мягкую шею
Ненароком
Твою?

ПИСЬМО 4

Друг, подруга, брат, сестра
Сват, сиделка
Где заработаем что
Этим чудесным мелкое летом
В Турции, Гатчине, Курске, Сергеевке
Сонмы, чесотку, депрессию, крах
Грета
Ты обещала помолвку
Платье удобнее секса
Туфли
Утренний прах
А вечерками подстанции
В полночь улицы
Бред любимых гонцов Франции
Ты знаешь слово одно гениальное
Пережить
Чтобы совсем не скурвиться
Чтоб коридор пах
Друзья, подруги, братья, сестры
Сваты, сиделки
Куда потратим этим чудесным
Мелкое летом
В Бишкеке, Одессе, Гатчине, Салехарде
На чьё беспомощное
Горбатое существование
На чью операцию, голод, стыд
Когда спесь отмирает и дико болит
Грета
Ты зареклась всех спасти
Я знаю слово одно гениальное
Пережить
Как говорит моя подопечная
Детка Вершинина – надо заткнуться
Чтоб не остаться дурой
И всё забыть

ПИСЬМО 5

Привито одно
То прикрыто окно
Одна
Пью вино
Грей свой сон, Грета
Моим невъ[…]енным греческим

Грецкими, масляной гречей
Будет в век золотой
Тебе и причаститься
И полечиться
И думать о чём-то другом
Где-то где ты так хотела в мае
На злом и прекрасном Алтае
Двойка твоей коже
В чужом мне квартале
Будешь радостней и моложе
Посоветуешь как грамотней
Дать ментам по роже
И спрятать то что не прячется
И спрятаться так как негоже
Сука не грабит дно
Просто ложится
Смотрит в окно
И ждёт
То своё

ПИСЬМО 6

Приди из ребра, из пепла
Из праха, с пены, со дна
Я молча летала, слепла
Но знала, Грета, что ты одна
Поёшь под моим окном
В отставке составом
Тупиковой станции
Пахнешь дешёвым брендом
Зришь не далее перегородки
Тел упоротых до тебя
Приди из свинца
Из швов, кровью
Сползающей в крестный бег
Поневоле, в припрыжку, с горя
Мёрзнет твоё желание
Но я тоже сошла
Приручив сотню старушек
С последней станции
Одна
Приди колокольцем
Варганом, баяном, ветром
Норд вест твой последний Оскол
Ню вэль – твой приказ без правил
Я суть в высокосье моргаю
Боль кем-то смертным
Снова себя дарит
Ты не пот, не путь, я знаю
И мы выплачемся конечно потом
Позрим в распоротое
Сплывём в бездну
Дай Бог споём
Но это волшебное лето
Я с юга, я помню
Грета
Было действительно летом
На углу Рижского проспекта
Настоящим волшебством

ПИСЬМО 7

Ты выбираешь броню
Я – кедр
Так тебе не проникнуть ко мне
С лаской
Ветер жжёт по перилам из липы
Первой
Ты влетишь
В царство отца
Булка, я запомню тебя навсегда Сладкой
Твой хореограф не дал тебе
Выспаться перед схваткой
Речка-вульгарка стекла
Под родной забор без боя
Я постояла, пордела
Хотела остаться
Но матка боска
Вежи закрыла
И лязгнула свой приговор
В новом нижнем стоя
Ты опоздала
Я верую
Больно
Это забрало
Забрало
Мнёт корни
Ширкой твой Запад слёг
Губой на восточную
Там шиповник цветёт
Лик мой пахнет
И праздный слог оглох
Троеточие
Выстроилось на парад
Прикрыло твой бред
Облепиховым мылом
Согласьем
Быть женой
Глухой нежной терпеливой
Но кто-то где-то, сестрёнка Грета
Совсем одинокий
Топтал срок
За доведение до самоубийства
Литого телёнка
Жал курок
И пароль «СВОИ» сдох

ПИСЬМО 8

Мы ничего не знали друг о друге
Грета
Мы не спросив родства
Зажались веником, венком
И не услышав от кого благословение
Хотели выспаться у станционной будки
И гнать сомнения
Не перепутав газ на тормоз
Столько фраз отпели сны
Ты вопреки раздета

Я умираю, чувствуя, что лето
Наше навсегда ушло
Но осень для меня как альдегид
Судебный стук
Приманка
Сущностная дурь
Столь нежный приговор
Приказ полёта
Так научили ждать и верить
Сама среднепорусская природа
Вечно третья
Обезьянка
Ты выбирай
Я отчешусь
И все просоленные годы
Погребу*
Предложу век
Сторону света
Стакан содовой
С кем доживу
Бельгийскую вкуснейшую конфету
Штоф, blue и дурнейшее хочу
P.S.: Зачем-то вы жи ву де жа вю ви жё вю ай лав ю

ЛЕВ ЛИБОЛЕВ

ВЖИВАЯСЬ ПОНЕМНОГУ В НИЖНИЙ ЯРУС

РИСУНОК ЧЕРВОТОЧИН

На даче тихо, яблоневый сад
ветвями никнет. В бочке дождевая
вода полощет синь, скворцы дерзят,
все спят на раскладушках, оживая,
забыв про жаркий город на июль.
Потом, конечно вспомнят, но сейчас же
на летней кухне звяканье кастрюль
и днища сковородок в чёрной саже,
и мерное кружение осы –
почуяла земные ароматы.
Уже готовы медные тазы.
Слегка прошедшим временем помяты,
огнём обожжены, спокойно ждут,
когда под осень дождь коснётся бочек,
и дачники разъедутся, и тут
пойдёт совсем другой междусобойчик –
варенья и компоты, сладкий чад,
а паданцы какие, Боже правый!
Всё кажется, что сверху постучат,
и ангелы заявятся оравой,
весёлой, детской, падкой до причуд.
Там будут двое – братик и сестрица,
они лишь только то на свете чтут,
что больше никогда не повторится –
любовь, надежду, веру. Подождём
до яблок, до рисунка червоточин,
который намокая под дождём,
бывает удивителен и точен.

КУЗНЕЧИКОВЫЙ БАХ

Прохлада угнездилась в погребах,
снаружи – пекло, город неприкаян.
В кузнечиковых трелях слышен Бах,
маэстро жаром выжженных окраин.
Послушаешь и думаешь – сорву
сухой листок, забытый корневищем,
и лягу в полумёртвую траву
мечтать о неизведанном и высшем,

которое в июле – хоть куда.
Тут важно не уснуть, сгоришь мгновенно.
И снизу вверх глядеть на провода
пока в седой висок стучится вена –
не спи, спускайся в погреб, там темно,
прохладно там, хотя довольно сыро.
Играет в глине терпкое вино –
всё тот же Бах, но только для блезира –
притворный гений высохших рябин –
такая мысль, сравнение плохое.
Пока что вкус не тот, но цвет – рубин,
и запах – то ли сено, то ли хвоя.
Наверно, память, сны и миражи,
в траву такую страшно спать ложиться,
и ты порыв, пожалуй, придержи…
Но честен Бах, обманчивы душица,
ромашки, маки, даже васильки –
наивный символ знойного июля.
Мы так же друг от друга далеки,
зато ни в чём себя не обманули.
Кузнечиковый Бах не свёл с ума
не выигравшим чувственным напевом.
А после поцелуев будет тьма,
но разве хоть один сравнится с первым…

НИЖНИЙ ЯРУС

Войти в горячий лес и замереть,
вдыхая дух, настоянный на травах.
И жизни нерастраченную треть
истратить на неправедных и правых
захочется зачем-то у корней
в суглинок влажный въевшегося клёна.
Какая тень под ним. И можно в ней
смотреть, как муравьиная колонна
уходит по стволу куда-то ввысь.
Тебе бы замыкающим хотя бы,
чтоб тихое – ты только не сорвись –
осваивало силы и масштабы
совсем другого толка в день и час,
по-августовски светлый и короткий,
чтоб сок живой, по капельке сочась,
давал себя почувствовать сироткой
сорвавшемуся хилому листу.
Смотри – вот он идёт к земле кругами,
петляя и теряя высоту,
одним из элементов оригами –
картины, перетёртой до трухи,
от спор грибных до слизневого следа.
В лесу легко замаливать грехи,
соврать себе – я больше не уеду,
останусь тут, пока жара вокруг,
вживаясь понемногу в нижний ярус,
теряя постепенно чуткость рук,
не веря в то, что вяну, сохну, старюсь,

почуяв осень, трепет паутин,
все листья узнавая поимённо.
Дремотный лес, в котором ты один
рассматриваешь павшие знамёна,
и вечер, близорук и тугоух,
врывается в беспамятство с наскока,
где мысли, словно рой осенних мух,
о прошлом не печалятся нисколько.

ПРЕСТИЖ

Здесь все упрёки, в общем – ни о чём,
ты кто такой? Скорей беги, не мешкай,
нашаривая скважину ключом,
ты думаешь о праве? Праве чьём?
Встречает отражение усмешкой,
шатающейся в зеркале кривом.
И жарко, август. Что ж, переживём
бесправность обладания, как случай
из ряда вон. Входи, но свет не жги,
скрывай свои несмелые шаги,
скрывай свой взгляд не верящий, колючий,
оглядывая комнату её.
Проснулась и встаёт в твоей рубахе.
Как в трубке телефонное «аллё»,
на спинке стула тонкое бельё,
запомнившее ваши охи-ахи,
скольжение, движение, надрыв…
Смолкаешь, даже не заговорив,
а лунный свет выхватывает бодро
из тени полусонный силуэт.
Запомнятся тебе на много лет
и танец рук, и грудь её, и бёдра,
и терпкий вкус на всё готовых губ –
игра, в которой вместе проиграем,
и августовский воздух-душегуб,
и вечер, что на ласки очень скуп,
и ад любовный, кажущийся раем –
зовущий треугольник между ног…
Вы вместе, только каждый одинок –
потом она уйдёт обратно к мужу.
Какие тут права?.. Упрёки? Что?
На столике шипит бокал Шато,
а ты всё бьёшься с мыслью – почему же?
Ключи – на стол. Она уйдёт одна,
тебе не проводить её, не надо.
Ты думаешь – ну, чья-то там жена,
но помнишь, как встаёт, обнажена,
в твоей рубахе… Нет страшнее ада,
чем эта память. Ревность без причин.
Причины есть – весёлое чин-чин,
и ты над ней, хмельной, строптивой, шалой.
И август, и поруганный престиж,
и ад, и рай… И ты ей всё простишь,
хотя прощать и нечего, пожалуй.

ФАНТИКИ С КОНФЕТ

Слетают, словно фантики с конфет,
иллюзии с уверенных и прытких.
Где Пушкин и Есенин, Блок и Фет?
Остались разве только на открытках
обрывками лирических высот.
Июль уходит, если повезёт,
возможно, август будет чуть полегче.
Опять надежды в жалобах слышны,
как слабый звук в обрывках тишины,
накинутой на сгорбленные плечи.
Поверишь – будет сердцу веселей,
строка к строке, придумывай фантомы –
вот Ленин покидает мавзолей,
а вот и папа с мамой снова дома,
и праздник бесконечный день за днём.
Жара, как в детстве, выдохнем, вдохнём,
начнём сначала школьную программу,
ныряя в гугл и яндекс – вирт рулит,
привычно нажимая на делит,
рифмуя так же глупо и упрямо
слова, слова, слова – таков удел
надеждами покоцанных реалий.
Наш строй, увы, заметно поредел,
по улицам июль гуляет вялый,
как байкер седовласый наизусть
стихи читает, мыслит – вознесусь,
тут слово не проскочит мимо рта ведь…
Ну что ж, давай займёмся ерундой,
и примемся, как Ленин молодой,
сегодняшние лозунги картавить.
Что классика? Теперь она – отстой,
любой поисковик – надежда юных.
Слова звучат обманкой золотой,
лишь знай себе, поигрывай на струнах
мятежной человеческой души.
Присядь, стихи об августе пиши,
о будущей любви, почти такой же,
как та, что перепрела до трухи,
о байкере, читающем стихи
в прокуренной жилетке чёрной кожи.

ЦВЕТ КАНИФОЛИ

Уже не скрипки, разве что – альты,
слегка пониже тон, а звук помягче.
Горит конфорка газовой плиты,
дворовый кот, в боях побитый мачо,
за окнами вдыхает аромат –
а вдруг перепадёт – остатки сладки.
Вот вешалка, пиджак на ней, помят,
и дырочка зияет на подкладке.
Почти что фрак, забытый и ничей,
в прихожей неуместный в эту осень.
Пожалуй, альт не хуже скрипачей,
но после выступления несносен.

И пьёт, и курит много, сгоряча
ругая всех и всё – не так сыграли.
Снаружи кот, внутри горит свеча,
осенний ветер стонет пасторали,
но старому альтисту всё равно.
Сентябрь шафранный, цвета канифоли,
закатов долгих красное вино,
и давняя любовь – чего же боле?
Надеть бы снова фрак – тонка кишка,
звенит бокал – мелодия Токая,
как песенка про доброго жука.
поёт Жеймо, на возраст намекая,
альтист вздыхает – что за красота!
Ещё чуть-чуть, а там дожди польются…
Впускает беспородного кота,
и ужин свой кладёт ему на блюдце.
Здесь осень и любовь. Он счастлив с ней,
а фрак не нужен, музыка избита,
но странно, что звучит она нежней
на фоне увядающего быта,
где будто бы с котом поговорив
о прожитом… При лампе, при свече ли,
старинный альт склоняет чёрный гриф
к стоящей много лет виолончели.

ПОКЛОНЕНИЕ АСТРАМ

Видишь, написано. Можно стереть,
но подождём – не узнать результата
в спешке ненужной. Бумажная треть
жизни прошедшей – акуна матата!
Мяч алебастровый, парковый гном,
листья акаций за детской площадкой.
Сколько же можно играться с огнём,
строчкой одной, неуверенной, шаткой?
Сколько? Две трети ушли в никуда –
след на бумаге в пространстве летейском,
словно в окне дождевая вода,
пара сражений, проигранных с треском.
Но сожалений не знаешь отнюдь,
чья-то душа, не берущая пленных,
вдруг предложила тебе отдохнуть,
лечь и поспать у судьбы на коленях.
Мамина? Может, любимой твоей?
Или влюблённой? Откуда им взяться?
Спишь, а морщина легла меж бровей
скучного и пожилого паяца.
Раньше, бывало, ходил и ва-банк,
в тяжкие все ударялся спокойно.
Ну, а сегодня? Подкормишь собак,
хлебные корки кидая с балкона.
Крошки для птичек. Стокгольмский синдром –
память о женщине – каяться не в чем.
То, что писалось, в расчёт не берём,
всё будет стёрто в итоге конечном.
Сам же, наверное, всё и сотру –
август, сентябрь, поклонение астрам…
Девушку с белым веслом поутру,
мальчика в парке с его алебастром.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ШТРИХ

И мир, и война перечитаны до запятой,
жара сумасшедшая, нечем заняться в июле,
но, граф, понимаешь ли, Лев Николаич Толстой,
скажу вам по правде – похоже, вы всех обманули.
Тут миром не пахнет, и порох ещё не сожжён,
а сколько ещё предстоит на страницах романа…
Жара, и солдаты целуют зарёванных жён
в потёкшую тушь и размытые потом румяна.
Безухов естественен, имя не русское – Пьер –
по воле каприза прилипло печатью бастарда,
но ясен умом, размышляет – куда же теперь
погонят вот этих? Должно быть, на бойню, как стадо
невинных овечек. Дома превратятся в золу,
мы помним, читали – Болконский, Наташа Ростова.
Но граф, озабоченный непротивлением злу,
разводит руками, бормочет – а что тут такого?
Ну, ладно, проехали… Время другое, пойми,
зачитанный классик, здесь мира осталось немного
и много войны, ну, и как оставаться людьми?
Солдаты уходят на бойни не в такт и не в ногу,
Такой вот роман… Да, ещё заключительный штрих
о непротивлении – ты позабыл в эпатаже
о том, что Наташа Ростова родит четверых,
которых, возможно, направят когда-то туда же –
на чью-то войну. Не до мира, почтеннейший граф,
хотя и роман перечитан сто раз до листочка,
но выводов нет, ситуацию переиграв,
сюжет повторяется. И не поставлена точка.

ЭЛЛА МАЗЬКО

ИНСТАЛЛЯЦИИ ЦВЕТА МАРЕНГО

СОЛЁНЫЙ МАЙ
повесть

РАЗМИНКА

– Атас!!! – рванул в подворотню полузащитник Витёк, обгоняя звон разбитого стекла и собственные ноги. И все мы, кроме Юрки Ястреба, разумеется, брызнули врассыпную.

Наша дворовая футбольная команда была лучшей на Ланжероне. Я это говорю не потому, что никто уже не проверит, какой она была, а просто констатирую факт. Во всяком случае, факт этот был совсем не в пользу окнам первого и даже второго этажей!

То был год триумфа одесского футбола. Победив в своих зонах всех соперников, «Черноморец» и «СКА» сошлись в поединке одесситов за звание чемпиона. И теперь наш родной «Черномор» являлся чемпионом Украины класса «Б». Этот факт не померк даже перед успехами сборной, уже собирающей чемоданы в знойную Чили за крылатой Никой мирового первенства. В том, что исключительно за ней, – мы не сомневались.

В те дни мы просто бредили футболом, каждый одесский матч пробираясь на вожделенные трибуны, свистя и неистовствуя. Или корёжа все табуретки перед единственным во дворе телевизором, принадлежавшим весёлому моряку Жорику, который выходил во двор их чинить и, вглядываясь в материализованные последствия забойных телепогромов, философски заключал:

– Ну так каждый же имеет свой интерес.

При этом прабабушка Копытманов с верхней веранды согласно поддакивала:

– Всё хвудбол, всё хвудбол!

– И всё ногами, ногами!– немедленно реагировала вылезшая из подвала кошатница тётя Буся. Её кургузые окошки располагались как раз на уровне наших ног, и уж она-то знала, что говорит.

Да, если только мы не торчали на стадионе или под телевизором, значит, до изнеможения гоняли по двору свой мяч. Именно свой: он был приобретён на пожертвования всего основного состава и трёх запасных с малого двора. Мяч хранился у Юрки Ястреба, который ещё и слыл нашим лучшим нападающим, то есть он был лучшим нападающим, потому мяч хранился у него. А раз мяч хранился у него, – он и надевал красную повязку капитана.

Наш двор, как все дворы в центре Одессы, был колодцем, закованным с четырёх сторон в каменные кружева старинных трёхэтажных особняков, приспособленных под коммуны перегородками, фанерками, поставленными стоймя, раскладушками, спинками от кроватей и разным другим хламом. Изламываясь, с верхних этажей падали металлические и деревянные пролёты с примусами и сохнущим бельём. А сам двор был расчерчен под футбольное поле. Воротами служила с одной стороны подворотня, соединявшая нас с улицей, с другой – подворотня, ведущая в малый двор. Когда-то была оттуда и третья, уже во двор, принадлежавший соседней улице. Так что двор наш был проходным. Правда, потом нашлись умники и ту подворотню забили. Но мы всё равно сделали в ней узенький лаз, и при нужде благополучно проникали куда хотели.

Раз в две недели, нехотя, словно делая всем одолжение, по середине мостовой тащился старый мерин, запряжённый в громыхавшую телегу с обшарпанной бочкой. На помятых боках её вкривь и вкось значилось «Карасын». Наверное, потому что этот самый «карасын» сторожило всё население улицы, наши обладатели керогазов выработали чрезвычайно острый слух. Стоило злополучному мячу бухнуть в чью-то раму, как вслед за дребезгом осколков взвивался истошный женский гвалт.

Раньше всех успевала баба Нуца из десятой квартиры. Стоило кому-то из нас взять в руки мяч, чтобы встать в центр поля, туда, где торчала нелепого вида колонка, она (баба Нуца, а не колонка) выскакивала с твёрдым намерением торчать на пороге до самого победного. То есть до того мига, когда мяч влетит в чье-нибудь окно.

Излюбленная стойка бабы Нуцы – руки в боки. Стоит – покачивается на тоненьких ножках, сухонькая, подбористая, в линялом сиреневеньком платье. А вечно сквозивший в нашем дворе-колодце ветер так и треплет её подол. Его обладательница вправо-влево, вправо-влево, а подол наоборот: влево-вправо, влево-вправо. Молча стоит, потому что по-русски знает только ругательства, а их время ещё не настало.

Если игра шла вяло, на лице бабы Нуцы застывало выражение бесконечной скорби: глаза заволакивались дымкой, и вся она вместе со своими тоненькими ножками как бы уходила в собственные недра. И, вытащив изо рта вставную челюсть, долго изучала её, крутя в руках то так, то этак. Потом заглатывала обратно, и протез ещё долго ходил под её сморщенными щеками, пытаясь встать на место. Минуту мог ходить, и две, и три…

Но стоило мячу описать дугу в сторону чьего-то фасада, – поза внештатного коменданта двора стремительно менялась. Перебрасывая во рту ещё не окончательно ставшую на место челюсть, баба Нуца разражалась маловнятным, но весьма устрашающим ором. Что и подтверждало высшую степень её бдительности. Через секунду её пронзительный фальцет схлёстывался с дискантами пострадавших владельцев стёкол. Чуть позже подголосками вступали сочувствующие… И начиналось!

Последним рявкал бас инвалида дяди Фёдора, жившего в подвале. Дядя Фёдор был своего рода знаменитостью – обычно он чинил приёмники, утюги, керогазы, пребывая в нирване табачного дыма и разобранных механизмов. А когда единственное окно старого мастера закрывала визжащая и орущая толпа, дядя Фёдор тяжело вываливался из проёма и, вытащив из свирепой глазницы увеличительное стекло, вглядывался в нас, как если бы пытался понять побудительные причины таракана, заползшего в носик его фаянсового чайника.

И чего он вмешивался? Уж чему-чему, а стёклам дяди Фёдора мяч не угрожал: в целях лучшего доступа света и воздуха мастер ещё в марте собственноручно выставлял их в совершенно недоступное для футбола место. За монументальный шкаф, отделявший его кровать от стены, где тикали и бомкали с десяток старых ходиков любых конфигураций! С кукушками, без кукушек, большие, маленькие. И даже карманные, которые он выторговывал на Староконке.

Голос дяди Фёдора оказывался наивысшей точкой, после которой ни один солист уже не отваживался пробовать свой предел. Хай окончательно сникал, когда в подворотне рисовалась тучная фигура нашего управдома Соломона Шмаля. Он являлся ближе к обеду. А с утра навещал турка Мишу на Привозе. Пару весенне-летних месяцев у того можно было разжиться настоящей неразбавленной «Лидией».

– Я двадцать пять лет работаю на этот место! – торжественно, будто призывая потолок в свидетели, подымал он иссиня-чёрные глаза и выкладывал на прилавок закусь – хлеб, пёрышки зелёного лука и брынзу. – Так могу я себе позволить не портить продукт? – И выдержав выразительную паузу, философски заключал: – Так я себе на другом буду иметь…

– Не верещи… – с ленивой требовательностью морщил Соломон Соломоныч бугристый, в синеватых прожилках нос, прикидывая величину разбитой шибки. – Не верещи, дай людям (он делал ударение на последнем слоге) пожить спокойно… – Потом поворачивался ко всем круглой, перехлёстнутой тугими подтяжками спиной и сладко вздыхал: – И чего кричат? Э-эх, люди… Дышите глубже, женщины. Я за акацию говорю.

И все тогда наконец замечали, как пьяняще разливается запах акации. А на плечи, на головы и под ноги сыплет и сыплет метель уже подсохшего акациевого цвета.

***

Как-то в конце апреля, когда солнце уже хлестало вовсю и наш мяч саданул в окно второго этажа, баба Нуца, которую хлебом не корми – дай поорать, молча юркнула прочь.

А дело вот в чём.

Семья, что обитала на втором этаже, появилась у нас недавно. Она въехала туда по самому настоящему ордеру, хотя именно на эту площадь у нас претендовали целых четыре семьи. Наше дворовое большинство ютилось в коммуналках, а у «этих двух» – непостижимые сто квадратов (семь дверей из коридора, не считая входной!) с позолотой и лепными амурами! Говорили, что глава семейства к нашему пароходству даже отношение имел самое косвенное – капитанил он где-то не в здешних, а в северных морях. Да и вообще «эти две» были другими. Наши вечно озабоченные матери то и дело бегали друг к дружке за трёшкой до получки. А «эти» (мать и дочь!) каждую неделю выезжали на такси в оперу. И, наблюдая за их царственными перемещениями, водолаз Жорик, который сидел на мели уже второй месяц, презрительно сплёвывал:– И та стерва, и эта стерва!

Младшую Цырлину звали Ленкой. Именно её появление вызвало среди нас столько толков, что больше мог вызвать лишь выход нашей сборной в финал мирового чемпионата. Тем более что девчонок у нас во дворе и не было – всего-то толстая Фаинка с малого двора да Симка – внучка старого Копытмана, что продавал эскимо на Приморском. Эта Симка сидела со своей прабабушкой на верхней

веранде и всех передразнивала. За что, когда она спускалась, наш мяч всегда ненароком летел в её сторону. Говорят, в молодости старый Копытман играл в знаменитых «Канатчиках» с самим Сашей Злотом и так лупил по воротам, что его прозвище «Железное копыто» дошло к нам именно с тех доисторических времён. Честное слово, лучше бы у Копытмана был внук! А Симка вообще есть Симка. Что о ней говорить!

Была ещё Зинка. Но у неё ноги – будто мяч ловили, такие кривые!

Наверное, потому Ленку Цырлину и признали единодушно самой красивой на нашей улице.

Правда, единодушно без моего голоса – как на мой вкус она так себе. Во всяком случае, куда ей до старшей Цырлиной!

Неизменно пахнущая «Красной Москвой» (этими духами мы обычно одаривали нашу классную на 8 марта), Лилия Яновна (по домовой книге она числилась Лидией Ивановной) плыла на своих точёных каблучках с небрежностью скаковой лошади на разминке. Мне как-то повезло протыриться в цирк на представление Али-Бека, и я видел его «арабов». О! Это были лошади!!!

Я всегда на туфельки Лилии Яновны поглядывал с затаённым ожиданием – они были на неописуемо тонких каблуках: «А что, если возьмут и сломаются?!». Похоже, что эта неотвязная мысль мучила не меня одного. Даже инвалид дядя Фёдор при встрече с Ленкиной матерью конфузился, глуповато кхекал и, утюжа ладонью всклокоченные патлы, норовил поскорее отвести от неё глаза. Ну а они, как намагниченные, возвращались туда же. Из-за чего стоявшая на боевом посту баба Нуца поджимала губы в ниточку.

Но мы отвлеклись.

Итак, сея панику среди наших болельщиков, Витёк рванул в подворотню. Врассыпную кинулись и мы. В центре поля остался лишь наш капитан Юрка Ястреб. Будь он не Ястребом, он бы и сам драпанул. Но он был гордым.

Ленка возникла из темени парадной с мячом на ладони, как с яблоком.

– Почему бы столь славному отроку не найти занятие, более подобающее его возрасту? – отступила она на шаг, как бы любуясь нашим капитаном.

Воцарилась тишина. Её нарушали лишь воробьи. Да ещё из крана колонки капала вода – кап-кап. И копошилась улитка.

– Лучше бы дамам плащ под ноги кидал, чем – мячи, – сказала Ленка. И добавила: – О, времена, о, нравы… – Непроницаемое лицо Ястреба не двинуло ни одной мышцей – он так и продолжал стоять. Ленка здорово похожа на артистку Полу Раксу из кино, которое мы видели вчера в «Летнем». Туда нас пускала дочка бабы Нуцы – билетёрша Флорика.

Но Юрка не просто стоял. Он смотрел на Ленку!!!

Она тоже смотрела на него! А потом усмехнулась и сбросила мяч на землю, как если бы это была плёвая обёртка от «Кис-кис». Ну и ладно! Я уже собрался дать Ястребу пас, но мой кумир забыл о футболе. Он СМОТРЕЛ на Ленку. Тогда и я уставился на неё. И тут мне всё стало ясно.

Вы видели кошку, когда она забавляется мышом? Эта хвостатая тварь подкидывает несчастного мыша, снова ловит его, потом отталкивает всеми четырьмя и тут же накрывает лапой. И при этом глаза у неё круглые и весёлые. Только зрачки остриём. Как у Ленки сейчас! Я понял, что добром это не кончится. Я ещё в шесть лет уяснил, что с девчонками не стоит дела иметь. А Юрка… Вместо того, чтобы забрать мяч и уйти, он вскинул подбородок и с этакой надменностью выдал:

Женщин беги вертихвосток, –
Ум тебе женщина вскружит
И живо карман очистит…

Он вообще был любителем всяких цитат, и если не играл в футбол, то читал книжки. По слухам, Ястреб был записан во все библиотеки города.

Последовавшую за тем выразительную паузу мы уже приняли за отбой и бросились по местам. Но он вдруг всем корпусом сделал резкий выпад в сторону Цырлиной:

– Мадемуазель в курсе, кто это сказал?

Я мысленно покрутил пальцем у виска. Всё ясно, про кошку наш капитан и не подумал. Он старше меня на пять лет, и многое из важных вещей успел забыть. Да и кошки у них никогда не было.

– Шекспир, что ли? – не разжимая коготки, бросила Ленка.

Ястреб расхохотался.

– Это Гесиод! Вас, мадемуазель, подводит незаконченное среднее образование.

Вот Юрка! Он и в футболе никогда не бил штрафные коварными подкрученными ударами, не делал резаных передач с угловых. Он предпочитал прямой «пушечный». По-моему, на футбольном поле это был его единственный изъян. Ну правда, почему бы, подавая удар со штрафного, не послать мяч в обвод стенке или выше? Или хотя бы пас отдать кому-то ближе к штрафной. Нет, он бьёт по прямой в середину! В стенке, конечно, тоже живые люди стоят, может, кто-то испугается и присядет, а мяч над ним и пролетит. Но разве можно на это всякий раз рассчитывать?!

– Ах, Гесиод…– в Ленкином тоне не прибавилось ни на йоту почтения. – А вот Томас Карлейль сказал, что знания придают человеку лоск, а поступки – блеск.

– Карлейль? – лицо Ястреба закаменело. Кто-кто, а наш капитан не привык к поражениям. Это вратарь, то есть я, в нашей команде фигура бутафорская. В отличие от вратаря противника, я всегда оставался сухой. Мне и делать ничего не надо, разве что стоять или сидеть на куче угля в подворотне, изображающей ворота. А Юрка… Когда до конца матча оставалось всего ничего и соперник уже надеялся, что пришёл его звёздный час – если не победа, то хотя бы почётная ничья, Ястреб в ловком подкате останавливал мяч прямо в ногах чужого форварда. И, как полоумный, не мчался к воротам, не спешил сделать острую передачу. Он благородно ждал, пока соперник поднимется, а усыплённые внешней расслабленностью защитники оставят свою штрафную и только тогда, делая ложный корпусом, пускал в ход свой знаменитым финт, вконец размачивая счёт!

– Кардейль?.. Нет такого! – выпалил Ястреб, и я увидел, как ходят под его скулами желваки.

– Нет?

– Нет! На понт берёшь!

Презрительно усмехнувшись, Ленка хлопнула дверью парадной.

Недели не прошло – любой шмендрик знал: наш славный форвард влюбился! Да как странно-то ещё!

Ну вот как выказывал бы знаки внимания любой из нас? Поднёс бы, к примеру, ведро к мусорнику – всем понятно. Ну, в кинушку бы позвал. Или обстриг ногти. Или на худой конец штаны бы отгладил.

А он (подумать только!) появился в новенькой паре, купленной на деньги, что собирал на заветный фотоаппарат« Зенит-Е»!

Подкладочка на пиджаке – блестящая. Брюки-дудочки – куда нашей фабрике Воровского! Такие и на толкучке ещё поискать надо! И – корочки ко всему! На тонкой подошве!!! Да…

Теперь, начиная игру, Ястреб сначала сбрасывал пиджак. Потом отпускал ворот галстука-селёдки. И с какой-то подчёркнутой элегантностью закатывал рукава.

Играть в таком виде было не очень, и с прежним азартом он вёл мяч, только если у окна была Ленка. Но тогда уж искрил, так искрил! О, как он финтил!!! У меня даже челюсть отваливалась! А она хоть бы хны: всё также бубнила свои «ля-фамы», сидя на подоконнике…

Однажды мы играли с 68-й школой, и Ястреб получил высокий пас в штрафной площадке метрах в восьми от ворот. Приняв мяч на грудь, он каскадом финтов с балансирующим на ноге мячом обыграл сразу четырёх защитников и бросившегося к нему из ворот голкипера! Причём за всё то время мяч так ни разу и не коснулся земли! А какую потрясающую штуку он влепил через день, когда мы играли с тем двором, где у нас был потайной лаз. Счёт был 10:0, когда на последних минутах, зажав мяч пятками, наш славный форвард сделал внезапную стойку на голове, завершив её немыслимым кульбитом. В результате чего, мяч выстрелил через весь двор и вместе с сорванной с акации пелёнкой застрял в потайном лазу! Будто указывая гостям путь к отступлению.

– Карфаген должен быть разрушен! – возвестил Юрка чеканным голосом.

Смысл странной фразы поняла разве что Ленкина мать. Она тоже знала какие-то мудрёные слова:

– А в этом мальчишке что-то есть, – разглядывая нашего капитана, с изумлением произнесла она. – Этот сорванец… читает антику, Леночка!

Я фыркнул – я не знал, что такое «антика», но получалось, будто если наши мамы, к примеру, работали расклейщицами афиш, портнихами или билетёршами, то мы, их дети, могли читать разве что афиши, квитанции ателье или тексты входных билетов!

Но воодушевлённый оценкой высокого зрителя, Ястреб виртуозничал вовсю! От очередного пушечного выстрела в стекло до вопля бабы Нуцы оставался один шаг, когда на обед заскочила Флорика и, вытащив керогаз с кастрюлей на порог, начала скалиться с водолазом Жориком (ну, тем, который сидел на мели и без табуреток).

– Что на камбузе, девушка? – забросил он в рот оранжевую креветку, зыркнув на неё смеющимися глазами холостяка.

– Сармалиэ, молодой человек, молдавские голубчики! – Флорика, кокетливо расправила на груди волан.

– Перерыв, братцы! Нас на голубцы приглашают! – подмигнул Жорик Ястребу, и мы дружно кинулись к керогазу. Даже баба Нуца на всякий случай заглотнула челюсть.

– А шо такое, Жорик? Ты разве не видишь – я болею?!– обиделась Флорика. – Я тебя вечером без капеллы приглашу.

– Ой, смотри, девушка! Вечером я ведь и заночевать могу! – грудастые русалки на предплечье водолаза так и заходили ходуном.

– Фи, – хлопнувшие Ленкины оконные створки отключили от наших ушей её французские спряжения, и Ястреб хмуро надел пиджак.

Ленка училась не в нашей школе. В нашей-то даже учителя были не все. Например, по физкультуре, пению и иностранному нас учил бравый военрук, и на физкультуре мы маршировали, на пении пели революционные гимны, а на иностранном – стреляли в тире.

Вообще, вся наша команда училась в разных классах. Если разбить силы по тактической схеме, получалось: полузащитники – Витёк и Славик. Витёк оканчивал шестой. Он всегда и везде первый.

Хотя в случае чего первым и стрекача даёт. Как-то сел на него махаон, так Витёк с перепугу оказался на крыше соседнего дома. Потому, наверное, и спринтерские забеги в школе выигрывает. И на поле – не успеешь оглянуться – уже на другом конце.

Славик. Тот оканчивает седьмой. По природе альбинос – в летние месяцы не как мы смуглый, а примерно цвета Жориковой креветки. На поле разворачивается медленно. Но если взял мяч – не уведёшь! Стеной стоит.

Дальше по схеме, оттянутый назад форвард Эдик. Мало того, что переходит в девятый, вдобавок и сам каланча. Да ещё и кулачищи с гирю. Но партнёр на поле ненадёжный – всегда успевает или с кем подраться, или в кого-то влюбиться, так что играет только в промежутках между событиями. Для таких случаев у нас припасены резервы с малого двора: три брата, главным занятием которых было препарировать лягушек. Это золотой запас нашей команды. Правда, возрастом они были вроде Жорика, потому держались с нами свысока. Но играли нормально.

Ну и так называемый вратарь. То есть я.

Защитников у нас не существовало. Они нам были не нужны. Да и я-то, если честно, не был нужен. Но куда ж меня девать?!

И про нашего центрфорварда я не говорю, с ним тоже всё ясно.

Так вот. Ленка Цырлина была не из нашей школе. Она училась в какой-то с французским уклоном. Что за уклон такой? Может, не уклон, а сдвиг? Это слово здесь как-то больше подходит. Судите сами: Ленка пошла в школу в шесть лет и теперь, когда её ровесники только переходили в десятый, она его уже заканчивала. Потому и фланировала по нашему двору, как бы сквозь нас. А иногда в качестве Санчо Пансы начинала таскать за собой Фаинку. И молола всякую ересь. Например, что скоро станет великой Сарой Бернар. Или что выйдет замуж за французского посла. А как-то договорилась до того, что и сама станет французским послом. Только сначала поступит в Сорбонну. Причём прямо этим летом!

Ну вот что за странное желание самоутвердиться?! Вообще-то, все мозгами двигаются за право нравиться другим, все хотят казаться получше. Но не до такой же степени!

Но… всё равно, всё связанное с Ленкой Цырлиной, мы воспринимали тогда как должное. И были готовы отлупить всякого, кто вздумал бы ухлёстывать за Ленкой.

Мы крутились под её окнами во главе с Ястребом почти весь май. А это что-то да значит!

Даже курсанты мореходки не были для нас исключением. А ведь они были предметом не меньшего обожания, чем футболисты «Черноморца». Вот только в футбол можно научиться, а когда будущие мореманы, ладные и сосредоточенные, чеканили шаг по булыжнику Пушкинской, даже Ястреб нырял вслед за нами в провал, соединявший наш двор с увешанным пелёнками соседним… Ах, с каким восторгом следовали мы за чёрными шинелями шеренги. С каким небрежным изяществом вскидывались руки идущих впереди музыкантов! И как победно, до самого Ланжерона катился марш «Славянка»!

Но если уж честно, – что курсанты! Даже моряки не брались нами в расчёт, когда дело касалось Ленки Цырлиной! Тем более что к ней тогда зачастил новенький, будто налакированная пуговица на его кителе, мичман с прилипшими к губе усиками. Довольно неприятный тип, весь в запахах «Шипра» и «Казбека»!

Эта парочка часто наведывала «Грот» на Приморском. Вытряхнув всю наличность из копилок, зачастили туда и мы. В надежде выкинуть какую-нибудь штуку.

В тот вечер по сцене разгуливала тощая, вся в звенящих цацках певичка и голосом, царапающим, как наждак, распевала романсы.

Мы расселись так, чтобы, не будучи замеченными Ленкой, держать под прицелом её ухажёра. Его было бы отлично видно, если бы не ваза с персиками и яблоками «Белый налив» на соседнем столике. Из-за чего мне приходилось вертеть головой то вправо, то влево. Причём, когда влево, моему взору представлялась мичманская щека без всякого намёка на растительность. А на ней лиловатый прыщ, который изводил меня желанием выдавить его немедля! Я то и дело отводил глаза, но они упорно возвращались к своему объекту. Пока я не решился: «Вот сейчас возьму и подойду. И выдавлю!» – но тут под жиденькие аплодисменты певичка сошла с эстрады, и, плеснув чего-то в фужер, мичман забасил:

Лена, Лена, Лена!
Лена, Лена, Лена!
Лена, Лена, Лена, Лена!
Лена, пей до дна!

Запрокинув голову, она принялась пить крохотными, как птичьи шажки, глотками. Я застыл, глядя, как подрагивает её горло. А Юрка так и сидел с непроницаемым видом, скручивая и раскручивая уголки накрахмаленной салфетки, которую я стибрил с той вазы. Потом глаза его столкнулись с мичманскими. И тогда Юрка странно дёрнул подбородком. Раз, другой… Мичман озадаченно выпялился. А центрфорвард как ни в чём не бывало взялся за мороженое.

Не переставая взглядывать в нашу сторону, мичман всё ещё что-то рассказывал Ленке. Но всякий раз, когда глаза его встречались с Юркой, тот снова и снова повторял свой необъяснимо-странный жест.

Наконец, пунцовые от смеха, мы повыскакивали из-за стола. Первым – Эдик, который, чтобы разглядеть всё получше, то и дело зависал над нашими головами. За Эдиком – Витёк, под которым и раньше-то стулья норовили шмыгнуть в сторону. Потом, давясь от хохота, я и вся наша братия. Пышная официантка даже заглянула в блокнот, чтоб проверить, расплатились ли мы.

Позади всех – Ястреб. В своём костюмчике, галстуке-селёдке и аккуратно подстриженной «канадке». Возле самых дверей он тормознул и…, глянув на мичмана, несколько раз дёрнул подбородком.

Повергнутый в смятение ухажёр нагнал его на самом пороге:

– М-молодой ч-человек… Вы что-то хотели мне сказать? – наш форвард поправил причёску. Затем «селёдку». Сверил впечатление от себя в зеркале. И вдруг ещё раз конвульсивно дёрнул подбородком.

– Н-наелся?

После чего Ленка с нами долго не разговаривала.

А Юрка снял свой пиджак, «селёдку», брюки-дудочки и, повесив всё в шкаф, облачился в футболку, как все нормальные люди. Прошла любовь – завяли помидоры.

Ещё можно сказать – финита ля комедия, это в том же духе.

Так снова и началась наша футбольная жизнь. На этот раз без всяких лирических отступлений. А иначе и быть не могло – приближался чемпионат мира, и все мы, в какой-то мере причастные к этому таинству, готовились. Вырезали из газет статьи и старые фотки и расклеивали их по стенам, чтобы встретить чемпионат в полном информационном всеоружии.

Вот только кто бы мог подумать, что эта история не закончится просто так! Хотя, говоря честно, я это всё-таки предвидел: уж слишком внезапно Ястреб решил завязать. В таких делах нужна постепенность. Иначе оно обязательно всплывёт, причём в самое неподходящее время.

Так и вышло. Девчонки ведь, как кошки, всегда оказываются там, где их быть не должно.

Но это потом.

А сейчас впереди было не менее важное событие: 25 мая лучшему форварду «Черноморца» исполнялось двадцать пять. И ознаменовался этот день долгожданным сюрпризом.

В Одессу пришёл большой футбол!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Сопли текут из обних ноздрей –
Нет «Черноморца» команды сильней!
фольклор

Настал долгожданный день! В Одессе – бразильское «Фламенго»!

Мало-мальски цивилизованный человек понимает – это будет настоящая игра, Бразилия!

Некоторые умники рассказывали, что должен был приехать не «Фламенко», а «Сантос» с Пеле. Но «Черноморец» отказался от этой игры, чтобы не портить день рождения Толику Колдакову. Скажут же! Да это «Сантос» отказался, чтобы не опозориться!

Вообще-то, если честно, хотелось, чтобы приехал уругвайский «Пеньяроль». Вот с ним бы игра точно пошла бы на равных! Они и в прошлом году взяли межконтинентальный кубок. Ну да ладно!

За три часа до матча, вернее, когда часы дяди Фёдора пробили – одни пять, другие – семь, а третьи вообще прокуковали одиннадцать раз, мы, вооружённые до зубов, двинули к стадиону. С трещотками, свистками и футбольными кличами.

Почему мы отправились на футбол за три часа до матча? Потому! Если бы мы играли с «Пищевиком» из Каховки, мы бы, конечно, явились за минуту до начала. Перемахнули бы ограду и уселись на любом месте. Но наши играют с « Фламенго»! А значит, вокруг стадиона будет милиция, на стадионе – милиция и даже у кромки поля милиция. А билетов у нас – тю-тю.

Прежде мы провели подготовительную работу.

За папу дней до игры мы пробрались на стадион. Стадион-то у нас не такой, как у всех остальных. У нас он над морем. И поле утоплено в жаркой зелени парка Шевченко. Сорок тысяч зрителей вмещает наш несравненный Центральный стадион ЧМП. Если подойти со стороны Зелёного театра,– взгляд скользнёт по трибунам вниз. А если со стороны моря – глаза упрутся в самое основание трибун. Вот в этих-то самых основаниях и находились небольшие кладовки с висячими замками. Одну из них нам предстояло избрать в качестве отстойника. Отстойника потому, что там можно было только стоять – такие они были маленькие. Ну – ноги не чужие, свои. Мы выбрали самую затенённую дверцу и слегка подпилили петли. Теперь двойные створки с огромным висячим замком открывались элементарным снятием с петель.

За три часа до матча мы беспрепятственно проникли на ристалище и организованным гуськом пробрались в кладовку. После чего вдели дверь в петли и, соперничая в неподвижности с уже бывшими здесь

вёдрами, мётлами и лопатами, замерли. Так как мы довольно легко разместились, кладовка оказалась вполне приличным отстойником. Можно даже сказать – он был пятиместным боксом, только с повышенной пыльностью. Вряд ли кто кроме нас додумался использовать его по истинному назначению за всё время его существования. Иначе петли были бы покрепче.

За два часа до начала нас накрыл лёгкий ропот снаружи, а за час – оглушительный грохот над головами. Это заполнялись трибуны. Выждав немного, мы стали вглядываться в щель между створками: надо было выбираться наружу.

Вот замаячил милиционер. Витёк было нервно передёрнулся, но Эдик его шмякнул по затылку. Милиционер протопал мимо, а возле нашей кладовки возник затор из болельщиков, которые, перекрыв нам видимость, засунули свои носы в билеты. Пока пытались в них разобраться, хладнокровный Ястреб преспокойно снял дверь с петель, и наша стая под грохот стадиона с невозмутимыми видом явилась их спинам. Эти парнокопытные так и стояли, уткнувшись в свои новые ворота. А Ястреб вернул статус-кво (оставлять улики необязательно, кто знает, с кем «Черноморец» ещё будет играть!) – и мы пристроились к нашему «затору». Видимо, на стадионе их массовка была впервые, потому что никак не могла разобрать, что же обозначено в билетах, и Юрка с Эдиком им помогли. В результате (предполагаю, они и на футболе были впервые, поскольку уж слишком долго скрипели мозгами над двумя строчками!) гости Одессы благородно скинули нам эти билеты с трибуны. И тогда мы счастливо выдохнули. Контролёры-то не только на входе стоят! На входе не поймали, тут поймают наверняка – подавай-ка им билеты! А сейчас – фигушки: билеты – нате вам. Почему не на своих местах? А не хотим! Желаем тут, на самом видном месте!

Мы выстроились с самого верха на бетонном выступе и радостно переглянулись. Теперь все трудности позади. Впереди – девяносто минут поэзии футбольного ветра!

Эх, знаете ли вы, что такое футбольный ветер? Сколько людей бросают свои дела только ради того, чтобы вновь почувствовать футбольный ветер, это чудесное дыхание, смешанное с морем и летом!

Иногда несмыслящие в игре люди говорят, мол, не лучше ли потраченное на стадион время посвятить чтению книг (и газет)! Дорогие нелояльные граждане, взываю к вашей объективности и здравому смыслу!!! Неужели любовь к футболу помешала Нильсу Бору стать великим физиком, а Льву Кассилю, Юрию Олеше, Эдуарду Багрицкому, Константину Симонову или Ильфу с Петровым – написать свои замечательные книжки?! Одумайтесь, дорогие нелояльные товарищи! Мы имеем неоспоримые свидетельства многих знаменитостей об их неудержимой и всепоглощающей страсти к футболу! В то время как равнодушие к нему какого-то оболтуса вовсе не помогло ему прочесть хоть одну книгу. В то время, как стремящемуся к совершенству именно футбол дал толчок. Сколько чудесных минут и прекрасных эмоций дарит людям эта самая удивительная на свете игра – Футбол! Зачем же обкрадывать себя?!

…Четыре – два! Великолепно! Славный «Черноморец!» побил бразильцев! Блестящий Толя Колдаков собственноножно влепил две штуки!

Конечно, те же умники потом утверждали, что «Фламенко» это не «Сантос» с Пеле, и вот если бы играл «Сантос», от «Черноморца» летели бы пух и перья. Плевать мы хотели на умников!!! Гонят! Что нам всякие «Сантосы», если у неповторимого Колдакова – день рождения! И он в этот день сделал себе и всем нам поистине царский подарок.

Со стадиона мы шли в дико орущей и скандирующей толпе. На мостовой не было ничего неподвижного – деревья, ларьки, дома, казалось – всё пляшет и выкрикивает вместе с нами. Мы заранее взяли с собой яркий транспарант, и теперь я с Витьком на плечах Ястреба и Эдьки парили над всеми с плакатом, на одной стороне которого надпись: «Услышав на трибунах рёв, знай – мяч ведёт Чеботарёв!». На другой – «Услышав на трибунах рёв, знай – бьёт в десятку Колдаков!». То есть наш транспарант лаконично раскрывал основную тактическую схему «Черноморца»: связку Чеботарёв-Колдаков. Сначала мяч ведёт Чеботарёв, потом он делает прострельный пас Колдакову, и тот уже «бьёт в десятку». Именно для того, чтобы не дать сопернику таких ценных сведений, мы этот плакат с собой раньше никогда не брали. Правда, бразильцы по-русски не знают, а если и задумаются, то пока думают, наши успеют им накидать. Ну а уж теперь даже если кто-то что-то поймёт – не страшно. Дело сделано!

Вот мы с Витьком и притацовывали сидя, пока Витёк не свалился вместе с Эдькой и плакатом. Ну а я слез сам. Вообще-то, если бы какой-то троллейбус не шёл по Пушкинской и не вздумал остановиться на перекрёстке, такого бы не случилось. Ещё и водитель, высунувшись из окна, вздумал махать кепкой и орать: «Четыре – два! Четыре – два!». И пассажиры улыбались из окон и махали руками.

Одесса шла с футбола!!!

А когда троллейбус ушёл, к нам подбежали курсанты морской школы, что на площади Вакуленчука, и долго расспрашивали об игре. Да ещё потом отняли у нас плакат и, размахивая, помчались с ним по городу!

Мы тоже решили совершить круг почёта по Одессе. Вышли на Приморскую и пошли по Купальному к фуникулёру. Это сейчас Приморская улица стала улицей Суворова, и вместо симпатичных вагончиков торчит нелепая крыша эскалатора. А тогда…

Напротив Нового мола, между фуникулёром и Потёмкинской лестницей, наш дядя Копытман продавал эскимо. Это тот, чья прабабушка сидела на веранде, то есть она ему была не прабабушка, а тёща. Копытману и самому-то было лет шестьдесят или больше, а сколько прабабушке – вообще никто не знал.

Он носил вечную соломенную шляпу, потому что солнце всегда садилось ему на затылок и пекло. И если не было покупателей, он отходил от тележки в тенёк. Чтобы созерцать два вагончика, ползущих по склону с толстым прочерневшим тросом.

– А вот интересно за этот канат, если он оборвётся – вагоны или по рельсам на низ пойдут или кубарем?– время от времени вопрошал он сам себя.

– Что ты там бормочешь, Додик? – лениво расположившись на стульчике, обмахивалась платочком тётя Броня, контролёрша фуникулёра. – Ясное дело, они кубарем пойдут.

– Скажи кому-нибудь другому, – обижался Копытман. – Они по рельсам наниз пойдут. А нанизу люди перебьются, если не попрыгают.

– Додику напекло, – порывисто отрывая билеты у входящих в фуникулёр, переставала обмахиваться тётя Броня. – Куда они попрыгают, если он кубарем пойдёт? Они же сразу неживые будут, их подавит!

– Это шоб тебе самой неживой быть! – кипятился дядя Додик, – он по рельсам пойдёт и нанизу надо мягкое подставить, чтоб людей не перебило.

– Шоб тебе самому мягкое на том свете подставили, – переставая замечать протянутые ей билеты, выходила из себя тётя Броня.– Люди в вагоне подавятся!

– Да шоб тебе самой подавиться! – громыхал разгневанный Копытман. – Они не подавятся, а перебьются, если не попрыгают!

– Это у тебя из головы всё попрыгало. А их подавит!!!

Вокруг них начинал грудиться народ. Причём одни кричали, что подавит, другие – что перебьёт. Один дяденька в пылу спора даже надел своему оппоненту похоронный венок! Несомненно, предназначенный потенциальным жертвам фуникулёра. Уловив смысл спора и прикинув высоту склона, гости города решили лучше подобру-поздорову посчитать ступеньки Потёмкинской лестницы.

Мы положили конец спору, сообщив дяде Додику счёт, после чего Железное копыто долго выяснял подробности и нюансы игры: составы обеих команд, происхождение и семейное положение главного арбитра. В этих делах мы были ни в зуб ногой, и он очень обстоятельно рассказал всё сам. Правда, мы тут же всё и забыли. Ну зачем нам знать, что у главного арбитра жена – папуаска из Новой Гвинеи, а дети от первого брака – бушмены и готтентоты. Или наоборот.

В заключение дядя Додик выделил нам на пятерых одно эскимо. Будто один из голов мы забили. Он долго шарил в своей тележке и наконец торжественно вручил нам на пятерых одно – самое мягкое и кособокое, в ободранной бумажке.

Выгребя из карманов всю мелочь, мы расселись в фуникулёре. Ястреб с Витьком – с краю, Славик и я напротив, а Эдик остался стоять.

Вагончик дёрнулся и пополз наверх. Мы горланили один громче другого, обмусоливая пасы Колдакова и Чеботарёва, когда Ястреб вдруг куда-то уставился. Мы тоже повернули головы и обалдели. В вагончике, тащившемся вниз сидела… Ленка Цырлина! С дюжиной пацанов и девок, разряженных, как на свадьбу. У Ленки в руках охапка всяческих цветов, даже в волосах белая роза. Прямо полуцыганка. У настоящих-то красные торчат, а не белые. Тоже мне, невеста без места!

Вагончик медленно протащился мимо. А Юрка встал. Я тоже встал. Он посмотрел вниз, а потом на нас. Безмолвная команда была дана. И, повинуясь мятежному импульсу, к неописуемому ужасу остальных пассажиров, мы дружно ухнули через бортик.

Рискуя сломать ноги и головы, мы перемахнули рельсы, подтянулись до боковой лесенки, продрались сквозь заросли дрока и вылезли на Потёмкинскую лестницу. Я ещё и успел оглянуться наверх, где на площадке белели припавшие к стёклам лица. Из вагончика тянулись чьи-то ручонки: «Мама, мама, я как эти дяди хочу!».

Мы ринулись вниз по Потёмкинской. И успели как раз к самому выходу пассажиров нижнего вагончика. Я вытащил из волос гусеницу, отодрал колючки и подтянул штаны. И все мы отряхнулись, после чего с чувством собственного достоинства обосновались в тени акаций.

Пока Копытман омороживанил Ленкину шару, мы их рассматривали.

Наверное, это были Ленкины одноклассники по французской школе – они употребляли какие-то гнусавые словечки. А какой-то фраер держал Ленку за руку и что-то плёл ей на ухо. Ну и наш Эдик тоже что-то употребил, не в нос правда, за что получил от Юрки по шее.

Затем их компания направилась на Новый мол. И мы за ними. Туда, откуда призывно гудел и грохотал морской порт.

Последние брызги солнца уже тонули в фиолетово-синем небе, и на грани смыкания синего с фиолетовым куда ни смотри – трубы, трубы, трубы…

Вот сверкает на рейде китобойная флотилия. Это вернулась к родным берегам «Советская Украина». А вот пассажирский теплоход. Белым призраком покачивается он в неясных сумерках. Кажется: погаснет последний отсвет – и он исчезнет.

Огромный портальный кран, подняв своей стальной стрелой груз, плавно опустил его в трюм «Суэца». Вскоре он отправится через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аравийское море в сказочную Индию, в порт Бомбей. А там по причалам бегают макаки, они заберутся на мачты «Суэца», и, может быть, из обратного рейса грузовое судно придёт с полным трюмом бананов, кокосов, ананасов. И симпатичных обезьянок.

Очарованные мечтами, мы чуть не забыли о своей цели.

А шли мы с очень даже конкретной целью! Потому что рядом с Ленкой был тот самый фраер в белых штанах, который ей что-то нашёптывал в ушко. Он и сейчас что-то бормочет, указывая ей на «Суэц». А по бокам от них пятеро пацанов и две девки. Одна черномазая и толстая, как бочка с треской, вторая – рыжая и длинная, как грот-мачта. Девки с унылым видом брели чуть сзади, и пацаны сосредоточились только на Ленке. Ну и мы. Мы тоже зловеще вышагивали метрах в тридцати от них. И тоже пялились на Ленку. А девки, решив, что мы интересуемся ими, стали отставать. Я даже чуть было не перешёл на другую сторону. Но тут, завертев головой, Ленка заметила нас.

– А-а-а! – зажглись в её глазах чёртики.– Непобедимая команда в боевом составе! – И, разделив свою цветочную охапку надвое, отдала розы: одну – рыжей, другую – толстой. А белую вытащила из волос и, медленно подойдя к нам, прицепила (совсем обнаглела!) её в петлю Юркиной рубашки. Ястреб стал белее той розы – я это точно видел – я сбоку стоял!

– А теперь, Юра, позволяю поздравить меня с днём рождения, – и, протянув ему руку, уставилась на него с вызовом.

Я-то думал, что Ястреб, как всегда, ответит ей великолепным выпадом, после чего надменно развернётся, и мы пойдём по домам – солнце уже село, и родители дома ждут. А он (!!!) взял её руку и… поцеловал!!! Вот это да!!! Я аж поперхнулся. Ну и ну!!!

Наверно, и все наши офонарели – стояли, разинув рты. А Ленка змеино усмехнулась и повернулась к нам спиной. Тут Ястреб стал малиновым и задышал быстро-быстро, я сбоку стоял и видел.

– Какая чудесная погода! – сказала Ленка. – И небо пурпурное, и море… – И взяла фраера под руку. – Правда, Артур?

Тот напыжился и стал походить на жабу из басни Крылова «Бык и жаба» – мы в школе учили. А вообще он похож на рыбу одну. «Сельдяной король» называется. Я видел такую на выставке океанских рыб.

Ну, напыжился он, значит, и умничает:

– Белеет парус одинокий… И светит Воронцовский маяк. – Это он стих хотел запалить, да забыл про туман голубой. Они же больше французов читали.

В общем, компания повернула головы к маяку. И тут прозвучал Юркин голос.

– Жарковато что-то. Сплаваю-ка я к маяку.

– А не слабо? Туда не доплыть – утопнешь! – послышалось из их гурьбы.

Юрка не ответил. Он с независимым видом прошёл мимо Ленки и белоштанного и остановился возле самого края пирса.

– Если ты, Артурчик, доплывёшь до маяка, я тебя поцелую! – громко объявила Ленка и посмотрела с ожиданием. Лицо Артурчика вытянулось точь-в-точь как у сельдяного короля, он уже раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но тут Ястреб сиганул в воду. Прямо в одежде.

Между прочим, Юрка и в воде чувствовал себя, как на футболе. Когда, обрушиваясь на два шара, на Ланжероне бесновались штормовые валы, он подныривал под них и заплывал до самого волнореза. И уже там лежал на спине среди бурунов, помахивая нам ладонью. Тогда, набравшись храбрости, мы тоже с разбега кидались в оглушительный рёв моря. И, плюясь пеной, оно гневно выбрасывало нас на песок, сворачивая нам шеи. Один раз волна даже стащила с меня штаны, Юрка поймал их возле волнореза, и все потом долго смеялись (ну, не штаны, конечно, а наши пацаны смеялись). А я решил перехитрить и волну, и Ястреба, и когда он поплыл, помчался на пирс, чтобы обогнать его и, нырнув возле волнореза, сделать вид, что я сам так быстро доплыл. Но уже на пирсе, едва я сделал шаг, удар волны сбил меня с ног и, обрушив всю свою мощь, бросил меня барахтаться в клочках беловатой зыби. Я попытался грести к берегу, но меня тащило за собой море. Я заорал благим матом. Уж не знаю, мог ли кто меня услышать – солёная пена лезла в рот, но за мной прыгнул Эдик, он тоже неплохо нырял. Но в тот раз и Эдика закрутило. И мы поплыли к Юрке. О, как он удивился, увидев нас полуслепых и полуглухих, упорно куда-то гребущих! А мы с перепугу гребли и гребли. И мимо него, и мимо волнореза, и уже когда заплыли за буёк, Ястреб нагнал нас. Не помню, как мы оказались на берегу, но Ястреб потом долго рассказывал, куда мы в шторм заплыли. Умалчивая, вследствие каких обстоятельств мы там оказались. И все пацаны смотрели на нас, как на героев, а Юрка закусывал губу, чтоб не рассмеяться.

Но то был шторм. Сейчас вода в порту тихая – что тут плавать! Можно, конечно, попасть под винт какого-нибудь катера или расшибить башку о стальную обшивку лайнера, но это уже мелочи (как, наверное, Ленке кажется).

В общем, бесшумно рассекая чёрную гладь, Юрка сиганул в воду. И не перевернулся, как обычно, на спину, отплыв немного, а всё также шёл головой вперёд. Удаляясь от мола всё дальше и дальше.

На нас нашло какое-то оцепенение – мы стояли и смотрели. Первой очнулась Ленка.

– Ну что же ты, Артур! Прыгай, пока он недалеко!

Тот что-то невнятно промямлил.

– Ты должен приплыть первым! Слышишь?! – закричала она, и он, не отрывая от Ленки глаз, послушно пошёл к краю. При этом взгляд у него был совсем, как у сельдяного короля на сковородке. Что-то он ещё попытался сказать, но Ленка нетерпеливо скомандовала: – Прыгай же! Ты помнишь условие?!

Он отвернулся и стал стягивать штаны. Те, белые! Вообще-то снимать штаны при девчонках, даже если они белые, может только тот, у кого не все дома.

– Это несправедливо, – сказал Славик. – Он поплыл во всей одежде.

– Плыви! – приказала Ленка сурово.

– Они же французские! – заканючил Артурчик. – Это же Карден!

– Плевать, – сказал я и решительно столкнул его в воду. Девчонки – рыжая и толстая, взвизгнули. А пацаны из их шары угрожающе двинулись ко мне. Но Эдик сжал кулачищи и выдвинул вперёд челюсть. И я тоже поступил таким же манером. Пацаны обомлели и… отступили. И все мы посмотрели вниз, где Артур молча выделывал в воде какие-то кренделя – то ли пытался стянуть, то ли наоборот натянуть штаны. Обхватив ноги руками и задрав голову, он упорно извивался, как самый натуральный сельдяной король! Я хихикнул.

– Ты что?! – офигела Ленка. – А ну плыви! Сейчас же!

– Штаны французские… – скулил Артурчик.

– Снимай и плыви!

– Не получается!

– Перевернись на спину, – встав на парапет, руководила Ленка. – Теперь вытяни ноги… НУ?!

А Юрка уже рассекал воду на середине акватории. Эдик сплюнул и выразительно посмотрел на меня. Недолго думая, я шагнул и со словами: «Пойди помоги ему», – отправил её к Артуру. Вцепившись одной рукой в него, она забила по воде второй, лупая глазами. Совсем как лягушка. Тоже мне – красавица!

Чувствуя себя наградами победителям, рыжая и чёрная девки тут же оказались возле нас. Только непонятно, почему они выбрали Эдика, если и Ленку, и Артура столкнул в воду я!

Беспомощно повиснув на руках своих одноклассников, Ленка судорожно заглатывала воздух и что-то пыталась сказать. Её белое платье стало дымчато-серым, да и сама она как-то почернела. Ничего, в этом цвете ей даже лучше!

Артур, штаны которого тоже потеряли свою белизну, квохтал над Ленкой, как курица. Но она вдруг резко выдернулась, затряслась, как параличная, и …залепила ему отменную плюху.

– Во-он! – орала, будто с дуба рухнула, Ленка. Я даже ахнул. Совсем как в кино! Ладно, хоть её хмырь был от парапета далеко, а то ей-ей свалился бы по-новой.

Тут она столкнулась со мной глазами и вспомнила про Ястреба. Она быстро повернулась к маяку. Мы-то за всеми баталиями тоже забыли о нём!

Солнце уже окончательно скрылось за горизонтом, и небо почернело настолько, что на нём даже просматривались маленькие тусклые звёздочки. Несмотря на портовые фонари. Все, сколько нас было, мы стали вглядываться в отсвечивающую даль моря. И наконец различили тёмную точку на его серебристой глади. Юрка плыл уже к нам! Наверное, его тоже заинтересовало происходящее у нас. Увидев обращённые к нему лица (или уж не знаю, что он там увидел из такой дали), он вытянул над водой руку. Мы вчетвером радостно ответили. Ленка тоже подняла, было, руку, но она на полпути замерла. И тут я заметил баржу. Огромную. Она двигалась наперерез Юрке, не сбавляя скорости. Мы поняли – переплыть линию встречи раньше её ему не удастся. И никому на её широком борту не стукнет в голову, что на середине акватории да ещё в такую темень может висеть над бездной отчаянный пацан Юрка Ястреб!

Это в былые времена до маяка плавали на спор. Тогда это было делом чести, как говорили старый Копытман и водолаз Жорик. Каждый уважающий себя пацан должен был доказать, на что способен. Никакие баржи и таможенники никого тогда не пугали. Таможенники вылавливали мальчишек десятками, а на баржах всегда смотрели по носу, чтобы не помешать какому-нибудь герою. Но с тех пор порт здорово разросся, и уже никому в голову не придёт, что и сегодня найдётся такой храбрец.

И вот чёрные борта нависли над головой Юрки. Мы замерли. У меня даже сердце перестало биться. Длинный Эдик стал похож на длинную статую, что подпирала Ленкин балкон. А сама Ленка, стиснув зубами кулачки, сделала шаг вперёд и приросла к самому краю парапета.

И тут Ястреб, будто призывая нас посмотреть невиданный трюк, повернулся к нам и поднял обе руки. И… нырнул.

Я почувствовал, как бетонная площадка мола стала уходить из под моих ног. Неужели он вздумал поднырнуть под баржу?! Нет, нет! Такого не может быть. Хотя… Это мы под водой больше тридцати секунд не задерживались. А он разглядывал морских коньков и минуту, и две. И отдирал от камней мидии. И даже рапаны доставал! Потом мы толкали их курортникам на Привозе – три рубля штука.

Но сейчас его не было уж чересчур долго. Баржа прошла, и волна от неё уже мчалась дальше как оглашённая. Мы повыпяливали глаза и смотрели, смотрели, смотрели – а что нам ещё оставалось? Ленка кусала пальцы, а чёрная и рыжая девчонки прижались к Эдику и зажимали ладонями рты. И вдруг Юркина голова возникла над водой! Уфф! Мы заулыбались, а чёрная и рыжая повисли с обеих сторон на Эдике, визжа, как недорезанные, и пытаясь допрыгнуть до его лица, чтобы чмокнуть. И только Ленка, поскуливая, позы не изменила.

Да, он-таки поднырнул под баржу. И теперь был довольно далеко от места, где нырнул. Теперь до маяка ему не больше ста метров – несколько бросков.

И тут взревел таможенный катер – Юрку заметили! Но и Юрка заметил. И ускорил рывки! Мы снова застыли – вот оно, настоящее состязание: таможенный катер с воющей сиреной и – наш форвард!

Луч сирены медленно прополз по акватории порта и наконец наткнулся на нарушителя. Опа! Вот он, Юрка! Славик вцепился в мою руку. Плюнув на тюки, грузчики облепили мол, матросы – палубы. Теперь весь порт следил за нашим форвардом. Катер всё ближе, ближе! О, если бы у Юрки хватило сил! Только бы хватило!!!

Последний рывок!!! Маяк!!!

Ястреб вылез на Рейдовый мол и упал на бетон. И снова поднял руку!

Ураааааааа!!! – заорали мы, и летучие мыши делали над нами глубокое сальто. – Ураааааа! – хлопали мы в ладоши и обнимались. Даже Ленкины кавалеры вместе с рыжей и чёрной девками кинулись к нам, как к братьям. Победа!

И только Ленка стояла молча. А потом странно взглянула на нас и – бесшумно удалилась. Отпрыгавшись, мы снова вылупились на маяк: катер уже подошёл к Рейдовому молу, и два дяденьки, усадив Юрку, понеслись к Карантинному.

В тот вечер наш двор так и не заснул. Соседи обсуждали событие.

– Это ж надо! – ахала Флорика. – До самого маяка! В порту!!!

– Герой, – соглашался дядя Фёдор. – Я когда-то тоже раз пять до маяка гонял. Только не с порта, а с Ланжерона.

– С порта – это дааaа, – вторила ему тётя Буся. – С порта это даже не с Ланжерона. За такого и я бы замуж пошла. – И щерила все шестьдесят четыре зуба. И трепала по загривку извивающегося у её ног кота. И только прабабушка Копытманов с верхней веранды всё выясняла и выясняла у Симки, что случилось. А когда поняла, тоже поплыла беззубым ртом и одобрительно закивала:

– Экий хвулюган! То хвутбол, то маяк.

Ну а дядя Дорик Копытман всё высчитывал время и не мог уразуметь, как же мы, поехав на фуникулёре наверх, оказались в порту, и куда же в таком случае дели его мороженое.

Самого героя вернули домой, когда уже часы дяди Фёдора пробили двенадцать, три и пять. Вдупель сонный, поднятый с постели Соломон Соломоныч законопослушно стоял по стойке «Смирно!» перед двумя таможенниками и строгим блюстителем закона в лице молоденького мента с комсомольским значком. А когда они ушли, хлопнул подтяжками о тугой живот и, щёлкнув языком, выставил вперёд большой палец.

– Молодчина,– перевёл его жест Жорик. И добавил: – Форменный молодчина!

– Ойц, – возвела глаза в небо тётя Буся. – Помню, когда я была молодая, за мной тоже гонки до маяка устраивали.

– Да когда ты молодая была, того маяка и не было.

– Молчи, шлимазл. Этого не было, другой был! Только так и не доплыл ни один жених! – и кот на её загривке на всех уставлялся с вызовом круглым жёлтым глазом. А потом и вовсе поворачивался хвостом.

Двор шумел до самой ночи. Ещё бы! За один вечер наш форвард совершил два совершенно недосягаемых для нас подвига: взял Воронцовский маяк и побывал в милиции! Никто ещё в нашем районе не удостаивался такой чести. Думаю, не будь невероятного совпадения – день рождения Толи Колдакова и нашей Ленки Цырлиной – он геройствовать и не подумал бы.

Кстати, когда мы возвращались, то познакомились с Ленкиными кавалерами – центровые ребята оказались. И футбол любят. А белоштанный нас даже в гости пригласил, на улицу Петра Великого. И ещё мы договорились сыграть с ними матч.

Но… он так и не состоялся. За тем Юркиным подвигом последовали другие романтические события, в которых я уже участвовал исключительно в массовке.

ВТОРОЙ ТАЙМ

…Соловей ещё сильнее прижался к шипу,
и острие коснулось его сердца.
Всё мучительнее и мучительнее становилась боль,
всё громче и громче раздавалось пение соловья,
ибо он пел о Любви, которая обретает
совершенство в Смерти, о той Любви,
которая не умирает в могиле.

Оскар Уайльд

Утро выдалось длинное-предлинное, как шланг, из которого моя мама уже второй раз поливала двор. Безжалостное солнце, будто приколоченное, висело в небе и не собиралось двигаться к зениту. От акации прыскало прозрачно и сладковато и манило закопаться в её прохладные листья. От тротуара, где в оставленных шлангом лужицах бойко плескались воробьи, пар валил как из бани.

Было слишком рано для тех, у кого начинались каникулы, и поздно для тех, у кого ещё не кончился предотпускное время. Во дворе было пусто и жгуче. Я слонялся возле колонки, как бы регулируя напор воды. Да ещё мрачный Ястреб сидел на скамейке и вырезал свои инициалы.

Весь день после своего подвига он проспал. А потом ходил героем и ещё пару дней. Но ещё через чуть-чуть форварда загложили сомнения. Дело в том, что фасадные окна второго этажа уже который день не подавали признаков жизни. Ещё на прошлой неделе Ленка хвасталась, что собирается с мамой в круиз до Батума, и, похоже, это сейчас и случилось. Упорхнула, даже глазом не моргнув. И даже выпускные экзамены не стала сдавать – вот ведь!

В общем, стоял я и стоял возле колонки с шлангом, а Ястреб вырезал свои инициалы на скамейке. И каждый думал о своём. У всех ведь своя голова на плечах. А потому и мысли свои.

– Кого-то ждём? – вернул нас к действительности знакомый голос. Ленка была в двух шагах от нас обоих, и в глазах её искрилась победа.

– Жду, – буркнул Юрка, не бросая своего занятия.

– Кого, если не секрет?

– Александра Сергеича.

– Пушкина?

– Ага. Пушкина.

– А он не придёт!

Она подставила ладони под дырку в шланге и посмотрела на него взглядом змеи. Я как-то видел одну такую – смотрела на лягушку и та лягушка сама шла к ней пасть. Я ещё прогнал змеюку палкой.

– Может, искупаемся? – Ленка резким движением откинула волосы и пошла вперёд с уверенностью человека, не знавшего ни в чём отказа.

Глаза Ястреба потемнели, а ногти наоборот побелели, так он вцепился в скамейку. Наверное, он хотел остаться. Но что-то тянуло его за ней, как ту лягушку. А я оцепенел – оказывается, она все эти три дня никуда не уезжала! Она просто подглядывала за ним из окна! Вот сволочь! Эх, взять бы палку да вырвать Юрку из её лап!

Но я лишь проводил взглядом сначала её. А немного погодя – его. И когда они скрылись в подворотне, как лунатик, двинулся следом.

– Утопишься – домой не приходи! – донеслась до меня угроза тёти Буси.

Вообще-то, да. Может, и не стоило бродить по всяким глухим уголкам прибрежной зоны. По леденящим родительским рассказам там случались ужасные убийства и насилия. Хотя до самого Люстдорфа можно брести в полном одиночестве, взбираясь на пыльные, вызывающие зевоту тамарисковые холмы и сбегая вместе с ними к воде, где на влажновато-коричневых камнях бессильно тают медузы. Идёшь-идёшь и ни души – разве что на козу наткнёшься. Стоит бестия по брюхо в траве. И жуёт себе.

Я вспомнил про козу, потому что, когда оглянулся, баба Нуца, раскачиваясь взад-вперёд и жуя челюсть, смотрела мне в пояс, будто там должен болтаться обрывок верёвки, которой меня привязали к колонке. Никому – ни тёте Бусе, ни бабе Нуце не было всё равно, ослушался или не ослушался я материнского наказа стоять возле шланга! Так что даже жёлтые курячьи ноги из сетки проходившего мимо Соломона Соломоныча вытянулись в мою сторону с осуждением.

А мы шли.

Она – впереди, в оборчатой юбке, которая колыхалась парусом над её коленками.

И Он – на три шага сзади, подчёркнуто вразвалку и отрешённо разглядывая карнизы на противоположной стороне улицы.

А метрах в двадцати от обоих – я, мучимый угрызениями совести и ногтей.

Добродушные отпускники, томившиеся в очереди за пивом, взвинченные продавщицы на лотках с мороженым, разморенные хозяйки с полными сумками – все провожали нас глазами. А мы шли.

В какой-то момент Цырлина и Ястреб поравнялись. И пошли рядом – при каждом взмахе руки их соприкасались, и подобно воде встречные люди обтекали их. Будто шли они одни в целом свете. И только я. Метрах в двадцати от них…

– Будем загорать здесь! – Ленка бросила руку на один из шаров, венчающих берег Ланжерона, и уселась на один из топчанов. Я спрятался в зарослях чуть пониже, имея теперь возможность лицезреть их профили. Откинувшись назад и запустив руки в тёплые доски топчана, она улыбалась какой-то совсем непонятной улыбкой. А Юрка сел напротив.

– Ну говори, – повела плечами она.

– Что? – еле слышно спросил Ястреб. Он разглядывал какие-то камни у дальнего берега пляжа. Там торчал из воды большой рыжий валун, на котором, если доплыть, можно постоять. И даже посидеть. Наверное, ему хотелось сидеть на нём, а не рядом с Ленкой, вот он и не отрывался от него.

– Мне казалось, что ты хотел мне что-то сказать! – уверенно заявила Ленка.

Он долго молчал, продолжая разглядывать камень – право, если бы я был тем камнем, то, вылез бы и крикнул Юрке: «Глаза сломаешь!» – честное слово.

– Я же знаю, ты хочешь поговорить, – сказала она с нажимом.– Мы и пришли сюда потому!

Он молчал, молчал. А потом послышалось сдавленное:

– Как твои экзамены?

Она фыркнула и закрыла рот пальцами с колечком. На колечке сидел янтарь.

– Хорошо, спасибо.

Она тряхнула волосами. Они у неё были одного цвета с янтарём.

– А знаешь, я буду поступать в институт, где учат на дипломата, – сказала она. – Мои главные предметы – французский и обществоведение.

И снова молчание. А потом приглушённое:

А где такой институт?

– В Москве! – эта змея уже открыто смеялась, запрокинув голову. И добавила тоном воспитательницы: – Не в этой же глуши оставаться!

– Фу ты, ну ты, ножки гнуты! У нас тут «Черноморец», а там кто? – я даже сплюнул от досады.

– Так ты скоро уедешь? – в голосе Ястреба послышались отчётливо-тревожные нотки. И он наконец с трудом оторвался от камня – надо при случае сплавать туда и проверить – не продолбил ли в нём Юрка дырку?

Его беспокойство уловила Ленка и прямо захлебнулась от радости.

– Он в Москве,– повторила она, откровенно потешаясь и глядя Ястребу прямо в глаза. Какое-то время их зрачки были упёрты друг в друга. А потом Юрка стал смотреть на ножки её топчана.

– Тут такое дело, Юра, – пожала она плечами.– У меня совсем другое предназначение. Через несколько лет я буду блистать на приёме в Версале. А вы… Вам, скорее всего, придётся таскать кирпичи на стройках коммунизма.

– В Версале? – встрепенулся Юрка. – А что будешь принимать?

Она посмотрела озадаченно:

– То есть?

– Ну, на приёме чего? Списанных фонтанов? Или гардероба?

– В Лувре! – черканула она по нему почерневшим глазом. Хи-хи! Даже я знаю, что в Лувре и в Версале теперь музеи!

– А-а, в Лувре, – вконец осмелел Ястреб.– На приёме у Джоконды? О, это будет историческая встреча. Только брови выщипай, как у неё. В знак солидарности. – Он лениво разлёгся на своём топчане.

Ленка аж позеленела!

– Сморкач! – выплюнула она.– Щенок!

Надо же, как девчонки умеют быстро меняться! То смеётся, то вот уже от ярости клокочет!

А она потопталась и… сменила гнев на милость.

– Ладно, – стягивая с себя блузку, вполне миролюбиво сказала она. – Я пойду купаться, а ты охраняй мою одежду, святая простота. И *carpe diem*[1].

Ну и ну! Я обмер. А вдруг Ястреб не найдёт, что ответить?! А он тут же:

– *Ne quid nimis*[2], – и, зевая, накрылся газетой. Вот молодец!

Она вскочила, опять села, потом снова вскочила и, запутавшись в юбке, помчалась с пляжа прочь. Я уже собрался выскочить, хлопнуть Юрку по плечу и заорать, что он молодчина, что так ей и надо. Но вместо того, чтобы праздновать победу, он бросился на песок и сжал голову руками. А я успел заметить, как на его глазах что-то блеснуло!!! Я высунулся из своего укрытия, чтобы убедиться, что это

не слеза, и вдруг разглядел на его запястье две крохотные буковки! Ленкины инициалы! И чтобы Ястреб не заметил моего присутствия, свернулся морским коньком. У всех свои тайны! Стараясь не двигаться, чтобы Ястреб не обратил внимание на кусты, за которыми я прятался, я, как он, тоже уставился в её сторону.

А когда осмелился выглянуть, Юрки на песке уже не было. Только одежда лежала. Я вылез и стал смотреть. В воде его головы не было тоже. Одежда лежала, а хозяина нет! А вдруг Юрке стукнуло в мозг утопиться?! Я где-то читал про такое!

Я рванул домой, чтобы собрать ребят! Скажу им, что Юрка нырнул и долго не выныривает. А вообще-то лучше ничего не скажу. Просто позову на море, пусть понырляют.

Во дворе было пусто и скучно. Витёк подкидывал ногами камешки. Славик с учебником в руке что-то объяснял Фаинке. Дико вращая глазами, я заорал:

– Давай на море!

– Не, у меня экзамен завтра, – отказался Славик. А Витёк стал разглядывать меня, как пришибленного:

– Чего орёшь?

– Да пошли же, – я потащил его за рукав. – Жарко же.

– Никуда я не пойду, мы сейчас уезжаем с мамой.

– А Эдька где?!

– Ты что – с дуба рухнул? На экзамене! У всех свои дела.

Я обернулся на окна Цырлиной – они были закрыты ставнями. И я завопил:

– Она его утопи-и-ла-а-а! – и, не помня себя, кинулся к воротам.

– Кто?! Кого?! – свесились со всех сторон разнокалиберные головы и вытянувшиеся от любопытства лица. Махнув рукой, я рванул на пляж. Следом за мной понеслись Славик с Фаинкой, Витёк, Флорика, Симка… Сзади их ковыляли тётя Буся с бабой Нуцей и инвалид дядя Фёдор.

Юркины вещи лежали на том же месте, а его самого, естественно, не было. Расталкивая всех, я бросился в воду и по собачьи поплыл. Рядом забарахтались Славик, Витька и Фаинка, которая еле держалась на воде. Но… тут вдруг я увидел Юрку! Он лежал на песке лицом вниз. И не шевелился!

– Мы спасём его! – заорал я и – на всех парах к нему. Вчетвером мы единым рывком схватили его за руки-за ноги. А он… Он вдруг стал выдираться и отбрыкиваться. Но, навалившись всей гурьбой, мы всё равно оттащили его подальше от воды, и Славик стал дуть в его рот. Никто не задавал никаких вопросов – надо значит надо! А как делают искусственное дыханье, мы уже видели.

Но он всё-таки вырвался – сильный, гад!– и потрясённо уставился на нас. На бабу Нуцу, яростно перекидывавшую челюсть, и тётю Бусю. На Флорику, Симку и на запыхавшегося дядю Фёдора с одуревшими от солнца отдыхающими. И лупают глазами: он на них! А они – на него! А потом все – на меня!!!

Ох и задали мне потом! От всех сполна. От мамы за то, что без спроса от колонки ушёл. От Славика за то, что из-за меня они никуда не уехали. От тёти Буси за ключи, которые она по дороге потеряла. А от инвалида дяди Фёдора за то, что, пошкандыбав за нами, он забыл выключить примус и чуть не сделал пожар. Ни Ястреба, ни Ленки я больше в тот день не видел. Но пацаны единоутробно ржали с меня до самого вечера.

Вот под этот их хохот я и заперся дома. И решил никогда больше ни во что не вникать. Ни за какие коврижки! Хоть пусть с кого-то шкуру снимают, я пальцем не шевельну! Тогда и узнают! Правда, я уже обещал такое несколько раз. Но теперь-то я буду непреклонен!

Так я и заснул. Не произнеся ни слова.

А утром меня разбудил липкий зной, затопивший всю кровать. Я потянулся и, вспомнив про свой вчерашний обет, решил: какой же это обет молчания, если тебя никто ни о чём не спрашивает и вообще не говорит? И тут же ощутил жгучее желание кому-то его продемонстрировать. Только кому? Мама ушла на работу, а больше никого и нет.

Я высунулся в окно и увидел Ястреба. Вот удача! Он восседал на самом верху помойки. То есть, я хотел сказать…

Ну ладно, придётся объясниться. Тем более что этим я убью сразу трёх зайцев: избавлю себя от необходимости объяснять всё в дальнейшем; поведаю, наконец, о крахе моей первой любви. И… на время избавлюсь от мучительного желания кому-нибудь свой обет продемонстрировать.

Итак, он сидел на помойке…

Ах, помойка! Райский уголок нашего детства! Сколько чудесных воспоминаний, сколько удивительных находок! Там можно было найти всё что угодно. От очков до спящего пьяницы. До того, как у нас появился футбольный мяч, мы только и шлялись по ней целыми днями.

Это вам не какая-то там мусорная машина, которая своим погребальным звоном разбудит мёртвого. И не свалка, где мусору не дадут ни на мир посмотреть, ни себя показать. И не те здоровенные урны, где верхнему мусору привилегия перед тем, что на дне. Как по мне, это уж вообще нечистоплотность! В таком положении дел никакой справедливости. Если один мусор появился первым, ему и карты в руки! Хотя бы по старшинству! А младший должен вести себя скромно и не лезть поперёд батьки наверх.

Тем более что самое интересное заключает в себе как раз тот мусор, что старше. А в урне надо и повозиться и вывозиться, прежде чем что-то найдёшь. Так что по всем нормам наша помойка была во всех смыслах единственная. Можно даже сказать, она была воплощением всех помоек города. Всем помойкам помойка!

Размещалась она в фасадном доме нашего двора. В настоящем трёхэтажном доме!

Дело в том, что дом этот должен был идти в капитальный ремонт. Жильцов выселили, привезли цемент, уголь. А потом что-то застопорилось – пошли слухи, что овчинка выделки не стоит. И пока соответствующие инстанции ломали копья, сюда, в этот трёхэтажный дворец с его золочёными амурами и эркерами из морёного дуба, стали таскать мусор.

Месяц таскали, другой, и пять, и десять… И понемногу тайное стало явным – все три этажа забили.

Сколько раз мы забирались на самый верх и скидывали на прохожих оттуда сухие абрикосовые косточки, которых там вперемешку с кукурузными кочанами и гнилым луком было видимо-невидимо. Целый воз, наверное. Всё равно от этих кочанов и лука пользы прохожим никакой – разве что испортишь настроение на весь день. А вот абрикосовая косточка – дело другое. Особенно, если она в умелых руках. Или под кусок кирпича попадёт. Или под каблук. Или прямо на зубы.

Ядрышко у косточки горьким миндалём отдаёт – мама как-то миндальный торт пекла, и я этот вкус знаю. Ну и ещё чем-то… В общем, настроение человеку обеспечено.

И ещё одна сторона есть, познавательная.

Вот говорят: хочешь узнать человека – возьми его в горы. Ага, в горы! А где их столько взять? Да на всех и не напасёшься! Куда проще наш лозунг: хочешь узнать человека, сбрось на него абрикосовую косточку. Человек, на которого сбросили абрикосовую косточку, сразу преображается. Сначала ему чудится, что на него рухнул весь ракушечник, из которого дом сложен. А когда разглядит и осознает, что это, начинается самое интересное! А ты сиди себе на чердаке, посмеивайся и на ус мотай. Разнообразие впечатлений – в прямой зависимости от попавших под наш обстрел разнообразия человеческих особей.

Ястреб вполне успешно пополнял на помойке свою библиотеку. Это, кстати, являлось ещё одним несомненным достоинством её недр.

Так, однажды мы выудили драный словарь иностранных слов. Сначала мы хотели из него галок наделать, но на последних страницах Ястреб обнаружил целые залежи римских изречений и эти страницы забрал. Так что галок мы из оставшихся наделали.

Даже своим повальным увлечением футболом мы обязаны всё той же помойке. Мы там обнаружили книжку с правилами игры в футбол. Мы несколько дней мучили её вслух, а потом я загорелся этой игрой даже больше Ястреба.

Но если бы только это!

Вы помните про мать Ленки Цырлиной? Я уже описывал её. Сейчас-то мне стыдно в этом признаться, но тогда Лилия Яновна была моим идеалом и вообще первой любовью.

Много раз, лёжа под открытым окном и глазея в темнеющее небо, яро себе повторял её имя: «Лилия Яновна… Лилия Яновна…» – и засыпал, убаюканный этим неземным слиянием звуков. Надо ли говорить, что, завидев её, мистически цокающую по двору, я, сломя голову, бежал прятаться от неё и никогда не здоровался. А потом из-за какого-нибудь угла, раскрасневшийся и устыжённый, провожал глазами её фигуру богини, тающую в сумраке парадного.

Это произошло со мной сразу же после их приезда. Я тогда учился в третьем классе, и все девчонки нашего класса (да и всего мира вообще!) мгновенно перестали для меня существовать. Мне постоянно снилось, как я спасаю Лилию Яновну из-под обломков землетрясения (тогда Одессу как раз потрясло немного) или вытаскиваю её из жижи прорвавшейся городской канализации! Именно канализации, а не моря или лимана, почему-то, хотя именно её мутные потоки, оставаясь монополией Пересыпи, до нас ни разу не доходили. Но в самой сути этих моих канализационных снов была скрыта романтика: во-первых, спасание из моря не таило в себе ничего необычного. На море даже спасатели в лодках плавают, тогда как спасать или плавать по волнам прорвавшихся труб никому и в голову не взбредёт. Во-вторых, сам факт того, что прекрасную Лилию Яновну я вытаскиваю именно из бурной зловонной грязи, возвышал меня в собственных глазах. И наяву я ждал своего мига.

И вот судьба предоставила мне шанс! Великий шанс. Который сначала привёл меня в священный трепет. А потом – в глубокое уныние.

Это случилось тут, на помойке. Дело было так.

Мы играли в шпионов. И в качестве мальчика по посылкам я должен был забраться в дальний угол коридора на третьем этаже и передать агенту секретный пакет с кодовым названием «Булыжник» из рук в руки. Вернее, как раз наоборот – это был булыжник с кодовым названием «пакет». Впрочем, в данный момент значения это не имеет. Агента на месте не оказалось, а мне ещё надо было успеть в Генеральный штаб на первом этаже. А по дороге убить вражеского лазутчика. И изъять у него оружие. Вот я и решил в целях лучшей сохранности закопать пакет куда поглубже. И, разгребая кучу, наткнулся на тугой свёрток. Недолго думая, я вскрыл его. И что?

Там оказалась целая пачка чеков Торгмортранса, вот что! Навалом! Наш Жорик по таким отоваривался заморскими сигаретами и всякими-разными шмотками, которые Флорика потом толкала своим знакомым. В магазин, где такие чеки брали, пускали только моряков. Грозный дедуган с крабом на фуражке проверял документы очень пристально, и если что-то не нравилось, грозился милицией и прогонял.

То есть я хочу сказать, что на эти бумаженции нормальному человеку даже эскимо было не купить.

Я уже собрался их выкинуть, но тут меня осенило! Если водолаз Жорик ещё не вернулся из рейса, и его комната на замке (а других моряков у нас во дворе не было), значит, эти чеки…

И, сорвав операцию с поимкой шпиона, я кинулся к *Её* двери.

О, как прост и дьявольски-хитёр был мой благородный поступок! Ну никак он не мог остаться без награды!

Я даже не сразу нащупал звонок Её двери, так стучало сердце в моих висках!

Может, Она подарит мне личный футбольный мяч со своей подписью, и я сохраню его на всю жизнь! Она спросит: «Мальчик, чем же одарить тебя за эту услугу? Что хочешь, проси!». И я отвечу, потупив глаза…

В общем, я обтёр возле двери Лилии Яновны каждую ступню о штаны на всякий случай провёл под носом плечом и, чуть помешкав, нажал розовую пипочку (Как в старинных романах про рекомендательные письма: «Этот молодой человек изволил оказать неоценимую услугу…»).

Лилия Яновна высунула своё лицо почему-то то ли в сметане, то ли в манной каше, и я широким жестом протянул ей свёрток. И, предвкушая, что сейчас последуют благодарности, небрежно обронил:

– Это не ваши чеки? Я их на помойке нашёл.

(Может, про меня даже в газете напишут. С фотографией!)

А она молча смотрела то на меня, то на раскрытый свёрток и размазывала на лбу то ли кашу, то ли сметану. А потом также без слов выхватила его обеими руками и… тут же захлопнула дверь! Уже с той стороны я услышал: «Спасибо, маленький. Конечно, это наше!». Всё!!!

…Как я перенёс этот удар, лучше и не вспоминать! Вот тогда же я и дал два обета: никогда ни в кого не влюбляться и никогда больше не смеяться. Я буду суров и мрачен, как граф Монте-Кристо. Или капитан Немо!

Исполнить мне их, однако, не удалось.

Но вернёмся в сегодняшний день. Итак, выглянув в окно, я увидел Юрку. Его голова торчала из слухового окна на чердаке помойки. Наверное, он сидел на драном кресле, куда мы любили забираться с ногами, и, конечно, тоже видел меня. Я обрадовался, – так я мог продемонстрировать Ястребу свой новый обет. А взглянув второй раз, я и Ленку увидел – она вышла из своего парадного такая серьёзная, холодная, в жёлтом с чёрными разводами платье. Она подняла глаза и обнаружила Юркину голову. А Юрка увидел её. И отвернулся. Она тоже отвернулась и решительным шагом двинулась к подворотне. Я вспомнил про её Версаль и хихикнул: « Иди-иди!». А когда натянул штаны и взялся за ручку двери, обмер: в слуховом окошке торчали уже не одна, а две головы: его и Ленки! И эти две головы сначала долго молчали. Лишь потом губы то одного, то другой стали шевелиться. Я стал ждать, кто же на этот раз окажется побеждённым – по первым двум встречам счёт был пока 1:1.

А они вдруг начали хохотать и… исчезли. Это как понимать?! Я немедленно рванул на помойку. Но их там не было. Их не было нигде! Стало быть, Ленка похитила нашего кумира – побеждённым я почувствовал себя!

Мой обет жёг меня всё сильнее. К нему прибавилось ещё и настоятельное желание кому-то рассказать о захвате форварда. И, надеясь на резонный вопрос: «Чего это ты?», стал наворачивать круги вокруг тёти Буси, но она, закончив разделывать камбалу, накормила котов и ушла, хлопнув меня по затылку.

Тогда я попробовал пристроиться к Флорике – она развешивала бельё на верёвке. Но она так обрызгала меня, встряхивая простыню, что я поспешно ретировался. И тут вышел Эдька!

– О, привет, – сказал он. – Я вчера экзамен сдал, теперь – свобода! Гуляем!

Я изо всех сил старался показать, что не отвечу, но он и не нуждался в ответе.

– Берём удочки и – по бычки! Я как взял билет – глядь, а там то, что я знаю. И – четвёрка, представляешь?! Я первый раз в жизни четвёрку получил, ей-Богу! – Эдька не давал слова вставить и всё хвастался и хвастался: – Взял билет и говорю…

И снова понёсся рассказ про экзамен.

У меня зачесался нос, потом ухо, потом что-то ещё – уже не помню. И вдруг я громко брякнул, сам не знаю как:

– Она его украла!

Эдька вылупился, а с верхней веранды свесился старый Копытман:

– Шоб мне тебя до смерти не видеть! Вчера утопили, сегодня – украли… У тебя не все дома? Ты имеешь галюники?

Я пожалел, что открыл рот.

– Кто украл, кого утопил?– затормошил меня Эдька. Он ничего не знал о вчерашнем – вчера его во дворе не было, а сегодня никто не успел ничего рассказать. – Да отвечай ты!

– А ты Юрку поищи! – зло прошипел я.

– А чего его искать, – встрял подоспевший Витёк. – На море, или дома сидит. Он же экзамены сдал.

– Нет! – мстительно отрезал я. – Его Цырлина украла!

Все захохотали.

Я хотел выдраться от Эдьки и, как вчера, убежать. Но он крепко держал меня за руку и прямо падал от смеха на раскалённый асфальт двора. Витёк тоже держался за живот, а с верхней веранды доносилось уханье дяди Копытмана. Решив, что все эти обеты – чушь, я тоже заржал вместе с ними. А вечером вернулся с экзамена Славик, и, взяв с собой удочки, мы отправились отмечать его пятёрку и Эдькину четвёрку.

Знаете, как можно ловить бычков? На фонарь! Нет, это не значит, что его надо цеплять на крючок вместо червячка и забрасывать в воду. На такую приманку бычок бы и клюнуть не смог. Это разве что если бы мы пошли на акулу. Да и то, фонарь жалко – акула и на кусок железяки клюнет. А фонарь для неё вроде как деликатес.

Нет! На удочку цепляется элементарный мотыль или даже хлеб. Забрасывается с пирса в воду, а фонариком сверху светится. И всё! Бычок – существо глупое. Сколько уже раз его обманывали, а он продолжает клевать, как ни в чём не бывало. Но чтобы удить на фонарь, идти надо ночью. Нам ночью не очень-то разрешали даже во дворе расхаживать, но мы стали упрашивать родителей так дружно, что, принимая во внимание успехи на экзаменах и переход в выпускной класс самого здоровенного из нас, скрепя сердце они согласились. Хотя и взяли с Эдьки клятву смотреть за нами в оба и ни одного не выпускать из вида. Больше всего колебалась моя мама. Мало того, что я был младше всех, но я ведь в последние два дня продемонстрировал лёгкое умственное, так сказать, недомогание.

Впрочем, всё хорошо, что хорошо кончается, и на закате мы вышли из двора, нагруженные рыбачьими атрибутами. Вернуться обещали с первыми лучами.

В подворотне мы столкнулись с Ястребом и Ленкой.

– А мы на рыбалку, – как бы между прочим помахал я фонариком. Умысел мой был таков: Ястреб давно хотел отправиться ночью на бычка. Так что, может, он захочет пойти с нами и бросит Цырлину. К чему она на там?

Но дело оказалось совсем плохо.

– Ой! – захлопала она в ладоши. – А я так люблю всякие приключения! – и тут же пристроилась к нам.

Интересно, а если бы Ленка этого бы не сказала, что бы сделал Ястреб? Умысел мой повис в воздухе, и я незаметно отстал, чтобы посмотреть на всё со стороны. И стал их разглядывать. А они шли совсем не так, как всегда. Обычно это были две далёкие друг от друга субстанции, готовые в любой момент начать артобстрел друг друга. А сейчас – одна мирная субстанция, которая ещё и улыбалась. Что за наплевательское отношение Ястреба к самому себе?! «Наплевательское» – это я где-то вычитал. Ну а как ещё назвать такое неуважение к собственному достоинству? Сколько раз она смеялась над ним! Будь я на его месте, я бы вообще её не замечал. Подумаешь, актриса погорелого театра!

Я встревоженно перевёл глаза на наших. Нет, никто не хихикает и не тычет в них пальцем: «Тили-тили-тесто». Вообще молчат. Идут себе, будто ничего не случилось. Ну и люди! Заговор молчания какой-то! Тут человек погибает, а им пофиг.

Мы спустились к морю, только не на Ланжерон, а дальше, к Отраде, туда, где маленькая дамба. Там всегда клёв отличный. Бычки ведь в скалах прячутся под водой, а скал много. И пока мы выгружали вперемешку с родительскими бутербродами снасти, Ястреб с Ленкой, немного покрутившись рядом, попёрли наверх, в парк. Там же комары! Я было тоже поднял ногу на дамбу – интересно же, что они там будут делать? – но Эдик грозно крикнул:

– Куда?!

И мы снова замерли над водой. Но мне не терпелось! Я подождал, пока клюнет, и, когда поплавок дёрнулся, бухнулся вниз. Будто меня рыбина потащила (я такой приём в кино видел!). Сломал в воде удилище, большую его часть сунул в расщелину. А бычка отцепил – пусть растёт. И всплыл.

– Э, удочка-то тю-тю! – разволновались пацаны: – Отрыбачили на сегодня.

Но я-то хитрый!

– Чего это?– говорю. – Сейчас прутик сломаю – и будет новая!

– Ну, дуй, – снова взялись они за фонарь.– Только недалеко ходи!

И я помчался наверх! А там забрался между деревьями в самый тёмный угол и стал прислушиваться. Но – глухо. Темень хоть глаз выколи! Ни Ястреба, ни Ленки.

И тут совсем рядом слышу Ленкин шёпот:

– Боже, как они поют…

Я опешил. Кто поёт? На дамбе никто из наших не пел.

– Лучшие соловьи – наши, черноморские! А говорят, курские, – это уже Юркин голос.

Я прислушался.

Справа, слева, сзади – отовсюду наплывали какие-то странные звуки. То ли капли росы плюхались с веток. То ли что-то другое, только непонятное совсем. Соловьи? Я про соловьёв разве что в книжках читал. Я-то по ночам дома сижу. Даже не сижу, а сплю – меня и сейчас сразу после «Вечерней сказки» укладывают. Правда, я хитрый – я с фонариком под одеялом читаю. Мне и в голову бы не пришло слушать, что там за окном. Ну а что там может быть? Деревья да воробьи. Комары ещё. А соловьи… Я и сейчас не обратил бы внимания, если бы не Ленка. Я думал – вымерли они ещё в эпоху китайских императоров.

Но то, что сейчас вливалось в мои уши, было совершенно непередаваемым. Нет в человеческом языке такого! Каждая нота звенела хрустально и чисто. Как осколок лунного света. Или, может, там и Венера, и всякие Марсы-Нептуны… Упругие такие звуки. Они вспыхивали, как крохотные фейерверки. И схлёстывались друг с другом и разбивались вдребезги на новые узоры. Надо же! Наверное, так пели у Садко гусли-самогуды. Соловьи заливались так страстно, так неудержимо, что, казалось – весь мир рассыпься – они не умолкнут!

В тот май я впервые открыл их для себя! И даже не я – открыли их мне те двое влюблённых, что сидели на лавочке. А я просто стоял, не в силах шевельнуться. И даже не дышал!

И, стараясь не порвать этот волшебный кокон, накрывший парк, я бочком-бочком и – на дамбу.

– Где же твой прутик?! – сунул мне под нос Витёк ведёрко барахтающихся бычков.– Мы же на рыбалку пришли, а не на маёвку.

Скажет тоже. Какая рыбалка!

– Там соловьи поют! – выдохнул я.

– Офонарел?! – глядя на меня, как на придурочного, хихикнул он. – Иди, лечись, пока трамваи ходят! Они каждую весну поют. И когда мы сюда шли, пели.

– Как?! – поразился я. – Ты знал, что это соловьи и не остановился?! – и под крики «Ты шо? Сдурел?!» кинулся назад, в парк. Отправив ногой ведро с бычками в море. Для меня во всей Вселенной, кроме соловьёв, уже ничего не существовало. Лишь бисерный водоворот соловьиных трелей в ушах. А они то взрывались, то спадали, и я незаметно уснул. И во сне дал себе обет, единственный обет, который потом сдержал – где бы не был, я каждую весну буду слушать соловьёв!

Когда я пришёл в себя, уже вовсю светило солнце. Но сквозь чириканье воробьёв и воркование горлиц мне по-прежнему слышалось соловьиное пение. И, не разбирая, в какую сторону иду, я поплёлся домой.

И обнаружил себя в Аркадии, совсем в другой стороне от дома. На трамвай не пошёл – боялся расплескать своё торжественное состояние. И потащился дальше. Через кустарники и заросли малинового чертополоха, сквозь наводнившие парк людские пробежки и выводки собак на поводках.

Во двор я вошёл, когда солнце уже близилось к зениту. Двор был полон.

– Господи! Живой! Живой! – кинулась ко мне мама. В середине толпы бурил меня чёрным глазом милиционер. Славик и Эдька покаянно мялись в отдалении (впрочем, это не помешало им показать мне кулаки!). Отцеловав меня, мама, с тем же жаром принялась меня дубасить:

– Негодное отродье! Я сейчас из тебя всю душу вытрясу! Отвечай, где пропадал?!

А милиционер положил папку на колено и начал что-то строчить под речитативы дяди Копытмана:

– А что тут писать, Беня?! Этот мальчик больной на голову. Я ж тебе говорю: позавчера у него топили, вчера – крали. А сегодня он сам за мозгами пошёл! – и повернувшись к маме, посоветовал: – Да отведи ты его, Люся, на Слободку. Как скорее, так пораньше. Может, вылечат!

А я смотрел них и улыбался. Со мной были мои соловьи!

***

Но, оставаясь в памяти слабой искоркой**,** даже самое сильное впечатление неизбежно гаснет. Уже через несколько дней моё воображение, как и всего прогрессивного человечества (это я по радио слышал!), устремилось к чемпионату мира по футболу.

Для нашей сборной он был второй. А для мира – седьмой. С блеском обыграв Турцию и Норвегию на отборочном турнире и на своих, и на их полях, наша сборная стала иметь общий счёт 8:2. Это был реванш за проигрыш тем же скандинавам на прошлом, только шведам. Да, на прошлом (подумать только!) наши проиграли хозяевам поля в четвертьфинале. Зато в отборочных играх перед прошлым чемпионатом наши у тех же скандинавов, только у финнов, выиграли на их же поле уже со счётом 10:0! Заметили закономерность? Сначала мы выиграли у скандинавов-финнов, потом скандинавам-шведам проигрываем, потом выигрываем у скандинавов-норвежцев. Значит теперь, если мы встречаемся со скандинавами, всё равно какими – непременно проиграем. Обидно, но что тут попишешь? Так работает Вселенная!

Когда я всё это просчитал, я тут же кинулся искать, в каких группах играют скандинавы. И – к моему великому счастью оказалось, что на этом чемпионате их нет! А это значит, что хотя бы одного проигрыша у наших не будет!

Из группы «Б» наши попали в группу «А», вместе с Югославией, Уругваем и Колумбией. Две последние команды – южноамериканские. Если применить мою систему, то получится: наши проиграли на прошлом

чемпионате только южноамериканцам, правда, одной команд, а не обеим. Но зато – *Бразилия*! И если предположить, что одна Бразилия равна Уругваю плюс Колумбии, получится, что на этом чемпионате наши обязательно выиграют и у Колумбии, и у уругвайцев! А уж если случится и третья встреча, – будем надеяться, пройдёт она не сейчас, – так это уже совсем другая история. Вам понятен ход моих мыслей и моя система? Ну вот. Сколько их ещё – потенциально опасных для нашей сборной южноамериканцев? Чемпион мира Бразилия – в группе «С», а хозяйка чемпионата Чили – в группе «В».

Ой! Я же совсем забыл напомнить, что на этот раз съезжались в жаркую, вытянутую на карте через всю Южную Америку тихоокеанскую страну все лучшие сборные мира. А это вам не кот начхал!

Я часами стоял возле карты, выискивая названия городов, где будут проходить матчи. Названия Пуэрто-Монт, Вальдивия, Консепсьон, Вальпараисо, Ла-Серена, Тальталь отзывались во мне музыкой!

И самым главным городом был, конечно же, Арика, примостившаяся на самом краешке карты.

Здесь кончалась Чили и начиналась игра!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

И видел он: темнеет вышина,
Горит звезда, как рана в ней сквозная…
Пью чашу жизни я, того не зная,
Что, может быть, отравлена она.

Расул Гамзатов

Арика! Это слово в те дни стало неким паролем, потому что там, в далёкой выжженной пустыне, на которую лениво накатываются тяжёлые океанские волны, играла наша сборная!

СССР – Югославия – 2:0! Первый матч – первая победа!

На следующий день всё мужское население нашего двора торчало под акацией, обмениваясь впечатлениями по поводу успеха в Арике. Акация разливалась в воздухе, просачиваясь сквозь кожу и забиваясь в нос через мозги, мешала думать.

Но что там думать! Наши взяли чемпионский старт! Вот судите сами: прошлый чемпионат выиграла Бразилия. В первом же матче она накидала Австрии 3:0. На позапрошлом будущие чемпионы – ФРГ – закинули туркам целых четыре штуки. Сразу бросается в глаза: 4:3:2. То есть, по закону арифметической прогрессии, чемпионом теперь станет тот, кто в первой игре забьёт два мяча. На прошлом чемпионате наши уступили Бразилии те же два мяча. Следовательно (вы следите за ходом моих умозаключений?!), в этом году мы и будем преемниками Бразилии. То есть чемпионами!

Правда, когда я делился своими расчётами с Жориком, он мне выставил контраргумент: Бразилия-то и на этом чемпионате первую игру выиграла 2:0. Вот Жорик! Сравнил же, соперник – Мексика или Югославия! Югославия на прошлом чемпионате вышла в четвертьфинал, а Мексика и на позапрошлом ни одного очка не набрала. Так что наш выигрыш у Югославии куда ценнее, чем бразильцев у Мексики!

В общем, единым мнением стало: золотая «Ника» будет нашей! В финале мы обыграем бразильцев, а за третье место сразятся Югославия и хозяйка чемпионата – Чили!

Если бы могли заглянуть вперёд, то обнаружили бы: да, наш первый прогноз сбудется! И только одна буква изменится в нём. Одна роковая для нас буква!

Но всё это будет нескоро. А пока нас всех – и болельщиков, и неболельщиков – объединил и спаял Большой футбол! Честное слово, только такая игра как футбол способна стереть все границы между людьми, сделать их всех друзьями!

Наша сборная с триумфом шла к финалу! С утра до вечера сидели мы на помойке. Развалившись в драных-передраных креслах и по-американски положив ноги на обломках столов и тумбочек, снесённых нами со всех этажей, мы вели долгие разговоры обо всём на свете. В воздухе парил запах пьяной вишни – хозяйки двора выставили на солнышко бутыли с бродившей наливкой, купались в луже у колонки воробьи, а мы говорили и говорили. Даже Ленка оказалась вполне центровой девчонкой и слушала нас с интересом. И только Юрка усиленно готовился к экзаменам – он решил сдать за десятый класс экстерном. Чтобы не терять целый год. И Ленку.

Ничто не омрачало нашу жизнь, и мы думали, что так будет всегда. Но в один прекрасный день всё рухнуло. Как это случилось?

Это была игра четвертьфинала СССР-Чили. Вы помните мои расчёты для южно-африканских сборных? В одну из атак чилийцев по левому краю наши нарушили правило. Судья назначил штрафной. Место, откуда должны были ударить, не внушало никакого опасения ни Льву Яшину, ни остальным: мяч был далеко от ворот, и угол удара получался слишком острым. Наши ждали со штрафного передачу в центр. Бил Лионель Санчос, левый крайний чилийцев. И вдруг случилось невероятное! Мяч, пролетев

«резаной» дугой над головами стоящих в «стенке», колыхнул сетку в правом углу наших ворот… Но примерно в середине первого тайма Игорь Численко сравнивает счёт. 1:1! Теперь главное – атаковать, не дать соперникам прийти в себя… И вдруг!!! Как гром среди ясного неба. Тот же Санчес, сняв мяч с ноги Валентина Иванова, дал пас Рохасу. И сильный, точно издалека пробитый мяч врезается в сетку ворот Яшина, закрытого игроками. Гол!!! В наши ворота!..

И нет больше надежд на дальнейшую борьбу и на золотые медали. Тяжело и обидно уходить с поля в Арике. И горько смотреть финал, в котором уже не было нашей сборной…

Да. Мой прогноз-таки сбылся: в «матче утешения» в борьбе за третье место играли Югославия и победившая нас Чили, роковая для нас южно-американская сборная. Только в финале, в матче за «Золотую Нику», изменилась всего лишь одна-единственная буква: не Бразилия и СССР, а Бразилия и ЧССР сражались за золото мирового чемпионата.

Я плохо помню тот финал. Мне до сих пор кажется, что после того, как наши выбыли из борьбы, чемпионат остановился.

Эх… Всю жизнь нас манят миражи детства. И всё, что бы мы ни делали потом, имеет лишь одну цель: на мгновение вернуть то фонтанирующее ощущение праздника, что было в детстве…

В четвёртом классе я вёл дневник. Единственный за всю мою жизнь. И вот, спустя четверть века, я случайно наткнулся на него. И понял, как же мало мы, сегодняшние, стоим против нас тех, прошлых.

– В Саргассовом море – кладбище кораблей, – вводил нас в курс своей профессии водолаз Жорик. Он собирался в рейс на Кубу. – Водоросли там – десятки километров. Вцепятся – амба! Однажды работаю на глубине. Глядь – молоток прёт. Натуральный молоток с глазами! Что ты! Вот, братцы мои, где фауна! И осьминоги там с меня ростом!

– А кровь у них зелёная! – это, прихлёбывая какую-то бурду, вылез в окошко дядя Фёдор. Когда-то он тоже промышлял в морях. – Зуб даю, зелёная! Как-то в 42-м нас торпедировали, и я у акулы видел. Она на меня, а я её ножом – хрясь! Зелёная!

– Слишком глубоко тонул, дядя Фёдор. Вот и позеленело! – зубоскалил Жорик. – А кровь, братцы мои, ещё и голубая бывает! – он мотнул головой в сторону подворотни, где нарисовалась Ленка… об руку с каким-то пижоном в диоровском пальто. В нашем кружке стало тихо-тихо. Слышно стало, как над бутылями вишнёвки гудят осы.

– Ну и тощой, – оглянулся я на Ястреба.

Хлыщ вылупился на меня, оглядел остальных и преспокойненько потопал к парадной Цырлиной. Надо же! Вчера ещё Ленка до ночи сидела с Ястребом на чердаке и болтала всякую чушь, типа, что вот-вот из рейса вернётся её папан, и маман поедет с театром на гастроли во Францию-Италию. Трепалась, трепалась, а с утра ушла «по делу». И вот вернулась… И откуда она их берёт?!

Из неуспевшей закрыться двери донёсся… вроде как звук поцелуя. Глаза Ястреба стали твёрдыми и тёмными, как камешки-голыши.

– Эй, дигиль, выходи! – что было мочи заорал я и запустил в Ленкино окно земляным катышком.

– Не услышит, – констатировал Эдик.

– Ага, крем-соду пьют, – принюхавшись, определил Славик.

И мы в секунды обвесили акацию.

Сквозь раздувавшуюся штору был виден стол. С блюдечками, вилочками, всякими розеточками и ложечками – такое мы разве что в кино видели! А Ленка с дигилём сидели к нам боком и шпарили на французском! Тут уж не ошибёшься – она всем уши прожужжала своими «ля фамами» да «ля мурами»!

Сейчас Ленка с благоговеньем взирала на «Дигиля», который держал в руках какую-то папку и, тыкаясь в неё носом, что-то подробно объяснял.

– Бьём скопом? – спрыгивая на землю, уточнил Эдик.

– Всем лечь на другой галс, – хмуро отверг Ястреб. – Я сам его сделаю.

Уже проковылял к воротам дядя Фёдор – он всегда перед сном «дышал морем». Игнорируя духоту и обмотав себя длинным шарфом, дунул «в кинуху» Жорик. Он любил ходить на последний сеанс. Население двора либо возвращалось домой, либо завеивалось полуночничать. Только «дигиль» всё сидел у Ленки.

Отправив в окна Цырлиных воздушный поцелуй, он двинул к подворотне, когда одни часы дяди Фёдора прокуковали двенадцать, а другие пробили два и четыре. Тут лёгким хуком Ястреб и уложил его на асфальт.

– Оля-ля?! – ошеломлённо вскричал снизу «Дигиль». – Кескесе? Же суи артист!

Это был скандал!

Ленкиному отцу закрыли визу. Мать вычеркнули из списков на заграничные гастроли. А пижон оказался вовсе даже французским балеруном. Он явился к Цырлиным для заключения контракта!

Назавтра Лилия Яновна из сладкозвучной сирены превратилась во что-то остроугольное с синеватыми подтёками в подглазьях.

– Паршивцы! – неистовствовала она. – Помоечники! Не смей с ними общаться, Еленочка!

– Да я их в упор не вижу!– брезгливо отвернулась Ленка от поникшего Ястреба. И я вдруг заметил, какие они обе некрасивые. Ужасные просто! И ноги у обеих, как палки!

А Ястреб стоял и смотрел.

Молча. Я всегда буду помнить его лицо. Такое бывает у человека, под ногами которого разверзлась бездна. И назад поздно – и вперёд некуда. Стоял и смотрел. В никуда. Или, может, в своё совсем недавнее счастье, когда слушал соловьёв на «Отраде»…

А назавтра во двор прикатило такси, и, хотя до вступительных оставался целый месяц, Ленка принялась вытаскивать свои сумки. Выскочивший было во двор Юрка загородил ей дорогу. И посмотрел ей прямо в глаза. Она тоже посмотрела. И, презрительно скривив губы, прошла мимо.

Такси тронулось и понеслось. А мы долго смотрели вслед. Хотя, что там смотреть? От нас до вокзала и десяти минут ходу нет…

Я плохо помню подробности того финала. Но из Ленкиных писем матери мы узнали, что она-таки поступила в Москве, но не на дипломата, а в культпросвет. И не в университет, а в училище. Мы ждали, что в конце августа она приедет, но она не приехала.

Не приехала она и на следующий август…

ПОСЛЕМАТЧЕВЫЕ ПЕНАЛЬТИ

Давно уже квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует. Она зависит от способа нашего видения. И когда недавнее «сегодня» переходит в ранг «вчера», становится грустно. Сегодня мы уже не на том высокомерном Монмартре – приюте мечтателей. Мы хронически опаздываем в нашем «сегодня», пахнущем сигаретами и портвейном. И знаем, что счастье – штука глуповатая и близорукая. Той, какой виделась нам жизнь в детстве, уже никогда не будет. Мы опоздали навсегда. Нам осталось цедить каждый день, как струйку мёда из августовского шестигранника соты. Медленно и протяжно.

Через пару лет поступили в институт Витёк и Славик. И ушёл бродяжничать по морям и океанам Эдик. И стала почтальоном толстуха Фаинка с малого двора…

Толька Юра Ястреб остался молодым. Он погиб девятнадцатилетним на далёкой границе, и его старая мать всё разглаживала и никак не могла разгладить на его лбу синеватую вмятину от крышки гроба…

Я давно не живу в том дворе. И наших там почти никого не осталось. Одна Лилия Яновна. Сидит она на скамеечке, подстелив под себя носовой платок, и смотрит вдаль пустыми глазами.

– Здравствуйте, Лилия Яновна! – говорю я громко, проходя мимо. Она медленно поворачивается и неуверенно кивает.

Всё истощилось на этом лице. Она рано овдовела и много лет одна-одинёшенька живёт в своей большой – семь дверей, не считая входной, – квартире. Наверное, там много сквозняков и шорохов. И жутко, когда потрескивает в темноте рассохшийся пол. И кажется, будто по сумрачным комнатам снуют прозрачные тени. Что ищут они там, и что найти никак не могут?..

А Ленка где-то в Москве. Она замужем третий раз, в этот раз за кем-то из дипломатического корпуса. У матери бывает редко. То ли боится тех призрачных теней, то ли душа её, как и эти тени, не может никак найти потерянное.

Долго-долго сидит на скамеечке Лилия Яновна. До тех пор, пока не разойдутся все соседи. Тогда она поднимается и бредёт к своим дверям.

И соседи Лилия Яновны живут сами по себе. Встретятся на лестничной клетке – поздороваются. А бывает и так пройдут. У них свои заботы. В универмаге финские сапожки «выкинули». А в одном месте обещали «устроить» импортный скейт.

После детства я только один раз, на самой заре «перестройки», был в этом городе. Тогда и нашёл свой дневник.

Больше я сюда не возвращался. Но как катаются на скейте, я видел. Юный индивидуум встаёт на середину и, искусно двигая бёдрами, гонит доску вперёд мимо нашей бывшей помойки.

Вместо того старинного здания, которым начинался наш двор, построили новодел серого цвета. И когда зажигается свет, видно, какие там низкие потолки.

Во дворе – штанги. Две с одного конца, две – с другого. Только в футбол уже никто не играет, и судьба «Черноморца» никого не волнует. Юные индивидуумы катаются на скейтах.

Тот, кто хорошо овладел своим телом, катит далеко-далеко, к самому «Ланжерону». Туда, где свинцово-серое небо смыкается с таким же свинцово-серым морем.

Они гонят туда отрешённые, как галактики. И далёкие друг от друга.

И жуют апельсиновую жвачку.

---

[1] Carpe diem *(лат.)* – лови мгновенье.

[2] Ne quid nimis *(лат.)* – не нарушай меры, ничего лишнего.

ИРИНА ЕРМАКОВА

ЦИКАДНАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

***

Кто говорит на языке
а кто – обходится иначе
не держится в земной строке
прошёл за оболочку ночи
и покатился налегке
не опасаясь темноты
чуждаясь явных объяснений
не затевая отношений
сквозь безымянные кусты
чтоб вылетая на дорогу –
шлагбаум степь ночная Керчь
послушать как любезна Богу
цикадная прямая речь

***

Белое платье в пол,
низка фамильных бус.
…век-истребитель насквозь прошёл:
жди, золотым вернусь,
времени больше нет,
стой во тьме на своём,
как столбовой свет
снежный под фонарём.

Мне ли одной-смешной
всё растопить кругом,
спит за моей спиной
родина мёртвым сном.
Лёд и державный стыд,
больно дышать в снегу,
жемчуг на горле горит,
полный обвал в мозгу.

Как продышать страх,
чем одолеть лёд,
белого платья флаг
ветер цепной рвёт,
светится-тает снег
всё веселей и злей,
словно вот-вот золотой век
будет стране моей.

***

Голову повернёшь чуть-чуть
и сразу тропа
сразу обрыв кубарем вниз к реке
сказано же не оглядывайся забудь
не оглядывайся никогда

Уже бегу
продираясь в густом береговом ивняке
узких листьев серо-зелёная чехарда
тропка пунктиром в очень горячем песке
память – бег по песку
оглядка – изгиб реки
строгое солнце сверкнёт сквозь листву
как бабушкины очки
ветка хлестнёт по лицу
больно вспыхнет вода
и никого снова на берегу

Не оглядывайся никогда

Я уже по колено
по пояс
уже плыву
как наяву
как завтра или вчера

Огненный шар стекает в разлив Днепра

ПОРТАЛ

брату

Корни и темень – вход, где сосна
рухнула, помнишь? – обрыв обрушив,
срез предъявляя: жизнь не одна,
каждая новая – выше, суше, –
и закачалась, свисая криво
на узловатых корней канатах,
срез и подземная перспектива.

– Я почти не помню шестидесятых.

Правобережный грохот пошёл,
хвойное эхо: сбежа-ать хотела!
волны песка зарывают ствол,
в розовомедных порах коры
белое деревянное тело,
в корни вцепилась поляна у края,
туча песка оседает, как взрыв.

– Выход в сегодня перекрывая?

В круг на поляне пять сосен шумят,
ветки – побегом из кончика пальца –
огненно-лёгкие тянутся так,
что оторвутся сейчас и спалятся,

помнишь, как сосны по кругу шумят,
словно семья за воскресным столом
в доме последнем над самым Днепром?

– Брось! Обжигает каждый пустяк.

Празднично скатерть шуршит вышивная,
пар над тарелками поднимая,
смех за столом, драгоценные тени,
узкая ваза винной сирени,
солнце горит на ножах, пробегает
ток по рукам, накренясь проплывает
хлебница, крошки летят и опять

– В воздухе вспыхнувшем зависают

двери захлопают ахнет посуда
выскочить и по обрыву сбежать
ты или я? – Да не видно отсюда!
щепки разбитой сосны под ногами
осыпь песчаная дурочка-память
силится выскочить из игры
ходом подземным быльём пустяками

сгустком янтарным в разломе коры.

***

Бог просит пить. Налей и позови:
вот ласточка в одическом запое
высвистывает в небо золотое
чего и ты не смеешь о любви.

Пить хочет, пить, в соседний городок
дощебетать, добиться, дозвониться –
в стовратных Фивах – птичая больница,
античный холодок, пернатый бог.

Она ведь тоже птица, тоже бог,
и хочет пить, а мы с тобой – всё те же,
она кричит и бедный воздух режет,
и раскаленный солнечный клубок.

Но, лёгкий друг, сжимается вода,
и ласточка зависла над проливом,
и ты уже не будешь никогда
ни двадцатидвухлетним, ни – красивым.

СЛИВОВНИК

I

Дождь уходит садом. Смывает сливовый цвет.
Твой Мэн-цзы садовый честно молчит в ответ.
Он всегда помнит о великой своей стене,
непривычные дальние вещи рисуя мне.

Загибает крыши скользкие в облака,
и над каждой крышей дрогнет его рука,
ибо с каждой крыши сердце падает вниз -
на карнизы пагод,
влажные, как «вернись».
Мелким крапом тушь зелёная пролита,
иероглиф «родина» белеет внутри листа.

Я тебе говорю это в предпоследний раз –
и моя крыша в мокрое небо взвилась,
и меня заносят ближних слив лепестки,
заведённые лёгкой дрожью его руки.

II

…родина, говорю я, родина,
и осекаюсь неловко –
вымерзлая болотина,
петли проселочной, бровка,
маковки, провода,
смятый листок суши,
выжатая вода,
снятые ветром души,
дебри вселенной, отшиб,
щебень платформы, кулички,
оклик – похожий на всхлип
режущей тьму электрички,
звяканье чашек в углу,
дрожь…
и всё ближе, чаще –
сдавленный чирк по стеклу
ветки, с ума сходящей…

III

Семь тысяч зим назад здесь цвёл сливовник.
В нём чинно парковались птичьи рати.
С ним рифмовался маленький чиновник,
классический китаец в синем платье.

Учил синиц. Сидел себе под сенью,
сиял, и от лица его бежали
круги часов, завитые в спирали –
завидно-шёлковых времён растенья.

И облако фарфоровое зрело,
расцвеченное огненной шлеею,
и в нужный миг раскалывалось белой
прохладой над нетронутой землею.

Здесь было всё. Хотя казалось – мало.
Послушливый птенец потел в руке,
и ветреное небо отвечало,
о, на чистейшем птичьем языке.

Помедли, беспристрастное светило,
хоть пять минут – за жизнь, за стынь, за стыд
…но в тушечнице вымерзли чернила…
не сад, ну – ветка, пусть она висит.

И ветка мэйхуа, блаженной сливы,
кивает мне разбитой головой
и мнит себя цветущей и счастливой,
прекрасно желтолицей и живой.

***

Буйный ветер играет терновником,
манит бабочек в темноту:
ты мне – ангел, а был бы любовником
и ушла бы жизнь в суету.
Ломит к вечеру рёбра фантомные,
закружился куст по двору,
запорхали колючки обломные,
кувыркаются на ветру.
Есть у нас шляпа для ловли ветра,
чёрная шляпа старого мэтра.
Под окошком качается лестница,
догорел в траве беломор,
набиваются в шляпу прелестницы.
дым терновый, колючий вздор.
А на тулье – перо коноплянки,
а на полях – бубенцы-приманки.
Стонут петли, гуляет воротина,
что ухмылочка на усах,
где любовь, ловец, – там и родина,
в небесах она, в небесах.
Возвратимся и мы, ангел ветреный,
на круги своя, в небо, домой
…ветер в шляпе, в ловушке фетровой,
ветер стих.
И стих этот – мой.

***

Снег падает как обещал
распушаясь на тысячу ли
поднебесной не видно земли
калитка – и белый провал
снег падает падает снег
тёплый заспанный падает в ночь
оторвался придумал помочь
и нет ему дела до всех
иду – он бормочет – иду
босиком по следам октября
снег безумный идёт для тебя
идёт – у меня на виду
идёт – замыкается слух
тонет свет в незамёрзлой реке
как бумажный фонарик в руке
обводит назначенный круг:
калитку в стеклянном саду
ледяные ступени к мосткам
мёртвый блеск по следам по летам.

***

Мы долго жили вместе на земле,
оглядываясь, я скажу – веками,
над водами, бегущими в золе,
друг друга развлекая пустяками.

Когда ты говорил мне: Посмотри, –
ладонью больно прижимая веки,
в округе останавливались реки,
просвечивали пальцы изнутри,
и небеса под воду шли на дно,
речных распугивая постояльцев,
и я смотрела кроткое кино
сквозь розовую дрожь холодных пальцев:
как будто рыбы, проплывали зал
облепленные тиною светила, –
а помнишь – ты меня почти не знал,
а помнишь – я тебя почти любила,
а помнишь, ангел, как издалека
мы праздновали жизнь в её развале,
как честно мы валяли дурака,
как нежно мы друг друга убивали?

Там и сейчас ещё бежит вода,
пересекая вечные покои,
и чтоб я не боялась, иногда
ты прикрываешь мне глаза рукою.

***

Две бабочки в белых халатах
шуршат, в изголовье присели.
Я плаваю в травах измятых
под стоны и скрежеты ели.

Сон пахнет полынью, эфиром,
лицо и рубашка – в росе.
Что делать с любовью и миром?
Уснули и умерли все.

Лишь бабочки в белых халатах,
привязанные к изголовью…
Спит ночь и седьмая палата.
Мир занят войной и любовью.

ВИКТОР КОРКИЯ

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ И ЗАРАЗЫ

***

Здесь, в Испании, где ты
и всегда найдется та,
где послания – цветы,
а признание – плита,
здесь любая площадь – круг
для копыт и красных краг,
там, где ты или твой друг
с кровью заключают брак.
Сразу возникает бык,
наставляет острый рог,
испускает смертный рык,
разворачивает бок,

разворачивает бок –
круглый, словно ржавый бак,
необъятный, как каток,
и лоснящийся, как лак.
Соблюдая внешний шик,
подавляя первый шок,
делает свой первый шаг
будущий костей мешок.
Делает свой первый шаг
в окруженье верных слуг,
разворачивает стяг,
каблуком бьёт о каблук,
и под общее «ура!»
ты увидишь через миг:
бандерильи – шампура
входят в будущий шашлык.
Продолжаешь наступать,
говоришь: иди сюда! –
чтоб скатёркою застлать
стол нестрашного суда.
Ведь не жаль, не жаль, не жаль,
все предчувствуют конец,
и твоя пронзает сталь
сразу тысячи сердец.
Под прицелом этих глаз
ты застыл один – в крови.
Вот примерно так у нас
объясняются в любви.

***

В. Салимону

Когда языковой барьер
преодолеет безъязыкий
и термоядерный пленэр
осветит месяц луноликий,
в потёмках музыки и сна
я побреду на голос крови
туда, где фряжская стена
хранит останки русской Трои.

Доисторическая жуть –
сибирский тракт и звон кандальный,
последний бой, последний путь,
блатной некрополь коммунальный…
Прощай, гражданская война!
Отныне – горе по колено.
Свободы красная цена,
иллюзий траурная пена…

Но между нами – семь веков,
а не двенадцать пятилеток.
Осталась пара пустяков –
забыть и это напоследок.
Внутри троянского коня
играют выхлопные газы,
и в космос хлещет из меня
источник жизни и заразы.

***

Он так хотел сойти с ума,
но как-то не сходилось.
Он вышел из дому. Зима
белела и светилась.

Он посмотрел по сторонам,
превозмогая жалость:
белело тут, светилось там,
а жизнь не получалась.

Он шёл в толпе, томясь одним –
умом, и тьма народа
взаимодействовала с ним,
как мёртвая природа.

Круговорот каких-то морд
урчал и мыслил здраво,
и, как великий натюрморт,
лежала сверхдержава.

Над ней луна средь бела дня
плыла в небесной сини.
Он шёл, молчание храня
от имени России.

Он понимал её умом
и понимал поэта,
который смел сказать о том,
что невозможно это.

Но пусть и Запад, и Восток
исполнены коварства,
Россия всё-таки не Бог,
а Бог – не государство.

***

А. Парщикову

Фигура сойдёт с пьедестала без помощи ног.
В полях под Москвой, где зарыты персоны нон грата,
история учит, и этот открытый урок
исходит от тех, кто в поля отошёл без возврата.

История тащится – тем ли, другим ли путём.
Фигура без ног переступит границы столетий.
Закаты Европы на зубе её золотом
блеснут напоследок, и тьма воцарится на свете.

Фигура без помощи ног обойдёт пьедестал,
пустой без сошедшей на землю фигуры безногой,
и сквозь пустоту я увижу звериный оскал
беспомощной жизни, бредущей своею дорогой.

Природа боится, но не пустоты, а себя.
Себя, то есть тех, кто собой заполняет природу.
Фигура без ног заполняет природу, и я
уже не могу различить пустоту и свободу.

***

Я думаю, что если бы Гомера
ударили разок мотыгой кхмера,
то он не написал бы ни черта!..
А впрочем, и из нашего компота,
пожалуй, можно выудить Пол Пота.
который Пиночету не чета.

***

И мы проходим через пытки наши,
недоумённо думая о том,
что поначалу и не больно даже,
не так, по крайней мере, как потом.

За днями дни – и мы уже другие,
другая жизнь по улице пылит,
и самые на свете дорогие
не спрашивают, что у нас болит.

Мы на потом оставили так много,
как будто впереди у нас века.
Мы никого уже не судим строго,
не изрекаем истин свысока.

И самые на свете дорогие,
которым боль мы принесли одну,
не верят, что наступят дни такие –
смягчающие душу и вину…

***

То, что не снится нашим мудрецам,
быть может, снится нашим мертвецам.
Не льщу себя надеждой, не прельщаю,
но перед каждым каменным лицом
себя я ощущаю мертвецом,
а больше – ничего не ощущаю.

***

Жизнь сложилась как сложилась,
ничего иного нет –
так писалось, так дружилось,
столько зим и столько лет.

Млечный путь ведёт под землю,
осень плачет по весне.
Только то, чему я внемлю,
только то и внемлет мне.

И летит, летит мгновенье,
жизни равное, во тьму
сквозь последнее томленье,
непосильное уму…

***

О, Гималаи!.. О, Гималаи!..
Сквозь государственный строй облаков
белые люди, миклухи-маклаи,
смотрят в туманные дали веков.

Может быть, там, за чертой горизонта,
на расстоянии жизни моей,
синие волны Эвксинского Понта
или других благодатных морей…

Так далеко я отсюда не вижу
и не затем я на свете живу,
чтобы однажды представить Парижу
полный отчёт о своих рандеву.

Бедный дикарь, я прикину на пальцах
жалкой судьбы световые года.
Чёрная дума о звёздных скитальцах
в царстве теней не оставит следа.

Смутное время на жидких кристаллах
нервно пульсирует, но не течёт.
Я отстаю от народов отсталых
и закрываюсь от них на учёт.

Я изуверился в людях и зверях.
Вся пропаганда добра и любви
дыбом стоит, как всклокоченный Рерих,
на просвещенной дворянской крови.

Всё человечество – лишние люди,
совесть моя перед ними чиста.
Легче простить христианство Иуде,
чем допустить иудейство Христа.

О, Гималаи, Тибеты, Тянь-Шани!..
О, Пиренеи, Карпаты, Кавказ!..
Три папуаса в родном Магадане
мрачно жуют социальный заказ.

Где не ступала нога человека,
я прохожу, как Батый по Луне.
В каменных джунглях XX века
дети поют о холодной войне.

ЮРИЙ ПЕРФИЛЬЕВ

КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ СЛЕЗА

***

как ни тряси из пастушьих сумок
вытряхнуть стадных примет рисунок
просто невмоготу
след от закатных простыл форсунок
не за горами луны оклунок
свалится в темноту

не за морями а точно рядом
прошлое (прочих по сартру адом)
пятится но вперёд
с ним бы за блейком покончить ладом
если дилеммы дышать на ладан
нет а наоборот

не за лесами отпада паперть
звёздного и самобранки скатерть
тайных полны даров
дева мария она же матерь
божья плетёт для прозревших н*а*смерть
из тишины покров

***

на *опять* нарывается сон
между нами повадился *вздох*
если внежиться в жимолость звон
бубенцов луговых пересох-
нет как нет у порога куда
ибо не заржавеет за ним
быть указкой вот бог и да-да
про себя заодно за одним
исключением коли вне вер
знаменателем общим прилип
к изуверу другой изувер
на дворе снова палеолит

***

тебе (в тебя?) не угодишь,
быть холостым как выстрел жалко.
гляди, клюёт большая тишь
на чушь великую. рыбалка

приобретает форму утр
стрелецких сурикова казней,
санскрит на стрёме гаммы сутр
со скрипом тянет воз оказий.
алчба начал берёт своё
в излучине под гонги ганга
и благодатью мумиё
с пьяццолой на пьяццетте танго.
юдоль на выдумки хитра
с известностью неистребимой,
ужели всё проходит мимо,
когда нет входа без добра.
и прочих шансов нет как нет,
и счёт пришёл за этот свет.

***

запомни сада хор как о(т)чень наш
по ягоды дворовых быль-обычай
грибник ведёт кондовый репортаж
из чащи оркестрованной добычей
охотников стрельбы на глаз и звук
пернатых домогается обнова
а рыбакам всерьёз не хватит рук
с размахом для проекции улова
осенний стол как водится богат
сосуды сообщаются со рвеньем
к десерту полагается закат
багровый таз с кизиловым вареньем

СИНГАПУРСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

o tannenbaum jingle bells
экватор в двух шагах
noël кончай иняз ликбез
на птичьих турправах
помедли улицей другой
по сторонам зевни
махни крылом а нет – рукой
на праздные огни
витрин в осаде мишуры
отвязной раже слов
не полагайся на дары
и ряженных послов
на дзен-вертеп из орхидей
приматов оберег
остерегайся сверхидей
искусственных как снег
китайский таун алтари
просфорки из медуз
прикинься дауном и зри
в квадратный корень уз
держись от поручней причин
подальше начеку
в за тридцать градусов ночи
затепли свечечку

в эрзац-метели добела
плевать на широту
саднят фантомные дела
и жгут невмоготу
ах южный крест с иголочки
звонят колокола
в лесу родилась ёлочка
в лесу она бла-бла

***

на отвес ответ с прямотой угла –
гвозди из людей ходовой товар –
по глаголу жечь все мосты дотла
по себе, а там – не расти трава.
не свисти, манок, соловьём в ночи,
дай заспать свои стыд и срам общо,
алчных зорь бежать цвета алычи,
лишь бы не сгореть даром. а ещё
за плутархом – плут – не плести мораль
из всего, что есть, хоть в цене рецепт
как по зож в крови закаляют сталь
для смекающих подсадить на цепь.
исполнительный нарасхват виш-лист –
лабуды либидо лабильна прыть,
где с шопеном в осень спадает лист
за игрой с лица, если нечем крыть.
на повестке дна к спеху капремонт
зрелищ от голгоф на хлебах порук
за незримый фронт раболепных фронд
как спасательный квадратуры круг.

***

есть свой у каждого вокзал
в аранжировке ожиданий
за ради знать кто опоздал
не стоит безбилетной дани
и кармы в сутолоке рифм
своей снискать хоть между строчек
притален колбы алгоритм
на время спорится песочек
переворотам изнутри
претят стеклянные вериги
от корки до подкорки зри
мы проживаем наши книги
без оглавления в конце
и предисловия в начале
не даст соврать безмен печали
на вопросительном лице
уходит друг товарищ враг
само собой последний фальши
теперь он знает что же дальше
но слов подать не хватит знак

***

город держится неласково
поголовьем клятым крут
по системе станиславского
верит что повсюду врут

к слову допуск многоразовый
люди верьте видит бот
все мы братья карамазовы
каждый вточь патридиот

невменяемости нравственной
под завязку через край
отгорожена от прав стеной
то ли плача то ли в рай

за порядком восхождения
апогей метаморфоз
на оценщиков суждения
и кощунку передоз

что читатели-писатели
по лекалам женских ног
красота идёт в спасатели
лишь бы кто не уволок

щиплет вежды от недетского
продолжения азарт
по системе достоевского
каждый сам себе слеза

АНДРЕЙ НИКИТИН

ПОДАРОК ИЗ ПРОШЛОГО
рассказ

Наше время

Хлопок эхом разнёсся по тоннелю. Пыль закрыла свет лампы. Гудение моторов прекратилось.

– Что происходит? – спросил подошедший Михаил. Он размахивал папкой с бумагами, которую держал в руке, разгоняя пыль. Слышался кашель, несколько рабочих тёмными силуэтами приближаясь к нему с дальнего конца шахты. Стали видны грязные лица.

– Это всё Володя. Он, наверно, не рассчитал силу и завалил часть стены.

– Шулешов! – крикнул Михаил, переложив папку под мышку и складывая ладони рупором, – Шулешов, живо ко мне.

Слышался только кашель, ещё несколько рабочих подошли ближе. Один из них вытерся рукавом, присел у сырой стены тоннеля и закурил. Михаил, снова взяв папку в руку, быстро шёл сквозь туман оседающей пыли к буровой машине. На полу валялись кирки и лопаты, брошенные рабочими. Михаил осмотрел стены. Всё было на месте, он понял, что обвала удалось избежать. Тёмный силуэт слез с буровой машины и приближался. Невысокий худощавый мужичок, в перчатках, жёлтой каске и зелёном, грязном комбинезоне.

– Шулешов, что ты наделал? Снова гранит? Не разбил зубья?

– Нет, Михаил Сергеевич, – сказал Володя, щурясь от яркого света прожекторов. Пыль садилась, свет бил сильнее. Михаил отряхнул рубашку, закатал рукава и подошёл ближе, оглядывая стену.

– Там пустота, Михаил Сергеевич. Потому и пыль поднялась.

– При чём тут пустота? Куда ты вляпался? В другую шахту? По плану ещё километр ничего нет.

Михаил подошёл к стене перед буром и заглядывал в образованное отверстие. Там действительно была пустота, насколько большая – неизвестно. Бур зацепил часть пузыря, внутри было темно.

– Юра, фонарь, – крикнул Михаил. Через минуту он уже оглядывал внутреннюю полость. Это было квадратное помещение, частично обложенное камнем, будто небольшой зал. Посреди помещения возвышение, на котором лежала тёмная коробка. Фонарь перешёл ко входу. Тут лежали осыпавшиеся камни. Стены были по контуру выложены кирпичной кладкой. Присмотревшись, Михаил заметил ещё кое-что. Что-то небольшое.

– Это скелет, – сказал Михаил, – все назад. Быстро. Никому не входить. Тут скелет.

Прошлое

Небо озарилось светом. Отец и сын, закутанные в плащи, подняли головы, на несколько секунд прикрывшись руками, затем наблюдали за траекторией гаснущего яркого объекта, упавшего за холмом.

– Ты видел, Глэг?

– Да, папа.

– Наверно, метеорит. Упал недалеко, у холмов Ярости. Пошли посмотрим.

Они оставили повозку с пшеницей, которую медленно тащил осёл, и направились к холмам. Шлюф не знал, найдут ли они метеорит сейчас, ночью, в темноте. Но он надеялся, что найдёт его первым. Поднимаясь на гору, он уже обдумывал, за сколько можно будет продать этот небесный кусок камня, если, конечно, от него хоть что-то останется.

Наверху его ждал сюрприз.

– Ого, – негромко сказал он, видя горящую траву и туман дыма вокруг. В тумане поочерёдно загорались и гасли синие и красные огоньки. Отец и сын подошли ближе. В центре воронки лежал большой кусок металла, напоминавший контейнер, без окон и дверей, с небольшими прорезями вдоль корпуса.

– Папа, что это?

– Похоже на какой-то летательный аппарат. Может, ракета или спасательная капсула.

Шлюф глянул на небо, ища глазами ещё аппараты или что-то, откуда мог упасть этот. Но ничего кроме звёзд не увидел. Послышалось шипение, со дна капсулы разнёсся пар под ноги мужчинам. Они спешно отошли. Открылась часть корпуса, внутри было светло.

Отец и сын переглянулись.

– Эй! Там есть кто-то? – крикнул Шлюф, – выходи.

Шлюф схватил лежащий на земле камень, немного отступая босыми ногами от кольца огня, слабо жующего траву.

Никто не отвечал, но за обшивку корабля схватилась чья-то рука, затем вторая, показалось лицо. Синее, перекошенное от ужаса. Это был человек. На нём был странный костюм, словно собранный из стальных кусков. Сделав несколько шагов, незнакомец сбрасывал с себя одежду, словно листки очищаемой капусты, глубоко вдыхая на каждом шагу.

– Вам плохо? – спросил Шлюф, бросив на землю камень, – мы можем помочь?

Незнакомец задыхался. Его лицо покрывали волдыри, вокруг глаз покраснения, он держался за горло, другой рукой указывал на капсулу, затем похлопал себя по карманам, что-то ища, но не успел и выблевал на траву что-то зелёное. Отец и сын отошли. Незнакомец, раздетый наполовину, упал на четвереньки, стали видны огромные прыщи у него на спине, половина которых лопнули. Он постоял, хрипло дыша, а затем упал на траву, потеряв сознание.

Наше время

– Очень странно, – сказал Михаил, отчитываясь перед руководством. Он вспотел, лицо красное от напряжения, – на этой глубине не должно быть никаких шахт или колодцев.

– Да о чём ты говоришь, Миша? – спросил начальник, – неужели ты не видишь, что это было сделано специально? Труп, замурованный в помещении, закопанный под землёй. Внутри каменная кладка. Этим костям, что вы обнаружили, много сотен лет. Сейчас этим занимаются специалисты. И я думаю, что из-за этого у нас остановиться работа. А на какое время, никто не знает. Сейчас они будут изучать эту комнату, кости и коробочку. Эти находки довольно ценны, только нам от этого не легче, Миша.

– Вы обвиняете меня? – спросил Михаил, прикоснувшись пальцами к своей груди.

– Я ничего не хочу сейчас говорить, Миша, но помни, что это нашла твоя бригада.

Михаил ушёл, у него дрожали руки и болела голова. В туалете он обнаружил на правой щеке несколько прыщей. Выдавив их, он умылся и ушёл.

Прошлое

– В капсуле, что упала с неба, был человек. Мы его сожгли, – сказал старейшина, высокий чернокожий мужчина с кольцом в носу.

Шлюф молчаливо глядел в пол, затем поднял взгляд.

– У него было что-то при себе? – спросил Шлюф.

– Я не знаю, – ответил старейшина. Он несколько раз чихнул прежде, чем ответил.

– Мне казалось, что человек что-то искал, – сказал Шлюф, вспоминая, – он хотел что-то сказать перед смертью. Он обыскивал карманы.

– Мы осмотрели космический корабль. Ничего в нём не нашли, кроме стального ящика, который был явно не частью корабля. Много надписей на стенах. Но самое главное, что он умер от какого-то вируса. Кожа покрылась волдырями, он умер быстро.

– Я видел, как он умер. Прямо у меня на глазах. Очевидно, умирал в полёте.

– Странно. Если он знал, что умрёт, зачем принёс вирус на планету?

– Смогли расшифровать надписи? – спросил Шлюф.

– Пока нет. Но, честно говоря, мы думаем, что заболевание заразное. И мы всё, в первую очередь ты, Шлюф, могли заразиться.

– Я тоже так решил, – сказал Шлюф, припомнив прыщи и выблеванную жидкость.

Наше время

Михаил пил чай на кухне. Он был болен. По телевизору постоянно рассказывали о новой болезни. Вирус, охвативший всю страну, связывали с находкой в недоделанном тоннеле. Так как никто не придал находке серьёзного значения, попросту не зная, чем это грозит, вирус быстро распространился. Найденную стальную коробку не открыли, но внимательно изучили кости и металлическую часть какого-то корпуса,

которая также находилась в полости тоннеля. На ней были неизвестные надписи, расшифровкой которой занимались лучшие специалисты.

То, что вирус вырвался, никто не пытался скрыть. Михаил каждый час подходил к зеркалу, ища прыщи на лице и теле, которых становилось всё больше. Он вновь отпил чай, бездумно глядя в телевизор.

– *Правительство считает, что вирус не принадлежит ни к одному из обнаруженных ранее на нашей планете. Возможно, его занесли откуда-то ещё, а возможно, он настолько долго лежал под землёй, что его стоит считать одной из причин вымирания древних цивилизаций.*

Михаил начал сильно чихать и вышел в ванную.

Чёрный ящик стоял на столе в пустом помещении лаборатории. Через стекло на ящик смотрели десяток человек и что-то обсуждали.

– Нужно вскрыть его.

– Возможно, что это и есть вирус. На стальном корпусе обнаружено множество бактерий, и проеденные ими полости. Это не ржавчина, но она, возможно, выела металл изнутри, потому вирус и вырвался. Сейчас мы заражены, и медленно умираем. Но кто знает, что будет, если мы вскроем коробку? Возможно, смерть будет более быстрой.

– Выбора нет. Вирус распространился по планете.

– Тогда зачем трогать этот ящик?

– Я вообще предлагаю его закопать на такую глубину, чтоб никто никогда не нашёл.

– Нет, это не поможет. Если его обнаружили однажды, его обнаружат вновь. Закопать – не выход.

– Но ведь земля удерживает распространение. Вдруг, если убрать источник, появится шанс выздороветь?

– Ящик нужно убрать куда-то подальше. Например, запустить в космос.

– Запустить в космос, не вскрыв? Это глупо.

– Глупо было не реагировать на него сразу, а сейчас уже поздно. Ситуация только ухудшается. Возможно, что большинство людей погибнет. Нужно оставить человечеству хоть какие-то шансы. Я же объясняю, что мы нашли на нём следы вируса. Он проедает ящик. Если его вскрыть, представьте, что будет.

– Наверно, вы правы. Нужно избавиться от ящика.

Прошлое

– Папа, мне плохо.

Шлюф сидел возле кровати, держа сына за руку. Тело ребёнка было покрыто волдырями, он тяжело дышал, ослаб. Постоянный кашель не давал покоя.

– Папа, мне страшно. Я наверно заразился.

– Я тоже заразился, сынок, – сказал отец, слабо улыбнувшись, – эта болезнь не щадит никого. И мне жаль, что я повёл себя так бездумно.

– Ничего, папа. Я и сам хотел посмотреть, что упало с неба. Ты не виноват. Это любопытство.

– Но я постараюсь, чтоб никто больше не пострадал. Рабочие уже копают яму. Мы засыплем землёй аппарат, и вирус не сможет вырваться. Даже если умрёт много людей, в будущем всё будет хорошо.

Шлюф чихнул несколько раз, вытерся рукой и посмотрел на сына. Тот слабо дышал и, казалось, не слышал того, что говорил отец.

– Я готов помочь, – сказал Шлюф, стоя у палатки старейшины. В этот раз старейшина не сидел, а лежал. Он лихорадил.

– Чем ты можешь помочь?

– Надписи расшифровали?

– Нет, Шлюф, ничего. Мы не знаем, откуда прилетел корабль и что в стальном ящике. Мы ничего не знаем, но надеемся, что земля не даст ему распространяться.

– И я на это надеюсь. Я хочу принять в этом участие. Хочу лично закопать всё в земле.

– Ты и так принимаешь участие.

– Нет. Я хочу лично похоронить эту штуковину, замуровать изнутри, чтоб никто даже случайно не мог его вскрыть.

– Ты хочешь замуровать её изнутри, Шлюф? Зачем? Мы и так закопаем всё это.

– Нет. Я хочу лично. И я думаю коробку нужно спрятать отдельно от корабля.

– Мы тоже так думали. Но, честно говоря, это не имеет значения.

– Имеет. И ещё я хочу, чтоб со мной была одна из плит с иероглифами. Возможно, я смогу что-то прочесть.

– Ну, это уж точно ни к чему. Даже если ты прочтёшь, ты ничего не сможешь рассказать.

– Да, но, если когда-то кто-то раскопает это, они смогут расшифровать надписи на обшивке корабля. Если так, это шанс на спасение.

– Ну, не знаю, – сказал старейшина и закашлялся. Он вытер пот со лба, посмотрел на Шлюфа, – я, наверно, не проживу и нескольких дней, Шлюф, так что я тебе больше не советчик.

– Я хочу уничтожить всё это.

– Мы не знаем, с чем столкнулись, Шлюф. Мне жаль твоего сына. И всех, кто погиб. Если бы я мог, я бы пожертвовал собой, чтоб остановить это, но я не могу.

– Я постараюсь сделать то, что в моих силах, – сказал Шлюф.

Наше время

Нашлись два добровольца, которые были согласны увезти чёрный ящик как можно дальше от планеты. Один из них постоянно кашлял, другой был почти здоров. Космонавты готовились к взлёту. Кусок стальной обшивки с надписями тщательно изучали, и старались расшифровать. Сменилось шесть специалистов, но работа всё ещё продвигалась медленно. От смертельного вируса погибло более миллиарда человек. Он оказался намного опасней, чем предполагалось.

Сидя в лаборатории, изучая надписи, молодой парень неожиданно задумался.

– А что, если я прав?

Он несколько раз чихнул, вытерся платком, затем продолжил работу, надеясь, что расшифрует загадочные послания, найденные в шахте вместе с вырвавшимся вирусом.

Весь мир наблюдал, как взлетела ракета. Возможно, это был последний старт, ведь здоровье людей резко ухудшалось. Многие умирали, надеясь, что если источник увезут, то все пойдут на поправку. Но вирус быстро охватил весь мир, и источник заражения был уже не важен.

В лабораториях продолжали отчаянно бороться с вирусом. Искали вакцины, ослабляли его действие разными способами, но ничего не помогало.

– Я понял.

Кирилл изучал кусок стальной обшивки, на которой была непонятная надпись, и внезапно его словно озарило.

– Тут не хватало нескольких символов. Поэтому так долго не могли расшифровать и понять, что не совпадает.

Рядом с ним сидели двое мужчин, занимавшихся расшифровкой загадочной надписи. Кирилл водил пальцем по записям, указывая на обнаруженные ошибки.

– То есть, эта буква должна быть смещена вправо? – спросил один из мужчин, поправив очки, ведя рукой по надписи.

– Да. Если так, то можно уловить смысл. Вот посмотрите.

Безопасность. Защита. Сталь защищает от вируса.

– Как это она защищает от вируса, если именно на стальной пластине вирус и сохранился?

– Не знаю, тут так сказано. Именно сталь.

Мужчины снова проверяли текст. Лица покрыты прыщами, тела жутко чесались. В глазах Кирилла мелькнула надежда на выздоровление, ведь он понял, как расшифровывается надпись, он понял, что нужно делать, и наперекор наставникам продолжал переводить именно так, как считал верным. Надеясь, что сможет узнать решение проблемы.

Прошло несколько недель с того момента, как ракета с загадочным контейнером улетела. Некоторые люди начали ощущать себя лучше. Болезнь проходила.

– Дела действительно идут на лад, – говорили по телевизору, – с тех пор, как загадочная коробка покинула планету, количество заражённых уменьшилось. Многие люди начали ощущать себя лучше. Болезнь ослабевает, значит, мы поступили правильно. Теперь нечего об этом говорить, но впредь мы будем осторожны с подобными находками.

– Есть. Теперь я точно знаю, что там написано, – сказал Кирилл, сидя перед наставниками. Двое мужчин внимательно глядели на написанный текст.

Будьте осторожны. Биологическая опасность. Вирус Монуса может длительное время оставаться на металле. Взаимодействует с кожей человека, вызывая раны. Его можно уничтожить, применив высокие температуры. Передаётся по воздуху, но без ветра быстро оседает на поверхностях. Если не получается уничтожить вирус, воспользуйтесь противоядием. Не забывайте надевать скафандры при открывании шлюза.

Ниже приводилась комбинация клавиш, необходимых для открытия металлического ящика.

– И что это? – спросил один из мужчин, – при чём тут скафандр?

– Я думаю это простая инструкция по безопасности, – сказал парень, – меня интересует комбинация клавиш. Мы не могли открыть ящик, но позже поняли, что его и не нужно открывать. Тут указано, что нужно делать. И я думаю, что там было противоядие.

– Коробка, которую отправили в космос, в ней противоядие?

– Думаю, да.

– Вряд ли, – сказал мужчина, поправив очки, – ведь люди пошли на поправку.

Он несколько раз кашлянул, но был бодр. В глазах блестела уверенность, что он прав, что вскоре всё наладится, что они поступили верно, избавившись от стального ящика. Но он ошибался. Две недели спустя произошло обострение. Вирус убивал людей. Температура, жар, кровоподтёки на коже, всё усугубилось во много раз. Планета умирала. Люди умирали в течение нескольких часов.

Единственным шансом было лекарство.

– Там есть противоядие, нужно его вернуть на планету, – говорил Кирилл, ходя по комнате, – это, возможно, последний шанс. Люди умирают. Каждый день десятки тысяч. Нужно сообщить об этом в министерство.

– Билли. Ответь, Билли.

Тишина.

– Связи нет. Наверно что-то с рацией, – сказал Саймон.

– Как это? – спросил полковник, повернувшись, – что может быть с рацией? Дайте видеосвязь.

Несколько камер ничего не показывали. Третья камера показала два тела, пристёгнутых в креслах. Вокруг летали небольшие красные и зелёные кружочки жидкости. Тела были неподвижны.

– Что это? – крикнул полковник, – они мертвы? Ещё утром всё было нормально. Их необходимо вернуть! Срочно!

– Без их помощи мы не можем ничего сделать, – сказал Саймон, – и вряд ли можем кого-то отправить за ними. Просто не на чем и некого.

Саймон оглядел зал управления, в котором вместо двухсот человек сейчас находилось только пятеро. В углу помещения лежало тело, но его никто не убрал. А где-то в космосе с каждой секундой от них отдалялось противоядие, которое они сами отправили с планеты в космос.

Саймон закашлялся и выблевал на пол струю зелёной мокроты.

ОПАСНЫЙ ЛИМИТ
рассказ

Их выделяют глаза. Всё остальное можно спрятать, только не глаза.

На улице шёл дождь. Игорь стоял у окна, глядя в ночь. В стекле отображалось его небритое, тронутое морщинами лицо. Он видел в отражении, как жена и дети о чём-то говорили, сидя за столом. Все довольны и счастливы. Слева лежала на подоконнике кошка и едва слышно мурлыкала. Игорь погладил её, затем посмотрел на бутылку в руке. Названия не было, но эффект, который производила жидкость, казался весьма правдоподобным.

Как я мог не догадываться об этом? Я столько лет ничего не подозревал. И надо же, она мне говорила, что будет со мной до конца, что будет всегда любить меня, но на самом деле, это всё сплошная ложь.

Он выпил немного жидкости – она была без цвета и запаха, но приятна на вкус. Через несколько минут повернулся и увидел, что жена и дети стоят в коридоре, глядя на него, словно три статуи. Лампа горела за их спинами, нельзя было увидеть лиц. Три силуэта с опущенными руками бездвижно стояли.

– Чего ты там стоишь, милый? – послышался голос супруги, его Леночки, с которой он прожил вместе почти десять лет.

– Я сейчас иду, – сказал он, но продолжил стоять, снова повернувшись к окну. Он испугался. В отражении стекла, силуэты стали ближе. Лица ничего не выражали, но глаза выдавали их. Глаза были без зрачков.

– Игорь Клюквин был дома один. Вся семья убита. Сперва он заколол жену, затем перерезал горло детям. После этого зарезал кошку и собаку. Он сидел дома, будто ничего не случилось, пил коньяк. Но алкоголь он начал пить уже после убийств, как сам утверждает. И вы знаете, Дмитрий, я склонен ему верить.

Дмитрий Зубов прошёл в дом, осмотрелся. На кухне небольшие пятна крови.

– Тут он зарезал кота, – сказали ему. Дмитрия мало интересовал кот, он осматривал дом на предмет чего-то необычного, странного. За свою жизнь он уже успел насмотреться и наслушаться много различных ужасов и перестал скептично относиться к необычным смертям, но тут всё казалось обычным помешательством. Ну, почти обычным.

Дмитрий стоял у стены. Перед ним сидел человек. Кроме стола и двух стульев в помещении ничего не было.

– Добрый день, Игорь.

Мужчина поднял взгляд, но затем пристыженно отвернулся.

– Как вы себя чувствуете, Игорь?

– Я знаю, вы мне не поверите, – сказал мужчина, – никто мне не верит.

– Вы попробуйте объяснить, – сказал полицейский, прошёл ближе и сел на стул.

– Вы не представляете, каково это, когда знаешь правду. Не представляете, что значит ощущать на себе их взгляды, знать, что они рядом. Они всегда рядом.

– Кто они? Объясните, Игорь.

– Пришельцы! – сказал он, глянув в глаза полицейскому, – это они. Это всё они. Я знаю, в это трудно поверить, но они повсюду. Вся семья была завербована ими. Моя жена, моя дочь, мой сын. Все они пришельцы.

– Игорь, почему вы так думаете?

– Я видел их. Но я видел их не так, как вы, а иначе. Есть возможность увидеть их. И я знаю, как.

– И как, Игорь?

– Специальный эликсир, позволяющий видеть всю сущность людей. Только так можно их увидеть. Они повсюду, но их никто не видит.

– Игорь, ваша семья убита. Вскрытие показало, что они были обычными людьми, такими как вы и я. Ничего не отличало их от нас.

– Это неправда!

Игорь привстал на ноги, поставил руки на стол. Звякнули наручники. На кистях видны были натёртые красные полосы.

– Я видел правду, а вы мне не верите.

– Хорошо, Игорь, расскажите про эликсир. Что это за эликсир?

– Я не знаю, кто был этот человек, – сказал Игорь, опустив взгляд и сев на стул. Его руки вновь скрылись из виду, оказавшись на коленях, – но он предупредил меня, что за ним следят. Он дал мне небольшую бутылочку и сказал, чтоб я не подавал виду, что знаю правду. Человек был запуган, постоянно оглядывался, отдал мне бутылку, сказав, что они повсюду, пришельцы повсюду. Бутылка – единственное доказательство, нельзя, чтоб она попала в плохие руки. Я, конечно же, ему не поверил, но на следующий день увидел информацию о несчастном случае в новостях. Этот человек, я даже не знаю его имени, попал под машину. После этого я решил проверить, говорил ли он правду. И вечером я выпил немного жидкости. Сначала ничего не было, но позже, я увидел всю сущность многих людей. Они почти ничем не отличаются от нас. Вы понимаете? Почти ничем, только глаза. Они сплошные, без зрачков, без цвета, как сплошная чёрная дыра.

– У вас осталась эта жидкость, Игорь?

– Да, она была в сарае, под нижней полочкой и инструментами.

Дмитрий задумался, не зная, верить ли ему.

– А почему вы убили животных?

– Они тоже не наши. У них не было глаз. Просто пустые глазницы.

– Игорь, вы понимаете, что это выглядит не совсем обычно.

– Конечно, понимаю.

– Когда вы видели незнакомца, с которым произошёл несчастный случай? Где это было?

– Где я его встретил?

– Нет, где он попал под машину? Опишите его.

Игорь пристально смотрел на полицейского. На лице мелькнула надежда.

– Вы, правда, всё проверите?

– Да, Игорь. Я сделаю, что смогу. Я ведь для этого и пришёл, чтоб помочь вам.

– Ты, правда, решил, что эта история реальна? – спросил Дмитрия Василий Петрович. Как начальник он не терпел расхождений с его собственным мнением, но зная настойчивость Дмитрия, решил, что проверить не повредит.

– Я не знаю правду. Конечно, я не верю в пришельцев, но если был несчастный случай, нужно это проверить. Ведь если он говорит правду…

– А если он всё выдумал? – спросил Василий Петрович, – и просто сказал тебе про человека, которого на самом деле сбила машина, но которого он никогда не встречал? Парень съехал с катушек, вот и всё. Просто парень свихнулся.

Василий Петрович покрутил пальцем у виска.

– Я согласен, но ведь просто проверить никогда не помешает.

– Это верно, проверить не помешает. Но я даю тебе девяносто девять процентов, что всё это в его воображении. Он всё выдумал.

– Немного странно, – сказал Дмитрий, – он мало пьёт, не употребляет наркотиков, но настолько уверен в том, что видел. Очень странно.

Выяснить подробности несчастного случая не составило труда. Описание, которое дал Игорь, совпадало. Дмитрий поговорил с участковым, оформлявшим это происшествие. Но участковый оказался неразговорчивым.

– Да, было дело, – говорил участковый, – невысокий человек в пальто и шляпе выбежал на дорогу, попал под машину. Умер до приезда скорой. Личность погибшего установить не удалось, родные не обращались. Документов с собой никаких не было.

– А что было при нём? – спросил Дмитрий.

– Ничего.

– Ничего? Совсем ничего? Ни мобильного, ни мелочи, ни кошелька, ни авторучки?

Участковый задумался, почесал затылок, откинулся на стул, продолжая смотреть на Дмитрия, – а вы знаете, действительно странно. При нём не было вообще ничего. Карманы пусты, не было ни кошелька, ни телефона.

– Вы не обратили внимание на столь необычный факт?

Участковый пожал плечами.

– А чем он вас собственно заинтересовал? – спросил участковый.

– Есть информация, что перед смертью он виделся с одним человеком и кое-что ему передал. И я хочу выяснить, где он жил.

– Я бы тоже хотел это выяснить, – сказал участковый.

Дмитрий выяснил, где лежит тело и попрощался.

– Вы правы, – говорил мужчина в белом халате, провожавший Дмитрия через холодные стальные коридоры морга, – он казался немного странным. Вроде бы всё в порядке, но на вид ему лет пятьдесят, а все органы будто у двадцатилетнего. В такой хорошей форме, что жаль было бы их не использовать в качестве донорства. Но, увы, мы не знаем ничего о нём и нет никаких родственников, хоть об этом случае и говорили по новостям и, наверное, газеты уже успели распространить фото.

Они вошли в зал, мужчина включил свет и подошёл к угловой камере. Как только он открыл дверцу ячейки, оттуда вырвался воздух со сладковатым запахом. Мужчина вытащил стальную полку, но она оказалась пуста. Лишь верёвочка с биркой лежала на койке и на всю длину белая ткань. Дмитрий и работник морга недоумённо посмотрели друг на друга.

– Он был тут, – сказал мужчина, указав на полку, – точно тут. Я не мог ошибиться. Неужели его кто-то перевёз?

– У кого есть доступ сюда?

– Ни у кого. Руководство и я. Но сегодня никто не входил сюда.

– Камеры наблюдения есть?

– Да.

– Хорошо.

Дмитрий провёл пальцем по стальной койке, на пальце осталась какая-то жидкость.

Как позже выяснилось, никто не входил в камеру. Было чётко видно, как тело поместили в холодильную камеру, и больше эту камеру оно не покидало.

Дмитрий сидел в кабинете, глядя в окно на проезжающий транспорт и пешеходов. Все куда-то спешили, у всех были дела. Мир не стоял на месте, и это радовало. Это была сама жизнь. Постоянное движение, привычное движение, частью которого становился и сам Дмитрий каждый день.

Василий Петрович не любил ходить к подчинённым, но сегодня пришёл к Дмитрию в кабинет, предварительно постучавшись. На стук Дмитрий на секунду обернулся, затем продолжил наблюдать за прохожими.

– Я заметил, что тебя что-то беспокоит, Дима, – сказал Василий Петрович, проходя и садясь на стул, который обиженно скрипнул, – я заметил, что ты не оставляешь эти убийства, хоть мужчины и признались в них.

– Да, они признались, но я ещё кое-что узнал. Уже пятый случай, когда вырезают всю семью, даже домашних животных. Пятый случай, когда я ничего не нахожу в доме. Да, это помешательство, шизофрения, маразм или как хотите, но все мужчины утверждали, что видели пришельцев. Их выделяют глаза. Вот что они все говорили, их выделяют глаза.

– Ну, может, перепили чего-нибудь? Какой-то новый наркотик.

– Вы слышали историю об исчезнувшем теле? – спросил Дмитрий, – это было в случае с Игорем Клюквиным. Первый случай. Он говорил, что парень ему передал какую-то жидкость, говорил, что эта жидкость открывает глаза. Этот парень попал в аварию, и его труп держали в морге, но тело исчезло.

– Как это «исчезло»?

– Вот так. Просто исчезло. Растворилось. Остальные мужчины тоже уверяли, что им передавали какую-то жидкость. Но я её нигде не находил. И по описанию мужчин, якобы преследуемых пришельцами, доверявшими волшебную жидкость, никого найти не удалось. А единственное тело, которое бы хоть на что-то указывало, исчезло. Если бы не это исчезнувшее тело, я бы и сам верно подумал, что мужчины принимали какой-то наркотик. Но что, если всё это правда? Что, если их семьи были, ну, скажем так, мало похожи на людей?

– Ты издеваешься? Люди жили всю жизнь вместе и вдруг они пришельцы? Я не верю. Но исчезнувшее тело – это интересно. Ты говорил кому-нибудь об этом?

– Нет. Никому. Пока не о чём говорить. Я не могу понять, что происходит. Но очень похоже, что это правда. Наверно, после того, как парень попал под машину, они стали более осторожны.

– Кто стал осторожен?

Дмитрий не ответил, продолжая смотреть в окно.

– Дима, ты веришь, что семьи людей – пришельцы?

– Не знаю. Всё так странно. Всё так совпадает. Нужно подумать.

Эдик шёл по коридору заброшенного здания, где была назначена встреча.

– Стой, – сказал голос. Эдик остановился, огляделся, но никого не видел. В конце коридора появился силуэт высокого человека, лица видно не было.

– Ты читаешь новости?

– Читаю, – сказал Эдик.

– Что думают люди про эти убийства?

– Что пришельцы существуют. Многие говорят об этом.

– Хорошо.

Силуэт не шевелился, оставаясь в тени. Эдик колебался, не зная, что добавить.

– Но если вы сами устраиваете это, – говорил Эдик, – зачем говорите людям о собственном существовании? Вы же себя выдаёте.

Силуэт не шевелился, но до Эдика донёсся голос.

– Они не знают об этом. Пришельцев не существует. Жидкость, которую они пили, всего лишь галлюциноген. Они видят пришельцев в собственных знакомых. Они будут видеть их повсюду. Их будет это пугать, и они будут убивать друг друга.

– Но ведь если пришельцев нет, зачем всё это? Для чего устраивать эти смерти? Эти убийства?

– Ты слишком много задаёшь вопросов, Эдик. Тебе платят за работу.

– Да, согласен.

– Ты работаешь на заводе минеральной воды. Просто добавляй порошок, который мы дадим тебе, в чан с водой. Сам не пей эту воду. Это всё, что от тебя нужно. Ты справишься?

– Конечно.

– И запомни самое главное, Эдик. Если не ты, это был бы кто-то другой, вот и всё.

Силуэт исчез. Эдик поднял кейс, открыл его, в нём были деньги. Много денег. Он огляделся, закрыл кейс и ушёл. По дороге он думал над последним вопросом. Уже вечером, когда он лежал в кровати, считая деньги, его внезапно осенило.

– Их слишком много, – сказал он шепотом, – людей слишком много. Пришельцы не прилетят, пока людей так много. Вот для чего всё это. Люди уничтожат друг друга, думая, что убивают пришельцев. Это война чужими руками.

Василий Петрович читал вырезку в газете о смерти своего сотрудника.

Дмитрий Зубов погиб от удара током в собственном доме. Полиция считает это несчастным случаем.

Василий отложил газету, почесал подбородок.

– Да, хороший был полицейский. Очень жаль.

Больше Василий не думал об этом деле.

С завода выезжали грузовики, поднимая пыль. Они были загружены минеральной водой «Плутон». Фургоны разъезжались по разным концам страны. Вода была дешёвой. Воду быстро разгружали. День был жаркий. Воду пили.

Мужчина стоял с наполовину выпитой бутылкой «Плутона» и приглядывался к прохожему. Сперва он подумал, что ему показалось. Он огляделся, затем снова посмотрел на прохожего. Прохожий, шедший навстречу, обычный человек, почти во всём. Но его выделяли глаза. Они были без зрачков…

СОЛНЦЕ, ПЛЫВУЩЕЕ ПО НЕБУ
рассказ

Кирилл ехал по трассе. Он наконец побудет с семьёй. Рабочая неделя окончена. На заднем сидении – пакет с продуктами, конечно, пиво и чипсы. Жене он покупал лимонный ликёр. Это её любимый. Солнце немного ослепило, когда он свернул с трассы и поехал вдоль полей, поднимая пыль. Небольшая точка медленно превращалась в домик, стоящий недалеко от озера. Дальше был лес. Идеальные условия, чтоб жить и радоваться каждому дню.

Кирилл остановил машину, посигналил несколько раз. Он предвкушал встречу с семьёй. Заглушил мотор и слушал шипение остывавших жидкостей. Первым из дому выбежал сын. Он бежал босиком по траве, протягивая вперёд руки. Кирилл вышел из машины и подхватил сына на руки, покрутил немного. Следом из дому вышла супруга, медленно подошла к Кириллу и обняла.

– Как дела на работе?

– Всё хорошо, – сказал Кирилл, поцеловав её, – спрашивал по поводу отпуска, ничего не сказали. Не хватает людей.

– Нам тут одиноко, папа, – сказал мальчишка. Кирилл поцеловал его в лоб и прижал к себе. Дверь дома открылась и оттуда вышла старшая дочь. Помахала отцу.

– Диана, иди сюда.

– Та не, – сказала девочка, махнув рукой, – ты всё равно зайдёшь в дом. Тут и обниму.

Но через несколько секунд дочка подошла, отец поцеловал её, затем отпустил сына на землю.

– Иди с мамой, помоги донести пакеты, – сказал он, открывая багажник. Солнце освещало озеро. Кирилл захлопнул багажник и понёс пакет в дом, мельком глянув на другой берег. Что-то блестело с той стороны, это не солнце отражалось в воде. Но Кирилл не заметил этого. Он вошёл в дом и закрыл дверь.

Машина приехала на несколько часов раньше, чем Кирилл. Двое мужчин припарковались с другой стороны озера, чтоб их не было видно. Тут был высокий камыш. Один из мужчин вышел из машины, посмотрел на дом через бинокль, затем вернулся обратно в машину.

– Я сегодня научился делать самолётик из бумаги, – сказал Игорь.

Вся семья ужинала за столом в кухне. Отец улыбнулся и провёл рукой по волосам ребёнка.

– Как твой желудок? – спросил Кирилл, обратившись к супруге.

– Уже лучше. Я съела два сырых яйца утром, не ела ничего жареного, ела без соли.

– Ты снова ни с кем не советуешься?

– С кем я должна советоваться?

– С врачом, конечно.

– Ты думаешь, я с ним не советовалась?

– Я не знаю, потому и прошу посоветоваться с ним.

– Хорошо, Кирилл. Если бы ты чаще бывал дома, я чаще бы тебя слышала.

– Но я зарабатываю деньги.

– Вот и зарабатывай, и не лезь ко мне с советами, тем более, если они одни и те же.

Женщина встала и начала собирать посуду со стола, показав, что не желает продолжать разговор. Кирилл ничего не сказал, лишь отвернулся и улыбнулся сыну.

Двое мужчин наблюдали, стоя на другом берегу озера. Уже темнело. Они наблюдали за домом, в котором горел свет. Просто неподвижно стояли, а за спинами был автомобиль. В машине лежал пистолет. Они не переживали. В темноте их не было видно.

– Папа, я не могу уснуть, – сказал ребёнок, стоя на пороге. Кирилл встал, отнёс сына в комнату, уложил в кровать.

– Ты уже взрослый парень, Игорь. Когда я на работе, ты должен следить за домом. А как ты можешь следить за домом, если ты нормально не высыпаешься?

– Папа, я не могу защитить дом, я маленький.

– Но это ты сейчас маленький.

– Нет, папа. Я никогда не стану таким, как ты. Никогда.

Ребёнок расплакался, Кирилл обнял его, успокоил, затем укрыл и гладил по голове, пока ребёнок не уснул.

– Ты видел, что произошло? – спросил мужчина в очках, указав пальцем на другой берег, где оставался свет в одной из комнат.

– Видел, – сказал молодой парень с усами, вглядываясь в дом.

– Кирилл приезжает сюда почти каждую субботу. Я давно наблюдаю за ним. Помнишь, я говорил о нём?

– Помню. Неуравновешенный тип, который два года провёл в клинике.

– Да. С тех пор я за ним иногда наблюдаю. Многие люди в таком состоянии могут совершать необдуманные поступки. И часто это опасно для его близких. Он не может себя контролировать.

– Вы думаете, его семье угрожает опасность? – спросил парень с усиками.

– Ну, как сказать. Я бы хотел, чтобы ты понаблюдал за ним, чтоб ты проследил за его действиями, и потом сделал выводы, Максим. Мне тяжело одному, а ты должен был стать мне помощником. Считай, что у тебя началась практика.

– Но если им угрожает опасность, давайте поможем им.

– Погоди, Максим, не спеши. До утра ничего страшного не произойдёт.

– Откуда вы знаете?

– Поверь мне, парень. Давай отдыхать.

Утром Кирилл вышел из дому недовольный. За ним никто не шёл. Он остановился возле машины, посмотрел на трясущиеся руки, в спешке достал ключ, выронил на пол, подобрал, открыл машину, сел и с третьего раза завёл автомобиль.

Даже несмотря на работавший мотор двое мужчин, стоящих в кустах за домом, слышали, как Кирилл кричал, сидя в машине. Максим глянул на наставника. Но тот лишь усмехнулся. По лицу мужчины было понятно, что он что-то знает. Максим же, понимая, что они опоздали, смотрел на собеседника с приоткрытым ртом, затем повернулся и глядел на сидящего в машине Кирилла. Машина отъехала, Кирилл продолжал кричать, удаляясь, пока его голос не перестал быть слышен.

Через несколько минут мужчины вышли из-за угла. Подошли к дому.

– Давай войдём, – сказал Владимир, – у меня есть ключ.

– Откуда у вас ключ от дома?

– Не важно, – сказал Владимир. Он проверил, в кармане ли оружие, достал ключ, открыл дверь и вошёл. Максим пошёл следом. У него было дурное ощущение. Что-то было не так. Владимир стоял в столовой, держа руки на спинке стула. В доме было слишком тихо.

– Итак, Максим, что скажешь? Что ты можешь сказать об этом месте?

На столе стояли четыре тарелки, четыре вилки, четыре стула, один из которых упал на ковёр. Возле умывальника несколько вымытых стаканов. Дальше сухие тарелки. Максим провёл пальцем по одной из них, и на блюде осталась полоска. Тарелки покрыты пылью. Владимир уселся в кресло, достал оружие и положил на стол, наблюдая за Максимом. Парень немного заколебался. Он осмотрел первый этаж, ступая едва слышно, боясь увидеть кого-нибудь из жильцов.

– Вы часто сюда приходите? У вас есть ключ и вы можете приходить, когда хотите?

– Нет, Максим. Честно говоря, я впервые вошёл сюда. Один я в дом не входил. Что можешь сказать об этом месте?

– Ну, кое-что необычно. Его супруга и дети ушли наверх, ничего не убрав. На полке тарелки, покрытые пылью.

– Что тебе кажется странным? Какой вывод ты можешь сделать? Скажи, что ты думаешь.

– Что тут давно никого не было. Что они в спешке куда-то ушли.

– Можешь осмотреть дом. Ты никого не найдёшь.

Максим несколько секунд стоял, затем поднялся на второй этаж, обошёл комнаты, никого не нашёл, спустился вниз. Владимир стоял у задней двери, приоткрыв её.

– Идём со мной, парень, я покажу кое-что.

Они вышли из дому через заднюю дверь, ведущую на внутренний дворик за домом. Тут был небольшой сад, заросший бурьяном почти повсюду. Виноград хаотично переплетался и тянул ветки деревьев. Максим мельком увидел, что его спутник держит в руке оружие, направленное в землю.

– Зачем вам оружие? – спросил парень.

– Не бойся. Я надеюсь, что мне не придётся его использовать. Ответь мне на один вопрос. Что первое пришло в голову, когда ты обошёл дом?

– Что там пыльно, грязно. Будто дом пустует.

– Да, Максим, это правильная мысль. Что из этого следует?

– Что там никто не живёт?

– Почти никто, Максим. И тот, кто живёт, проводит там несколько ночей в месяц. Посмотри туда, Максим.

Владимир указал оружием за дерево, поросшее виноградом. Возле этого дерева был заметен участок скошенной травы. Максим прошёл туда и замер.

– Вот видишь, почему дома не убрано. Некому убирать. Его супруга и дети не могут вернуться в дом.

У дерева три небольших холмика, с тремя крестами.

– Это могилы? – спросил Максим.

– Да. Это могилы. Это семья Кирилла. Его супруга и двое детей. Их тела нашли тут, за домом. Неизвестно, кто убил их, но долгое расследование подтвердило, что это был не Кирилл. Он не мог этого сделать, хоть выяснилось это не сразу. Пока его семья была в морге, он сидел в камере, ну и вроде как немного двинулся. Их похоронили без него. Позже выяснилось, что он не виноват.

– Значит, он просто приезжает сюда и проводит тут в одиночестве несколько дней в месяц?

– Ну, можно и так сказать. Я не уверен, конечно, но думаю, что он с ними разговаривает. Он болен и страдает галлюцинациями. Когда он был у меня на приёме, он ничего не говорил о том, что видит или общается с покойной семьёй, но наблюдая за ним, я замечал, как он с кем-то разговаривал.

– Вы за ним следите?

– Да. Это часть моей работы. И потому, что я его хорошо знаю, ношу с собой оружие.

– Он настолько опасен?

– Скажем так, если он застанет меня тут, он решит, что я хочу изнасиловать его супругу. Он верит, что тут живёт его семья. Его не получается переубедить. Он видит их, общается с ними, и в этом месте он счастлив.

– Для чего вы мне всё это говорите?

– Я хотел, чтоб ты лично познакомился с этим случаем. Кирилл не опасен, когда далеко от дома, ведь там он один. Там никого нет. А тут он становиться опасным.

Максим поглядел на могилы, огляделся и внезапно холодок пробежал по его спине. Он представил, что будет, если Кирилл вернётся сейчас. Будто угадав его мысли, Владимир сказал:

– Кирилл уехал на неделю. Он вернётся в субботу. Не переживай. Но и нам пора ехать. Тут больше нет ничего интересного для тебя.

Они вернулись в дом, Владимир запер чёрный ход, потом они вышли, заперли входную дверь на ключ. В последний раз глянули на дом. Унылое сооружение казалось чем-то нелепым на фоне окружающей природы. Дому не хватало внимания.

– За домом, в могилах, лежат их тела? – спросил Максим.

– Нет, конечно. Они похоронены на кладбище. Я думаю, Кирилл сам сделал эти мнимые могилы.

– Ну да.

Когда мужчины сели в машину и отъезжали, Максим всё ещё боялся, что Кирилл их где-то поджидает. Страх был больше из-за того, что его наставник возил с собой оружие. Не видя оружия, Максим бы так не переживал.

– Вы видели? – спросил Максим, повернувшись назад, глядя через сидение, – там, в окне дома, был мальчик.

– Тебе показалось, – сказал Владимир, продолжая гнать машину дальше. Максим глядел на уменьшающийся в размерах дом. Ему не показалось, он явно видел, что в доме кто-то был. Дёрнулась штора, и маленькая голова скрылась в комнате. Но Максим знал, что в доме никого нет. Дальше он ехал молча. От усталости глаза слипались.

Максим очнулся в машине скорой. Он хотел привстать, но не смог, боль в ногах не давала подняться.

– Лежите, не двигайтесь, – сказала девушка в халате, держа его за руку, – вы попали в аварию. У вас травма головы и сломаны обе ноги.

– А водитель?

– Он в тяжёлом состоянии. Его увезли в другой машине. Вы не переживайте, вашей жизни ничего не угрожает. Как вас зовут?

– Максим.

Он опустил голову на подушку и дальше ехал молча, качая головой в такт кузову скорой, в которой его везли.

Утром Максим узнал, что Владимир скончался от кровотечения. А ещё Максим обнаружил на шее ключик, на верёвочке. Он никогда ничего не носил на шее и не мог понять, что это за ключик. Напрягая память, он припомнил, что мельком видел силуэт девушки, лет семнадцати на заднем сидении автомобиля перед тем, как машину перевернуло. Эту же девушку он видел на фотографии, что была на одной из могил, за домом. Это была дочь Кирилла.

Она сделала это. Она перевернула машину. Но почему у меня на шее ключ?

Он смотрел на ключ с приоткрытым ртом, припоминая, где тот был в последний раз. Владимир держал его в кармане.

Максим смотрел в окно, вспоминая силуэт девушки. Видел ли он её или это шалит его память после всего пережитого в доме? Он размышлял весь день. Лишь под вечер, отвлекаясь, думая о чём-то постороннем, его осенило.

Она хочет, чтоб я вернулся в дом. Она оставила мне ключ.

Максим замер, смотрел в одну точку, будто собирая мысль воедино, не веря в неё до конца. Затем сорвал с шеи ключ и выбросил в окно.

ГУБИТЕЛЬНАЯ ВЕРА
рассказ

Корабль плавно опустился, едва коснувшись грунта. Марвин Сэндлер оценил обстановку, оглядел приборы, затем посмотрел на часы.

– Согласно показаниям приборов планета пригодна для жизни, – сказал Даллас, напарник Марвина. Он постукал по шкале, под стеклом, стрелка прибора не шелохнулась.

– Вот видишь, всё в порядке. Тут можно дышать.

– Это хорошая новость, Ди, а как всё остальное? Ведь сигнал бедствия послали давненько.

– Я вообще не могу понять, откуда на этой планете жизнь, – сказал Даллас, не обращая внимания на привычку напарника сокращать его имя.

– Вот это мы сейчас и выясним, – сказал Марвин, глядя в иллюминатор. Поверхность была безжизненной земляной пустыней. Небольшими холмиками виднелись горы.

– По всей вероятности, жизнь тут возможна, если есть кислород. Условия для жизни благоприятные, но нужно много времени, чтоб появились первые животные.

В кабину вошёл здоровяк в чёрной футболке с закатанными рукавами. Волосатые руки он опёр о дверную перегородку и вглядывался в стекло, идущее вдоль всей каюты. Он жевал жвачку.

– Мюррей, будешь наблюдать. Мы с Далласом пойдём – разведаем обстановку. Как только связь восстановиться, доложи, что мы прибыли на место.

– Год назад сюда прилетала спасательная команда, – сказал Мюррей, глядя на Марвина, – но тогда это была команда из четырёх роботов. С ними пропала связь, как только они приземлились. Обратно на связь они так и не вышли.

– Я знаю, – сказал Марвин, – мы вторая спасательная команда, и у нас всё должно быть в порядке. Мы ведь не роботы, голова у нас работает лучше.

Все трое помолчали, затем Марвин с Далласом покинули корабль.

Они дошли до ближайшего холма, Марвин поднялся наверх и долго оглядывал местность через бинокль. Даллас поднялся следом.

– Мне кажется, я что-то вижу, Ди. Вон там, у гор. Это похоже на искусственный объект. Это не камень.

– Ты думаешь, прошлая экспедиция потерпела крушение?

– Откуда я знаю, Ди? Я только знаю, что где-то рядом должен быть их корабль. Нужно пойти и посмотреть, что там.

– Хорошо, Марвин. Ты у нас главный, тебе решать.

Марвин убрал бинокль и странно посмотрел на Далласа, но тот молчал. Они начали спускаться, и пошли к какой-то колонне, что виднелась вдали. Спустя сорок минут они подошли так близко, что можно было разглядеть останки корабля.

– Боже мой, Ди, ведь это нижняя часть корпуса.

Марвин подошёл ближе и оглядел обшивку.

– Корабль не повреждён при посадке. Они успешно приземлились год назад, но с тех пор его разобрали по частям. Это заметно по следам разрезов. Видишь, Ди? Вот тут и тут. А в этом месте его не резали, а просто отсоединили.

– Что это означает?

– Я не знаю.

Марвин достал рацию и доложил Мюррею, где они находятся и что обнаружили. Затем отложил рацию и оглядывался.

– Что теперь? – спросил Даллас, ковыряя пальцем занесённую грязью и пылью нижнюю часть оставшегося иллюминатора.

– Нам нужно обойти местность и попытаться найти что-то. Ведь роботов тут нет, как и половины корабля. Нужно узнать, где они сейчас.

– Как хочешь, – сказал Даллас, – ты у нас шеф.

Марвин резко схватил Далласа за плечо и повернул к себе.

– Послушай, приятель, ты не на пикнике, говори как следует, иначе убирайся обратно на корабль и пришли Мюррея, если не знаешь, как себя вести. Мы на спасательной миссии, и я тебе не подружка, а старший по званию офицер. Ясно?

– Да, ясно, – сказал Даллас, глядя под ноги, – извините.

– Пошли, – сказал Марвин и зашагал в сторону высокой скалы. Сделав несколько шагов, он остановился.

– Посмотри, тут следы.

В сторону холмов шли едва заметные следы человеческих ног, рядом с ними небольшие следы, скорее всего, принадлежавшие роботам. Марвин достал рацию и сказал Мюррею, что они пошли в сторону холмов по следам.

– Вон там должны быть наши роботы, – сказал Марвин. Спустя двадцать минут они дошли до высокой скалы, в которой виднелась пещера. В пещере был свет.

Марвин и Даллас переглянулись, достали оружие. Марвин приложил палец к губам и медленно двинулся к пещере, держа оружие наготове. Они вошли в пещеру.

– Господи, ты только посмотри на это, – сказал Марвин и опустил оружие.

Даллас долго оглядывал стены.

– Куда мы попали? – спросил Даллас.

– Я не знаю, Ди.

– Они не отвечают уже два часа, – сказал Мюррей. Он сидел в кресле, закинув ноги на панель приборов. В руке был стаканчик кофе. Рядом стояла Энжела, пытаясь разглядеть что-то в пределах видимости, но ничего кроме скал видно не было.

– Если они не выйдут на связь в течение часа, нужно идти за ними, – сказала Энджела.

– Знаю.

– Что последнее он сказал?

– Марвин сказал, что они нашли пещеру, примерно в десяти милях отсюда к югу. Там горел свет, а стены разукрашены различными рисунками животных и людей. Какие-то древние рисунки, как в пещерах неандертальцев. Они пошли дальше, это последнее, что я знаю.

– Так давай пойдём за ними, – сказала Энджела, – не стоит терять время.

Нехотя Мюррей поднялся, допил кофе и смотрел на линию горизонта. Звезда, освещавшая планету, за три часа практически не сдвинулась с места. Мюррей бросил стаканчик на пол и раздавил.

– У меня плохое предчувствие, Энджи, и если мы вернёмся вчетвером, я вычищу корабль до блеска. Даю слово.

Он снова попытался связаться по рации с Марвином, но никто не отвечал.

Час спустя они были у входа в пещеру. Мельком осмотрели остатки корабля первой миссии, разобранного на части. В пещере было темно, но из глубины лился свет, освещая стены, показывая рисунки, неумело изображавшие людей, животных, деревья, реки, воду, солнце и различные пейзажи.

– Тут был кто-то из людей, – сказал Мюррей, держа в руке оружие, – роботы не рисуют на стенах. Да и спасать они полетели людей.

– Что за роботы были в первой экспедиции?

– Модель Галактика-39, усовершенствованная, самообучающаяся.

– И с ними пропала связь?

– Да. Неизвестно, что произошло.

Они прошли в соседнее помещение. Пещера расширялась и уходила вниз, откуда исходило какое-то гудение и слабый свет. На стенах рисунки, выбитые в камне или написанные мелом. В углу одежда, верёвки и большой деревянный крест. Мюррей подошёл ближе, осмотрел одежду, сделанную из старых мешков. Достал какую-то белую ткань, на которой был вышит крест. Он повернулся к девушке, держа ткань.

– Да, Мюррей, как раз твой размерчик. Наверняка это носил какой-то священник, потому и вышит крест.

– Может быть, – сказал он и пошёл дальше, держа впереди оружие. Свет был таким же тусклым, на стенах иногда попадались лампы. Шум стал сильнее. Мюррей спускался по извилистому проходу. Он торопился. Его спина то появлялась, то скрывалась от Энджелы за углом. Шум стал сильнее. Энджела спешно спускалась следом, мельком заметив какой-то генератор слева, у стены. В пещере пахло чем-то неприятным, было сыро. Несколько шагов, и девушка споткнулась, едва не упала. Она удержалась за стену, затем побежала дальше. Мюррей стоял внизу. Девушка остановилась за его спиной. Пещера расширялась. Тут было светлее, чем в коридоре, по которому они спускались. Помещение отдалённо напоминало храм. Перед Мюрреем стоял какой-то человек в рясе, с капюшоном, накинутым на лицо.

– Здравствуйте. Меня зовут Мюррей.

– Здравствуйте, Мюррей, – сказал собеседник.

– Вы тут живёте? Что это за место?

– Это наш дом.

Голос был странный. Мюррей посмотрел на Энджелу, повернулся и резко сорвал с собеседника капюшон. Под ним было человеческое лицо, слишком идеальное и гладкое.

– Это же робот, – сказала Энджела и расслабилась. Мюррей тоже немного усмехнулся.

– Ты робот с первой спасательной экспедиции? – спросил Мюррей.

– Да, мы с первой спасательной экспедиции, отправленной год назад.

– Почему ваш сигнал пропал?

– Сигнал пропал потому, что на этой планете сильные помехи, – сказал робот, – кроме того наш корабль повредился. Связь пропала на некоторое время.

– Где двое наших людей? – спросил Мюррей.

– Они помогают нам получить воду и полезные ископаемые.

– Где они?

– Внизу, в нижнем отсеке пещеры.

– Показывай.

Робот повернулся и пошёл к стене, где были ступени на нижний ярус.

– Это всё сделали сами роботы, – сказал шепотом Мюррей, повернувшись к девушке, – я так думаю. Посмотри на чёткие линии, на плавные переходы.

– Это напоминает какой-то храм, – сказала Энджела, идя к ступеням. На стене был нарисован крест, на котором изображён распятый Иисус, с колючим венком на опущенной голове. На полу лежали несколько книг. Мюррей заметил, что это Библии.

Они спустились на нижний этаж. Посреди помещения лежало тело в луже крови. Возле тела стояли двое роботов в чёрных рясах с белыми крестами. Робот, который их провёл, заговорил первым.

– Вот ещё два человека, которые помогут решить наши проблемы. Слава Господу.

– Аминь, – сказали оба робота, подняв руки к потолку. Освещения было мало, но Мюррей заметил, что лежащее в одних штанах тело это Марвин.

– Что произошло? – спросил Мюррей, подняв оружие, наведя на ближайшего робота, – вы убили его?

– Нет, это было жертвоприношение Богу. Мы не можем убраться с этой планеты, но теперь мы поняли, что это не обязательно. И вообще не нужно никого спасать. Мы всего лишь частички, принадлежащие создателю. Только он может спасти наши несчастные души.

Мюррей выстрелил, пуля попала в робота, он отшатнулся, но устоял. Следующая пуля попала в голову, но робот лишь дёрнулся, затем резко подскочил, выбив оружие у Мюррея. Мужчина вскрикнул, отшатнулся. Подскочил ещё один робот, Мюррей мгновенно оказался на полу, его руки были за спиной. Послышался треск костей, робот выломал руку мужчины, Мюррей не переставал кричать.

– О Господи! – крикнула Энджела, направляя дрожащей рукой оружие на робота. Все трое роботов мгновенно вскрикнули:

– Аминь!

Энджела выстрелила несколько раз, но робот спешным шагом подошёл и выбил оружие. Энджела заметила, что повредила ему лицо, оторвав часть кожи со щеки, и виднелась часть стального черепа. Робот размахнулся, ударил. Девушка потеряла сознание.

– …этот песок даст жизнь, – слышался голос, – пусть наступит затишье, о Господи. Благодарим тебя за все ресурсы, что ты дал нам, и за все, что мы ещё найдём на этой планете. Спасибо за солнечный свет и прости нам наши грехи. Аминь.

Последнее слова сказали несколько голосов. Энджела очнулась и огляделась. Она была распята на кресте. Руки и ноги связаны верёвками, обнажённое тело обмазано каким-то маслом. Перед ней стояли три робота в рясах с капюшонами, один робот сидел на земле, у него не было части ноги.

– Эй, помогите. Помогите! Помогите!

– Сестра наша, – сказал один из роботов, – мы принесём тебя в жертву, чтоб умилостивить нашего Господа. Ведь только он может управлять природой, насылать на нас землетрясения или дожди. И только он решает, кому жить, а кому умереть.

– Вы идиоты! Бог тут ни при чём, это природа.

– Мы знаем, что не все верят, сестра, но книга не может врать, – сказал робот, поднимая Библию над головой, – священник, который чудом выжил в крушении, научил нас, открыл глаза на мир. Не случайно погибла вся команда, кроме него. Бог спас его. Мы живём только благодаря Богу. Священник объяснил, что и после смерти есть жизнь, но только для тех, кто верит и кто ценит Господа своего. Вера – единственное, что следует ценить в этом мире. Твоя жертва не будет напрасной, сестра. Всё равно тебя ожидает вечная жизнь на небесах, чего нельзя сказать о нас. Мы раньше думали, что люди важнее всего, что мы лишь слуги, но теперь мы знаем, что и вы слуги. Слуги Господа! И по Его воле всё происходит. И мы благодарим его за всё. За то, что мы ещё живы. И за то, что Бог послал нам новые запчасти.

Робот смотрел в небо, подняв над головой священную книгу.

– Вы же роботы! – кричала Энджела, – как вы можете верить в Бога? Вы всего лишь куча металла. У вас нет души.

Робот повернулся к остальным, не обращая внимания на слова девушки.

– Пришло время, братья. Она не знает, что говорит.

Робот подошёл к кресту. Энджела заметила, что внизу были какие-то тряпки, и ветки. Робот присел у креста, одна из тряпок загорелась. Энджела кричала, вырывалась. Она оглядывалась, звала на помощь. Внизу разгорался огонь. Вскоре она ощутила жгучую боль в ступнях.

– Прими в дар эту скромную жертву, Господи, – сказал робот.

– Аминь, – послышались голоса остальных.

Роботы смотрели, как огонь постепенно охватывал женское тело. Энджела кричала, дёргалась, разбрасывая вокруг островки горящего масла, что слетали с обгоревшей кожи. Роботы стояли на коленях, склонив головы и читая молитвы до тех пор, пока девушка не перестала кричать и не уронила на грудь безжизненную обгоревшую голову.

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН

ПОПУТЧИКИ
рассказ

1. Запретное слово

У каждого свой день. Просто свой день. Не обязательно счастливый. Счастье – категория неопределённая, невнятная. Оно – нечто невразумительное и ускользающее. Никогда невозможно сказать наверняка, счастлив ли человек. А само стремление к счастью – погоня за фантомом, который бесследно растворяется в пространстве в тот самый момент, когда кажется, что он на расстоянии вытянутой руки и схватить его не представляет никакого труда. Хотя многие умеют довольствоваться малым. И синяя птица для них – умершая своей смертью курица. Но вот «свой день» – день, когда реализуются скрытые возможности, лучше, чем в другие дни. У Робинзона Крузо такой день – пятница, у Иисуса – воскресенье. На меня же озарения всегда нисходили в субботу. С ощущением, что недельный бег подошёл к какому-то завершению. Прекращаешь думать о насущном… и всё моё внутреннее естество наполняется чувствами и мыслями, которые можно унести с собой в следующую неделю… если получится. В этот же день проявляется что-то судьбоносное, важное для будущего, словно неделя не заканчивается субботой, а начинается.

Суббота. Нестабильность, непрочность в воздухе. Осень. Ветер несёт листву куда-то вдаль. Пройдёт совсем немного времени и мы её не увидим. Ей – уйти, а нам – остаться. В Горсаду на скамейке я листал «Практическую магию» Папюса. Суббота, Сатурн – свинец. Интересно, «титан Возрождения», архимаг Марсилио Фиччино, считавший, что находится под особым покровительством этой планеты и всячески привлекавший её влияние, делал ли он себе пентакли из свинца? Сын врача, он мог знать о вреде этого металла? Интуитивные истины так часто не совпадают с выверенными научными тезисами!

На соседней скамейке двое подростков громко и демонстративно матерились. Точнее, они говорили о каких-то безобидных пустяках. Но, как это часто случается с поклонниками чистого искусства, форма им представлялась важнее содержания. Подростки щеголяли широкими познаниям в области матного слова. Шаткую идиллию нарушила пожилая женщина. Она мягкими, но уверенными, даже в некоторой степени чеканными шагами чинно подошла к подросткам. Прямая, во всех своих проявлениях вежливая и сильная, она сказала:

– Не материтесь. Любую мысль можно выразить литературным языком. Современные языки столь богаты, многогранны! Можно даже сказать, они «великие, могучие и свободные». Они вобрали в себя разные пласты и формы способов жизни, образов мысли. Кому и что вы пытаетесь доказать? Я из рабочей семьи. До Революции мы работали по 10-12 часов и всё же, после изнурительного труда, спешили на лекции, читали, занимались. Самообразование – великая вещь. Не опускайтесь до уровня животных. Маты – это своего рода замена интеллектуального общения эмоциями. Ругательства отображают не рациональные понятия подобно словам, не обозначают ничего конкретного, но лишь выражают сильные чувства говорящего. Маты вполне можно заменить простым криком или мычанием. Ничего принципиально не изменится.

– Матные слова пришли из татарского языка, там они означали вполне приличные вещи. Но из-за отношения к завоевателям в русском языке лексика стала обсценной. То было своего рода почётное и героическое сопротивление врагу. Теперь же это традиция. И нам с этим жить, – так попытался один подросток уйти от сути дела, обратившись к популярной в те годы народной псевдонауке.

Всё это – очевидный бред во всех своих частностях. А пожилая женщина лишь загадочно улыбнулась. Ну что можно ответить на чушь? Зачем спорить, ругаться в такой ситуации? Спор – противостояние – ссора. В этом мало рационального содержания и никакой пользы. Сказавший глупость собеседник через какое-то время вспомнит, задумается, устыдится. Он всё сделает сам. Его не нужно уже ни к чему подталкивать. А здесь и сейчас подростки быстро всё осознали. Раскраснелись, распрощались и ушли. Когда они удалились, пожилая женщина присела и уверено нацарапала на скамейке: «Х[…]Й». Я, широко раскрыв рот, с удивлением глядел на это. Женщина, поднявшись, почувствовала мой пристальный взгляд, повернулась ко мне, ещё больше выпрямилась, – хотя куда уж больше! – блеснула глазами и твердо сказала: «Вы ещё слишком мало знаете и понимаете. Куда вы идёте? В чём ваша цель? В магии мало осознания».

2. Воспоминания ветерана

О том случае никому не поведать. История глупейшая и звучит как чистый вымысел. Принято доверять обманчивой внешности. От старого человека с благопристойной внешностью никто не ожидает импульсивных и, скажу откровенно, аморальных поступков. Да и сколько же лет было той женщине?

И всё же я как-то поделился с несколькими знакомыми. В узком коллективе из четырёх человек присутствовал и глубокий старик, с которым я не чувствовал себя уютно. Я не знал его возраста. Но он казался чрезвычайно внушительным. Обломок иной эпохи, чудом доживший до наших дней. Весь его огромный и чуждый мне жизненный опыт выстраивал между нами стену. Он был заслуженным революционером, героем Гражданской войны. До того как окончательно «позвездился», он воевал иногда за Директорию, иногда за торжество анархии, вполне в духе той эпохи. Он вовремя замолк, затаился и не сел. Так или иначе, старик, выслушав мой рассказ, печально сказал: «Вещи не всегда такие, какими кажутся» и процитировал Владимира Соловьёва:

Не веруя обманчивому миру,
Под грубою корою вещества
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье Божества…

Вся компания вопросительно уставилась на старика. А он, выдержав паузу, ответил:

– Да я и сам ничего не знаю. Хотя… как-то под Херсоном мы сражались с отрядом, демонстрировавшим удивительное мужество и презрение к жизни. А три известные буквы были начертаны на их знамени. Я ещё тогда подумал, что это не просто и не только их отношение к превратностям бытия, но и указание на некое духовное основание. Большее мне неведомо.

– А что? Нормальный лозунг для воинов тех времён, я считаю. Мы в школе что-то такое читали, не помню ни названия, ни автора… там агитатор начал своё выступление с того, что молча показывал аудитории «фигу». Это близко к изначальным смыслам слова и жеста, – заметил кто-то из присутствовавших.

– Здесь что-то другое, – неуверенно парировал ветеран. – Мне даже кажется, что некоторые наши пули им удавалось останавливать, отводить силой мысли… Я могу ошибаться, конечно… В пылу битвы всякое может привидеться. А вот ещё. Мы у одного убитого нашли книгу… Вот запамятовал её название… «Дом йога»? «Хатка йога»? Что-то такое.

Мне сразу стало смешно. Ложные воспоминания. Обычные причуды памяти. Ох, уж эта советская любовь к йоге. Вероятно, ветеран что-то где-то слышал о героических индийских борцах с английским империализмом, побеждающих угнетателей фантастическими духовными практиками, имеющими строгое научное объяснение. Кроме того, старик наверняка посмотрел фильм «Индийские йоги, кто они?». Собственно, о предмете я слышал много. Среди лекторов у моего папы на мехмате Одесского государственного университета был преподаватель, успевший поработать в Индии. Для желающих он организовал кружок йоги. То были совсем дремучие советские годы. А из воспоминаний осталась и копия книжки на английском языке. Я её никогда не открывал, впрочем. Как человек патологически ленивый, я всегда сложным упражнениям предпочитал углублённое умосозерцание. Между тем, участники посиделок препятствовали замалчиванию темы:

– Да, йоги, конечно, они такие. Говорят, одна из див советского сталинского экрана, Татьяна Окуневская, отсидевшая в ГУЛАГе, выжила благодаря йоге. А стойка на голове – и сегодня обычная её практика, несмотря на годы тяжёлых испытаний.

– Ну, стоять на голове для человека гораздо естественнее, чем на ногах. В конце концов, кто из нас может похвастаться тем, что прочно стоит на своих ногах?

– Собственно, твоё утверждение легко доказать. Когда человек стоит на ногах, штаны не всегда хорошо держатся, приходится использовать ремень, подтяжки. А при стоянии на голове штаны сидят отлично. Таким образом, согласно законам природы в общем, и закону притяжения в частности, для человека естественно стоять на голове, а не на ногах.

Далее разговор становился всё безумнее и всё менее соответствующим странной и серьёзной основной череде событий. Как же это типично для человека: заболтать суть, зубоскалить там, где спасение нашей хрупкой реальности в чинной строгости рациональных рассуждений!

3. Поиски

Просто проходя через Горсад или покупая там книги, я часто замедлял все свои действия, чтобы немного продлить пребывание там. Я тщательно всматривался в людей, разыскивая пожилую женщину, оставившую на скамейке таинственное послание. Я ощущал себя Парцифалем, не осмелившимся в важ-

нейший, судьбоносный момент задать решающий вопрос Анфортасу, а потому обречённым на позор и скитания. Хотя там, конечно, не всё так однозначно. Женщина, однако, совершенно исчезла. Хотя буквы, совпадающие с начертанными на скамейке, появлялись также в разных частях города, на самых разных поверхностях. Кто-то их выписывал, нацарапывал. И всё это выглядело столь масштабно, что я не мог отнести это к деятельности лишь одного человека из плоти и крови. «Чудны дела твои, Господи» и т.д. При всём том всегда есть рациональное зерно во всех, даже самых загадочных и удивительных явлениях.

В то время царило всеобщее наплевательство, ставшее главной жизненной стратегией большинства населения огромной страны. В народной переделке стихотворения Михалкова «Шёл трамвай десятый номер» в конце появилось: «Ну давайте скажем дружно: нафиг нужно, нафиг нужно». А серп и молот на гербе толковались как «коси и забивай». По этой причине я долго не ощущал никакой опасности. Но где-то через неделю начал ощущать слежку. За мной кто-то следовал по улицам. В разные дни то были разные люди. И всё же кто-то неизменно следовал по моим сложным траекториям на некотором отдалении от меня.

В один «прекрасный» момент мне это надоело. Я обернулся, быстро подошёл к следовавшему за мной человеку и сказал:

– Что вам от меня нужно?

– Мне от вас?! Но ведь это вы обращаетесь ко мне, а не я к вам!

– Разве мне лишь показалось, что вы следуете за мной?

– Допустим, не показалось. Но за кем следуете вы? Вы уже нашли свой путь? Идеальные люди, они как планеты. Они двигаются по своим правильным орбитам, по разумным траекториям. Горе тому, кто сбился.

– И всё же. Это демагогия. Зачем вы ходите за мной по пятам?

– Нам показалось, у вас есть вопросы. Вы кого-то ищите. Я готов дать ответы.

Меня ошарашил такой подход. Захотелось спросить о результате умножения каких-то больших чисел. Но я удержался. Когда предлагается задать вопрос о чём угодно, из любой области… Мы не вели диалога, не решали конкретную проблему. Выходит, нет и общего предмета, о котором можно спросить.

– Так что вы искали? – подсказал незнакомец.

Говорить на эту тему было неудобно. Внезапно я осознал всю нелепость положения. Что или кого я ищу? Старуху Шапокляк, нацарапавшую пакость на скамейке? И что я у неё спрошу, если обнаружу её?

– Бывает, что душа томится неизведанным, а вперёд ведут смутные интуиции. Часто внутренне схватывается нечто на уровне ощущений, а осознание приходит позже.

– Невозможно искать нечто неопределённое. Важно понимать цель. Даже если она и иррациональна по своей сути.

– Трудно искать цель в бесцельном. Оглядитесь. Вот зачем люди пишут всюду матные слова? В чём тут цель? – попытался я развернуть диалог в занимавшее меня русло.

– Если человек не понимает смысла, это вовсе не означает, что его там нет.

– А вам он известен?

– В некоторой степени.

– Поведайте мне то, что знаете.

4. Священный девиз

И тут мой собеседник повёл свой рассказ, связь которого с моим вопросом оказалась довольно сомнительной:

Вы знаете что-то про Иссу? Вы знаете, что Иисус был в Индии, а изначальное христианство – это ответвление буддизма? Вы удивлены, что я завёл об этом речь? Скоро советский эон закончится. Но это не имеет значения. «Следование конъюнктуре» – это самая тёмная форма чёрной магии. Текущие актуальные вещи осуществляют, если пользоваться термином Максимилиана Волошина, глухонемые демоны. Люди чувствительные воспринимают их деятельность на высоком изначальном уровне и формулируют, находят словесное, интеллектуальное, художественное воплощение для реализуемого этими демонами. Но актуальное быстро меняется, это очень гибкая и мобильная сфера, а транслируемое демонами – это вовсе не добро, не свет. В тёмные времена главные выразители воли демонов – люди не самые симпатичные. Но времена меняются, приходят иные демоны. И вот уже старые ретрансляторы всеми осуждаются. Я с этого начал, потому что это главное у нас. Кандидат, желающий узнать наши тайны, должен признать незыблемую истину: Иисус Христос учился у йогов в Индии.

Теперь немного о нас. У истоков нашего братства, членом которого я имею честь являться, стоял Йог Рамачарака. А в числе духовных отцов-провозвестников были Николай Александрович Нотович и Александр Валерьянович Трояновский. Сам великий адепт Папюс, узнав о формировании общества, благословил его на правые дела и договорился о взаимном признании. Все эти люди постигли и бережно

хранили глубинные тайны мироздания. К сожалению, открыть такого рода знания всему человечеству не представлялось и не представляется возможным. Просто оглянитесь вокруг. Это очевидный факт. Большинство людей ещё не готово принять и правильно использовать высшие знания. Впрочем, некоторые в нашем обществе считали иначе. Известный вам, вероятно, Авраам Шифрин даже написал письмо раввинату в Израиле с просьбой открыть всем тайны каббалы. Однако книга «Зогар» не случайно написана на каком-то специфическом маловразумительном арамейском. Пусть с этим разбирается тот, кому это действительно нужно.

Для чего существует наше общество? Истины важно обсуждать. Мысль должна работать. Вы, конечно, знаете легенду об уничтожении Александрийской библиотеки? Умар ибн аль-Хаттаб сказал своему полководцу Амру ибн аль-Асу: «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. Поэтому и в том, и в другом случае их надо сжечь». Но мы не принимаем такой подход. Каждый человек находится на своей особой позиции относительно истины и, высказывая своё субъективное мнение, он придаёт истине объём, выразительность, точность, многогранность. Когда Моисей явился на небеса для получения Пятикнижия, он увидел, что Бог украшает её буквы коронами. Моисей спросил: «Кто же мешает тебе завершить текст?». Ведь текст в плане смысла уже закончен, а тут какие-то украшения… Бог же ответил: «Есть такой человек, который сможет вывести из каждой чёрточки этих корон целые горы законоположений». И ведь в самом деле, в открытии новых граней истины и состоит смысл человеческой жизни.

Есть у нас и политическая программа? Многие с радостью приняли Октябрьскую социалистическую революцию. Несмотря на все ужасы, в ней содержалась возможность исправления, очищения мира огнём. Igne natura renovatur integra. В 1926 году гималайские мудрецы с Николаем Константиновичем Рерихом передали послание о махатме Ленине. Все уповали на начало строительства новой Шамбалы. Правительство, по замыслу великих посвящнных, должен был возглавить Николай Иванович Бухарин. В его фамилии зашифрована фраза «книга ариев». Если бы всё сложилось, вековые чаяния человечества стали бы реальностью. Но Сталин, конечно, всё испортил. Он захватил власть и пренебрёг наставлениями мудрецов. Он мнил себя самым умным. Учёба в семинарии не научила его возвышенным духовным истинам, увы. С тех пор мы находимся в глубоком подполье и противостоянии с нынешней бездуховной властью. Хотя и не противодействуем злу насилием, но лишь ограничиваемся духовным окормлением масс.

5. Вступление

Я, не раздумывая, сразу согласился вступить в братство. Опрометчиво? Но всё казалось настолько правильным, логичным. Это просто «common knowledge» в отличие от абсурдного, всюду проталкиваемого нелепого официоза. Разве что «вековые чаянья человечества» вызывали некоторое недоумение. Почему же члены братства возомнили, что люди тянутся к добру, миру, благосостоянию? Вся история человечества и, между прочим, история братства доказывает обратное. Но я не стал спорить. Меня интересовала духовность, а не политика. Пусть кто-то открывает светлую сторону истины, а я подметил тёмную. Субъективно светлую, субъективно тёмную. Это добро и зло лишь между людьми. Вне человечества их нет.

Описывать посвящение нельзя. Это тайна. А я давал страшные клятвы. Скажу лишь, что мне многое открылось. А возможно, я лишь возомнил, что открылось. Я хотел запредельных истин. И вот оно, нечто запредельное. В самом же выходе за какую-то грань – путь к поиску истины. Всё честно.

Сами же духовные работы братства проходили просто. Мы собирались один раз в неделю и обсуждали разные темы. Преимущественно философские. Особенно ценилось всё, что не вписывается в официально признанные рамки. Иногда это были вполне традиционные для мировой философии и здравого смысла мысли, откинутые коммунистами, а иногда и безумные, беспочвенные построения, к которым вела открытая и любимая всеми в те времена дверь – Серебряный век. Очень уместен оказался и Рудольф Штайнер, которого в те годы активно подпольно печатал на университетском оборудовании работавший на какой-то простой технической должности некий поборник антропософии. А практика? Мы расходились с новыми идеями и каждый сам решал, что и где ему реализовывать. Ведь новые мысли толкали к выстраиванию жизни на новый лад. А личное поведение влияет и на окружающий мир.

Иногда чинность наших собраний нарушали, как мне тогда казалось, психически неустойчивые активисты, объявлявшие о получении писем от махатм или каких-то иных тайных учителей, среди которых были, например, Аполлоний Тианский и Ара бен Шемеш. Я так и не выяснил, что за этим стоит. Возможно, тексты обретали автоматическим письмом либо во время каких-то магических либо спиритических сеансов. Не знаю. В любом случае, это торжественно зачитывалось. Содержание никогда не производило на меня впечатления. Общие фразы таких посланий всегда оказывались скучнее, бледнее обычного содержания бесед на заседаниях братства. Возвышенное, неземное – это всё вне интересов низменного и земного человека. Кажется, у Дени Дидро было: «Не перепутать петрушку с болиголовом – вот это по-настоящему важно, а веришь ты в Бога или не веришь – не имеет никакого значения».

После посиделок все расходились по своим норам, тянулись к своим баранам, работали, учились, альтернативно лечили, колдовали, священнодействовали, пропагандировали, писали, читали или карали за письмо и чтение. То и была столь хрупкая реализация соборности, всеобщности, которая столь часто заканчивается погромами. Но у нас царило взаимное уважение и казалось, оно безгранично.

6. Послать на три буквы

Я отлично понимал, что нацарапанное на скамейке слово и привело меня в тайное общество, которое при всей кажущейся незначительности его деятельности преобразовывало людей, делало их лучше. Идеи, книги, элементарная артикуляция сложных мыслей, пересказ узнанного – всё это развивало дух. Я понимал, что сама та пожилая женщина-вандал, нацарапавшая три буквы, состоит в обществе. Моя попытка её найти и вызвала слежку за мной. Иного объяснения событий не приходило на ум. Однако пожилую женщину я на посиделках не встретил. Её чрезвычайно почтенный возраст вполне это объяснял. Скорее всего, посещение собраний представляло для неё физическую трудность. Спрашивать же у членов братства о похабной надписи я опасался. Как неофит я чувствовал себе неуверенно, а тут гнуснейшая похабщина и вандализм!

Однажды, впрочем, на собрании речь зашла о путях, ведущих к истине. Это довольно быстро переросло в рассказы о вступлениях в общество, обсуждение обряда посвящения, а после и в доверительную беседу о личном опыте присутствующих. Некоторые смущались и не делились своим опытом. Это принималось и допускалось. Но я решил воспользоваться случаем. Я крайне сухо, спокойно, без лишних деталей, максимально ровным голосом пересказал историю про пожилую женщину и про слежку. Ради сохранения иллюзии равнодушия и безмятежности духа, я глядел в одну точку, не следя за реакцией слушателей. Ведь любая гримаса или жест могли вызвать у меня смущение. Лишь окончив, я пробежал взглядом по лицам всех присутствующих. Реакция была приблизительно одинаковой – крайняя степень удивления, недоумение. Я стушевался, решил, что мои слова сочли глупостью, горячечным бредом. Но впечатление оказалось ложным.

– Разве ты не знаешь? Тебе давно пора открыть… почему никто ему этого не рассказал? – услышал я голоса со всех сторон. – «Х[…]Й» – это аббревиатура. Её значение – «Христос – ученик йогов». Кроме того, слово указывает на священный лингам, а тот, в свою очередь, служит выражением нашего отношения к окружающему миру и любому официозу.

– Звучит как шутка, – заметил я.

– Это всё из-за советского отношения к проблемам отношения полов. А, между тем, отказ от обсуждения естественного, от обсуждения природы – это отвратительная позиция, отрицающая науку, отменяющая самопознание человека. Более того, в данном случае речь даже не о сексе, а об использовании сексуальных символов и подтекстов лишь потому, что они базовые для любого человека. Если говорить о таком узком контексте, не распространяя его на другие, в современном мире обсценную лексику заменили числа. Это тотально изменило мышление людей. Сегодня принято любое утверждение обосновывать, доказывать математически. Таким способом процесс познания создаёт иллюзию беспристрастности, отсутствия любой эмоциональной составляющей. Человек, однако, без чувств не функционирует. Мы – старинное братство, обращающееся к наполненным страстью древним паттернам. Можно, конечно, вспомнить Прокла и пифагорейцев, но там числа – эмоционально насыщенные символы, имеющие мало общего с современной математикой. И давай на чистоту, если бы старушка нацарапала «$E=mc^2$», ты бы не придал этому особого значения.

Последнее утверждение меня удивило. Мне казалось, что, если бы пожилая женщина нацарапала на скамейке формулу Эйнштейна, я бы удивился ещё больше и вопросов у меня бы появилось точно не меньше, чем от ругательства. Но я промолчал. Не приемлю рассуждений об альтернативном ходе событий. Странно теперь предполагать, как бы я среагировал на ситуацию, которой не было и уже, разумеется, никогда не будет. И тут ещё такое. Многим кажется, что ругань стимулирует. Спорно. По крайней мере, не меня.

Моё молчание сдвинуло разговор в другое направление. И скоро завязалась беседа об астральных путешествиях. Я тогда тоже экспериментировал по книге «Скрижали мага», выходил из тела. Но далеко не уходил. Что-то мне мешало и астральное тело быстро возвращалось в физическое. А тут присутствовали бывалые путешественники с опытом, которым они охотно делились.

7. Выход

Как-то, явившись в условленное время на спекулятивные работы братства, я обнаружил запертую дверь. А ней записка: «Все ушли на фронт. „Истина святая в колодез убралась тайком“». Сердце сжалось от ощущения, что вот я не достоин высоких истин и пред моим носом захлопнули дверь. Эгоистическое чувство, конечно. Но разве это плохо? С тяжёлым чувством я повернулся, готовый уйти и столкнулся

лицом к лицу с одним из братьев. Он поздоровался и проговорил тусклым, заученным тоном: «Пойдём в кафе. Там все. Зачитаем очень важное письмо от тайных учителей». Я последовал за духовным братом. В кафе, сдвинув столы, уже собрались, сидели и беседовали почти все посвящённые нашего братства. Отсутствовали немногие. Я присоединился к смущённым беседам. Большинство, конечно, не понимало происходящего. Всюду грусть и недоумение. Но некоторые, адепты высоких степеней, уже, похоже, ознакомились с содержанием письма. Такие держались чинно. Мы дождались остальных, немногих пришедших после меня, и глава нашего братства, Великий Йог-Маг-Сотер поднялся, мягким взглядом обвёл присутствующих, взором призывая к молчанию. Когда все утихли, он заговорил:

– Дорогие братья. Вы в растерянности. Но спокойная и бесстрастная мучительная смерть физического тела спасителя учит нас невозмутимо переносить все превратности судьбы. С прискорбием сообщаю о переходе нашего ордена из материального состояния в сферу духа. Впрочем, я зачитаю письмо. Вы всё сами поймёте:

«Всему своё время, и время всякой вещи под небом». Времена меняются. Эпоха вашего всеединства проходит. И теперь ваша задача – отстоять свои частные истины. А ведь и теперь у каждого из вас своя правда. Разделение на группы, на народы и нации, на религиозные общины в современном мире абсурдно. Люди, получающие похожее образование в современном государстве, отличаются характерами, душевными склонностями, уровнем знаний и т.п. Но идите за иллюзией. Её задача не описывать, а оправдывать. Завтра вы, даже уважая и почитая друг друга, вступите в противостояние, вспомните формальную принадлежность к народу, религии, государству. И это правильно. Этим живёт, этим дышит окружающий мир вне нашего братства. Во многих мирских иллюзорных объединениях многих из вас чужие. Многих, хотя и далеко не всех, отверженность сделала искателями истины. Но теперь вы все поведете за собой. Вас послушают. Движение идентично борьбе. Покой и мир противоположны динамике, развитию. Но и „развитие“ – не всегда прогресс. Добро не побеждает зло. На индивидуальном уровне смерть всегда побеждает жизнь. Идите навстречу своей судьбе, не оглядываясь. Вы все добьётесь успеха. Даже те, кого формально посчитают проигравшими. Творите свою волю и будь что будет. Победа будет за вечностью».

Письмо зачитано. Великий Йог-Маг-Сотер продолжал стоять, молча потупившись.

– Что всё это значит? – раздалось со всех сторон.

– Уточните вопрос, пожалуйста. Согласитесь, невозможно отвечать на такое. Вопрос не сформулирован подобающим образом, – заметил глава братства.

– Значит ли это, что братство распускается? – послышалось откуда-то с места.

– На физическом плане да. В обозримом будущем мы не будем собираться. Духовно же каждый понесёт с собой в своей беспощадной борьбе с ветряными мельницами частичку братской любви.

Снова воцарилась тишина. Но мне показалось, что хотя грусть, печаль, тоска и висели в воздухе, они соседствовали с некоторой формой подспудной тёмной радости. Каждый накопил готовность к борьбе. После зачитывания письма духовные искания и философские разговоры показались пустыми, отрешёнными от реальной жизни. Зачем же нужны слова вне действий? Лишь практическая реализация имеет смысл. Многим, – частные разговоры потом это подтвердили, – как и мне показалось, что мы занимаемся пустяками, а правду следует отстаивать не словами, а кулаками. Ведь большое число людей верит, и это действительно распространенная точка зрения, что «узнать жизнь» подразумевает не изучение физики и биологии, но попросту скотское поведение. Однако, в самом деле, всему своё время.

Допивая кофе, мы уже мало разговаривали. Но сидели долго. Покидали собрание тяжело. За порогом оставалось многое важное для каждого. Выходя из кафе, я присмотрелся к сумраку улицы. Я ощутил, он ждёт меня.

ДМИТРИЙ БУРАГО

СЕМЬ КИЕВСКИХ ОКТАВ

ГОРЫНЫЧ

По мотивам и без

Хожу туда-сюда с ума:
в экране медиумы бредят.
Над крышей вешняя зима,
и крыша, стало быть, поедет.

Поедет, вырвется из пут
упрямых труб, стропил бездушных,
взмахнёт крылами скатов – пусть
смущает ветры скрип натужный.

Осины поднимают шум,
собаки лают: реет крыша!
Закинув морды, чуют мыши
потрескиванье смутных дум.

Пусть, перешёптываясь, пни
елозят на своих болотах –
явилась новая забота
в ответ на зычное: «Распни».

Широкой тенью пламенея,
над городским расположеньем
парит безумное виденье,
от дерзости своей дурея.

И, неожиданно для многих,
из-под конька вылазит шея,
как черепашья, но длиннее,
потом вторая, третья, ноги

с когтями медными… Из шей,
как шапки, в рукавах застрявши,
таращатся на мир пропащий
шесть глаз, и клювы – хоть залей!

Из них то дым, то гарь, то сажа,
огонь же, что твоя конфорка,
сипит и тлеет, только горько
предвидеть, чем пыхнёт однажды.

Так осмелела крыша эта,
так озверела, набралась,
что сказка в жизнь перебралась,
а жизнь запуталась в сюжетах.

И если вам случится змей
под вечер или спозаранку –
делитесь, запрягая в санки,
с кобылкой нежностью своей.

Но берегитесь злых и правых
и не ищите смысла в том,
что брезжит в сумерках кровавых,
дразня весёлым угольком.

15-16.02.2022

КОЛЕСО

Н.М. Сквире

«…что ты думаешь, доедет то колесо,
если б случилось, в Москву или не доедет?»
Н.В. Гоголь

Живёт в однушке русская душа,
а с ней Сократ, цветущий подоконник,
Лесков и Гоголь ходят не спеша
по комнате, как комнатные кони.

Сам Достоевский на кошачьем кресле
раздумался о судьбах колеса,
кружатся человеческие «если»,
поблёскивает за окном гроза.

Кот в сапогах, Мюнхгаузен и Бендер –
находчивость и шкварки передряг.
Телега времени у памяти в аренде,
оглобли тянут щука, лебедь, рак.

Кто в мудрых глубях ищет разрешенья!
Кому заветной выси ясен лад!
Кто в старину – там сердцу укрепленье!
А на телеге вырос город-сад.

Чудесная обыденность занятна –
всем колесом косится на вопрос,
следят иконки, чтобы текст был внятным,
чтоб смыслами без бурьянов пророс.

А Мурка катит свой клубок на горку.
Подмигивает Пушкин: выше хвост!
Здесь русский дух, здесь до веселья горько:
мёд по усам и пристальный Христос.

20.06.2022

К СТИХАМ БРОДСКОГО НА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ

Бродский не ворковал,
выследил, подсмотрел:
лютых годин запал,
славу кровавых дел.
Вырубил, что сбылось,
вкопано, врыто в грязь,
будущее – авось,
прошлое – зась.
Тут, на краю земель,
гоголем ходит мор,
в школах кровавый мел,
крошит сознанье торг.
Зраки, сердца глазниц –
злаки бессчётных лиц.
Аще умрёшь за ложь –
соком тугим взойдёшь,
заколосится род
сквозь чернозёмный свод,
флаги замес крестов –
ветреный кров.
Вот и «горит восток» –
меж запрещённых строк
всходит заря.
Может быть, гинем зря,
если в родимый дом
входим врагом?
Может, поэта спесь –
горькая весть?

12.04.2024

УТРО С ТАРКОВСКИМ

У меня было утро с Тарковским
в комнатушке с окном на вокзал.
Его голос почти не дрожал,
только мне не хватало сноровки
отделять от стихов мишуру
толчеи торопливых прилавков,
сиплых окриков, рваных звонков,
чехарду суетливых шагов.
Совершалась стихов переплавка
с вязким шумом в кипящем миру.

Из планшета звучанье слоилось,
распадалось, и билось в стекло.
Мне казалось, безумье влекло,
как предсмертного города милость,
в дерзость гордых обид или бритв.
Но счастливое детство взметнуло
родниковыми брызгами даль:
слог за слогом светлела печаль,
преломляя величие гула
страстным ритмом бессонных молитв.

И в какой-то момент всё вернулось:
рыхлый снег среди старческих изб,
литургия при шелесте риз,
и четыре родительских стула
под скатёркой родного стола,
за плетнями луга разбегались,
над оврагами билась сирень,
и дома, поднимаясь с колен,
всеми окнами свет излучали,
чтобы мама в улыбке цвела.

Прихожане чумных расстояний,
магазинов, тикточных реприз
от смартфонов своих отвлеклись
на чудно́го наречия грани,
и ему всей душой поддались:
поезда заскрипели по-русски,
говор сбился в метрический ток,
завязался родной холодок,
словно где-то на улицах узких
чуть приблизилась снежная высь.

И Арсений Тарковский продолжил
разговор о себе, обо мне и о том,
кто ему ещё не был знаком,
но теперь породнился с ним тоже.
И отставив на миг суету,
эта римская площадь внимала
острым рифмам с дырявым щитом,
беглым сумеркам с крестным венцом,
всею дикою бронзой вокзала,
допуская его доброту.

Вечный мрамор вокзальных бессонниц,
обескровленных снов караван…
Вот и я потащил чемодан
по перронам мозольной ладони,
чтобы время собрать в узелок.
Здесь, на паперти всех расстояний,
на разгоне прощаний и встреч
задержалась Тарковского речь
в гулком будущем, в чутком преданье –
беспокойного света сверчок.

Ну а мне в окаянной тревоге
отбывая немыслимый срок,
оборачиваться на восток
по-походному скупо и строго.
Там дыханье подвластно свинцу.
Там за песенной ясностью горе.
Там всё в прошлом. Но здесь и сейчас
это прошлое копится в нас,
заходясь, забываясь дорогой,
проступая подобно резцу.

11.01.2023 – 27.10.2023

СЕМЬ КИЕВСКИХ ОКТАВ

1.

Есть прозрачная линия губ – горизонт разряжённого слуха.
На припухлом востоке, куда ниспадают ветра,
распростёртые в снах к свету тянутся хрупкие звуки,
занимается тень, проступая сквозь муторный страх.
Ночь, качаясь от света, ещё, может быть, обернётся,
отцветающий бисер сгребая на влажную шаль –
всё теперь в узелок, что не спрятано, то оборвётся,
как растраченный сон, как надежда, которой не жаль.

28.04.2024

2.

Это сизые пчёлы ночной небосклон обшивают,
узнаёшь своё детство в Медведице, Овне, Стрельце,
собирается память в комок и уже времена не пугают,
только больно за детские слёзы на сбитом крыльце,
за цыплят, за Цыпулина-Пушкина – мы поспевали
так отчаянно быстро, доверчиво, что наизусть
раскрывались цветы и созвездья в стихах прорастали,
и Телец на лугу был бесхитростен, как сама грусть.

8.05.2024

3.

Нет, не будет тоска волочить свои тени по дому
от кровати к дверям и обратно, сводя в немоту
сожаленье, обиду, беспомощность – всё по-другому
будет в этом, грядущем в мольбах и проклятьях году.
Не тоска будет править, а жёлтая рысь оправданий,
чёрствый снег в лабиринтах бескрайних гранитных оград
будет скрипом, как водкой глушить имена и признанья,
чтобы не было страшно и не было хода назад.

10.05.2024

4.

Видишь, небо кровит, над рекой поднимается город,
пролетают мосты, опрокидывая с горяча
звонких маковиц блеск под быков вековые опоры,
сталь над кручами меркнет, срывается всполох меча.
Киев дышит рекой, время копится в мерах чугунных,
на угрюмых кладбищах, в запущенных тенях садов,
где ещё соловьи помнят говоры скифов и гунов
набухает сирень, как отчаянье будущих вдов.

10.05.2024

5.

На реке нет судов, ни одной даже вёсельной лодки,
словно Вышгород вымер и Канев зарылся в холмы,
острова одичали, но в устье Десны, посерёдке,
что-то туго скрипит и расходится зыбь от кормы.

Это призраки барж перевозят тяжёлые грузы:
рассыпные надежды, бесстрастную память и скорбь,
а навстречу им время везут и гнилые арбузы
через призрачный город, что в детстве был весел и добр.

11.05.2024

6.

Вот и крашенки биты, застолья прошли поневоле:
напортачили, всхлипнули, расцеловались и в ад.
Кто забит, кто затравлен, а кто-то по собственной воле…
Да, у женщин теперь безразлично-блуждающий взгляд.
Всполошилась весна на исходе пасхальной недели,
развернулись пионы, ромашки разинули рты,
и плывут отраженья церквей по днепровской купели,
вознося над волнами свои золотые кресты.

15.05.2024

7.

Здесь же будет цвести на лугах беспилотное лето,
будет смертью гадать, будет скалиться из-под золы,
а на встречу ему беззаботные дети и где-то
накрывают на дачах счастливые семьи столы.
Повстречаются два небосклона, два пристальных взгляда
и не верят друг в друга, не верят, что это не блажь,
и о чём говорить, между ними глухая преграда –
заэкранная пропасть, реальности хлипкий витраж.

16.05.2024

ИРИНА ЧУДНОВА

ВОСПИТАНИЕ МАЛЫМ
(жить в эпоху перемен)

ТРЕЛЬЯЖ

визуальный способ
познать пространство –
опрокинуть его от себя
и в стороны
удвоив утроив

мир заведомо избыточный

разворачиваюсь
к себе спиной
выбрасываю из зоны обзора всё
что возможно выбросить

пусть познание будет апофатическим
как познают божественное –

вычитая из мира всё
что не-Он всё
что не-Свет

вычитая из себя всё
что пришло от других

тогда

что у меня останется?
что от меня останется?

дородовая темнота невесомости?
первый кислородный шторм
взрывающий парус лёгких?
утраченный парашют последа?
стропы пуповины?

свет прорезавший зрение?
витальность первого крика?..

даже этого не взять с собой

не удержать

когда мир
вычтет из себя наконец
всю
избыточность

воплощённую в – я

20.12.2022 г. г. Пекин, Лунцзэ

\ВОСПИТАНИЕ МАЛЫМ\

от разинутого до разверстого
три-четыре шаг*а*
пуля со смещённым центром тяжести
летит в неведомую ей цель по воле бойка

перетянутая струна свивается в комариный зуд

ты разеваешь от удивления рот
делаешь шаг навстречу
ещё один
и ещё
и вот анемон твоего сердца
распахнут навылет а тебе горячо
снаружи и прохладно внутри –
навсегда раздетому

предстоящему

память опускает занавес взгляда –

я не смогу пойти за тобой туда
разжатая ладонь
чертит прощание
в пустоте между частицами воздуха

ты не будешь голоден никогда

14.12.2021 г. 7:37 г. Пекин, Лунцзэ

***

свобода несёт
на своей крутогорбой спине
горький признак отверженности –
само-стояние

само-стоять –
работа
на полную занятость
без выходных

глаз тоскует по привычному ракурсу
ухо – по манку любимых интонаций
рука – по теплу знакомых прикосновений

пустота болит боль нестерпима
боль хочет чтобы её чувствовали
но чувство избывает время
ты дотрагиваешься до мокнущей раны
сегодняшнего дня
ты не забываешь о ней

само-стоящий
ст*о*ит самого себя –
рука поднимает знамя
губы произносят слово
и северо-западный ветер поёт
на языке неведомого –

дорога ластится к подошвам

ты делаешь шаг
шаг делает тебя

19.09.2021 г. г. Пекин, Лунцзэ

\ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ ПЕПЛА\

словом «голод» вывернут гололёд
чтоб загробный рот освежила вода
как навылет пуля виску споёт –
ты не будешь голоден никогда

кто трёхлапому солнцу принёс обет
тот бессмертней яблока гесперид
стосковался по шагу несбывшийся след –
за чертой кромешной цикада звенит

тот ли станет нищ тот ли станет стар
кто от века в пасынках хромоты
загребай гефестов наследный жар –
сквозь огонь зияет цветок войны

сквозь металл бестелесная память сквозит –
след пера чернилен и невесом
мотылёк спасаясь свечи летит
тёплым ветром как вечностью светлой несом

18.07.2018-15.03.2021 г. г. Пекин, Лунцзэ

\КОАН О ПОЗНАНИИ СМЕРТИ\

Камень, брошенный в пламя свечи,
достиг цели, а оно так и не вскольыхнулось.
11.Ч. 2001г.

между камнем и глазом
дрожанье неоновых струн
пролетев сквозь огонь
взгляд бескожий – очищен и юн

зеркала возмущая
в застывшей февральской воде
камень взгляд остановит
настигнув себя в глубине

пустоту прозревая
как жерла разверзнут зрачок
остановленный взгляд –
словно познанный камня намёк

25.04.2021 г. г. Пекин, Лунцзэ

\ВРОВЕНЬ С НАШЕЙ ТОСКОЙ

свет
на который нельзя смотреть
земными глазами –

так ярок творящий несотворённый
порождённый волей
раздать себя на всех
как раздают хлебы как делят рыб

тень
глазами – в смерть
вином памяти
отзвуком света –

изживая плоть
истончая её истирая до
изначальной чистоты

чтобы
вернуть глазам
способность без боли
осязать замысел
о самом себе

возьми

напрасный
случайный

дар

27.12.2022 г. г. Пекин, Лунцзэ

***

родина смерти –
годовые кольца
моего леса

округляются стволы
год за годом
кольцо за кольцом

словно
детство отращивает
круговую броню

отдаляет
себя собой от топора

покуда жива
память крон
память корней

20.06.2024 г. г. Пекин, Лунцзэ

***

немного солнца
не помешает холодной воде
думает Франсуаза Саган

немного ада
не помешает твоей голове
если ты житель 21-го ве

Кащенко – сказочник
верящий в здоровье разума
разум заразен

разум
не наследует рая

24.05.2024 г. г. Пекин, Пинсифу

***

карандаш молчит –
графитово деревянно
в пределе – алмазно

воля его покоится
в отсутствующей руке

будешь и ты
молчать
пока не настанет время заговорить собой
стираясь очиненным грифелем
о чистый лист

а покуда – покойся

жди
прикосновения воли
храни
графитовое молчание
алмазное слово
копи

28.06.2022 г. 00:33 г. Пекин, Лунцзэ

МАРИНА МАТВЕЕВА

ДЕТЁНЫШ ТАНЦА ДОБЫТ ОХОТНИКОМ

***

Господи!.. Как он растёт – кипарис! –
что наконечник копья Святогора…

…Сможешь ли, дерзкий поэт-футурист,
дать ему слово?
А в слове – опору?

…Буря грозит иступить остриё,
злобно ломая зелёное тело…

Господи!.. Это – само не своё!..

И не поэтово дерзкое дело.
«Юноша бледный», готовый на риск
словораспила для мозгопрогрева,
видишь ли, *«кипа»*, *«пари»* или *«рис»* –
тоже слова.
Но дрова, а не древо.

Верю в тебя. Ты талантлив, речист –
Смело влезай на сверхумную гору!

…Боже!..
Как рвётся,
крича,
кипарис
из-под земли!..
…словно дух Святогора…

АГРЕССОР

Работа, работа.
Дела, дела.
И нет ничего.
Инда жизнь прошла.
А где-то Арджуна общается с Кришной.
А где-то Печорин – богатый и лишний.

Учила, учила.
На пять, на пять.
И нет ничего.
Весь филфак – и_падь.
И снова бухгалтер общается с боссом.
Царапает принтер «Отчёт по испо… сумм…»
Закончился картридж.
Серым серо.
И нет ничего.
Как дыро – зеро.
А где-то любовию бедная Лиза –
её бы проблемы. Мои бы сюрпризы
бедняжке, бедняжке.
Берым бери!
И нет ничего.
Кроме фонари.
И в микроволновке забытыя пиццы.
Да вот бы со мною хоть что-то случится!
В подъезде, в подъезде.
Маньяк, маньяк.
Заеду цитатою
из Чут Ньяк.
Очки подбирая разбитые с пола:
«Блестяще, мадам! Нашей кафедры школа!».

***

Дочь капитана Блада уходит в блуд:
в Гумбольдта, в Гамлета, в гуру пустыни Чанг…
Папочка рад. Он пират, и ему под суд
страшно… ну так хоть дочка не по ночам

шляется, а накручивает свой бинт
мозга – сокровища ищет на островах.
Только когда-то сказал доходяга Флинт:
«Слава проходит, а после – слова, слова…».

Будут пятёрки, дипломы и выпускной,
«Звёздочка наша!» и старых доцентов взрыд…
Хлопнется дверь, захлебнётся окно стеной…
Станет сокровище и непонятный стыд.

Папочкин «роджер» взвивается для старух
в касках (на случай студентских идей-обид).
Дочь капитана Блада – из лучших шлюх:
с Гумбольдтом, Гамлетом и Геродотом спит.

СОНЕТ 1

Не больно грому от его раскатиц…
Нет, это просто вспышка. Не затем ли
Господь цифровикует нашу Землю,
чтобы запомнить? Видимо, ей хватит

вращаться в свете посреди хвостатых
и этих, что «со спутником»… Не внемля
её протестам, Бог рисует Землю.
И лепит. И мечтает напечатать.

А может, мы и есть всего лишь слепок
той, что жила себе тысячелепо
и в некий миг – потопом ли, огнём –

была убита? И ей на замену
отобразилась наша Ойкумена –
всего лишь холст и полотно на нём…

СОНЕТ 2

Счастливый мир, бездушный идеал!
Не больно грому от его раскатиц,
И камню не обидно от ругательств
Моих за то, что на ногу упал.

Как мал мирок чувствительных, как мал!
А потому, страдалец мой, не прав ты,
Когда в твоей душе поют кастраты,
Что я не слышу этого. Стенал

Мирок веками. Слёзы лил, отчаясь.
А небо, их от луж не отличая,
Туманом собирало в тучи до

Переполненья. «То слеза живая,
Что ангелы над миром проливают…».
Круговорот воды в природе. Дождь.

НОВАЯ ТАТЬЯНА

О, безответная сладкая злая любоффь!
Небо стоит вертикально – то Божий экран.
Смотрит Он фильмы про Землю, про тысячи лбов
с метками Каина, пьёт недоскисший айран
из облаков – дойных коз, что доятся слезой…
Щёлкает пультом, находит кино про меня:
скучно, банально, но надо взглянуть хоть разок,
вдруг там не то, что терпимо, и надо унять.

Что же мы видим: я просто смотрю на него,
просто смотрю. Будто губка, вбираю, как свет.
Скучно, банально, но надо отслеживать: вот
слово сказала ему – получила ответ…
Чуткое счастье, как бронзовый звон позвонков:
чувствовать шеею, видеть сквозь воздух, ещё…
О, эта острая, тихая неналюбовь:
не подойдёт и не ляжет лицом на плечо,

не прикоснётся и прикосновенья не ждёт, –
вечно пространство меж нею и телом живым,
вечно и время, что брошено камнем в полёт,
на ультразвуке небесном заставлено выть.
Только и может, что впитывать, есть сквозь зрачки
и резонировать лирикой, тонкой, как жесть,
и отзываться молчаньем на зовы тоски,
и ничего не иметь, ибо все уже есть,

ибо… И Богу останется только зевать,
глядя на это, и Он ей идею письма
хитро подсунет, чтоб заговорили слова…
Это картину подразнообразит весьма.
…Меж неписьмом и письмом – лишь мгновенье одно,
то, когда в ящик бросаешь: забросил – и не
вынешь уже... Это ВСЁ. Только Богу равно:
главное, происходило бы что-нибудь с ней…

И происходит… Она подыхает. Гробов
этих у Бога скопилось довольно внутри.
О, нутряная ты язвина, тихолюбовь,
лучше молчи, не юродствуй и просто смотри…
Просто смотри, ненавидься, не дай разорвать
струны твои, что сквозь небо до звёзд допоют…
И не посмеет Господь полусонно зевать,
чувствуя тихую жуткую силу твою…

***

Царицы должны жить в тепле:
в роскошнейших юртах кошмовых;
не слышать топтания молви,
не знать, сколько сотен ей лет.

Царицы должны жить в садах,
в ашоково-манговых рощах,
где боги хитоны полощут
в садняще лучистых вод*ах*.

Царицы должны жить во мгле:
ни день и ни ночь им не ровня,
усталое утро условней
заката на горнем челе.

Царицы должны жить в огне:
тернистом, и синем, и чёрном,
всезнающем и ниочёмном,
несущем восторг на спине.

Царицы должны жить в кольце:
рубиновом и изумрудном,
витом, гранераненом, трудном,
как стыд на счастливом лице.

Царицы должны жить в раю,
где прячутся слабые дети –
так мало на дряхлой планете
дающих им силу свою.

Царицы должны жить в аду,
средь яростных и непокорных,
откуда крепчайшие корни
в небесные вены войдут.

Царицы должны жить не здесь…
Мерцающей нежности плёнкой
подёрнув скрипящий и ронкий
обломок, прибитый к звезде,

Царицы должны жить везде.

***

Небья манна припорошена экзистенцией золы:
все козлы, но все хорошие, потому что все козлы.
Потому что все хорошие так боятся ими быть,
что Добро женою брошенной ходит к морю мантры выть.
Сквозь глаза – дорожка лунная, под глазами синева.
Нежная, чудная, юная – только трубками жива
кислородными да плясками: «Гида-зепа-пам-пам-пам!»,
да скудеющими ласками кошке, льнущей ко стопам.
Но у кисы глаз намётанный: если нет в руке куска,
то иди домой, залётная, таракана приласкай –
так займи себя работою – сохранением души,
и не думай, отчего там мы все козлядь как хороши.

СПИРИТЫ

Наша любовь превратилась не в быт,
а в «психологию» всех огорчений.
Каждый по-своему сыт и не сыт.
Жизнь – это сила для столоверчений.
Что вызываем мы – ты или я,
чтобы забыться в весёлых беседах?
Прошлое! Были такие друзья,
эти приколы и эти победы…
О пораженьях – ни слова! Герой –
каждый. А то, что сейчас – только люди, –
это «страна и система», порой –
это болезни – как строгие судьи
каждого чувства, поступка, прыжка,
каждой копейки и каждого слова.
Прошлое… Дай мне ещё молока!
Я ведь дитя – в оболочке суровой,
важной и нужной, и мудрой такой,
что лишь ленивый нейдёт со слезами
бедствий своих, объявляя рукой
чуть ли не Божьей мои – истязанья.
Прошлое! Мама! Друзья и враги!
Дай вам от нас хоть минуту покоя,
Бог! Помоги им, хоть чуть помоги:
каждый – такой же, такая. Такое…

ТАНГО

Если
бы я умела
танцевать тебя!

Кресло
сжимает тело,
будто ватное.

Руки
хотят хвататься
за подлокотники.

В муках
детеныш танца
добыт охотником.

Кровь и
рутина… Загнан.
Занозой под ноготь.

…Профиль –
камей Гонзага
двойным располохом –

ну-ка!
…А ноги молят:
«Мы – для хождения…».

Руки:
«Да лучше кролем!».
Перерождения

страхом
убиты плечи,
зажаты стенами…

Взмахом!
Рывком и – встречей!..
И – постепенно мы

вместе!
Все части тела –
из крика – в пение!

Если
бы я умела…
Взорвись, умение!

Из сердца –
по перстам.
Там-там.

ВИКТОРИЯ КОЛТУНОВА

В ОЖИДАНИИ ТРЕХ ЧАСОВ ДНЯ
рассказ

Окно на улицу располагалось напротив входной двери. Справа от входа – её кровать, всегда аккуратно застланная, железная кровать с шишечками на изголовье, оставшаяся видимо ещё от предыдущих хозяев. Почти всю левую стенку занимала старинная груба-печь, которую давно не топили, в доме давно было центральное отопление, просто убрать её было некому. Напротив окна, слева от двери, под занавеской, на гвоздях, вбитых в стенку, висели её вещи. Под окном письменный стол из потемневшей от времени фанеры. Стул. Больше у неё ничего не было. Хотя нет, на кухне, общей с другой семьёй, занимавшей соседнюю комнатку в этом же подвале, у неё был столик, немного посуды и одна конфорка на газовой плите.

Окно, под которым находился письменный стол, возвышалось на метр над поверхностью уличного асфальта, и в него были видны шагающие вправо и влево ноги, а за ними – колёса проезжающих автомобилей.

Она сидела, опершись локтями на стол,ф подложив кисти рук под подбородок, и смотрела на улицу, на шагающие туфли, ботинки, кроссовки… Вдоль женских ног иногда свешивались сумочки на длинном ремешке или нагруженные большие сумки.

Было без четверти двенадцать дня.

Время она узнавала по маленьким наручным часикам, прибитым гвоздиком к столу. Один конец кожаного ремешка был оборван, второй конец она прибила к кромке стола, чтобы не искать. Раньше эти часики вечно куда-то заваливались, хоть и завалиться им в маленькой комнате было, в общем-то, некуда.

Погода с утра выдалась замечательной. Солнце сияло как никогда – радостное, нарядное, словно у него был сегодня какой-то праздник.

Она выйдет из дому около трёх часов. Ровно в три менеджер близко расположенного супермаркета вывозит по пятницам тележки с просроченными продуктами, и местная голытьба разбирает эти продукты совершенно задаром. Только нельзя опаздывать: более молодые прыткие сограждане оттолкнут её, не дадут выбрать то, что хочется, а хочется ей всегда мясного и сладкого. Там будут консервы с мясом и пирожные, которые уже нельзя продавать. Ей не хватает белков и глюкозы, вот почему тянет на мясо и сладкое. Это она понимала. Главное не опоздать и успеть выхватить своё.

Мимо окна резво пробежали детские ноги в резиновых кедах. В таких кедах прыгала тогда девочка, которую она запомнила. Вот так сидела, глядя привычно в окно, и вдруг мелькнуло что-то тонкое чёрное, мельк, мельк. Скакалка, догадалась она. Потом появились эти тоненькие девочкины ножки в розовых колготках и зелёных кедах. Прыг, скок, прыг, скок, мельк, мельк. Девчонка скакала, и её ножки показались ей двумя розовыми беззащитными червячками.

Слева послышался шорох. Она оглянулась, от печки отвалился и пополз вниз кусочек штукатурки. Что-то там соседи делают, за стенкой? Может, гвозди вбивают, репродукцию вешают, а может, уже готовятся стенку пробить? Она не сомневалась, что как только умрёт, соседи немедленно, не дожидаясь формальностей, пробьют стену в её комнату, чтобы захватить её, пока мэрия лапу не наложила. И это правильно, там молодая семья с двумя детьми, им тесно, пусть захватывают. Ей уже всё равно не нужно будет.

А справа через подъезд, такой же подвал, как этот, переустроила под гараж солидная фирма, занимавшая бельэтаж. Они точно захотят расширяться и, скорее всего, предложат её соседям продать им свою квартиру, чтобы сделать туда вниз лестницу из своего офиса. И так соседи смогут переехать в нормальное жильё. Почему бы нет? Это будет хорошо и правильно.

Интересно, где живёт эта девочка в розовых колготках, какая у неё семья? В какой класс школы ходит? Может, встретит её когда-нибудь на улице: видимо, она живёт неподалеку. А как она её узнает, если ножки-червячки будут одеты в другие колготки или джинсики? Нет, не узнает. Но так приятно вспоминать эти прыг-скок, мельк, мельк…

Ровно двенадцать.

Когда-то она проходила тест у психолога, который отбирал кандидатов на высокую должность. Психолог предложил ей вспомнить самый счастливый день её жизни и описать его на бумаге. Она взяла ручку и задумалась. Какой именно день был самым счастливым? Может, тогда в Фанских горах, когда они путешествовали вдвоём, ещё не говоря ни слова о свадьбе, но точно оба знали, что друг без друга им не жить. Они проехали на такси до конца асфальтовой дороги, потом гид повёл их пешком. Тропинка сужалась, холодало, на далёких вершинах остро сверкали снежные длинные языки.

Гид привёл их в местную достопримечательность, высокогорную чайхану, в которой подавали свежую, только что выловленную в речке форель. Всего пять столиков, один из них располагался в дупле огромной чинары. В ожидании, пока официант принесёт заказ, они прошли вверх по ручью. Вода в ручье была настолько прозрачной, что её как будто и не было. Словно сверху стекал лёгкий невесомый блеск. Она опустилась на корточки и потрогала рукой воду, чтобы убедиться, что вода есть. Руку обожгло холодом, но вокруг пальцев забурлили маленькие фонтанчики. Здесь же плавала та самая форель, быстро виляя хвостом, от камешка к камешку, рыба подплыла к руке, ткнулась вопросительно мягкими губами. Потом они прошли ещё выше, полюбовались кружащим между горными пиками орлом с белыми перьями на концах крыльев. Он обнял её и так они стояли, прижавшись, закрыв глаза и соприкасаясь щеками. На тропинку вышел гид, пригласил их к столу, но она не смогла есть эту поджаренную золотистую рыбу, лежавшую перед ней на тарелке. Точно такая же нежно тыкалась губами ей в руку полчаса назад. Он понял, улыбнулся мягко, прошептал ей на ухо слова любви.

Да, то был очень счастливый день.

А может, этот? После свадьбы они улетели в Таиланд, он забронировал дорогущий номер. Отель весь в мраморе. Огромная кровать с уложенными на ней лебедями из полотенец, как принято в дорогих отелях. На полу какой-то необычный ковёр с длинным-длинным ворсом, в котором ноги утопали по щиколотку, да ещё сверху горничная набросала лепестки каких-то пахучих цветов. Она, раздевшись, бегала по ковру, загребая ногами лепестки, потом бросилась на пол, каталась с боку на бок, извивалась, хохоча, всем своим гибким молодым телом ощущая, как ласкают кожу белые лепестки, вбирая в себя экзотический приторный аромат. На вид вроде орхидеи, что ли. Он смеялся, глядя на её трюки, потом схватил двумя руками, поволок на кровать…

На следующую ночь произошёл курьёзный случай. Она, переворачиваясь на спину в любовной схватке, задела ногой тревожную кнопку на прикроватном столике. Через полторы минуты дверь открыли своим ключом, и на пороге возникли трое охранников во всеоружии. Застыли, недоуменно глядя на резвящуюся пару. У них-то тоже, небось, был обалдевший вид. Потом долго вспоминали, смеясь, лица охранников.

Нет, тот, первый, эпизод был важнее. Когда он понял, почему она не смогла есть жареную форель. То важнее.

И ещё был счастливый день, когда она получила на руки исследование в больнице, подтвердившее, что маленькое затвердение в левой груди функциональное. Само рассосётся, никакого рака у неё нет. Они тогда на радостях танцевали, пели и прыгали перед воротами онкодиспансера, были счастливы оба. Но всё-таки тот день в Фанских горах был важнее, когда она поняла, что он чувствует тоже, что и она.

Может, сегодня в окне покажутся розовые пляшущие червячки, она выйдет и познакомится с этой девочкой.

Двенадцать часов, пятнадцать минут.

Психолог тогда посоветовал вспомнить что-то из детства. Нет, в детстве ничего хорошего не было. Родители, археологи, надолго уезжали по работе, оставляли её на домработницу, которой давали деньги – её зарплату, на еду для ребёнка и для выдачи ежедневно на школьные завтраки, но домработнице она была безразлична и часто уходила в школу голодной. На руки никаких денег ей работница не давала. Родители, возвращаясь, никогда не спрашивали у работницы отчёта, а у дочери, как она провела время без них. А она родителям никогда не жаловалась. Они не спрашивали, а она молчала. Нет, ничего хорошего не было в таком детстве. Просто было ожидание чего-то лучшего, что наступит потом, это было, да.

Скорее счастье она приобрела в самостоятельности, когда завела свой собственный бизнес. Не счастье, а душевный покой, надежду на будущую стабильность, вот так это можно назвать.

Наверное, ожидание счастья намного важнее самого счастья, которое, придя, уже ощущается как должное, само собой разумеющееся. А может, оно вообще недостижимо, потому что когда приходит, мы не можем определить, что вот оно пришло, когда оно есть, мы его не замечаем, не обращаем внимания, заняты другими делами…

Хорошо, что ей не за что себя упрекнуть, свою совесть. Разве что за тот донос. Не донос, а скорее клевету. Тогда она жила одна в элитной квартире, в элитном районе. На каждом этаже холл, два входа в две квартиры. Однажды, выйдя утром в холл, она увидела там заплаканную девчонку лет семнадцати. Девчонка сидела на фанерном чемоданчике, обклеенном дерматином, прямо реквизит из кинофильма о прошлых годах. Нос красный, глаза опухшие, щёки и кофточка в слезах.

Она завела девочку к себе домой, расспросила. Оказалось, девчонка из села, познакомилась по интернету с солидным человеком сорока лет. Долго переписывались, он звал её лапонькой, заинькой, писал, что любит. Звал к себе, обещал длинную, замечательную жизнь вдвоём. Она приехала вчера вечером, привезла с собой все свои вещи, ведь надолго. А он попользовался ею одну ночь, насытился, а утром выставил за двери, сунув в карман мелкую купюру, мол, не подошла ему, вертайся назад. А как вернуться, в селе все знают, что она поехала замуж выходить за богатого горожанина, её ж засмеют. Как родителям в глаза посмотреть?

Она дала ей пару салфеток высморкать нос и вытереть глаза. Накормила вкусно. Велела открыть фанерный чемоданчик, там лежало несколько дешёвых платьев, купленных явно в лавочке на базаре, пластмассовый браслет и бусы из керамики.

Девочка худее, но они одного роста. Она вытащила из своего шкафа-купе несколько платьев, уже раз или два надетых, но дорогих, стильных. Велела примерить. Надела ей на шею свою итальянскую бижутерию марки «Dolce Vita».

Девчонка подошла к зеркалу и вдруг выпрямилась, взволнованно глядя на себя. Увидела себя в новом образе, щеки порозовели.

Она продержала у себя эту девчонку три дня. Велела возвращаться к родителям с рассказом о том, что богатый жених подарил ей все эти платья и украшения, но он ей не подошёл – неопрятен, занудлив, скучен, у него плохо пахнет изо рта, она не сможет с ним жить. Хотела оставить ему все подарки, но он слёзно настаивал, чтоб взяла и подумала, может, вернётся. Но она не вернётся. Всё. Будем ждать другого принца.

Девочка уехала довольная, щебетала по дороге на вокзал. Эти несколько платьев, колье «Dolce Vita», а главное, новый взгляд на случившееся, новый взгляд на себя вернули ей ожидание счастья, которое она надеялась обрести и внезапно потеряла так жестоко и унизительно.

А она стала думать, как наказать соседа, выставившего за двери, как паршивую собачонку, юную жизнь. Он держал салон импортных автомобилей. И она накатала на него в соответствующие органы заявление о том, что ей доподлинно известно: вместе с автомобилями он провозит в страну контрабанду. А может, и действительно провозит, тип он скользкий, безнравственный. Пусть компетентные органы проверят. Не провозит, значит, отпустят. Ни черта ему не будет. А виноват – пусть отвечает по закону. Это донос? Или клевета? Она уронила себя, наказав подонка, или свершила акт справедливого возмездия? Акт возмущения и сочувствия? Пусть Господь её судит, Ему виднее…

Та девочка тоже искала счастья, а получила унижение и горечь… Разве это справедливо?

Слева снова посыпалась штукатурка с боковой поверхности печки-грубы. Может, сама по себе? Сколько ей лет-то! Или соседи шебуршат.

Ровно час дня.

Девочка так и не написала ей письмо, как обещала, с рассказом о возвращении в село, о реакции родителей. Не позвонила. Ну, да Бог с ней. И розовые червячки не пляшут больше в её низеньком окне. Там проходят другие ноги, взад-вперёд. Ботинки мужские, женские шпильки, кроссовки. Больше кроссовки, сейчас они в моде. Столько обуви за один день! Бегом или медленно, шаркая подошвами. По походке и обуви она может определить человека, стар или молод, благополучен или еле тащит себя по жизни…

Жаль, что она тогда поссорилась с подругой, не так уж много подруг у неё было за всю жизнь. Они шли мимо церкви, и она сунула в бумажный стаканчик нищему купюру в десять долларов. Подруга возмутилась: «Я день живу на десятку, а он ничего не делает, расселся тут. За что ты ему такие деньги дала? Поощряешь бездельника. Он же всё равно сейчас пропьёт эти деньги!».

Она оправдывалась, не моё, мол, дело, пропьёт или нет, Бог велел делиться с нищими и убогими. Может, не права была тогда. Главное, что они поссорились, вот в этом она точно не была права, нельзя терять друзей.

Из общей с соседями кухоньки послышались какие-то звуки, потянуло свежестью. Видимо, молодая хозяйка пошла ставить обед, и открыла там окно, выходившее во двор.

В кухоньку из её комнаты вёл длинный узкий коридор, её собственный, из этого коридора ход направо в тамбур. Из тамбура можно выйти во двор, а можно в кухню. Вот так она получала свежий воздух, из окна кухни через тамбур и коридор, потому что окно на улицу нельзя было открывать, такая пыль!

Она пальцем прижала гвоздик, слегка вылезший из кожаного ремешка часов.

Два часа дня.

Ещё одно воспоминание сжимает сердце. Это уже потом, когда она не могла бросать десятки в стаканчики нищих на паперти. Её знакомые актёры пригласили её на премьеру спектакля в столицу, где они играли главные роли, ставили «Короля Лира».

Взяла билет в плацкарте и с вокзала отправилась искать место в отеле. Цены её поразили. Они были ей совершенно недоступны. Ей подсказали найти себе место в хостеле. Дали телефон. Она позвонила, по деньгам было приемлемо. Заказала себе койку в комнате на десять человек (А на два человека есть? – Есть, но она дорогая. – Хорошо, пусть будет на десять, всё равно это только на одну ночь).

Нашла хостел, поднялась на третий этаж, прошла через кухню, где жарили что-то на сковородке двое молодых людей, и вошла в свою комнату. Десять железных коек еле помещались в ней ярусом в два этажа. Её койка была верхней! Да она не залезет наверх! Как это? Её ж не предупредили, что кровати в два яруса, что свободна верхняя койка! Девушка, сидевшая на нижней койке, сказала, что в эту ночь её не будет, и она может уступить свою нижнюю койку на одну ночь, только постель не будет перестилать, пусть пожилая женщина сама перенесёт её белье наверх, а своё вниз. Это был выход из положения. Она поменяла местами постельное белье, засунула под койку свою дорожную сумку. И отправилась в театр.

Утром прогон, потом обед в буфете с актёрами, вечером премьера. Она успела перед началом вечернего спектакля купить цветы. После премьеры в фойе накрыли вскладчину стол. Она наслаждалась обществом привычного круга людей, с удовольствием слушала тосты, сама выступила с оценкой спектакля. Её голос летел над столом свободно и мягко, её слушали внимательно, с благодарностью за несколько мелких замечаний, но в целом благожелательный и тонкий разбор. На прощание поцеловалась с Лиром, Корделией, Реганой.

Вернулась в хостел. Обнаружила, что сверху есть занавеска, ею можно закрыться от посторонних глаз, когда ложишься спать.

Среди ночи вдруг проснулась от какого-то шума. Оказалось, что проход в ту комнату, где всего две койки, идёт через эту комнату, и «богатые» гости, снявшие «вип-комнату» проносят сейчас туда свой багаж.

Погасили свет, все успокоились, и она попыталась уснуть. И вдруг затряслась от рыданий.

Она в ночлежке! Это не хостел, это просто ночлежка! Не надо вранья! Нищенская ночлежка, тесная и грязная, со следами тараканов на стене, вонью из крохотной кухни, чужими волосами на полу душевой. Как она опустилась, как дошла до жизни такой, как привела её судьба в эту вонь и грязь, и невозможность снять себе приличный номер в отеле, экономию на еде, на колготках и зубной пасте. И она видит эту прямую, неуклонно спускающуюся вниз и вниз. И не видит никакого выхода. Выхода нет, нет, в никуда…

Она вернулась домой другим человеком. Погасшим.

Два часа, тридцать минут.

В конце того длинного узкого коридора, что принадлежал ей одной, стоял шкаф. Он тоже остался от предыдущих жильцов, очень старый, потемневший от времени. «Может, ему даже больше ста лет» – думала она. Очень похожий старый шкаф, тоже тёмный, двухдверный, стоял когда-то в коридоре богатой квартиры её родителей, где она выросла. Тоже доставшийся от предыдущих хозяев. В него сбрасывали всякий хлам перед тем, как вынести окончательно на помойку. В основном, старую одежду. Маленькой она любила забираться туда с ногами, под ворох тряпья, прячась от взрослых, когда не хотела их видеть. Или пряталась туда плакать, чтобы никто не видел – она не любила показывать свои слёзы. Обидели в школе, обидела мама, что-нибудь ещё… Шкаф был её прибежищем, её личным крохотным жильём, её пещеркой первобытного человека…

Потом его порубили на части, вынесли куда-то оставшиеся дрова, в квартире сделали ремонт, оббили стены коридора тканью для мебели, а в комнатах какой-то более тонкой тканью. Мама радовалась, у нас маленький Версаль!

Этот, второй, шкаф был почти точной копией первого, такой же старый, тёмный и таинственный. Это радовало её, словно вернулась частичка детства.

Только ручки двери у него были другие: у первого шкафа металлические, кружевные, а у этого деревянные, вырезанные в форме тюльпана. Тоже тёмные, даже с лиловатым отливом. Ей нечего было держать в этом шкафу, но она любила его, потому что он принадлежал ей.

Два часа, сорок пять минут. Пора выходить.

Надо выходить, а то она не успеет за просрочкой. Другие всё расхватают. Так уже было один раз, когда она опоздала и осталась без мяса на всю следующую неделю, до пятницы.

Она встала, аккуратно задвинула стул под стол, надела поверх платья лёгкую кофту: кто его знает, какая температура на улице. Глядя в окошко, не определишь, хотя утро было очень солнечное и вроде бы тёплое.

Прикрыла дверь в свою комнату и пошла по коридору к выходу. В коридоре было темно, единственная лампочка перегорела год назад, но в ней не было нужды, в коридоре не обо что было споткнуться.

Дошла до конца, до шкафа, здесь надо было повернуть направо, но она почувствовала себя плохо. Затошнило, накатила какая-то слабость. Она ухватилась за ручку шкафа в виде тёмно-лилового тюльпана, постояла так, чтобы прийти в себя. Слабость нарастала, и ноги вдруг поехали назад, словно по рассыпанному гороху.

«Что это, кто насыпал тут горох, – подумала она, продолжая цепляться за дверную ручку шкафа и скользя назад. – В какой я некрасивой позе, ноги позади, а всё туловище впереди, как клоун в цирке, я стою под углом…

Я умираю, вот что…

А это же совсем не страшно! И не больно… Только очень тошнит. Как тошнит…

Ох…

Я не хочу ещё, я не готова…

Если меня сейчас вырвет, я упаду лицом в грязь, надо держаться… сдержаться…

Держаться за ручку шкафа, чтобы не…».

Ах, какое сегодня было утро, солнце нарядное, радостное, брызжущее ликованием нового дня…

АЛЕКСАНДР ЩЕДРИНСКИЙ

ГАНС
рассказ

I.

Он стоял на стуле возле окна, медленно накручивая на руку верёвку. Если бы вам не довелось детально присматриваться к данному зрелищу, вам бы наверняка пришлось принять Ганса Войташека за электрика, мучающегося с проводкой. Тем более что в окно проникала изрядная порция дневного света, а лампочка была выключена – это могло служить подтверждением того, что решением именно этой проблемы занят человек перед нами.

Но, как часто бывает, любая картина – будь то бытовая, художественная или литературная – носит в себе намного больше, чем видится при поверхностном взгляде.

Если бы читатель был более внимательным, то наверняка обнаружил бы, что конечности Ганса испытывают определённый тремор, а одежда на нём явно не первой свежести – равно как и щетина на лице.

Окончательное же понимание того, что происходит здесь, вы могли бы обрести, когда Ганс неуверенным движением стал натягивать веревку на шею.

Казалось, в этот момент, когда смысл действа дошёл до читателя и сошёлся с его рефлексией, сама тишина стала представлять из себя нечто гнетущее.

Эта история так и могла бы стать типичной историей чьей-то неслучившейся или, точнее, незавершённой, жизни, если бы не ирония происходящего.

Ведь я по причине своей чрезмерной заинтересованности так и не успел рассказать Вам, читатель, что за тем окном, из которого разливался активный дневной свет, уже месяц как буйствовала война. По улицам города шли танки, снаряды активно сносили образцы прекрасной архитектуры, солдаты ругались на чужом языке.

Казалось бы, куда для такой черноты одного литературного произведения две трагедии: персональное нежелание жить и общественно-историческая смертоносность, которая, к сожалению, так ничему и не научила человечество сквозь годы и столетия.

Но сюжет наш имеет куда более дивный поворот, нежели могло показаться на первый взгляд.

Когда Ганс взял верёвку для того, чтобы надеть на шею… в его доме грянул взрыв. Снаряд влетел в стену его комнаты, снеся саму стену вместе с оконной рамой и окном и отбросив Ганса на метр от случившегося. Наш пострадавший оказался оглушенным и около минуты думал, в какую сторону бы ему добраться на ощупь.

В итоге он кое-как нашёл дверь и выбежал наружу. Так начиналась эта история 1945 года, происходившая на улицах тогдашней Праги.

II.

Когда Ганс оказался снаружи, ему открылась буквально-таки картина-диптих, где, с одной стороны, происходила война, а с другой как ни в чём ни бывало город продолжал жить: мальцы разносили газеты с новостями о войне, женщины торговали пирожками на лотках, а мужчины так гордо ходили туда-сюда в костюмах, опираясь на трости, что сложно даже было сказать, чем они заняты с таким напыщенным видом.

Такая несколько болезненная двойственность была бы очень кстати для описания и самого нынешнего состояния Ганса. Он как известный пражский писатель и сценарист имел талант вживаться в роли своих персонажей – возможно, именно это привело его к психическому расстройству, а возможно, потомственная предрасположенность по матери. Во всяком случае, теперь это было сложно узнать, поскольку медицинская карта матери была уничтожена во время Первой мировой войны, а сама она не очень любила говорить об этом.

В чём же состояла подобная двойственность нашего героя, возможно, спросите вы? Всё довольно просто: оказавшись внутри войны, которая от тебя никак не зависит, единственным способом контролировать свою жизнь Ганс посчитал возможность покончить с собой. А потому, как бы сейчас ни было смешно, он мыслил одновременно лишь о двух вещах: как бы не быть убитым снарядом и как найти укромное место, чтобы свести счёты с жизнью.

III.

Проклятый уличный шум в то же время склонял к тому, чтобы быть убитым и чтобы не найти никакого тихого угла, где можно претворить желаемое в жизнь. Ганс был похож на человека, который вколол себе определённое время назад дозу героина, и вот сейчас наступил момент ломки. Его глаза застилал туман, тело нервически чесалось. Он презирал себя за то, что не может позаботиться о себе в такой ситуации. Однако неожиданно он вспомнил о квартире своей минувшей любовницы, Барбары, которая перед самым началом войны, ещё до полноценной оккупации, смогла покинуть Прагу и выехать в Берлин. Её квартира, судя по всему, стояла пустой, а у него сохранился ключ.

Было решено не терять времени и незамедлительно отправиться туда.

Как и полагал наш герой, квартира оказалась пуста. Она была прибрана и чиста, и сразу складывалось впечатление, что хозяева наспех покидали это жилище.

Войдя, Ганс осмотрелся и вспомнил: вот этот стол служил, безусловно, не только для утоления голода, но и для сексуальных утех. Эту картину на стене он не помнил вовсе, потому что сам весил другую, а кран в ванной продолжал раздражающе, истошно течь, создавая определённый ореол безвременья в этом когда-то романтическом уголке.

Уверенным движением руки Ганс достал из бара бутылку виски, взял стакан, налил и сел в кресло. Сделал первый глоток, от сердца у него отлегло. Алкоголь согрел кровь и он понял, что наконец сейчас всё и случится. Он наливал стакан за стаканом, медленно и уверенно напиваясь. Наконец, когда бутылка была пуста, он, пошатываясь, пошёл в ванну, где нашёл лезвие, а после вернулся в комнату. Осмотрев лезвие с обеих сторон, он представил, как это будет: толпа людей, охающая, ахающая, а на следующий день заголовки в газетах: «Известный писатель и драматург Ганс Войташек покончил с собой, не выдержав ужасов войны».

Снова сев в кресло, он слегка завёл руку над запястьем другой руки, потом второй раз, третий, но она не поддавалась. В итоге он выронил лезвие и уснул.

IV.

Раздался звонок. Ганс не сразу понял, где он находится, но кое-как встал и последовал к источнику звука. Пока он шёл, он несколько раз зацепился за ковёр и даже раскинул в сторону тапочки, которых вчерашним вечером почему-то вовсе не заметил. Чертыхаясь и проклиная это новое утро своей жизни, он открыл дверь и увидел, что за ней стоит… мальчик лет восьми. Тот отчаянно просил:

– Дяденька, дяденька, пожалуйста, не прогоняйте меня. Я очень хочу есть…

Ганс на секунду тряхнул головой, пытаясь понять, не чудится ли ему эта картина, и пытаясь прийти в себя от вчерашнего. После этого он равнодушно-пьяно вернулся в комнату, осмотрел полки, где могла бы находиться еда, но ничего не нашёл. Потому пошарил по своим карманам и неожиданно для себя самого извлёк оттуда сто чешских крон. Тут он вспомнил, что сам не ел несколько дней, а этих денег хватило бы по крайней мере на завтрак им обоим. В конце концов, не такой этот Ганс Войташек скверный малый, чтобы не угостить в свой последний день жизни пацана завтраком, сказал он сам себе.

– Ну, хорошо, – ответил с той стороны двери Ганс. – Пойдём со мной.

– Куда? – спросил малец.

– Как куда? Завтракать.

V.

Они вышли на центральную площадь и отправились в одно из местных заведений. Ганс заказал себе тарелку супа и гуляш, а мальцу плова и запечённого карпа. Когда они оба сидели и уминали завтрак, к ним внезапно подошла женщина. Она остановилась у столика и пристально взглянула на нашего героя:

– Ганс? Ганс Войташек?! Как я поражена и искренне восхищена!

Ганс смутился – особенно от того, каков был его внешний вид и как жадно поедал столь небогатый завтрак.

– Я знаю вас! Я играла в Венском театре героиню по вашей пьесе! Позвольте представиться: Грета Новак.

Ганс неловко закивал и сказал:

– Очень приятно.

– А я не знала, что у вас есть сын, – явно желала продолжить беседу дама.

– Это не… А, впрочем, неважно.

– Но почему вы здесь? Что случилось? Почему вы в таком виде и в столь неблагополучном месте?

Ганс не знал, что ответить.

– Разрешите к вам присесть? – продолжала она.

Не дождавшись ответа, она сама выдвинула стул для собственной персоны и подсела к завтракающей паре.

– Знаете, это безумно мило, всегда безумно мило: мужчина с ребёнком… В этом есть что-то крайне… трогательное. Но, право дело, если бы я не знала, кто вы, решила бы, что вы фермерская семья.

«Да, дамочка не отличается особой деликатностью, – подумал Ганс, – но, с другой стороны, какой может быть спрос за правду?».

– Давайте я приглашу вас ко мне, – как гром среди ясного неба прозвучало предложение новоявленной Греты. – У меня потрясающие апартаменты в «Лорете». Приходите вместе с сыном хоть сегодня на ужин. Я обещаю, что вы будете под впечатлением. Позвольте мне оказать хоть какую-то честь человеку, благодаря которому моя карьера в своё время взлетела вверх.

«О да, – мямлил про себя Ганс, – помню я эту пьесу, написанную семь лет назад. Тогда ещё руки были тверды, сердце быстрым, а разум молодым. Ни алкоголь, ни женщины ещё не истощали его так, как теперь способно было истощить элементарное физическое упражнение».

Ганс, услышав приглашение Греты, по большому счёту, был к нему безразличен. Но он хотел очистить свою совесть, понадеявшись таким образом дать мальцу хоть какой-то шанс на возможную будущую поддержку.

– Хорошо, мы придём, – пробубнил Ганс и продолжил есть суп.

– Ой, это замечательно! – всплеснула руками Грета и добавила: – Правда, я буду очень ждать!

В итоге она грациозно поднялась со стула, так, что шлейф платья напоследок будто облизал его, и постепенно скрылась в пражском пейзаже.

VI.

– Всё это было очень хорошо, – думал про себя Ганс, сидя в кресле у Барбары дома. – Но я совсем не для этого выбирался из этого чёртового социума, чтобы опять обрасти какими-то сомнительными связями. А получается что – на моей ответственности сейчас ребёнок, а вечером я приглашён к какой-то, судя по всему, популярной актрисе. То, от чего я активно бежал последние месяцы, снова захватывает меня в тиски… Нет, этого допустить никак нельзя… Но, как я уже решил, пацану нужна хоть какая-то поддержка в этом мире. И если я не могу её гарантировать, то я могу дать хотя бы надежду на неё.

Ганс сонно посмотрел на мальца:

Как тебя зовут?

– Мартин.

– Почему ты здесь, Мартин? Где твои родители?

– Их расстреляли немцы, но мать до этого спрятала меня в подвальном помещении, чтобы те не сумели найти.

– Выходит, ты совсем один.

– Да, господин…

«Ладно. Чёрт с ним, – подумал про себя Ганс. – Ещё каких-то несколько дней никогда не мешали свершению задуманного. Придумаю, что делать с этим мальцом и вернусь к намеченному».

VII.

Вечером Ганс вместе с Мартином пришли к Грете в апартаменты. Она открыла дверь, встречая их в прекрасном вечернем платье.

– О, вы всё-таки пришли! – по-актёрски сыграла недоумение она и пригласила пройти их внутрь.

Когда Ганс с мальчиком зашли, они увидели огромный стол, который буквально ломился от блюд. Тут же стояло немало антиквариата, который Грета с особой гордостью показала гостям.

– Присаживайтесь. Сегодня я буду вашей маленькой хозяйкой большого дома, – сказала она и засмеялась.

Мужчины неловко присели, а Грета и вправду начала бегать как заведённая, ухаживая за ними, будто они сто лет знакомы и являются её самыми дорогими гостями.

Ганс вообще не особо любил все эти светские условности, но за столом следовало вести беседу, а потому он предпочёл нечто нейтральное – о политических делах на фронте.

Когда же ужин был окончен, Грета предложила уложить мальчика спать, а с Гансом сыграть в лото. Учитывая, что Мартин уже действительно утомился, эта идея показалась Гансу весьма уместной. Грета вообще делала всё очень уместно.

Когда мальчик был отправлен постель, Грета подошла к Гансу, налила ещё ему шампанского и сказала:

– Итак, господин Войташек, мы с вами совсем одни. Можно даже сказать, что вы попались в мою маленькую клетку, – она хихикнула и выпила из бокала. – Простите меня, пожалуйста, мои шутки иногда такие глупые, – продолжила она и отошла от стола. – Знаете, на самом деле вы потрясающий писатель. Мой отец тоже был писателем, даже входил в Союз Писателей Праги. Поэтому кое-чему в литературе он меня научил. А вы больше не пишете?

Ганс замялся:

– Нет, не пишу…

– Но почему?! У вас ведь так потрясающе получается!

– Моя последняя пьеса… Не имела успеха. Я разорился, морально и финансово, и после этого решил покончить с литературой.

– Но как же так?!. Одна неудача, Ганс! – она назвала его по имени. – Неужели одной неудаче вы позволите сломить вас? Я не верю в это! Я ведь вижу ваш потенциал! – и она приблизилась к нему, пальцем отодвигая в сторону рубашку на его груди.

Сердце у Ганса заколотилось, он заметно покраснел.

– Что с вами, господин Войташек? Неужели у вас давно не было женщины?! – она снова захохотала.

– По правде говоря, да… – дрожа, ответил он.

– Ну что ж, это определённо можно и нужно исправить! – она приблизилась к нему ещё ближе, обняла и… их губы слились в страстном поцелуе.

Ганс начал снимать с неё одежду, тяжело дыша и запыхавшись, она тем временем покусывала мочку его уха. Когда он закончил с раздеванием, Грета указала, где в доме находится ещё одна спальня, куда следует идти. Ганс схватил её на руки и понес туда.

VIII.

Когда Ганс проснулся, ему показалось, что птицы за окном поют как-то звонче, а его взгляд стал более чётким и светлым. Он посмотрел направо от себя – с ним рядом лежала Грета. Какая-то тёплая волна пробежала по его телу, на глазах появились слёзы, он отвернулся и заплакал в подушку.

От этого Грета проснулась и увидела плачущего Ганса:

– Что? Что с тобой?!

– Понимаешь, – сквозь слезу продолжал он. – Я думал, что это конец, я думал, что больше никогда… Последний месяц я только и жил мыслями о самоубийстве. Этот мальчик, который спит сейчас в соседней комнате… Если бы не он, я бы наверняка уже был бы мёртв…

– Бедный мой… дорогой.

Он крепко обнял её.

– Понимаешь, я не знал, что когда-нибудь снова смогу испытать человеческое тепло… Что я когда-нибудь… – и тут он запнулся, в его глазах появились искорки. – Грета, у тебя в доме есть печатная машинка?

– Да, конечно, в гостиной, а что?

– Тсссс, тихо, тихо, совсем ничего… – он, голый как был, лишь накинув на себя белое одеяло, побежал к машинке, достал бумагу, вставил лист и написал: «Прощение Иуды… Часть 1»…

В это время из соседней комнаты послышался голос:

– Папа! Папа! – Ганс повернулся в ту сторону и снова заплакал.

IX.

Год спустя, январь 1946 года.

– Зачем ты попросила привести тебя сюда? – спросил мужчина, когда перед ним открылась картина с разбитой стеной и перевернутый стул, возле которого лежала верёвка.

– Потому что мы должны помнить своё прошлое. Мы должны знать, кто мы есть и откуда пришли. Только так мы можем избавиться от этой боли и оставить её позади. Только так – вначале приняв.

В дверях стояла абсолютно обычная на вид европейская семья: отец семейства, мужчина с окладистой бородой в дорогом костюме, женщина в шикарном английском платье и их сын, одетый по моде, не хуже, чем отец.

– А, кроме того, – добавила она, – я хотела посмотреть, как живут гении. Теперь вижу – напряжённо.

Они оба рассмеялись.

– Ну, нам пора, – сказал мужчина, держа в руке три авиабилета, на которых значилось «Сан-Франциско». Вся троица дружно развернулась и проследовала на шумящую улицу Праги.

АНДРЕЙ КРЮКОВ

РЫБ ЛЕТАЮЩИХ ЧЕРВОНЦЫ

НА ЗАКАТЕ

Закат погружает весь мир в душноватый вельвет,
За дальним кордоном сверкает слепое предгрозье,
Прикроешь глаза – и сирень потеряет свой цвет,
Откроешь – опять салютуют лиловые гроздья.
Пока ты не спишь, ты как будто от бурь защищён,
Лежишь под покровом бездонного лунного свода,
В окне млечный сумрак зарницами перекрещён,
Их блики вкруг люстры вихрятся клубком хоровода,
Ход жизни вращением этим застигнут врасплох –
Сорвалось с цепей всё, что стыло на вечном приколе,
И мир, что от вспышек разрядов ослеп и оглох,
Из клетки дневной улизнув, развернулся на воле,
Не пол подо мной, а всходящая лесом трава,
Не рамки на стенах, а жалом разящие клумбы.
Гляди-ка, в углу будто мальчик с глазищами льва –
Он шкаф перепутал впотьмах с прикроватною тумбой.
Да это же я! Заблудился в превратностях сна,
Меня увлекают в пучину кораллов изгибы,
И эта рука, как всегда что-то знает она,
О чём догадаться в начале мы вряд ли могли бы.
Я крался к часам, я почти дотянулся до них,
Пока они, стрелки сложив, как крыла вилохвостки,
К портрету прижались, забыв в этих играх ночных
О тике и таке и скрипе почтовой повозки.
Все краски погасли, наевшись служить колдовству,
Их истинный смысл – лицедейство в картонных чертогах,
Едва ли замечен, спешу завернуться в листву
И там навсегда позабыть о счетах и итогах.
Задуты все свечи – в том мире не знают свечей,
Там щупают лица, когда шелестят о погоде,
Беззвучно мыча, забывают обрывки речей,
Из небытия возрождаясь в бесплотной зиготе.
Прогнать этот морок, пока не привыкли глаза,
Иначе их выест летящая с облака пудра,
На траверзе гаснет в последних поклонах гроза,
Скорей приходи, долгожданное бледное утро!

О СЕБЕ

Расскажу о себе. Вот представьте назойливый свет,
Вероломно сверкая, как в складках сокрытый стилет,
Сквозь ненастье к полудню пробил он изрядную брешь,
Хочешь – пей этот луч, словно фреш, хочешь – мелко порежь,
На стене он рисует шлафрок, а чуть выше клобук –
Ял выносит на мель, но не видно ни вёсел, ни рук –
То ль не к месту клобук приплетён, то ль излишен шлафрок,
Но без них не приметишь и след от невидимых ног.
– Ты рукав подними, порази-ка своей пустотой,
Где ты странствовал, призрак? – Нигде, за последней чертой,
– Как ты спасся? – Меня вывел след от скрещённых комет,
– Многих встретил? – О да, впрочем, это интимный предмет,
– Эй, а что там поют? – Не поют, лишь подъёмник трясёт,
Вознося, а потом низвергая с надзвёздных высот,
До которых взобрался ты в жизни, придуманной здесь,
Только ТАМ ты поймёшь, на кой ляд и куда ты залез,
И лететь тебе с теми, кто выше и ниже тебя,
Но никто не подхватит, никто не обнимет, скорбя,
А иной и поныне летит (всё б отдал за стоп-кран!),
В каменеющий мрак уносясь, как в бездонный стакан.
А навстречу роятся снежинки, впиваясь в глаза,
Мир прощально свистит, напослед отпустив тормоза,
Лишь немногим разбиться позволено в плотный песок…
– Как же падал ты сам? – Я не смог, я вращал колесо,
Что толкает тот лифт в небеса, в эту лисью нору,
Где треклятая пасть иссушает твой мозг на ветру…
– Что ж, откроюсь, мой лифтослужитель, я – твой неодим,
Разве здесь мы не в ту же дуду очерёдно дудим?
Крутим сцену с чудовищным троном вулкану под стать,
На котором царят олимпийцы, что жаждут летать.
А снежинки над крышами, лопаясь там, в тишине,
Обретают покой, с этих пор незавещанный мне…
Как в пружинной перине давно правит пыль, а не пух,
Так и в этой былине мой меланхолический дух
Мнил полслова сказать о себе тем, кому незнаком,
Но опять получилось о чём-то/о ком-то другом…

ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД

«Мы этих людей выслали потому,
что расстрелять их не было повода,
а терпеть было невозможно…»
Л.Д. Троцкий

Сударь, мистер, товарищ, желаете ещё глоток?
Безнаказанно бродят ветра на расшатанном юте,
И пока не осипнет от слёз пароходный свисток,
Предлагаю продолжить беседу в ближайшей каюте.
От случайной Отчизны осталась полоска земли,
Всё сильней её сходство со ржавою бритвой монаха,
Множить сущности всуе – что воду толочь в пыли –
Ничего не устроится сверх умножения праха.
Что ж, багаж наш негуст – башмаки, пара старых кальсон,
Впору зависть питать к пассажирам четвёртого класса,
Ни собак, ни зевак – Петроград погружается в сон,
По ночам здесь пирует тупая разбойничья масса…

Пусть на запад нам выписан литер, ногами в восток
Упереться придётся, и к койке шарфом пристегнуться,
Отряхнём мир насилья, что цепи с измученных ног,
Раз диктует судьба поутру в новом мире проснуться…
Но и там нет покоя изгоям, настойчив Господь
В своём промысле ветру доверить осколки былого,
И, пока ещё держит тепло окаянная плоть,
Для потомков хранится в умах сокровенное слово.
В этом граде-казарме продолжит свой курс изувер,
Что мечтал разлучить с головой философские выи,
От судьбы и его не спасёт именной револьвер,
И от кары небес не прикроют собой часовые.
А пока сквозь дремоту он видит извечный мотив
(Помнишь, как в Верхоленске ты мучился близкой разгадкой?),
Как задержанный мытарь, с ворами свой хлеб разделив,
В тесном склепе томился, глотая обиду украдкой.
Из оливковой рощи призывно звенел соловей,
И ему в унисон настороженно выли собаки,
Словно глаз Асмодея, сияла луна меж ветвей,
Разливая покров изумрудный в удушливом мраке.
Надвигается полночь, настал третьей стражи черёд,
Но забыть о мытарствах мешают треклятые думы,
Невдомёк бедолаге, за что угодил в переплёт,
Не за то ли, что долг исполнял раздражённо-угрюмо,
Шкуры драл с толстосумов, но часто прощал бедноте,
Не за то ли, что дал свой приют чужестранцу-бродяге,
Меж знакомцев хмельных ему место нашёл в тесноте,
И под дождь не пустил, не позволил погибнуть в овраге?
Что твердил этот странник с глазами небесного льна?
Не забыть этот голос, душевно и тихо журчащий –
Будто есть одна страсть, опьяняющая, как весна,
Не любовь, ей не страшен огонь и разрыв жесточайший…
Что за страсть? Не расслышал, не зная, как переспросить,
Заслужу это знанье, изведав на собственной шкуре,
Сохрани меня, Боже, прости и ещё раз спаси,
Прозябаю в грехах и мечтах о безгрешной натуре.
…Лев, потомок Давида, в тревоге застыл у окна,
Словно из подземелья всё стонет свисток парохода,
Две России отныне и впредь разделяет стена,
Удаляя последнюю мысль ради «рабской» свободы.
Пусть в сорбоннских архивах сгрызают науки кирпич,
Льву маячит Стамбул под присмотром учтивых чекистов –
Словно лодка Харона, баржа под названьем «Ильич»,
Вслед за мыслью изгонит и души последних марксистов.
Революция – праздник, ей грубый не в масть перманент.
Диктатура ликует, пусть помнится праздничный вечер,
Жаль, отсрочили казнь – ГПУ упустило момент,
В пресловутом отеле «Бристоль» назначавшее встречу.
Не сойтись им в Париже – что жертвам делить с палачом?
И в Берлине не выйти вразрез марширующим ротам.
Неприветлив Мадрид, там свой бунт бьёт кипящим ключом,
Не до диспутов жарких голодным испанским сиротам.
В Койокане был шанс, но вмешался Кремлёвский тиран,
Смысл в жизни твоей, коль она не сгодилась тирану?
Власть сильнее любви – вам докажет любой ветеран,
Что не сгнил в лагерях, завещая брильянты Гохрану,
Кто-то верит в судьбу, мол, у тайны готовый ответ –
Смерть любовь побеждает, рассудит всех пламень бесовский,
Уплывает в бессмертье, дымя, пароход философский,
И, сжигая в погоне часы, век торопится вслед.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СТАНСЫ

В стороне от дорог, непохожих на истинный путь,
А как будто светящихся вечного ада кругами,
Неоглядный простор, что не спрятать и не зачеркнуть,
От Москвы расстилается вдаль, как ковёр под ногами.
Настороженно смотрит глубинка на стольный вертеп,
Засылает гонцов, а они в этом пекле сгорают,
Если выжил в Москве, если к подлинным краскам не слеп,
Помни, чем ты обязан родному медвежьему краю:
Где-то там Енисей, как шатун, бродит в тёмных лесах,
И трясёт этот лес на своих ледяных перекатах
И усыпана густо щепой вдоль пути полоса
Лесовозных следов, исчезая в еловых закатах.
А на дальнем краю, что свисает акульим хвостом,
Звероловы жуют чайный жмых вперемешку с табачным
И кидают прищуренный взгляд на недальний Восток,
Карабин разряжая вослед облакам аммиачным.
Океан, Хокусай, энергетика солнечных струй,
Свет небес, опрокинутый в вечнозелёные волны,
Песней в сердце проникни, срази же меня, очаруй
И одну лишь мечту-красоту постарайся, исполни.
Чтобы жить мне не там, где союз воровства с нищетой,
И не с теми, кто тешится, глядя на это соседство,
И не так, чтоб в бронзе сиять над гранитной плитой,
А с любимой, в саду, созерцая счастливое детство,
Где нет времени, только меняются краски шатра
Над твоей головой, да звенят по кустам свиристели,
Где высокое небо сигналит всю ночь, до утра,
Да буран за окном не страшней озорной карусели.

ПЛОДОРОДИЕ

В кустах смарагда иль под сенью клёна
Блеснёт твой волос, вдруг взлетит рука –
Нет, показалось, просто глаз влюблённый
Запечатлел рожденье мотылька.
Верхушки туй кружатся в па-де-грасе,
Томаты диссонируют в ответ
И, сложены на травяном матрасе,
Похожи на скопление планет.
А то внезапно с огненной рябины
Тугие гроздья скатятся в ведро,
Как будто любопытной коломбине
Прислал привет чувствительный пьеро,
Иль вот ещё мелькнёт прозрачной тенью
Твой тонкий стан в изгибе экарте –
Садово-танцевальному уменью
День напролёт рукоплескал партер.
Последний акт – пришла пора признаний,
От вздохов к страсти краткий переход,
И полный стол роскошных обещаний,
И терпких, спелых губ запретный плод.
Уснёт рассада, и во всей округе
Лишь мы не станем фонари включать,
Нам нужно многое сказать друг другу,
И о гораздо большем промолчать.

ЛЮБОВЬ ПОЭТА

Когда твой шаг, едва касаясь
Проклятой тверди, как углей,
Затихнет вдруг, и ты босая
Среди громадин кораблей
Отыщешь парус, что надёжно
Под снега шапкой усыплён,
Скользни вдоль борта осторожно,
В ту щель, где, солнцем ослеплён,
Твой кэп на юте греет кости,
Он будет рад твоей весне –
Шепнет тебе о норд-норд-осте,
О воплях чаек в вышине,
О всех скитаниях по свету,
Где пропадал он сотню лет,
С тех пор, как ночью по навету
Расстрелян был один поэт,
Как между бездною и солнцем
Он огибал за рифом риф,
И рыб летающих червонцы,
В прыжках неистовых застыв,
Сверкали, как разрывы ядер,
Приветствуя прибрежный кряж,
Как им махал весь дебаркадер,
Завидев галльский такелаж,
Как по ночам в безмолвном мире
К рулю вставал сам Асмодей,
И звёзды падали, как гири
За край земель, где нет людей,
Как комендант большого порта
Пил вместе с ним за хлебный фрахт,
Пил до последнего аккорда
Под смех чертей и «Гутен нахт»,
Как возвращаясь в город малый,
Искать твои следы у дюн,
Напрасно ждал, хоть парус алый
Ещё влечёт старух и юнг.
Не ведал он, что ты поэту
Свой выбор отдала в сердцах,
И зря он странствовал по свету,
Растаяв в бурных временах.
Не тот поэт, и место стёрто,
История сошла на нет,
Но кто-то бродит возле порта
И невесом прозрачный след…

ДИККЕНС

Полдень. В цилиндрах поношенных клерки снуют старательно.
Хлюпая стёртой калошею, Диккенс спешит к издателям,
Темза, в флажки разодетая, гнётся под канатоходцами,
Цирк завлекает атлетами, гарпиями и уродцами,
Колокол в Блумсбери цокает, в такт мерно сыплет мельница,
Кровь, поднимаясь над стоками, у скотобойни пенится,
В окнах над лавками модными тени портних надрывисты,
Диккенс глазами холодными ищет знакомую вывеску,
Там, в кабинете, напичканном стопками, густо исписанными,

Ждут продолжения Пиквика два джентльмена с залысинами,
Что за герой сомнительный, из-за кого стал фатумом
Тот разговор решительный автора с иллюстратором?
Сеймур в саду стреляется, проку не видя в будущем,
Диккенс в неведеньи мается: Пиквик, ты – чудо иль чудище?
Смех в типографии (сплетни ли?), рады мальчишки-рассыльные,
Книжки роняя на лестницы и мостовые пыльные,
Сходит на головы бедные с горних высот развернутых
То ли манна небесная, то ли пепел отвергнутых –
Диккенс порвал с повседневностью, ходит франтом надушенным,
Юмор – спасение от ревности, алчности и бездушия.

БАРДО

Серые перья хмурых ночных колдуний
В сумерках серых топорщатся и теснятся,
Вниз по тропе, сверкающей в полнолунье,
Тени к протоке спускаются, не таятся.
Кажутся бестелесными, неживыми,
Сходятся, растворяются, расстаются,
Лёгкие, златокудрые херувимы –
Отсвет ночных теней на небесном блюдце,
Взглядом всесильным в полдень сожжёт их солнце,
Словно дымок папиросный в лучах курится,
В кронах столетних сосен горят червонцы –
Раньше родные, ныне чужие лица.
Там, на реке, их ждали, качаясь, лодки,
Тени по ним скользили, не нагружая,
Омут найдя, тонули, как в масле ложки,
Сквозь облака проступала земля чужая.
С тех берегов различимее стёртые бытом
Наши значения, нормы, углы и престижи,
Справиться можно и с шифром, прочно забытым,
Только к себе ни на йоту не станешь ближе.
Ищут себя во вселенной, звёзды раздвинув,
К окнам железных грифов прижавшись носами,
Прежде чем стать рекой иль послушной глиной,
Слёзы на полном излёте подскажут сами –
Повремени, мой ангел, отсрочь уход свой,
Там, без меня, одна бесконечная вьюга,
Здесь, без тебя – зияющее сиротство,
Да, мы всего лишь тени, но тени друг друга.
Мир продолжает вращаться, и тени тоже,
Дышит планета, последний срок доживая,
Я, как и тень, возрождаюсь, день подытожив,
Крыльями вровень с тенью твоей сливаясь.

ГАЛИНА БУЛАТОВА

АВТОБУС ЕДЕТ В ДЕКАБРЕ…

***

Когда столичный самолёт
Махнёт Курумочу рукою,
И мы начнём обратный ход,
И будет с неба лить рекою.

Межгалактическая дочь
Опять в дорогу чистит перья.
И будет нас ловить всю ночь
Радар за левым подреберьем.

И нам останется – судьба –
К исходу сумеречной гонки
Заправить сердца полный бак
У въезда на бензоколонке.

***

Душу сподобишься вывихнуть –
В стон превращается песнь.
Выдержать, милая, выдохнуть –
К лучшему всё что ни есть.

Надо б нежнее, внимательней,
То, что имеешь, храни.
Может быть, старенькой матери
Это последние дни…

Держат тебя в равновесии
Слово сакральное «Дом»
И сокровенность поэзии,
Дышащей в сердце твоём.

МАМЕ

А дней осталось очень мало –
Билет в бессмертье дорогой…
Тобой посаженные мальвы
Убиты дворника рукой.

Я не скажу тебе об этом –
В зелёном принесу горшке
Цветок, цветущий алым цветом,
С печатью Бога на листке.

Твои миры меня пугают –
Ушедших видишь наяву.
Да-да, я знаю, так бывает,
Но я пока земным живу,

Непоправимо виновата…
С подушки голубеет взгляд…
Когда-нибудь бинты и вата,
Как белый ангел, улетят…

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

Вышел я родом из леса,
из-под пера топора.
Чувствую тяжесть железа, –
так в ожиданье пореза
отвердевает кора

и раскрываются поры
свет предпоследний приять.
Солнце косого пробора,
прямолинейность укора,
страха невнятная прядь.

Я сокращён до предела,
сжат до астрального тела,
я на прожилках распят.
В час, как рябина зардела,
небо уходит назад.

Даром сбиваются в стаи
братья мои, отлетая,
даром дрожат на ветру, –
каждого перелистает
та, что красна на миру.

Что там осталось? Полешки,
в беличьих дуплах орешки,
исповедь кроткой воды
и у рождественской вешки
окрик зелёной звезды.

***

Читаю капли на стекле,
Дышу на светлые дорожки.
Автобус едет в декабре –
И тот пустой, и тот порожний.

Светает нехотя: невмочь
От сна оправиться природе.
И дольше века длится ночь,
Но всё же новый век приходит.

Из голубого забытья
Сочится в окна он и двери,
И оборачиваюсь я
На мрамор и венки империй.

А путь до горизонта бел –
Так пусто будет в мире целом,
Когда останусь не у дел
Я чёрной веточкой на белом.

А тот, кому она цвела,
Осиротевший и бездомный,
Сотрёт с холодного стекла
Письмо озябнувшей ладонью.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

А вы на празднике бывали –
Литературном фестивале?
Музей Аксёнова, Казань.
Московский гость в рубашке белой –
Чигрин – из книги свежеспелой
Стихами щедро сыплет в зал

(Его акустика прекрасна),
И слово мастеру подвластно,
Что хочет он творит с душой.
Выходят и волнуют фибры
Поэты разного калибра.
Аншлаг в музее. Хорошо!

Седою взмахивая гривой
И оседлав рояль игриво,
Гремит Трескин – душа, дрожи!
Пока с Казанью спорит Прага
За голос оперного мага,
Высокий дух искусства жив!

Достать его хватило б роста.
За дверью – порция морозца.
Трусцой спешит по делу кот.
И вечер высветляет лица,
И снег – как чистая страница,
И близок новый Новый год.

***

Господня ложка мешает в банке
Крупицы смысла – а ищут все!
И мы попали с тобой в болтанку
На этом чёртовом колесе.

Безумцы, надо же так ввязаться –
До растворенья, где жизни нет
У человеков, цивилизаций
И, даже страшно сказать, планет.

НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ ПИТИЯ

Горела кровь под кожею –
Не стойте на пути!
Ломало и корёжило,
Ах, господи прости.

Обычная история,
Молящие глаза.
– Неси, о чём говорено, –
Сосед ему сказал.

Ах, братцы мои, братцы вы, –
Сгребла улов рука, –
Добраться бы, добраться бы
До ближнего ларька.

Тускнеет память светлая,
Оставшись не у дел,
Да кто теперь посетует,
Что ящик опустел?

Душа воспряла наскоро,
Запела не едва ль.
Сияла в небе ласково
Отцовская медаль.

ПРИБАЛТИКА

Я помню, поезд плыл морозной ночью…
Студенческая братия Самары,
точнее, Куйбышева, сессию окончив,
вперёд состав весёлый разгоняла.
В Москве мы день гуляли по Арбату
(и где ты ныне, фантик эскимо?),
да так, что от сапог ушла подошва –
я новые себе купила в ГУМе.

Куратор, седовласая еврейка,
везла своих девчонок поклониться
святыням Минска, Бреста и Хатыни –
остались в памяти обугленные стены,
и колокол, и каменные слёзы…

Но нас ждала Прибалтика – кусочек
другого мира, странного немного,
звучащего нелепо, но прекрасно,
как узких улочек готический мотив.
И Каунас, и Клайпеда, и Рига
сплелись в моём сознании, подобно
трём стрелкам потревоженных часов,
когда заходишь в лавку антиквара.
Казалось бы – уже ушло их время,
но шестерёнки крутятся в тебе.

Два белых лебедя, похожих на скульптуры,
царящих в тёмных водах зазеркалья
в короне белоснежных берегов.
Музей Чюрлёниса, и музыка, и волны,
симфония воздушных пузырьков,
зелёное, слоистое, чудное…

Другой музей – название я помню,
но называть не хочется, поскольку
просила мама словом не играть,
а дедушка подшучивал над ними
и рисовал, бывало, на газете
их морды, и копыта, и рога…

Летящие высокие ворота
(за петушком ли золотым на шпиле?) –
и Домский ригорический собор,
где я орган услышала впервые,
держась за восхищённые колонны…

…И узких улочек готический мотив…

Ветрами просолённая Паланга,
следящая холодными глазами
за Эгле, королевою ужей.
Так ветрено, что бронзовое платье
готово улететь из рук её…

Балтийский берег Куршского залива –
заснеженное тусклое светило
боится, видно, выпустить лучи:
не разбудить бы море ненароком.
На берегу напрасно мы искали
осколки золотого янтаря –
конечно, он давно уже разобран
неисчислимым полчищем туристов…
Зато мы увозили в пухлых сумках
чудесный прибалтийский трикотаж
и посвящённых после узнавали
по их жакетам, юбкам и платкам…

Но был ещё и старый добрый Вильнюс,
ведь только здесь могла бы я увидеть
величественный маятник Фуко,
непогрешимо двигающий в лузы
тяжёлый шар, сияющий, как солнце
над мраморным песочным циферблатом.

…Легко и точно двигаются стрелки
старинных потревоженных часов.
Казалось бы – уже ушло их время,
но шестерёнки крутятся в тебе…

ЛЕОНИД НЕГМАТОВ

ЛЕММИНГИ БРОСАЮТСЯ С ОБРЫВА

***

на узбекском языке «я тебя вижу»
означает
«я тебя вижу»
а «я тебя хорошо вижу»
значит
«я тебя люблю»

когда мне начинает казаться
будто я люблю тебя меньше
чем следует
я хорошенько тру глаза
ем чернику и морковь
всматриваюсь в тебя

и вижу
каждый раз что-то новое
что-то поэтически мерцающее
что-то, что нельзя не полюбить
с первого взгляда

поэтому дети в средней школе
пугают друг друга
не играй в гляделки
влюбишься

если смотреть хорошо
можно начать хорошо видеть

мен сизни яхши кўраман

***

Какой у тебя давний, древний взгляд –
библейский. Так, быть может, Суламифь
в последний раз отцовский виноград
впечатывала в памяти финифть.

Вневременная тусклая тоска
в горошке чёрных перечных зрачков.
Жизнь не близка и жизнь не далека –
всё дело в бифокальности очков.

Когда уймёт космическую дрожь
Вселенная, то кроме тишины
останутся лишь тёплый летний дождь
и взгляд твой Марианской глубины.

***

А мы и у воды с тобой вдвоём.
Поит меня родник с твоей ладони.
Я только тень, я контрапункт в каноне –
поёт земля под белым воробьём.

Помольная изба молчит в тени,
в ней нет давно зерна и человека.
Не плачь по-бабьи, не мети сусека,
присядь и песню горько затяни.

И канет в бессловесном роднике
внезапно отступившая тревога.
На дне поросшего осотом лога
не шевелись, вися на волоске.

Держи меня держи держи держи,
как колос, уцелевший среди жнива,
где лемминги бросаются с обрыва,
и никого над пропастью во ржи.

***

Недвижны минареты тополей,
и, если обморочно темя запрокинуть,
почудится, что слышишь муэдзина
над просеками парковых аллей.

Меж пальцев узловатых сжал старик
зёв амфоры с вином из Трапезунда –
он не прольёт ни капли; ни секунды
не даст взаймы бесстрастный часовщик.

Река брезгливо кожею дрожит
под эмфизематической одышкой
норд-веста. Холод щупает домишки,
как евнух – грудь сквозь складки паранджи.

Нос щиплет нашатырь. Но азанчи
останется, как раньше, неподвижен.
Быть может, я его и не увижу…
Лишь зов азана – слышишь? Замолчи.

***

В этом углу, где до родины ближе ползти,
чем до Москвы, полюбуйся – какие закаты…
Ночь обезболена воздухом, как опиатом, –
царствуют звёзды. Фонарь на столбе не в чести.

Оспины осени. Желтые листья в траве –
внешний симптом затаившейся в небе болезни.
Осень навязчива. Осень (не жди) не исчезнет –
пункт бытового насилия. Нет бытовей.

Время, когда под ногой и под носом одно,
лучше всего проходить в безнадёжных ботинках –
в тех, что не жаль; в тех, что выбросить вместе с суглинком.
С осенью вместе и всем, что ей извращено.

Осень навязчива. Осень навяжет на всех
кофт шерстяных разноцветных, да не по размеру –
или тесней, или шире. Как жизнь. В день премьеры
пьеса на сцену уронена. Что ж, неуспех.

Слово? Слова были тут – ты их строил не так,
будто напрасно учил сопромат с теормехом.
Ну да теперь перестроишь. Но это не к спеху –
осень с усмешкой чеканит тридцатый дензнак.

***

Плотно закрытых окон фонендоскоп
глушит ночной систолический шум вокзала.
Мамочка-мама, ты всё-таки ошибалась:
я помолился Богу, но цел мой лоб.

Что говорит диспетчер – не разобрать,
так пономарь нерадивый бубнит каноны.
Мамочка-мама, ты видишь, я на перроне?
Собрана в хвостик рельсов седая прядь.

Здесь лотерейщик в кассе продаст билет,
путь обещая счастливый (свистит безбожно).
Мамочка-мама, ведь в жизни всё-всё возможно,
даже сердечные приступы в тридцать лет.

Плыл к семафору поезд, как сом к блесне,
туча гремела, полной луной поперхнувшись…
Мамочка-мама, калачиками свернувшись,
спят зубы мудрости в нижней моей десне.

***

Правильно. Поздно. Шафраново-жёлтый закат.
Яблоко солнца печется в меду и орехах.
Неба матрас: вата облака лезет в прореху.
Снова дорога. И снова иди наугад.

Чаячий выкрик – отчаянный, горький, как хина, –
сопровождает цветов напряжённый аккорд.
Горло царапает слов непролитых ангина,
сверху с насмешкой глядит крокодил Резерфорд.

Краем надбитым пиала цепляет за губы,
чая зелёного запах щекочет в носу.
Месяц острее ножа, и ты пальцы не суй:
худо беспалым. Чуть хуже, быть может, беззубым.

Яблоко дразнит, но жжётся – поди только тронь.
Всё далеко и нечётко, все лица эскизны.
Птиц мурмурация в небе рисует ладонь
с тающей в птичьем парении линией жизни.

***

есть такая узбекская детская присказка
ак теракми кук терак биздан сизга ким керак
это значит
белый тополь зелёный тополь
кто из нас вам нужен
играют две команды
стоя цепочками друг напротив друга
выбранный другой командой должен рвануться
и с разбегу разорвать цепочку напротив
если разорвёт
забирает с собой одного участника
если нет
остаётся сам
наши ушедшие стоят напротив цепочкой
и выбирают поочередно то одного
то другого
и если собраться с силами
то можно разорвать их хватку
и вытянуть кого-то в последний момент
и да, «неправда что мы стареем
просто мы устаём»
и однажды нам не хватает сил
на прорыв
и тогда мы остаёмся в команде напротив
выбирать следующего
смотри на листы тополя
сверху они зелёные
снизу войлочно-белые
в сильный ветер не понять
какого они цвета
когда я устану
насовсем
и буду вторить хору
ак теракми кук терак
я никогда
не выберу тебя

АЛЕКСАНДР БУРМИСТРОВ

НЕНАПИСАННЫЙ РАССКАЗ
рассказ

Иногда что-то сбивается в привычном течении жизни, нарушается сложившееся равновесие, и тогда поезд идёт не по рельсам, будто освобождаясь от опеки своего ангела-хранителя, от его непрерывного взгляда. Сначала я думал, что рельсы просто присыпаны землёй, листвой, снегом или заросли густой травой, но их действительно нет. Значит, поезда могут ходить не только по проложенным путям.

Вот и опять поезд свернул с надёжного рельсового пути – я это вижу как будто сверху – и въехал в какой-то город: то ли заблудился, то ли так надо. Всякий раз удивление, лёгкое беспокойство, но никто и вида не подал, а только стали внимательнее всматриваться в окно, будто в них зарождался новый рассказ. А кто-то остался равнодушным: смотрит то ли в себя, то ли в противоположную стену. В них ничего не зарождалось. Хорошо, что хоть не закрыли наглухо окно шторой, а то некоторые закрывают.

Окраины города обычные – неухоженные, замусоренные, заросшие бурьяном и колючками, с кучами безжизненной земли, с рядами частных гаражей, похожих на кошмарные сны архитекторов, с развалинами, оставшимися с советских времён, с автомастерскими, шиномонтажом и магазинами стройматериалов. И воздух здесь безвкусный, выжженный солнцем. В этих обезображенных местах нет не только любви, но и желание продолжать свой род отсутствует. Ни у одного художника или фотографа не поднимется рука, чтобы запечатлеть эти окраины, если он, конечно, не извращенец или постмодернист какой… Но всё равно с любопытством вглядываешься, пытаясь найти особые черты и предполагая, что уж центральные районы – интересные, привлекательные, со своим очарованием. Всегда на это надеешься, как на лучшее будущее, и почти в каждом городе действительно находится такой драгоценный уголок, хоть даже и крошечный, вызывающий влюблённые и восторженные взгляды. На весь город у нас никогда сил не хватает. Наши города никого из гостей особо не ждут, они рассчитаны для своих, не для любования, а для будничной жизни. Для восхищения чужими красотами предоставляется отпуск, в конце которого нестерпимо тянет обратно домой.

…Поезд начал замедлять ход у какого-то массивного тёмно-серого здания с небольшими входными дверями под металлическими навесами – явно не вокзала. С нетерпением жду остановки, хочется чего-то нового, неожиданного, а может быть, давно утраченного, и когда внутреннее поездное радио объявляет: «Граждане пассажиры, наш поезд прибыл…», я, не дослушав, пулей выпрыгиваю из наскучившего замкнутого нутра на землю, перемешанную со щебнем, песком и окурками, пробегаю под нещадно палящими лучами солнца и вхожу в здание, в прохладный полумрак, пахнущий пылью, потом и магнезией. И замираю…

Какой давно забытый, родной запах!.. Слепящие, играющие мелкой золотой пылью лучи солнца через окна… Ну, конечно же, это спортзал с гимнастическими снарядами, с чёрными и коричневыми матами на деревянном полу. Здесь дети стайкой, тренер с ними… Тоже, что ли, залезть на какую-нибудь перекладину или брусья, как раньше?..

Сажусь на низкую, такую удобную скамейку в тени у стены и наблюдаю. И с грустью вспоминаю…

Почему-то у меня не получалось сальто назад с места, никак не мог найти механизм этого упражнения – валился мешком. Тренер постоянно злился из-за моей неспособности, что-то произнося неслышно одними губами. Двое человек страховали за ремни, прикреплённые к поясу. Я знал, что никогда не научусь делать это сальто, но вновь и вновь пробовал, чтобы испытать приятное ощущение, когда тебя страхуют, не дают головой влететь в мат, когда ты повисаешь над самой землёй или когда падение смягчается страховочными ремнями. Когда ты видишь ответственность на лицах своих товарищей, когда уверен в них. Ведь и ты сам кого-то страхуешь при выполнении сложных упражнений… Однажды мой товарищ, делая соскок-сальто с перекладины, перекрутил, а я зазевался, и он неудачно упал, сломав руку… Никто меня не упрекнул, даже тренер, он лишь беззвучно что-то сказал… Мальчик с загипсованной рукой не пропускал ни одной тренировки, сидел на скамейке у стены и грустно наблюдал за нами. Не помню, как его

звали, но хорошо помню, как виновато отводил глаза, когда он на меня смотрел. Я оказался ненадёжным человеком, поколебал его веру. До сих пор чувствую свою вину, и она не изглаживается…

Я бы мог, наверное, долго сидеть и вспоминать, но вдруг вспомнил про свой поезд. В панике выскакиваю на улицу, а поезда уж и след простыл – только глухой бетонный забор напротив с разноцветными граффити-письменами, похожими на крики отчаяния, за который даже не хочется заглянуть, поинтересоваться, что там. Это как лишиться дома. Раньше такая ситуация мне не раз виделась в беспокойных снах, а теперь вот в реальности… Стараюсь внешне не показывать растерянности, сохранять взрослую солидность. Прислушался к звукам: нет ли где вдали эха от перестука колёс? Не спеша, будто прогуливаясь, прошёл вперёд по дороге между забором и зданием, но там оказался тупик, заросший крупными листьями лопуха, покрытыми слоем пыли. Поезд назад, что ли, ушёл? Задним ходом? Он и так, что ли, может?

Наконец увидел какую-то женщину. «Скажите, пожалуйста, – спрашиваю, – а поезд давно ушёл?». «Какой поезд?» – «Вот сюда приходил поезд. Недавно». – «Мужчина, у нас в городе вообще поездов нет». – «Да вы, наверное, просто не видели». – «Наверное…». Уже когда женщина отошла, крикнул ей вдогонку: «А какой это город?». Она не ответила… Ну да, спросил бы ещё, какая это страна и какой сейчас год…

Жарко, солнце палит. Захожу опять в спортзал, но там… совсем другой зал – с рядами кресел, и какой-то человек со сцены о чём-то вещает немногочисленной публике. Прервав свою речь на полуслове, он показывает на меня рукой: «Вот ещё одно доказательство моих слов. Полная безответственность! Как с такими людьми ставить великие цели и строить светлое будущее?!.. Ладно уж, проходите. И впредь прошу не опаздывать». Извините, говорю, я ошибся, не в ту дверь зашёл… Но и за другой дверью всё другое: какая-то больница, похожая на выставочный зал медицинского оборудования. Каталки, пустые анатомические столы, стены, выложенные белым кафелем, плакаты с людьми, у которых нет кожи… «А где спортзал?» – спрашиваю у кого-то. «Здесь нет никакого спортзала», – отвечают…

Да, странные люди живут в этом городе…

Теперь вот не знаю, в какую сторону идти. Хотя если не знаешь, то можно идти в любую… А день уже клонится к закату. У меня ни денег, ни документов, я не брит, и одежда совсем не выходная. Впрочем, зачем цепляться за старое? Ведь появился счастливый шанс стать совершенно другим и всё начать с нуля, с чистого листа! Некоторые мечтают об этом, я и сам об этом думал не раз, а тут ситуация сама подвела.

Надо просто идти вперёд, то есть куда-нибудь. Ведь обязательно что-то должно случиться.

Почему-то не решаюсь заговаривать с редкими прохожими, потому что ещё не привык к себе ставшему, то есть отставшему, потому что сразу ставлю себя на их место: лично я с подозрением отнёсся бы к такому неприглядному незнакомцу, как я. С подобными мыслями непринуждённого, доверительного, вызывающего взаимное притяжение разговора с кем-то встречным явно не получится. К тому же я не знаю, чего хочу и чего не хочу… Хотя знаю: я не хочу специально создавать, организовывать какой-то случай, пусть лучше он сам случится случайно… Странное слово «случай»: однокоренными ему являются и «случка», и «лучший». То есть дорога может подвести и к Богу, и к дьяволу. Но вообще-то, ангел-хранитель меня ещё ни разу не подводил…

И я просто пошёл куда-то, сначала по дорожкам. А потом вообразил свой ушедший поезд и зашагал напрямую, обходя лишь непреодолимые препятствия. Так оказалось гораздо интереснее, будто я приблизился к истине. Вернее, возвратился… Да, в детстве я прокладывал свои собственные тропинки по снежной целине в близлежащих от нашего дома посадках, а потом вновь и вновь проходил по ним, утаптывая снег, искренне надеясь, что они кому-нибудь пригодятся. И ведь кто-то по ним ходил, кроме меня, я видел чужие следы и от этого чувствовал себя счастливым!.. А в старших классах постоянно представлял себя поездом. Тротуары были для меня оживлёнными магистралями, шёл по песку – это была пустыня, через посадки – тайга, по краю лужи – море… Да и дома вместо выполнения домашних заданий упоённо прокладывал в географическом атласе железные дороги, соединяя шариковой авторучкой города, к которым ещё не построили дорог, а потом составлял расписание поездов экзотических маршрутов типа «Москва – Анадырь». Часами мог представлять мчащиеся по арктическому берегу или по джунглям пассажирские поезда и пассажиров в них, подолгу мысленно оставался на каждой станции. Непроложенные дороги гораздо романтичнее построенных. Воображаемые рельсы придавали мне уверенности и делали мир вокруг наполненным смыслом и событиями.

На каком-то вытоптанном пятачке среди высокого пыльного бурьяна увидел сидящего прямо на земле человека примерно такого же возраста, как я, – чуть за тридцать. «Вот и случился случай», – подумал я и улыбнулся началу нового, зарождающегося рассказа. И остановился. Человек был невысокого роста, ниже меня, я бы даже сказал – маленький. «В случае чего я с ним вполне справлюсь», – подумал я мельком и тут же себя одёрнул, ведь в нём ничего агрессивного не было. Наоборот, в моей голове проплыли романтические слова: «изгой», «одиночество», «отрешённость», «убежище», «поэт»…

– Ненаписанный рассказ, – сказал я ему вместо приветствия, – обещает новые невообразимые ощущения, он звучит как музыка, как чарующая мелодия. Я уже явственно слышу отдельные звуки, но они пока ещё не собираются в гармонию…

Человек взглянул на меня так, будто я ему привиделся.

– Впрочем, ненаписанный рассказ, – добавил я, – всегда интереснее уже написанного, он не испорчен банальными образами, не замутнён досужими размышлениями. Он как уютное и безмятежное детство, а потом… уж как получится… Чувства мгновенны, а слова растянуты… Но главная проблема в том, что он может незаметно умереть, когда начинаешь его писать.

– Курнёшь? – вдруг предложил человек, сидящий на земле.

– Нет, спасибо, – махнул я рукой и продолжил свою мысль: – А невидимый Бог гораздо реальнее видимого. То есть, если бы мы Его видели…

– Понятно, – сказал человек.

– А непрожитая жизнь интереснее прожитой, – добавил я эхом к своим прежним словам. – То есть, как мы её представляли в детстве.

Человек пошевелился, чуть сменив позу.

– А здесь поблизости есть где-нибудь вокзал? – спросил я, озираясь.

– Зачем.

Странная манера у некоторых людей произносить вопросы без вопросительной интонации.

– Там переночевать можно.

Человек более внимательно на меня взглянул и даже, кажется, принюхался.

– Пошли ко мне, – предложил он, поднимаясь. – В гараже переночуешь.

– В гараже?.. Да мне хоть где. Спасибо!

«Случай всё больше обретает реальные черты», – подумал я, смакуя зарождающийся на моих глазах сюжет.

– Александр, – протянул я руку.

– Мышонок, – тоже протянул мне руку человек.

На мой вопросительный взгляд ответил:

– Меня так звали.

– В смысле, в детстве?

– В смысле, на зоне.

Я ждал, что он улыбнётся, что это шутка, но он, кажется, не умел улыбаться. Его лицо действительно было маленьким и чуть вытянутым, как у мыши. Говорят, что глаза – это зеркало души, но в его глазах были только чёрные блестящие бусины, за которыми ничего не проглядывалось.

– Иди за мною, – сказал он, и я подумал, что так же говорил Иисус Христос, когда набирал команду Своих ближайших учеников… Христос тоже, наверное, не умел улыбаться. Во всяком случае, нигде в Евангелии об этом не сказано. Таких слов, как «улыбаться» или «смеяться», там вообще нет. А ещё я подумал, что пойди Христос другой дорогой, апостолами стали бы совсем другие люди, а мы бы считали, что так и должно было быть… Интересно, а были ли те, кто отказывался с Ним идти?

Странно, почему я вспомнил о Христе? Наверное, потому, что «иди за Мною».

Мне совсем не хотелось за ним идти, я будто бы подчинялся чужой воле, но отказ выглядел бы невежливым, а то и трусостью. А ещё я стал размышлять о том, случайны ли случайности. Многие ведь считают, что ничего случайного нет, что у всего есть причина, что всё предопределено. Если это так, то какой же мощностью должен обладать Вселенский компьютер?! Неужели ненаписанный рассказ уже кем-то написан или задуман? Как же Ему удаётся всё и всех сводить в нужную точку пространства и времени, избегая хаоса?.. Но скорее всего, решил я, наш мир вполне допускает какой-то некритичный процент настоящих случайностей, которые гармонично вписываются в мир. Случайные порывы ветра ведь не создают хаоса в кронах деревьев…

Да, я пошёл за этим человеком со странным именем Мышонок, то ли подчиняясь случаю, то ли заранее составленной кем-то программе. Не задавал никаких вопросов, ничего не уточнял, не проявлял любопытства, потому что с этого пути было уже не свернуть. Чтобы не молчать, всё же что-то говорил: что мой поезд ушёл, что денег у меня нет… Хорошо, что он не спросил, из какого я города. Я ведь не из города, а из поезда. То, что для меня понятно и очевидно, для других может стать загадкой или воспримется как ложь, а я всегда стараюсь избегать ответных подозрений.

Мышонок шёл молча. Наверное, он тоже о чём-то размышлял, может быть, о философских проблемах бытия или даже о смысле жизни или об устройстве мироздания… Интересно, конечно, знать, о чём размышляют и фантазируют другие, но всегда ли это нужно другим? Лучше прислушиваться к небу, деревьям и собственным шагам.

– Ты не больной? – вдруг спросил Мышонок, не оборачиваясь.

– Ты имеешь в виду – психически? – уточнил я.

– Психически сейчас все больные.

– Да вроде нет.

– Три варианта ответа в одной фразе, как в том анекдоте про переводчика с русского языка, который свихнулся… – голос впереди идущего Мышонка расцветился усмешкой. Шутка старая, но я тоже хихикнул ему в унисон, чтобы укрепить взаимопонимание.

– Но ведь мы научились понимать правильный смысл, даже когда человек намеренно искажает его, – заметил я. – Да и многие слова многозначны.

– Мы даже научились понимать, о чём человек молчит, – дополнил меня Мышонок.

– А вот в этом случае можно ошибиться: тут уже не три варианта, а тысячи, – возразил я.

– Думаешь, я не знаю, о чём ты думаешь? – Мышонок мельком на меня оглянулся.

Я не нашёлся что ответить и подумал, что он теперь ещё больше уверился в том, что знает, о чём я якобы думаю…

Можно было бы всё перевести в шутку, но мне очень захотелось пить.

– Скоро придём, – сказал Мышонок. – Чаю попьём…

Мы шли по безлюдной улице, застроенной частными домами. Здесь тоже не было ничего особенного, отличающее этот город от других, не было ничего, что вызывало бы удивления, значит, центр где-то в стороне. Мне бы никогда не захотелось просто так пройтись вдоль этих настороженных, совсем не приветливых домов, никогда бы не захотелось заглянуть вовнутрь и познакомиться с их жителями.

А потом Мышонок вдруг спросил, хотя я об этом и близко не думал:

– Как ты относишься к сексу втроём?

Он даже не понизил голос или другие какие краски не внёс в свои слова.

– Ты имеешь в виду меня?

– А ты – это не ты, что ли?

– А кто – трое?

– Мы с женой и ты.

Обычно, после того как я заводил разговор, никто не проявлял желания интимного знакомства со мной, а тут… Да, интересные особенности городов скрыты иногда от постороннего взгляда.

Не дождавшись от меня ответа, Мышонок продолжил:

– Ей это нравится, а я её люблю… Да и мне тоже. Всё остальное уже приелось. Зачем отказывать себе в удовольствии?

Я не остановился, по-прежнему шёл за ним, только от такого поворота сюжета смешались все мысли, ведь по личному опыту знаю, что непрочитанная книга почти всегда увлекательнее прочитанной.

– Вон видишь, черешня растёт? – показал Мышонок рукой на дерево у дома. – Это я ещё подростком её посадил. Уже пришли.

– Крупные какие ягоды! – удивился я. – Можно попробовать?

Мышонок сам сорвал несколько ягод, почти чёрных от спелости, с любовью вгляделся в них и протянул мне ладонь.

– Наливные, – похвалил я. – А сладкие какие, просто райские!

– Да, таких ни у кого нет.

– И никто не обрывает…

– Пусть только попробуют…

Дом Мышонка тоже показался обыкновенным – из белого силикатного кирпича, разве что глухой забор между домом и гаражом с металлическими воротами был излишне высоким. Мышонок открыл еле заметную калитку в этом заборе и показал головой: мол, входи. Я улыбнулся, представив, что он открыл первую страницу мною ещё не прочитанной книги, в которой пока мало чего понятно.

Внутри двора дверь справа вела в дом, дверь слева – в полуоткрытую пристройку позади гаража. Туда мы и зашли.

Пока закипал чайник, хозяин очистил стол от грязной посуды, расправил покрывала на двух диванах, несколько раз кому-то позвонил: ждал кого-то с чем-то важным. А я пока привыкал… Два раза в пристройку заходила пожилая женщина с седой непокрытой головой, с трудом передвигая больные ноги.

– Это кто? – говорила она всякий раз, чуть ли не показывая на меня пальцем.

– Он останется у нас ночевать.

Наверное, если бы она появилась третий раз, опять бы спросила.

Когда в окне, выходящем из дома во двор, увидел неподвижно стоящего в полумраке старика в белой широкой рубахе, с длинной, такой же белой бородой, я не стал спрашивать, кто это. Старик, кажется, никуда не смотрел, а просто стоял с открытыми глазами, ничего не видя, кроме своих мыслей… Конечно же, я не мог его слышать, но явственно услышал, как он сказал, будто внезапный порыв ветра прошелестел: «А под утро он воскрес», и указал на меня перстом. «Показалось», – подумал я.

– А где жена? – пугаясь своей наглости, чтобы отвлечься, спросил я у Мышонка.

– На дежурстве. Утром придёт.

Это успокоило моё волнение, но и немного разочаровало вдруг поменявшимся сюжетом.

После прихода трёх его друзей Мышонку стало не до меня, да и друзья будто смотрели бегающими взглядами куда-то мимо. Хотя они по комплекции были значительно выше и мощнее, хозяин их грубо обматерил: мол, почему так долго и что они «уже». Те дежурно оправдывались, и по ним было видно, что врут. В конце концов, всё же спросили, кто я. «Он просто», – объяснил Мышонок, и для его друзей меня совсем не стало. Он хотел было что-то мне предложить, заметно было, как раздумывал, но раздумал.

– Идём в гараж, – сказал он наконец. Снял с вешалки старые фуфайки и куртки, бросил их на цементный пол между машиной и боковыми стеллажами. – Не гостиница, конечно, зато прохладно и никто не помешает.

– Машина твоя?

– Да, после отца осталась… Но меня на год прав лишили, так что редко выезжаю.

– Ничего, я люблю на полу спать, – успокоил я его. – Меньше зависимости, а результат тот же.

– Какой результат.

– Сон.

Чуть помедлив, видимо, переваривая мои слова, Мышонок щёлкнул выключателем и вышел, прикрыв дверь так, чтобы в гараже осталась узкая полоска света. Из пристройки послышался сдавленный перекрёстный шёпот, потом и там погас свет, и наступила глубокая тишина, но чувствовалось, что Мышонок со своими гостями там. Тоже, что ли, легли спать? Вчетвером?

Многие говорят, что не могут спать в незнакомом месте, долго засыпают. Некоторые даже в поезде не могут заснуть. У меня такой проблемы не было: на новом месте я засыпал ещё крепче. Какое же это благо – сон! И уютный отдых, и неторопливый разговор сам с собой, и встречи с ненаписанными рассказами, и время идёт быстрее. Элемент жизненной гармонии, подобие рая на земле… Те, кто не могут уснуть в незнакомом месте, просто не доверяют своему ангелу-хранителю. А какой смысл опасаться, если и днём, не во сне, нас окружают десятки, если не сотни опасностей? Пора бы уж привыкнуть к обычной жизни…

Проснулся я от громких матерных выкриков и беспорядочного топота ног за стенами гаража. Вскоре в лицо мне ударил луч фонарика, и надо мной вырос Мышонок.

Остатки сна с захватывающим сюжетом ещё обволакивали меня, но основное содержание уже расплылось, остались лишь фрагменты безо всякой логической связи. Какие-то большие резные деревянные ворота, в которые я вошёл и оказался в каком-то месте. Сразу за воротами бродили небритые высокие мужчины в женских платьях и в туфлях на высоком каблуке. Они что-то мне говорили, но не смог вспомнить, о чём. Дальше стояла пустая фура с открытыми задними дверцами, внутри которой вальяжно лежала на спине обнажённая женщина, а рядом с ней на корточках сидел одетый мужчина. Я у них что-то спросил, женщина что-то ответила, приподняв голову, и её напряжение в позвоночнике передалось мне… Ещё дальше находился магазин со всякой всячиной на полках. Моё внимание привлекла табличка: «100 долларов. На этом коврике Марина Влади впервые отдалась Высоцкому». «Недорого», – подумал я. Продавец ещё что-то предлагала, но я уже всё забыл: сон окончательно развеялся. Куда я шёл? Зачем?.. Какой любопытный рассказ ушёл в небытие!.. Интересно, это невосполнимая потеря или когда вдруг вспыхивает какая-то мысль или яркий образ – это из незапомнившегося сна, всё-таки сохранившегося в человеке?

– Кто-нибудь пробегал сейчас мимо тебя? – спросил Мышонок, тяжело дыша.

– Нет, – загородился я рукой.

– Точно?

– В гараже никого не было.

– А чего глаза прячешь?

– Так свет же.

Перепрыгнув через меня, Мышонок рванулся к воротам, ведущим на улицу.

– Зачем запор открывал?

– Я туда не подходил.

– Точно?

– Я спал.

Он задвинул с лязганьем какую-то задвижку.

– А что случилось? – поинтересовался я.

– Вставай и пошли в дом! – приказал Мышонок. Он был явно не в себе, очень взвинчен. «Он здесь хозяин, – подумал я, поднимаясь, – ему виднее, что и как».

У входа в дом он прислушался, я тоже непроизвольно замер.

– Стой здесь! – крикнул Мышонок и побежал на огород. Было слышно, как он там в темноте передвигался большими прыжками, сминая и ломая кусты, и светил прыгающим лучом фонарика. «Я тебя всё равно достану!» – грозил он кому-то, задыхаясь, хотя там, кажется, никого не было. Бросив взгляд на окно дома, я вновь увидел неподвижно стоящего старика. Кого-то он мне напоминал, но не мог вспомнить, кого. Когда-то я уже видел такой невидящий взгляд. Может быть, в каком-нибудь сне? «Царство Божие внутри меня», – услышал я его слова. «А вокруг Его нет, что ли?» – спросил я, возражая. Старик не ответил.

Вернувшись, Мышонок тяжело дышал от клокотавшей в нём ярости и злобы. Заметив, что я внимательно смотрю в окно, спросил, будто пронзил меня своим голосом:

– Что ты там увидел?

– Человек какой-то стоит, – прошептал я.

Мышонок направил фонарик на окно и вгляделся: преломившийся сквозь стёкла свет делал старика похожим на привидение с бесстрастным взглядом.

– Да нет там никого, – усмехнулся Мышонок.

Я не стал его разубеждать.

В прихожей, в полумраке (у них в доме, видимо, не любили яркий свет) нас встретила та самая женщина с седыми спутанными волосами.

– Никто в дом не рвался? – спросил у неё Мышонок.

– Никто, сынок, – испуганным шёпотом сообщила женщина, – но за окном слышался какой-то шорох и лаяли собаки.

– Суки! – выругался Мышонок. Кивнув на меня, сказал: – Это со мной.

В какой-то внутренней маленькой комнате без окон показал на кровать:

– Жди меня здесь. Сверху ложись, не раздевайся.

– Я могу и на полу.

Мышонок не удостоил мои слова ответом.

– Может, тебе помочь в чём? – несмело предложил я.

– А ты что, тоже их видел?

– Кого «их»? – удивился я.

– Значит, видел, – горько заключил Мышонок, – просто не хочешь говорить… Ничего, сам справлюсь, не впервой.

Из глубины дома раздался голос женщины:

– Сынок, может, полицию вызвать?

– Это подстава. Ты хочешь, чтобы опять?

Женщина что-то ответила, но я не расслышал.

«Да, всё-таки кровать – надёжное убежище, а сон – убежище вдвойне, – с облегчением подумал я, погружаясь в покой, стараясь уйти от происходящего вокруг. – А кого же мне напоминает старик в окне? Бородой похож на монастырского старца, но спокойствие и умиротворение, осветляющие и облагораживающие мир вокруг, от него не исходили – скорее, отстранённость ото всего внешнего, полный уход в себя. Да ещё эти странные слова… Наверное, я просто переволновался от впечатлений…».

Мышонка больше не было слышно, но тяжёлые шаркающие медленные шаги женщины и её вздохи слышались постоянно. Несколько раз она отодвигала занавеску в проёме, ведущем в мою комнату, и долго в меня вглядывалась. «Скорей бы утро», – думал я в полусне и улыбался. Но улыбался, конечно же, не от предстоящего знакомства с женой Мышонка, а предвкушая встречу со своим ушедшим поездом. А ещё встретился во сне со своими школьными и институтскими друзьями, о многих из которых даже никогда не вспоминал. Они почему-то стояли в ряд и будто ждали меня. Я к каждому подходил по очереди, называл его имя, и мы тепло обнимались. «А ведь где-то дальше должна стоять *она*», – с замиранием сердца подумал я… И вот мы стоим с *ней* друг против друга, глаза в глаза… Обнимаемся, тесно прижимаясь друг к другу, и начинаем медленно-медленно кружиться. Так сладко… но понимаю, что это не совсем удобно в данной ситуации. Пытаюсь отстраниться, но что-то меня цепко держит. И уже не сладко, а жутко…

«Кто здесь?» – проснулся я от громкого вопроса.

В проёме, откинув занавеску, стояла незнакомая круглолицая щекастая молодая женщина, из-за её плеча испуганно выглядывала мать Мышонка.

– Здрасьте! – попытался я улыбнуться, посчитав, что уже утро и это жена Мышонка.

– Забор покрасьте! Как ты сюда попал?

– Он разрешил поспать здесь.

– Кто «он»? – Глаза её округлились, приготовившись к скандалу. Видимо, у неё это был годами наработанный приём.

– Мышонок.

– Какой ещё Мышонок?!.. Мама, ты его знаешь? – повернулась женщина назад.

– В первый раз вижу. Смотрю, а он тут, на Вовкиной кровати. И деньги у меня пропали.

– Куда деньги дел? – пригвоздила меня взглядом женщина.

Выворачивать карманы было унизительно, но мне не хотелось, чтобы у кого-то оставались подозрения на мой счёт.

– У меня лишь пачка сигарет.

– А в трусах?

– Там ничего нет.

– Трансгендер, что ли?.. Давай выметайся отсюда! – безапелляционно заявила женщина.

– А где Мышонок?

– Ты тоже, что ли?

– Что «тоже»?

Женщина грязно выругалась.

«Странная семейка», – подумал я. И ещё подумал: хорошо, что у меня нет никаких сумок, вещей, что я совершенно свободен, что мои воспоминания, сны и мысли всегда со мной, что принадлежу только сам себе и ничто меня здесь не держит, даже перспектива секса втроём.

Когда вышли из дома, женщина направилась открывать калитку на улицу, чтобы я, видимо, выметался, но тут из пристройки выскочил Мышонок и преградил ей путь:

– Стой, не открывай!

– Почему?

– Ты что, совсем дура? Идите все в пристройку.

– Этот вот деньги у матери украл.

– Сейчас не до денег.

Хотя женщина была настроена решительно, Мышонка послушалась. Да и мне ничего другого не оставалось: я плохо понимал, что происходит вокруг.

В пристройке при тусклом свете наконец разглядел глаза Мышонка: его маленькие чёрные зрачки будто плавали в тумане. Казалось, он ничего не видел вокруг, вернее, видел что-то своё, и это своё было для него даже более реальным, чем все мы вокруг. Я вдруг почувствовал себя не собой, а кем-то другим – тем, кого он видел во мне.

Из завязавшегося разговора (обо мне на время забыли) я понял, что эта женщина – старшая сестра Мышонка, которого зовут Владимир, что мужчина, отстранённо сидевший на диване, её муж и что их срочно вызвала хозяйка дома. Женщина пеняла брату, что тот доведёт мать до могилы, что боится за неё и за дом, что брат обещал завязать.

– А я завязал, – сказал он.

– Не бреши! Мне мать всё рассказала. И шприц нашла.

– Это не мой.

– А чей?

– Его. – Мышонок показал на меня рукой.

– А что он вообще здесь делает? – женщина перевела на меня взгляд.

– Я его подцепил.

– Чего?! – воскликнул я. Но никто и ухом не повёл в мою сторону, лишь мужчина на диване взглянул и усмехнулся. Я глазами ему показал в ответ, что это ложь, что я в полном недоумении от происходящего.

Потом опять начались какие-то внутрисемейные разборки, взаимные претензии друг к другу, упоминание о каком-то самоубийстве, о чём посторонним, то есть мне, совсем не нужно было знать:

– Я же тебя предупреждал, чтобы не приезжала сюда.

– Я к матери приезжаю, а не к тебе.

– Всё на свою половину дома любуешься?

– А неужели тебе её отдам? – у женщины опять стали округляться глаза.

Ситуация становилась тягостной для меня, и я решительно вклинился в разговор:

– Мне надо уходить.

– Никто никуда не уйдёт, – отрезал Мышонок.

– Время уже позднее… Не хочу вам мешать… – начал было ему объяснять, но он схватил со стола кухонный нож.

Муж женщины уткнулся в какой-то журнал, совсем не проявляя эмоций. Женщина тоже никак не отреагировала: то ли ей нравилось моё унижение, то ли привыкла к выходкам брата и не видела в этом опасности, то ли была уверена в своём муже.

– Семейная жизнь, похожая на сказку? – вдруг произнёс мужчина.

– Четыре буквы? – игриво уточнила женщина.

– Нет, семь.

– Странно… Подарки?

– Нет. Первая – «и».

– На улице у дома никого не было, когда подходили? – деловито спросил Мышонок у сестры.

– Глухая ночь! Кому быть-то?.. Мне с утра на работу, а я вот тут… Когда ты прекратишь?

– Идиллия, – подсказал я.

– Тихо! – приложил Мышонок палец к губам. – Слышали?

– Что, – сказала сестра, а муж её хмыкнул, не отрываясь от журнала, записывая очередное слово в кроссворд.

– Ты тоже ничего не слышал? – спросил Мышонок у меня.

– Нет, кругом тихо… Слушай, открой калитку, мне надо идти, – ещё раз попросил я.

Мышонок проигнорировал мои слова. Крадучись, с ножом в руке он подошёл к крышке погреба, рядом с которым я стоял.

– Отойди в сторону, – зловеще проговорил он. Чуть помедлив, поднял крышку, включил в погребе свет и украдкой туда заглянул. – Там кто-то есть.

Всё-таки насколько жалок человек, когда он боится смерти…

– Ты совсем, что ли? – отозвалась его сестра.

– Сама залезь и посмотри.

– И залезу! – сказала сестра. И действительно полезла. Но то ли нога у неё подвернулась, то ли перекладина на лестнице обломилась, она с криком провалилась вниз и застонала. Тут же вскочил муж и полез её доставать:

– Зачем тебя, дуру, туда понесло?

– Хотела посмотреть, что там у них.

– У кого «у них»? – напрягся Мышонок.

– Всё удачно? Ничего не сломали? – участливо поинтересовался я, когда женщина, прихрамывая, опираясь на мужа, прошла к дивану.

– У кого «у них»? – вновь спросил Мышонок.

– Да пошли вы все, козлы!

Её муж тоже вернулся на своё место на диване и, взяв обгрызенную авторучку, вновь уткнулся в журнал. Мышонок по-прежнему держал нож в руке.

– Что я говорил! – всё произошедшее только усилило его подозрение. – Лезь! – приказал он мне, взглядом указывая на погреб.

– Там никого нет, – как можно спокойнее сказал я.

– А почему тогда не хочешь? Боишься?

– Потому что в этом нет никакого смысла. – Я окончательно перешёл на спокойно-убедительный тон врача-психотерапевта, чтобы вернуть Мышонка к реальности.

– Но я же явственно слышал оттуда голоса и шорохи.

– Это были, наверное, мыши.

– Хорошая шутка, но давай на всякий случай проверим. – Мышонок тоже перешёл на спокойный и даже рассудительный тон, однако нож из рук не выпускал. – Они нас не оставят в покое.

– Кто «они»?

Мышонок взглянул на меня как на безнадёжно больного. Спорить с ним было бессмысленно, и, надеясь, что это его в самом деле успокоит, я полез по лестнице вниз. Страха у меня не было, наоборот, стало интересно, чем всё закончится. А ещё подумал, что после этого Мышонок окончательно придёт в себя, и я наконец-то смогу покинуть этот странный сумасшедший дом.

Погреб оказался довольно глубоким. Его стены цвета старой паутины были разрисованы неровными чёрными, кое-где пересекающимися окружностями – большими и малыми. С одной стороны находились полки с пустыми стеклянными банками, с другой стояли пустые деревянные ящики друг на друге с лёгким запахом плесени.

Я подумал, что и здесь, наверное, спокойно бы уснул. С такой-то закалкой, как у меня!.. В детстве на стене рядом с моей кроваткой висел коврик, на котором стая волков гналась за санями, запряжёнными тройкой лошадей. Один дяденька что есть силы гнал лошадей кнутом, а другой прицелился из ружья в волка, который приготовился вцепиться в ближнюю к нему лошадь. Волков было много, людей в санях всего двое, и зимнее кроваво-красное солнце вот-вот готово было зайти за горизонт. А кругом снежная целина, лес… Автор почти не оставил людям шанса на спасение. Много лет длилась эта погоня, и я привык засыпать, всякий раз надеясь на чудо…

– Ну как? – спросил Мышонок сверху.

– Впечатляет. Похоже на галерею современного искусства.

– Я о другом спрашиваю.

– Никого здесь нет, – ответил я. – Что и требовалось доказать.

Мышонок тоже медленно спустился вниз, но от лестницы не отходил. Он внимательно всё обсмотрел и, кажется, даже пересчитал круги.

– За ящиками никого нет? – спросил он и поднял нож для удара.

На мгновение мне показалось, что в углу погреба стремительно промелькнула какая-то тёмная тень и что там действительно кто-то есть – безжалостный и неотвратимый. Я покосился на Мышонка и, преодолевая страх, демонстративно заглянул за ящики:

– Никого.

– Совсем никого?

– Абсолютно! – уверенно заявил я.

– У тебя лицо изменилось. – Мышонок подозрительно на меня посмотрел.

– В какую сторону?

– Изнутри.

– Это бывает.

Может, и правда во мне проснулись какие-то психотерапевтические способности, но Мышонок действительно успокоился. Он тоже прошёл к ящикам, заглянул за них.

– Я тоже иногда слышу какие-то звуки, – решил уж совсем успокоить я его. – И сверху, и снизу. Это обычное дело.

Мышонок то ли задумался над моими словами, то ли попытался уловить звуки, при этом крепче обхватив пальцами рукоятку ножа…

– Мир же вокруг нас не мёртвый, – продолжил я. – Он заполнен ненаписанными рассказами и нашими фантазиями…

Когда я произнёс последнюю фразу, крышка погреба над нами с грохотом захлопнулась. «Ну что, – подумал я, – время разговоров прошло, надо его вырубать. Чем дальше, тем хуже. Мало ли что ещё взбредёт ему в голову? Хватит играть в доктора Айболита». А ещё пронеслось в голове: сколько всего вокруг происходит ужасного, страшного, гнусного и нелепого, а мир остаётся вполне уравновешенным, устойчивым, жизнеспособным… а значит, гармоничным. То есть уравновешивают друг друга и праведники, и негодяи, и трусы, и извращенцы, и творцы, и уродцы. Убери одного – и всё может безвозвратно разрушиться… А что если для мира нет разницы, кто есть кто?

Как ни странно, в глазах Мышонка появилась разумность, и он совершенно спокойно сказал:

– Забыл закрепить, она постоянно падает… А о чём твой ненаписанный рассказ? – он сделал ударение на слове «твой».

– Пока не знаю, ведь чувства и воспоминания всегда сильнее и глубже, чем их описание, они, к сожалению, теряют своё очарование, когда воплощаются в слова. И ты бессилен перед этой преградой, но всегда надеешься… Любая травинка претендует на то, чтобы стать произведением искусства, надо только, чтобы она тебя очаровала… Бог тоже, наверное, в Своих мыслях задумывал и видел человека по-другому, а когда его сотворил во плоти, получилось совсем не так…

Мышонок меня внимательно слушал, и даже глаза его стали чуть прозрачнее и задумчивее, поэтому я продолжил:

– Мой рассказ должен полностью пропитать читателя, вызвать в нём бурю чувств и оставить в душе неизгладимый след. Прочитав его, читатель смог бы испытать такое же блаженство, какое испытал я, сотворяя этот текст, и тогда он станет мне другом на все времена, и это единение будет согревать наши души до конца жизни, которая наконец-то приобретёт истинный смысл.

– Смотря о чём рассказ, – усмехнулся Мышонок.

– Да хоть о чём! Хоть об уродливости, хоть о самом гнусном преступлении или даже об аде, – я провёл глазами вокруг, – можно рассказать так, чтобы у читателя не возникло отвращения к жизни.

– Так ты его напишешь так?

– Хотел бы написать. Очень бы хотел… И ты тоже мог бы написать так.

– О чём? – спросил Мышонок.

– Да хоть о чём, – повторил я.

– Да, мне хочется иногда… высказать… что-то важное…

– Представляю, сколько в тебе ненаписанных рассказов!

– Было бы приятно написать о моей бабушке, и чтобы другим стало так же приятно… – Мышонок улыбнулся. Оказывается, он умел улыбаться, только неумело, словно стыдясь. – Она единственная, кто…

На мгновение у меня возникло желание позвать Мышонка с собой вместе догонять поезд. Возможно, он пошёл бы… Но вдруг крышка погреба поднялась, и в проёме появилось лицо матери Мышонка:

– Володя, сынок, а ты платёжку за газ оплатил?

Улыбка сошла с его лица:

– Мама, не мешайте нам.

Следом за ней в погреб заглянула сестра Мышонка:

– Эй, вы там как, живые?

– Всё нормально, – ответил я.

– Захватите мне банку с чем-нибудь вкусненьким.

– Они тут все пустые, – отозвался я.

– Я что, по-твоему, слепая? Не видела?

– Потом, – махнул ей рукой Мышонок.

Уже сверху, в пристройке, он сказал мне миролюбиво:

– Ты, кажется, хотел уйти? Идём я тебе открою.

– Ну да, – ответил я, не веря своему высвобождению. Скользнул взглядом по окну: старик по-прежнему стоял там. «И пришёл я в Отчизну мою…» – произнёс он и чуть заметно улыбнулся кому-то. Он был по-прежнему в себе. А потом пристально взглянул на меня так, словно хотел что-то сказать, наверное, о моём будущем. Вот-вот должны были прозвучать слова… Но он не сказал, почему-то не решился… Или я не захотел…

– Ты там свой ненаписанный рассказ, что ли, увидел? – с лёгкой издёвкой спросил Мышонок, заметив мой взгляд.

– Чтобы воскреснуть, надо умереть, – глубокомысленно произнёс я, вспомнив прежние слова старика.

– Сынок, а на улице машина несколько раз проезжала и опять чего-то собаки лаяли, – доверительно сообщила женщина.

– Если умрёшь – не воскреснешь, – произнёс Мышонок, отвечая на мои слова. – Только если потом, в написанном рассказе…

– Ты имеешь в виду Новый Завет?

– А что же ещё, – усмехнулся он.

– Громко лаяли, – добавила женщина, – прямо взахлёб.

– Кошку, наверное, гоняли… Жаль, – вздохнул Мышонок.

Не знаю, чего Мышонку было жаль, но мне было радостно, что случай заканчивался.

– Женское платье без рукавов? – поднял голову от журнала в потолок мужчина на диване. – Семь букв.

– Подарок? – отозвалась жена.

– Нет, предпоследняя «а».

– Странно…

– Может быть, сарафан? – предположил я.

– Точно, подходит!

– Кстати, вчера меряла солнцезащитные очки, – сообщила сестра Мышонка, – такие классные, так мне идут! Я в них такая молодая! Девять тысяч стоят, но пообещали большую скидку – двадцать процентов… – Сделав многозначительную паузу, посмотрела на мужа, но тот никак не отозвался. – Всего-то каких-то семь тысяч с копейками… – её голос втянулся в жёлтую лампочку под потолком и растворился там без следа.

Им я пожелал счастливо оставаться, но они не удостоили меня даже взглядом, как будто обращался не к ним, да и пожилая женщина меня по-прежнему не замечала. Мышонка, перед тем как выйти на улицу, поблагодарил за приют. Думал, он извинится за всё произошедшее в его доме, за то, что наговорил про меня, но ему это, видимо, и в голову не пришло. «Жаль», – опять сказал он…

Выйдя на тёмную тихую асфальтовую дорогу, я остановился. Окинул прощальным взглядом дом Мышонка с чёрными окнами, посмотрел в один конец улицы с редкими фонарями, в другой, потом на звёзды. Куда же мне идти?

Вспомнил, что за всё время не выкурил ни одной сигареты. Закурил… Вдоль улицы дул лёгкий, прохладный ветерок, который очень тонко ощущался, словно у меня была новая, ещё не загрубевшая кожа. «Единственное, что не даёт впасть в уныние и вселяет хоть какую-то надежду, – подумал я, – это то, что преодоление препятствий, сопротивление черноте, борьба с подлостью, стремление к свободе и поиск своего поезда – тоже необходимое условие мировой гармонии».

Вдруг калитка со скрипом открылась, и оттуда вышел Мышонок… с ружьём наперевес. Из-за спины с нескрываемым интересом выглядывала его мать.

– Ты кто? – спросил он у меня. – Что здесь делаешь?

– Просто стою… Это же я, Александр.

– Какой ещё Александр?

– Которого ты подцепил, – сыронизировал я.

Мышонок прицелился. Видимо, у них там опять что-то произошло и его вновь замкнуло.

Я был уверен, что он не выстрелит. Я всецело доверял ангелу-хранителю и не верил в свою смерть, ведь сколько лет уже не умирал… Но он выстрелил… Пуля с противным свистом пролетела около моей головы и с шипением прошила крону дерева на противоположной стороне улицы. Я даже не успел испугаться, только звёзды сильнее замерцали… То, что уже случилось, совсем, оказывается, не страшно. Гораздо страшнее, если этого ожидать…

«Если все события не случайны, – подумал я, – то зачем случилось всё произошедшее со мной этой ночью? В чём смысл? Что мне это дало? Как изменило?». «Тебя, может быть, не изменило, – услышал вдруг в себе голос старика. – С чего ты решил, что ты был центром действия и всё произошло только ради тебя? А если тебя просто использовали в качестве вспомогательного персонажа для чужого сценария?». «Обидно», – подумал я. «Думаешь, мир всегда вращается исключительно вокруг тебя? – продолжил старик. – Ты, случайно, не страдаешь манией величия? Впрочем, сейчас все страдают собственной значимостью…». «А что это дало *ему*?». Старик не ответил… «А мог бы я отказаться пойти с *ним*?» – спросил я. «Конечно, – ответил старик, – но тогда с тобой приключился бы другой случай». «Тоже заранее написанный кем-то?» –

«Мир перестраивается мгновенно… Кстати, твой отказ тоже не был бы случайным… Рассказ давно написан… Проблема в другом: сможешь ли ты его адекватно изложить. Да и стоит ли…».

– С кем ты там разговариваешь? – спросил Мышонок с явной угрозой.

– Всё-всё, ухожу, – махнул я ему рукой.

Я знал, что мой спокойный уверенный голос снижает в нём какой-то внутренний накал. А ещё знал, что уходить надо не быстро. Я чувствовал его взгляд, но у меня не было причин волноваться, ведь на моём плече находился ангел-хранитель, которому я каждый вечер перед сном, если не забываю, говорю спасибо и у которого прошу прощения.

В современном мире всё устроено так, что куда ни пойди, обязательно в конце концов выйдешь к рельсовому пути. И я, конечно же, вышел, и дошёл по нему до какой-то станции. Там тоже собрались люди, которые ждали своего поезда. Как без поезда-то? Мы стали вместе ждать, бесцельно слоняясь по равнодушному вокзальному нутру и прогуливаясь по пустынному перрону, встречаясь взглядами, перебрасываясь время от времени какими-то дежурными фразами и про себя удивляясь случившимися с нами приключениям… Кому-то быстро повезло, кому-то не сразу…

Поезд мой наконец-то пришёл и помчал меня вперёд, в неизвестность дальнейшего существования, мы всё-таки кровно с ним привязаны друг к другу. Но это не значит, что больше никогда не будем расставаться: почему-то всегда хочется испытать своего ангела-хранителя на верность и добросовестность.

А мой рассказ, возможно, будет начинаться так: «Иногда что-то сбивается в привычном течении жизни, нарушается сложившееся равновесие, и тогда поезд идёт не по рельсам, будто освобождаясь от опеки своего ангела-хранителя, от его непрерывного взгляда…».

Впрочем, можно начать и иначе, например, так: «Иногда ангел-хранитель отвлекается и на время упускает из виду…». Или так: «Мечта гораздо притягательнее, чем её воплощение…». Или: «Когда я ещё был…».

А может быть, в самом деле, оставить рассказ ненаписанным? Ведь трясина творчества затягивает, становясь самоцелью и очередной раз доказывая бессилие что-то изменить в мире. Теряется аромат подлинного нерва жизни. Да и авторы становятся менее интересны, когда их рассказы уже написаны.

Вдруг вспомнил об умершем много лет назад однокласснике, перед глазами проплыл долгий, тягостный и нудный ритуал прощания с ним, и я подумал: «Какой он счастливый! Для него уже всё позади, а мне ещё только предстоит…». И ещё подумал: «Нерождённые люди гораздо живее живущих, потому что они никогда не умрут».

РОМАН БАГДАСАРОВ

ДВЕ СКАЗКИ

КОТОПСЫ

1

Никто не знал, откуда явились Коты.

Рассказывают, что их занесли Драконы, поэтому у них такие острые когти и сверкающие глаза. Или что они приплыли на огромных лодках, а пока плыли, их мучила морская болезнь. С тех пор Коты терпеть не могут воду.

Как бы то ни было, Коты обжились. Тех, кто помельче, съели, к тем, кто покрупнее, подлизались. С того момента, когда они полностью завладели страной, она стала называться по их имени, а все предшествующие имена успешно забыли. Да и некому стало вспоминать: куда ни глянь, всюду Коты.

Если попытаться описать исконно кошачий характер, то:

во-первых, Коты чрезвычайно ленивы. Они не любят, не умеют работать, но не по глупости, а полагают сие ниже своего достоинства. Прирождённые Коты – убийцы, тьфу! – охотники… А где вы видели трудолюбивого охотника? Вот птичку сцапать – дело другое;

второй чертой истинного Кота является блудливость. Это важное, едва ли не государствообразующее качество, вело к постоянному расширению Котовного царства. Поскольку все Коты уже давно в это царство собрались, они стали смешиваться с Собаками. С самыми разными: соседскими и приблудными, степными и горными, лесными и речными. Были тут и кавказские овчарки, и английские доги, и русские борзые и спаниели (понятно, чьи) и чихуахуа (ныне вымерший гигантский вид, из самого Эльдорадо);

третье, Коты любопытны. Лень и любопытство совсем не исключают друг друга. Брат-Пушкин ошибался, хотя писал он, конечно, не о Котах. Любопытство могло завести Кота весьма далеко, что сулило не всегда благоприятный исход;

любой неблагоприятный (или оказавшийся таковым) результат порождал четвёртое качество Кота: чрезвычайную, мстительную обидчивость. Даже многократная месть не в силах была утолить кошачью обиду. Её следовало компенсировать ежечасно, поэтому унитазы в Стране Котов сбоку напоминали тапок, а снизу телевизор. Дело в том, что Коты считали себя божественными существами, а оскорбление божества, как известно, карается смертью;

правда, сами Коты отказывались признавать обиду видовым качеством. С младых когтей они учили Котят, что те – самые беззлобные и ласковые в мире существа (что отчасти является правдой, особенно после обеда, состоящего из красной рыбки или курочки). Вера в собственную неподсудность стала пятым свойством Кота. «Да, мы ленивы, блудливы, чересчур любопытны и, как говорят недруги, злопамятны. Но при всём том угодны Panther'е. Мы же смиренны, а смиренным она благоволит. Поэтому нападки на нас граничат с богохульством. К сожалению, мы не можем сразу наказать богохульников, а Leopard милостив. Остаётся надеяться, что в будущем обстоятельства сложатся так, что неотвратимость наказания облобызает милость Löwe. Вот тогда вы попляшете»;

поэтому Коты предпочитали жить будущим – свойство № 6. В их языке сформировалось рекордное число времён будущего: Будущее Вымогательное, Будущее Настоятельное, Будущее Желательное, Будущее Угрожающее, Будущее Раздражающее, Будущее Нестерпимое… Не перечесть.

2

Однако, как ни задвигали Коты своё будущее в неопределённость, как ни отлынивали от него, оно настало. И состояло, в частности, в том, что генетически чистого Кота стало не сыскать днём с огнём. Население их страны уже давно составляли Котопсы и Собакошки. Настоящего Кота никто в глаза

не видел, но никто, при том, не считал себя ни Собакошками, ни Котопсами. Признать публично факт ассимиляции Великих Котов в океане собачьей крови было стрёмно.

Разумеется, в беседе с глазу на глаз, тяпнув для храбрости козьего мацони, каждый Кот считал своим долгом сообщить по секрету другому о том, что его бабушка или дедушка (или оба два) были с небольшой примесью псиной крови. Причём не какой-то там дворняжской, а самой что ни есть лесной. «Из Диких, да-с, из тех самых Кане-Бале…» – торопливо шептал исповедник, стряхивая мацони с усов.

Те же, кто упрямо настаивал на чистоте своей кошачьей породы, вызывали в обществе здоровое недоверие. «Ставит из себя котика-муркотика, а на самом деле, пёс шелудивый», – говорили за хвостом про такого.

Будучи сплетниками, Коты постоянно мониторили информополе, и если до них доходили слухи о какой-нибудь славной Собаке (жившей, естественно, в другой стране), то у неё всегда находили котовные корни. На этом основании Коты считали всех знаменитых Собак своими, а достижения мнимых (а, может, и не мнимых – Tiger ведает) Котособак вменяли яко не сущее.

«В самом деле, если Котособака вынуждена прозябать на чужбине, а у нас сплошные Коты, следовательно, сплошная благодать, то вполне объяснимо, почему она из шерсти вон выпрыгивает, чтоб украсить своё никчёмное существование и что-нибудь значить среди невежд да грубиянов, коими являются Псы. У нас бы она изнежилась, у неё не сформировалось бы мотива отличаться от прочих, и она бы ничем не прославилась», – примерно так рассуждали благонамеренные Коты. Гордость за породу и родину смешивалась в этом рассуждении с состраданием и доброжелательной брезгливостью.

Так бы жили – не тужили Коты (вернее, Котопсы, выдававшие себя за Котов), пока в их истории не возник шайтан-иуда, подлое исчадие тартара, Котопёс.

Когда Котопса, как всякого Кота, достигшего половой зрелости, повели смотреть невесту, случилось первое злочинство. Родители невесты наряду с прочими женихами попросили Котопса представиться и рассказать о предках. (Коты весьма щепетильны относительно родства, несмотря на то, – или потому, – что практикуют групповые случки.) Однако вместо ожидаемой формальности услыхали:

– По роду своему я Котопёс, ибо матушка моя – собакошка Шпиц с незначительной долей Мейн-куна и Той-Спаниеля, а отец-альфа – котопёс, помесь Йоркской шоколадной с Левреткой.

– Как же это… – только и смогли выдавить из себя родители невесты.

– А что такого? – Котопёс расширил зрачки до полного диаметра. – Разве у вас по-другому?

Отчасти он был прав, но говорить о чём-то подобном в прилизанном обществе не полагалось.

Котопёс истолковал временное оцепенение как поощрение к новым хулам и стал изрыгать их направо и налево. Он подскакивал к каждому из женихов и, придирчиво обнюхивая, выносил немордоприятный вердикт. Достойные Котики в гневе и ярости разбегались, так что в итоге Котопёс остался наедине с мелко дрожащей невестой в состоянии фейспалм.

Свадьбу, естественно, отменили, потому что по правилам Ссаной Котовной Церкви (СКЦ) для богоугодного брака требовалось как минимум два жениха, а делить брачный куст с выродком Котопсом охотников не нашлось.

Котопёс присмотрел себе жену за границей, сучку беспримесную. Когда он захотел оформить свой брак официально, то в СКЦ ему отказали. Тогда Котопёс опубликовал открытое письмо главе СКЦ котоарху Мурильо, где, ссылаясь на Жёлто-Снежное Писание, перечислил все примеры из Книги Улёт, повествующей о том, как Первые Великие Коты без зазрения совести, будучи водимы Святым Нетерпением, брали в жёны чистокровных Собак и жарили их столетиями, поскольку те и другие жили в горной провинции (месте первоначального расселения Котов). А горцы живут долго.

Опираясь на этот сакральный прецедент, Котопёс воссылал хвалу Великим предкам. Он также указывал на то, что Святое Нетерпение живо и требует актуализации в наше многогрешное время. А потому не позволять ему официально жарить новоявленную сучку-жену, значит, оскорблять даже не просто кошачьи узаконения, а само Нетерпение, что не простится ни в сём веке, ни в будущем.

Говорят, что, прочтя оное послание, сладчайший Мурильо разодрал его на клочки, а тираж газеты, где его напечатали, велел утопить в фекальной запруде. Однако брак Котопса Мурильо санкционировал, записав упомянутую сучку как реликтовую Горную Кошку.

Так началось противостояние кошачьей элиты Котопсу и проступающим за ним Чертям Собачьим.

3

Везде, где бы ни появлялся, Котопёс проповедовал свою излюбленную теорию о том, что кругом живут на самом деле не Коты, а Котопсы. А поскольку только он один смеет указывать на это, то все прочие – лукавцы и слушать надо только его, Котопса.

Его пробовали урезонить на публичных диспутах с помощью обученных Котов, но только возбудили ажиотаж вокруг особи злодея. Кошечки и Котицы чуяли в Котопсе альфу и многозначительно отдавались ему в закутках CaTV и МяуГУ. Но и Котики с Кошаками не обделяли отступника вниманием.

Чтобы сочувствующие ему Коты (а таковые находились) могли обменять свои деньги на власть, Котопёс организовал партию Яблоко Раздора. Туда хлынула котовная молодёжь, ведь Котопёс успел обрасти игривыми кошечками. Дети котоархов и мэркотов заражались котопсовой идеологией, а их родители в отчаянии драли обои.

Да, насчёт родителей. Помякивали, что Котопёс учредил тайное общество по перевоспитанию упёртых в свою котовность родаков. Записавшиеся в партию «Яблоко Раздора» Котки давали наводку матёрым псюкам (их подвозили из приморских районов). Те в удобный момент хватали кого-то из родаков и конвоировали в задраенной корзине в секретный пансионат.

Там упоротым котофилам промывали мозги. К усам прикручивали электроды и заставляли читать официальный бюллетень Котовной Крыши. Во всех местах, где в оригинале стояло «Кот» (или производные от оного), несчастный должен был вслух прочитать «Котопёс» (или соответственно). Это причиняло котофилам неимоверные страдания. Но поздняк было метаться: если перевоспитуемый ошибался, на электроды подавали ток и жертва орала как резаная.

Ещё включали CaTV (гонки за мышами на елуродроме или прыжки за птенцами). В особо волнительные моменты перевоспитуемый должен был то гавкать, то мякать, строго перемежая выражения эмоций разных подотрядов. Нельзя было только кричать «мяу» или «вау»: доктрина котопсизма предполагала неслиянное и нераздельное сосуществование двух начал в единой особи Котопса.

Через положенный срок потерявшего свою идентичность родака возвращали в семью, где он растлевал остальных. Иногда родаки просто исчезали, так случалось с теми, кто был предан догмату Монокотизма даже до смерти.

Старые плешивые Коты собрались под Главной Крышей страны. О серьёзности угрозы говорил тот факт, что под – , а не над – , как было заведено издревле. Ибо над Крышей кружили дроны и могли сфоткать всех важных дряхлаков, а назавтра выложить всё в Котораму с ехидным комментом «Плешивые готовят революцию и всех насильно побреют» или что-нибудь ещё более гадкое… Сбивать дроны запрещал закон: они символизировали Дракона, который доставил Котов на их родину.

– Старшаков палит. Ну и пёс бы с ними… Но мы теряем молодёжь, – начал тощий длинный кот с узкими, мироточивыми глазками.

– Даёшь мозговой шторм, то есть штурм! – осклабился, насколько позволяла ряха, кот-яйцелиз.

Наконец, слово взял Мурильо:

– У меня было время изучить повадки нашего супостата. Он читает лекции, а мы сократим число институтов. Он агитирует молодёжь, а мы разожжём ностальгию у дряхлаков. Он женился на сучке, а мы будем завозить из-за кордона осиротевших щенят и укотовлять их. Котопёс промывает мозги родакам, а мы будем делать прививки новорождённым, по достижении зрелости – вживлять вибриссы-напоминаторы, которые не дадут им забыть про свою идентичность. За нами суверенная Котовная Цивилизация. Главное – не снижать скорость. Делайте всё, что в голову взбредёт, не думая о последствиях! О них я буду молиться самомордно. Даже днём, когда вся рыболюбивая котовщизна дрыхнет праведным сном. Поймите, он давно продал душу Собачьим Чертям: пытается думать там, где надо только нюхать и облизываться. Panther накажет его.

И понеслось.

На широком лунном мониторе, установленном посреди бывшей столицы Кот-Кото, возникла старукошка с характерной внешностью (было видно, что в предках у неё не одно поколение бульдогов порезвилось). С линялой мордочки капали слёзы:

– …намедни внущщо-кот приходит и говорит: не Коты мы совсем, ни ты, ни я, ни вся няша семья. А я вот, щщщо ему ответила: «Внущщо-кот, милуй ты мяй. Котовность не в рёбрах, не в усах, она в кощщщачьей повадке, в Великом Котярном Запахе. Вот ты посмотри мянеу в глаза. Я хоть и стара уже, а блеск у няух всё тот же как в молодости, когда я только ущщком поведу, а кавалеры со всей округи уж гуртом привалили». Буква мертвит, а запах возбуждает. Мяу-хмык-мяв!

По улице маршировали шеренги молодых Котов, ряженных скелетами. На площади Коты легли радиусами и хордами, образовав один огромный смайлик – «солнце мёртвых». Это произошло в день геноцида Котов, устроенного когда-то в Пятой Собачьей Конфедерации. Все документы на сей счёт были уничтожены пособниками кошкодавов, поэтому число убитых Котов каждый год возрастало пропорционально поголовью потомков предполагаемых жертв. Котики сцепились лапками и, не вставая с земли, затянули героическую песню огненных лет:

Не вставай, кот-народ,
Ты лежи, где прилёг.
Закури,
Отдохни,
Завтра снова в поход… и т.д.

«Хотите повторить??!! Хотите обратить всех Котов в Котопсов теперь уже добровольно?!» – вопила драная Кошка в шерстяной мегафон.

Радио брало интервью у выпускниц средней школы: «Не желаем учиться, желаем окотиться!». «Нет псовостям на розовом кошачьем язычке!».

Специально обученные мяучеры высматривали неправильные вывески, где встречался хотя бы намёк на собачий лай и били там витрины или же ритуально испражнялись в главном зале. «Псы пюсть служат, а Котам того не трёбно!» – под таким лозунгом прекратил работать весь обслуживающий персонал в офисах, корзинницах, прилизывательных и прочих премиальных заведениях.

Книга «Наши пращуры Щуки» стала бестселлером. В ней известный котосёр, брат котосёра, проповедовал личный опыт сохранения потенции и хорошего аппетита. В основании лежала теория, что Коты – потомки вышедших на берег доисторических Щук. Основное доказательство, действовавшее неотразимо, это родственность слов «щука» и «при-щур» (свойственный всем истинным Котам). Питаться пра-щурами, значит продлевать жизнь, делать её щирой, т.е. искренней и открытой.

Каждый мигрант из Догвилля или Объединённой Собачьей Зоны перед выдачей ему медного колокольчика (серебряный давался уроженцам, золотой – на войне царапанным) клялся в любви котовщизне и проклинал тех, кто ею гнушается. Он должен был также положить земной поклон прародине и поваляться на травке-снегу, в зависимости от сезона.

После «воссоединения с Истоком» формально уже не имело значения, какой процент псючести присутствовал в коте-новичке (хотя забыть об этом вновьприбывшему тоже не позволяли). Имя-фамилия зачищалась от нанесённой веками собачести. Если Собакот был Левретычем, то матчество переначивали на Львицевича и т.д. (У Котов, равно как и Собак, при рождении присваивалось матчество.)

4

Контрнаступление дряхлаков прошерстило ряды конфидентов Котопса. Некоторые слиняли.

Один молодой, но уже с проплешинами псёкотик, у которого даже фамилия была собачьей, а псиной разило за версту, обожал Котопса до фанатизма. И вот он нежданно превратился в гонителя бывшего кумира, едва ли не лютейшего.

Этот псёкотик возглавил движение «Вечная месть», которое наводило страх на обращённых Котопсом родаков. Сделать это было тем более легко, что раньше оный псёкот заведовал их перевоспитанием. Теперь же мяучеры подстерегали пожилых котопсов около бесплатной раздачи молока и шипели на них, пока с теми не случался припадок. Считалось, что «Вечную месть» откармливает СКЦ, хотя котоарх Мурильо ни разу публично не поддержал фундаменталистов.

Горше всего Котопсу далось отречение своей любимицы Котопсюши. Та студенчествовала в Межвидовой академии и подавала большие надежды. Котопёс даже прочил её в миминеру зарубежных вязок, первую котицу-миминеру в истории Страны Котов.

Но Котопсюша переметнулась на сторону дряхлаков. Ей выделили ежевечерний прайм-тайм на CaTV, где она грациозно, вечер за вечером, опровергала тезисы выборной платформы «Яблока Раздора». Котопсюша представала публике густо напомаженной, в зовущем белье, и утробным мявом чаровала Котопсов, отбивая их от собранной с превеликим тщанием стаи.

Дряхлаки ликовали недолго. Безобидное перефыркивание переросло в уличные драловки между боевиками обеих сторон: псюками и мяучерами. Обстановка накалялась, ждали переворота.

Вместо этого разнеслась весть об отравлении Котопса. Лидер антисистемы сказался при смерти и был срочно эвакуирован за границу, так как все понимали, что в родной больнице его залечат до полного околения. Проводы вылились в многотысячную манифестацию, которая одновременно стала кэтинг-аутом ряда зашифрованных дотоле Котопсов.

Перед отправкой поезда Котопса приподняли на носилках и он прерывающимся голосом сообщил, что Котопсия (так, кобель, и пролаял) станет снова великой и свободной, вот туда-то он точно возвратится. «Мяу-гав!!!» – скандировали глотки на привокзальной площади. Некоторые укотописты ложились на рельсы.

За рубежом Котопёс неплохо устроился. Он выжил и в ответ на атаку Дряхлаков и совращённой ими молоди получил грант от парламента Седьмой Собачьей Конфедерации на съёмки сериала. Фильм должен был повествовать о судьбе нескольких поколений Котопсов, вынужденных скрывать собачьи корни, но втайне помнящих всё.

Первейшие достоинства Котов – благая неподсудность, ангельская обидчивость, смиренное любознание, целеустремлённая лень и прочие – выставлялись как причины ошибок и злоключений героев. В то же время собачья дрессура, знание пёсьих языков и догги-адюльтер приносили им удачу и богатство.

Для съёмок были приглашены лучшие актёры Псой-студио, ведущей кинокомпании мира. Диалоги писали мастера интимного нюха, опенинги и эндинги – звёзды заливистого лая, музыкальные темы внутри серий – великий композитор Мя Ургх Кане.

Ещё до официальной премьеры сериал был запрещён к показу в Стране Котов, однако даже небольшие отрывки, выложенные на C-anal, собрали миллионы просмотров. Причём, как установила Служба Защиты Котярного Духа (СЗКД), заходы шли, главным образом, с территории Котландии. Экстренное совещание СЗКД с участием представителей СКЦ, приняло решение попустить трансляцию сериала.

«Цензуры быть не должно», – предупредил котоарх Мурильо. Вместо этого каждую серию комментировала Котопсюша. В наиболее злостных местах показ прерывался заставкой, где Котопсюша обворожительно скалилась и откидывала хвост на сторону. А затем она либо выступала сама, либо предоставляла слово ведущему в некой области эксперту, разоблачавшему клевету, кощуны и подлоги, изблёванные авторами сериала.

Отважным бесцензурным показом Страна Котов (или Котландия, как её называли соседи) ещё раз продемонстрировала всему миру высочайший уровень свободомыслия и доверия правительства своим подданным.

На середине третьего сезона Котопёс решил посвятить пару дней отдыху. Инкогнито он приехал в Котенцию (фешенебельный курорт, сохранивший древнее название со времён, когда там ещё обитали Котейки, считавшиеся генетиками предками современных Котов).

Котопёс остановился рядом с шезлонгом своего альфа-отца, который также прилетел сюда инкогнито и лениво потягивал валерьянку со льдом.

– Градус витальности сильно подскочил после начала второго сезона, – муркотнул Котопёс-старший.

– То-то я гляжу, секретарь СЗКД помолодел, глазки сверкают, – ощерился Котопёс-младший.

– Тебе от него презентик, – папа-кот протянул отпрыску лунную медаль 2-й фазы. – За активами-то следишь?

– А то. Но ведь главное – уровень витальности, всё остальное – кости-пёрышки? – повторил чью-то фразу Котопёс.

Папаша сделал вид, что не слышит и с разбегу прыгнул за райской птахой.

– Кстати, насчёт витальности, – лоснящаяся мордочка мамы-кошки уставилась на сынулю в упор. – Кого ты побалуешь ночью: свою псицу ненаглядную или меня, нелюбимую мамочку?

Обмен супругами был древним обычаем, хотя допускался по правилам СКЦ только раз в триместр. Котопёс что-то шепнул ей на ухо.

– Целый год не рычала на тебя, – блаженно зевая, котомамик потянулась.

ВЕДЬМИНЫ СВЕЧИ

Ведьма жила в угловой башенке доходного дома, который возвышался над перекрёстком, словно лиловый выступ скалы. Улица и всё, что на ней, отдалялось и умалялось в сравнении с башней. По ночам казалось, что дом – замок, принадлежащий ведьме, потому что только в её окнах горел свет.

Конечно, это было не так. Ведьма была сиротой и могла лишь снимать чердак, с угловым украшением в виде башенки.

И вот, когда ведьме исполнилось 23 года, она принесла домой откуда-то ящик со свечами.

То были странные свечи, ростом примерно с человека, даже повыше. Тонкие, словно церковные, но из очень твёрдого материала, только снаружи напоминавшего воск. Они выглядели совершенно одинаковыми, однако, когда ведьма зажигала их, каждая вспыхивала своим цветом. Ведьма подносила к свече пламя и та оживала.

Большинство свечей сразу же начинало гореть слишком ярко. Их свет мерцал разными оттенками, словно свечи пели, одна за другой сливаясь в радостный хор.

Башня ведьмы сияла, как звезда на новогодней ёлке. Нет, словно фейерверк, брызгающий бенгальскими огнями, взрывающийся шутихами, простирающийся северным сиянием и орошающий город падающими звёздами.

Прохожие на улице показывали на башню пальцами, останавливались и любовались неистовством красок. Одни пытались лучше разобрать волшебную музыку и пение свечей, другие начинали подпевать. Толпа запрудила проезжую часть и поток машин остановился. Кто-то выходил из авто и присоединялся к танцующим…

Однако всё происходило слишком медленно, никто не ожидал такого праздника, не был к нему готов.

А свечи прогорали. Скоро они начали гаснуть, музыка и пение стихали, цвета становились всё более тусклыми и постепенно сходили на нет.

На перекрёстке оставались только совсем странные люди, движение возобновилось, наверх почти никто не смотрел. А затем на весь город опустилась плотная пелена мрака. Небо затянули тучи, полил дождь.

Когда каждая поющая свеча догорала, сердце ведьмы сжималось. Она поджигала огонь, а свечи сами распоряжались своими жизнями. Но связь с ведьмой никуда не девалась. Она просто давала им волю.

Вскоре осталась только одна свеча, которая продолжала упорно сиять и девять слабо мерцающих свечей, которые почему-то никак не разгорались.

Перед тем, как окончательно потухнуть, последняя яркая свеча обратила своё сияние внутрь башни и горько усмехнулась: «Зачем вас только вынули из ящика, жалкие предатели? Все, кто был порождением света, растворились в его славе и теперь будут вечно праздновать на своей родине, там, где царствует его источник». С этими словами свеча погасла, как будто её никогда не существовало.

Молчаливые свечи продолжали тлеть, никто из них не возразил. Оставшиеся боялись проронить хотя бы звук, чтобы не израсходовать пламени, которое служило единственной цели: как можно дольше пробыть вместе с ведьмой.

Но та незаметно исчезла. В комнате уже давно никого не было: яркие свечи отгорели, кругом стояла кромешная тьма, нарушаемая лишь мерцанием еле теплящихся фитильков.

Может быть, прошёл час, может быть, год, а может быть, тысяча лет.

Свечи экономили свои силы, они почти застыли, и чем дольше не было ведьмы, тем слабее они мерцали. Казалось, они должны были давно погаснуть, но каждая продолжала хранить свой собственный огонь, не похожий на другие восемь.

Когда свечи смирились с отчаянием, откуда-то сверху раздались шаги.

– Разве есть что-то выше, чем наша башня? – прошептала одна из свечей, но ведьма услышала её голосок.

– Раньше не было, но я построила продолжение башни, – объяснила ведьма.

Она достала сигарету и, нагнувшись ко второй свече, прикурила.

– Всё это время я соревновалась с городом. Каждый раз, когда его здания вырастали, я снова и снова делала так, чтобы мастерская продолжала доминировать.

– Мы не предатели! – вскрикнула четвёртая свеча.

– Просто мы очень любим тебя, – призналась пятая.

– И поэтому хотели обязательно дождаться возвращения, – тихо сказала шестая.

– Я знала, что вы никого не предавали, – ответила ведьма и выпустила изо рта клуб дыма. – И я знаю, что вы храните огонь с моего 23-летия. Именно он мне нужен. Раньше я думала, что главное это свет, огонь лишь его причина. Но свет слабее тьмы. Вы же видите, тьма поглотила его. Теперь я полагаю, что самое главное – это огонь…

– Мы хотим быть с тобой вечно, – вдруг перебила её восьмая свеча, молчавшая до сих пор.

– Не знаете, чего просите, – ведьма осклабила редкие, но острые зубы. – Но будь по-вашему.

Она достала серебряный колчан, перекинула его ремни через плечо, а затем вставила туда свечи. За долгий срок они затвердели до состояния камня и превратились в настоящие стрелы.

Ведьма протянула левую руку (руки у неё были длиннющие, а пальцы ещё длиннее) и сдёрнула с крючка лук. Выбросила правую руку – и стену разрезали створки лифта.

Продолжение башни оказалось долгим. Лифт поднялся на неимоверную высоту, откуда был виден не только весь город, но и вся земля.

Ведьма выскочила, а лифт мгновенно ухнул вниз, оставив за собой дыру в виде зияющего цилиндра. Ведьма расставила по краям трубы ноги и повернула голову к свечам, сиявшим за её спиной, словно куст из золотых роз:

– Свеча – не то, что лежит в ящике, и не только то, что светит. Сущность свечи в жаре, который соединяет свет и телесный столбец. Жар не порождает свет, а им притягивается. …Ищите свет своих сестёр! – велела свечам ведьма.

С этими словами она стала веером пускать стрелу за стрелой, целясь в какие-то бесконечно удалённые точки на абсолютно чёрном небе.

Стрелы летели, пока им хватало энергии, сообщённой тетивой. Когда же она заканчивалась, стрела вместо того, чтобы упасть, издавала пронзительный звон и расщеплялась на девятеро меньших стрел, так же, веером, разлетавшихся в разные направления.

Словно ажурный зонт из золотых жил раскрылся над городом. Весь небосвод пылал: огненные иглы прошивали землю и снова взмывали, образуя сверкающую ткань. Векторы множились в геометрической прогрессии, ткань стягивала пространство.

Единственным пятном, которое ещё не охватило пламя, оставался контур ведьмы, танцевавшей какие-то па на вершине цилиндра. А в конце и он вспыхнул, запирая остатки тьмы.

Стало очень светло.

«ОКОЕМ»

Завершился в очередной раз конкурс художественной прозы и эссеистики, посвящённый памяти казанского писателя, философа Диаса Валеева. По традиции хотим высказать признательность и глубокую благодарность бессменному организатору и идейному вдохновителю проекта – поэту, переводчику, редактору, издателю и культуртрегеру Галине Булатовой. В этом году, что не удивительно, было много работ, посвящённых актуальным политическим темам. Что поделать – мы живём в такое время. Но, к счастью, встречались и рассказы, уводящие от политики в сферу чистого искусства.

Постоянный член жюри премии «ДИАС» и автор нашей рубрики «Книжная полка» Елена Севрюгина предлагает вашему вниманию пять рассказов, вошедших в её личный топ лучших работ по итогам премии.

С рассказом Ольги Пойминовой «Чудак-человек» всё просто и по-особому понятно. Это о тех, кого окружающие считают глупыми, юродивыми, но чья правда рано или поздно постучится в сердца людей. О творцах – писателях и поэтах, понимающих, что для счастья нужно не так уж и много: быть верным себе и быть преданным любимому делу.

Помните историю короля Лира? Младшая его дочь, Корделия, попала в немилость, когда не смогла выразить словами свою любовь к отцу. А всегда ли слова нужны? И всегда ли слёзы – признак искреннего сожаления и скорби? Героиня рассказа Полины Михайловой «Плачь» не плакала об умершей бабушке. Да и как плакать о том, кто всегда рядом? Не лучше ли просто войти в комнату, где все справляют поминки, «с жжелевым блюдом печёных груш» и хотя бы на мгновение вернуть прошлое и детство? Это рассказ об искренности, которая многим кажется бесстыдством, и о лицемерии, ставшем для многих нормой поведения.

О блокаде Ленинграда написано уже так много и, возможно, эта история осталась бы незамеченной, если бы не исключительно важная мысль, на которой делает акцент автор рассказа «Саночки» Геннадий Веретельников. Каким бы лишениям и невзгодам ни подвергался человек, как бы ни были страшны холод и голод, ничто не способно искоренить живущие в наших сердцах любовь и милосердие. Это рассказ о любви – к близким, к животным, даже к облезшему попугайчику, который тоже член семьи. Эта история о том, что только с помощью любви и веры нам удалось выжить в страшные годы блокады.

Рассказ Эдди Крока «Два садовника» – ещё один оригинальный подход к раскрытию темы фашизма. В одном из садовников мы узнаём сподвижника Гитлера Йозефа Геббельса, видящего свою работу в том, чтобы «выпалывать сорняки и охранять от набегов». В другом же садовнике мы узнаём самого гуманного педагога всех времён и народов Януша Корчака – директора «Дома сирот». Он погиб во имя любви, поскольку не смог принять «выполку сорняков», «разделение садовых культур» и жертву детей на алтарь «прекрасного будущего». Эта история хорошо известна многим, но автор талантливо передал её своими словами, напомнив каждому о том, что такое истинная гуманность.

История Ильи Таранова – о том, что в жизни и природе всё взаимосвязано, и душа человека, а точнее, память о нём может продолжиться в растении или дереве. Тополь Ванечка, которому за полвека «повидалось много», стал живым воплощением того, кто ушёл на фронт, но так и не вернулся. А потому «пусть дороги судьбы прямятся тополями, прямятся добродетелью. Любовью».

Желаем вам приятного и полезного прочтения этих добрых и умных рассказов!

ОЛЬГА ПОЙМАНОВА

Красногорск Московской области

ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК
рассказ

Жил да был Чудак-Человек. В лес пойдёт – заблудится. В люди выйдет – затеряется. А всё потому, что в облаках летал. Там его дом, там ему место. Что ни утро, то мечта. Что ни вечер – идея. Так и жил – ноги на земле, голова в небе. Вот идёт Человек по городу. Смотрит, стоит берёза у самого дома, в листву молодую закуталась, ветками в окно стучится. Все ему говорят: «житья от неё нет, вот вымахала, свет белый загораживает!». А он в ответ: «Это дева лесная суженого ищет, спрашивает, не у вас ли?». Зацветут по весне одуванчики, разбегутся по траве солнечными зайчиками.

Люди ворчат: «Вот сорняков расплодилось!». А он в ответ: «Жар-птица светило на небе клевала, вот крошки вниз и просыпались!». Подует северный ветер, все стонут: «Вот бы в тёплые края, да куртки эти долой!». А он им про носки сказывает, что его бабушка всей семье вязала, а в петли вместе с нитками любовь свою вплетала. Оттого носки эти не знали сносу, а ноги – холода. И так всякий раз. Что ему ни скажи, все переврёт, перемечтает.

– Глупый ты! – ему говорят.

Чудак отвечает:

– Не глупее вашего.

– Так всю жизнь на мечты и растратишь, – ругают его.

– Всю да не всю, – улыбается Человек. – А что растрачу, то чем другим возьму.

И стыдили его, и бранили. Всяк спешил посоветовать, как жить надо правильно. Помочь, так они все считали. На землю с облаков спустить, да под ноги смотреть научить, пока не споткнулся да голову свою непутёвую не расшиб. А Чудак шёл и шёл себе по своим делам.

– Ох, пропадёшь, – вздыхали вслед.

– Где пропаду, а где найдусь, – улыбался он.

Зашёл Чудак в магазин, да купил себе тетрадь потолще и ручку покрасивей да поудобней. Уселся под деревом, стал писать. Все мечты свои собрал, как грибы в лукошко. Каждую заново расцветил, разукрасил. Каждой волю дал, да глядел, что получится.

Был Чудак-Человек, а стал Писатель. Ничего у него не потерялось, не позабылось. Слово напишет, и от слова того город выстроится, крыши черепичные, флюгера золочёные.

Фразу бросит, а в ней судьба человеческая. Вот тебе дорога дальняя, а тебе ремесло по сердцу, а тебе слёзы лить. Тех слов и фраз у него много было.

Писал-писал Человек, и закончилась у него тетрадка. Пошёл он, новую купил. А прежнюю людям дал. Почитать.

С тех самых пор про него по-другому говорить стали.

– Экий он удивительный, – пошла молва. – Это же надо придумать!

– Где ж ты такое услышал? – спрашивали одни.

– Да берёза, дева лесная, на ухо нашептала.

– Где ж ты такое узнал, – удивлялись другие.

– Крошку от светила небесного ртом поймал да и съел, а в ней секрет хранился, вот и выведал.

– Кто ж тебя научил так ловко слова-то подбирать, что одно к одному встаёт, и всем место, никому не тесно?

– Да глядел, как бабушкины петли по спицам бегают, так и фразы вязать научился.

Шёл по земле Человек-Писатель. Бывало, радость из воздуха горстями загребал. Бывало, что и лоб расшибал. Всё наука, всё впрок. Всё в слова превращается. Жизнь, она же интересная. Сама как книга, читай да читай себе. Что прочёл – другим рассказывай да для потомков записывай.

Обернулся как-то раз Писатель, глянул за спину себе, а за ним идут. Один, второй, третий. Уж толпа целая набралась. И все спрашивают: «Что же дальше-то в книжке твоей будет?».

– А что нужно, то и будет. Подождите и узнаете.

– Научи нас так же писать!

Человек не жадный. Рассказал, объяснил. Как на деревья глядеть, чтоб дев в них видеть. Как птиц слушать, чтоб песни их на бумаге потом зазвучали. Как в облаках замки находить, в тучах крепости. Сложно это многим показалось, забросили. Но кое-кто и остался. Стал тоже бродить ноги на земле, голова в облаках, тетрадка под мышкой, ручка в кармане. Подрастут, научатся, тоже их Писателями назовут.

А бывало так, что встанет кто-то у него на пути, за рукав возьмёт, в глаза глянет, и спросит:

– Что ж ты, Чудак, раньше-то молчал?

– Разве ж я молчал, – улыбнётся Писатель. – Я-то говорил, да только вы не слушали.

Ответит, пойдёт себе дальше. К березе заглянет, на солнышке погреется, после к северному ветру прислушается.

Будет жить как жил. Себе верен, делу любимому предан.

А народ – он всегда что-нибудь болтает. Пусть себе. Каждому потакать – и людей счастливыми не сделаешь, и душу свою потеряешь. И Писателем другого назовут. Того, кто в себя поверил. Ох, обидно будет…

ПОЛИНА МИХАЙЛОВА

Москва

ПЛАЧЬ
рассказ

#1

В ноябре хоронили бабушку – и Тая совсем не плакала. На брянском кладбище, у самой оградки, стояли пять человек: папа, Тая, дед, брат и копщик в мятых вангоговских ботинках. Гроб ещё не заколотили. Корки чёрного снега врезались в неестественно-светлую, салатовую траву.

– …Да, да, объезд с улицы Красноармейской, семнадцатый участок, – твердил кому-то по телефону папа, промакивая бирюзовой кухонной салфеткой уголки глаз. Брат, сгорбившись, отколупывал с ограждения краску, потрескавшуюся от преждевременных холодов. Всхлипывал как-то по-детски: он был старше Таи на девять лет, также работал проводником на маршруте «Москва – Брянск» и пережил всё то же, что и сестра, но горевать совсем не умел.

Горе не шло его округлым, кротким чертам.

Дед стоял прямо, расстегнув куртку и заткнув в нагрудный карман носовой платок.

Оттуда торчал плотный, остроносый комок. На кладбище пахло вкусно: влагой и кутьёй с изюмом.

– Почему-у ты не пла-ачешь? – вяло спросил дед и тут же забыл об этом.

Тая подошла к нему, вытащила из нагрудного кармана платок, расправила его и положила обратно.

– Смотри, чтоб не выпал.

В груди у Таи ухали поезда: «Брянск – Москва, тух-тух-тух, Москва – Брянск». Тая понимала, что теперь, когда ушел из жизни единственный близкий человек, единственный, кто задавал этот частый отеческий вопрос «как дела?» не потому, что хотел показаться самому же себе праведным и прилежным, а потому только, что Таю любил – теперь, когда бабушка умерла, у Таи начнется совсем другая жизнь. Бабушка с этой минуты в ней: её тёплые ладони, которые пахнут дачей; апельсиновые рогалики; нежность – за сохранение этого отныне ответственна Тая.

Иначе… иначе в мире вовсе не останется любви. Таина бабушка была выносливой, жёсткой, сильной – а значит, и Тая всё сможет вынести.

Внезапно послышались шаги, они мешались с хлюпаньем ноябрьской грязи.

– Тётя Оксана. Добралась.

В лодочках из кожзама, поочерёдно утопающих в жидкой земле, с оранжевым шёлковым шарфом и мокрым от слёз лицом, тётя Оксана встала к оградке, по левую сторону от папы. У неё были чёрные как воронье крыло волосы, почти несуществующие брови-веточки, обрисованные коричневым карандашом, и ярко-тыквенная помада.

«Макияж она успела сделать», – подумала Тая.

– Гляньте-ка! – вскрикнула тётя Оксана, впечатывая свой голос в насыщенную кладбищенскую тишину, – Тайка-то – совсем не плачет!

Тётя Оксана явно пыталась понравиться папе (Тая стала замечать это с месяц назад): она незаметно придвинулась к нему и с лёгким, как бы успокаивающим, жестом коснулась его бедра.

Тая съежилась. Визг мешал им с бабушкой. Они говорили не так, как «общаются» покойник и живой, покойница и живая: они говорили по-настоящему. Бабушка не умерла для Таи. Она жила в этом вечном «Москва – Брянск, Брянск – Москва», неизменном в Таиных буднях; жила у Таи под кожей.

– Срам какой – не плакать! – продолжал тонкий, как скрип металлических поездных колёс, сопрано.

– И действительно, Тая, – присоединился к скрипу махровый папин баритон, – это неуважение. К себе, к бабушке.

Кончики пальцев окоченели, хотелось есть. Тая с жадностью посмотрела на лежащую в дорожной сумке кутью и ломтики белого хлеба, обжаренного в сахаре и молоке.

Поискав глазами ложку и не найдя её, Тая облизнула пальцы и зачерпнула ладонью кутью из большой алюминиевой миски. Миска была тёплой, и Тая прижала её к себе, от слабости едва не падая с ног.

– Бесстыжая! – взвизгнула тётя Оксана.

Миску вырвали из рук Таи, и остатки кутьи разлетелись вокруг чужих могил.

– Дура, – сказал папа и замахнулся на Таю рукой.

Тая бросила первый взгляд на дремавшую в гробу бабушку (первый, потому что раньше не решалась глядеть) и скинула с себя ботинки.

– Вот, возьмите, – шепнула она тёте Оксане, – ваши лодочки грязные. Под макияж… не подходят.

Босая, Тая побежала к выходу с кладбища, а оттуда – на Чашин курган, на холм.

С него виден горизонт, а бабушка любит гулять там, где ничего не заслоняет простор. Ясно же: им вдвоём нечего делать на кладбище.

#2

До института Тая бывала на кургане только летом. Ей казалось, что тут лето – всегда; даже тогда, когда во всём городе осень, зима, весна.

Сломленный и нездоровый, как побеждённый воин, курган глядел на Таю. Как будто стыдился, но говорил: да, мол, я могу быть и таким, скудным и обездоленным, поседелым. Тая всматривалась в коричневые холмы, в деревья, издалека казавшиеся карликовыми и больными; в грязь, смешанную с травой.

«Стареют и умирают вовсе не от старости», – решила Тая.

Она читала об этом у Евтушенко, в школе. Только у Евтушенко причинами старости были усталость, безысходность, проблемы.

«Не они, не они, – думала Тая, – что-то другое». Но пока не могла ухватить, что.

Голые ступни онемели. Чем дольше Тая стояла на одном месте – тем больше под ногти проползала холодная грязь. Тая побежала. Деревья и коричневые холмы смешались в сплошной бурый фон. Только две бледные ступни поочередно врезались в эту пугающую однотонность. Такая же однотонность мелькала, обрамленная рельсами, точно картинной рамой, за окном поезда, в котором работала Тая. Брянск – Москва, тух-тух, Москва – Брянск.

Место, которое занимала бабушка в её сердце, Тая никогда не переводила в слова.

Мы можем сказать, что ценим что-то отличное от нас, например, человека или быль. Но разве в состоянии мы решить, какую роль в нашей жизни играет, например, наша собственная черта характера? Не замечая её как что-то отдельное, человек вместе с тем не представляет себя без. Бабушка Таи была честной в эмоциях и словах, резкой, иногда искренней до жестокости – но всё это только для того, чтобы никогда не краснеть за свою любовь. Белокурая гармоничная женщина с уверенным голосом и раскосыми, почти что птичьими, оливковыми глазами – такой знала Тая бабушку. Внучка была похожа на неё. Глаза Таи были такого же, желтовато-зелёного грушевого цвета: осенью, когда бабушка запекала груши, она всегда это подмечала. «До того похожа, что, стань дедушка молодым, не отличил бы жены от внучки».

Здесь, на кургане, они – бабушка и Тая – были близки, как никогда. Были одним.

Что-то острое врезалось в порозовевшую от холода Таину ступню. Зелёное стекло!

Тая остановилась – и однотонный фон снова превратился в болезненные деревья и коричневую грязь.

– Всё равно красиво, – шептала Тая, уходя: рана не давала ей больше бежать, нужно было идти домой.

В квартире на улице Костычева, в сорок четвёртом доме, звенели рюмки и звучали голоса.

«Забудут ведь, – подумала Тая, прижавшись спиной к двери, – похандрят – и забудут».

Это были голоса людей уверенных в том, что они всё делают правильно. Это были голоса людей скорбящих: всё-таки бабушка умерла. Но это были и голоса людей радостных: они проплакали достаточно, чтобы убедить себя в том, что добродетельны.

Не всем же быть такими чёрствыми, как Тая. Тая, плачь!

#3

Проскользив лопатками по поверхности двери и присев на корточки – холодный бетонный пол пах мокрым асфальтом и ноябрьской свежестью – Тая почувствовала резкий толчок в спину.

Дверь отворилась – и из-за неё показалось раскрасневшееся от водки лицо тёти Оксаны. Её шёлковый оранжевый шарф измялся и некрасиво съехал на один бок.

– А! Это ты, – рассмеялась Оксана, – заходи, у нас тут кутья (она запнулась так, как будто сообщала что-то сокровенное)… и домашний рахат-лукум.

Тая заметила, что в левой руке тетя Оксана держала карточку от лото.

В квартире было душно и шумно. Создавалось впечатление, что отмечают какой-то праздник. Окна чуть запотели, а дверки старинного стеклянного шкафа были неестественно широко раздвинуты. В них стояли пиалы с ярким, почти бутафорским рахат-лукумом.

Духота и шум – то, чего бабушка избегала. Сердце у Таи сжалось.

– Пап, – позвала Тая улюлюкающую компанию заполнивших гостиную людей (среди них были и малознакомые, и совсем не знакомые Тае люди).

Никто не ответил.

– Пап, дед! – окликнула Тая ещё раз, – у нас остался спирт?

– Тебе зачем?

– Обработать ноги. Порезалась.

– Водку возьми.

Чужая смуглая рука вручила Тае бутылку водки в полупрозрачной марципаново-матовой бутыли. Тая села в одежде в сухую тёплую ванну, закрыла за собой дверь и стала лить эту кристально-чистую жидкость на застрявшие в ступнях куски стекла. Бабушка не терпела лото и любила, когда уютно дома.

– Чёрт! – подскочила в ванне Тая, – почему я так легко позволяю?..

В одно мгновение перешагнув бортик ванны и забыв про раны, Тая пошла на кухню. Остановившись перед дверью, она обняла себя за предплечья: любопытно и превосходно было любить того, чья кровь текла в твоих собственных жилах.

Кухонного стола не было: его перенесли в гостиную. Столешница была заставлена сладостями, банками с оставшейся кутьёй и бутылками с чем-то спиртным (Тая не разобрала, да и не хотела разбирать, с чем именно).

Одним движением Тая сложила всё в мусорный пакет и выкинула в окно. Ей понравилось, что после этой странной шалости кухня стала похожей на ту, которую знали некогда при бабушке; пока бабушка была здесь.

«Но я здесь, – сказала Тая, – и это мой дом».

Тая отыскала мёд и корицу. В погребке, примыкающем к кухне, оказались груши: несколько вздутых, желтовато-зеленоватых плодов, завёрнутых в целлофан. Уже через полчаса раздался знакомый, тяжеловатый запах печёных груш. В семье его знал каждый.

Тае показалось, что ещё вдох – и она станет водить подушечкой пальца по знакомому узору на скатерти, и ей будет восемь, и будет детство.

Тая вошла в гостиную с гжелевым блюдом печёных груш, которое едва умещалось в руках. С минуту сидевшие на диване – широком и пригодном для лото – продолжали жестикулировать и переговариваться, не замечая девушки. Брат первый протянул руку к гжелевому блюду. За ним – дед.

– У меня «цыганка»! – визгнула тетя Оксана, обращаясь к папе.

Но папа уже надкусывал горячую нежную грушу. Стало тихо.

Дед выронил рюмку. Кто-то (вероятно, незнакомый) прижался к стене, задев выключатель. За окном проехала машина, оставляя вдоль стены преломленный малиновый луч фар.

И свет так упал на Таю, что сидящим в гостиной показалось, что зоркие оливковые глаза бабушки сморят прямо на них.

ГЕННАДИЙ ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ

Симферополь

САНОЧКИ
рассказ

8 сентября 1941 года Ленинград оказался в блокаде. К ноябрю все жители города испытывали постоянное чувство голода, которое переросло в опасную болезнь – алиментарную дистрофию.

На улицах уже не пахло, как до войны: свежевыпеченными булочками, выхлопными газами автомобилей, кофе и табаком.

С улиц исчезли собаки. Не стало птиц, а кошки стали большой редкостью.

Улицы теперь таили в себе опасность: помимо обстрелов немецкой артиллерии, появились банды грабителей, которые охотились за теми, кто стоял в очередях, выхватывая у них карточки или продукты, не оставляя беззащитным людям даже шанса и обрекая людей на мучительную смерть от голода.

Привычный шум городской суеты поменялся на скрип детских санок, на которых везли тела умерших родственников или соседей в последний скорбный путь.

В одном доме на Выборгской стороне жила семья, в которой было два человека: дедушка Миша и его внучка Маша.

Сын дедушки Миши воевал. От него приходили военные письма – «треугольники». Давно уже закончились отложенные на чёрный день припасы и ценные вещи. Последний костюм был обменян на Дерябкинском рынке на стакан семечек, которые достались попугайчику Петюне. У попугая от голода выпали все перья, но он был членом семьи, потому любовью и заботой, в меру детских и старческих сил, он был обеспечен. Холодная осень перешла в ещё более холодную зиму. Ледяной ветер забирал остатки тепла у домов, квартир и едва живых людей. Единственный источник огня и жизни – деревяшки любого происхождения. А настоящие дрова стали большой ценностью.

Из игрушек у Маши был пупсик и небольшая кукла, а ей так хотелось саночки, на которых бы её катал папа после того, как вернётся с фронта. Но денег на санки уже не было.

Когда пришли холода, дедушка Миша обменял два золотых кольца на печку «буржуйку». Дымоход оказался забит, потому ему пришлось пробить дыру в стене квартиры и соорудить печную трубу. На ней, потихоньку сжигая свою деревянную мебель, грелись, кипятили воду, варили нехитрую еду. Дедушка Миша до войны столярничал, потому дома были небольшие запасы столярного клея, из которого, как оказалось, можно было приготовить вполне съедобный студень. Также до войны он постелил в квартире паркетный пол, который начал разбирать и жечь после того, как сожгли последние книги. И вот Маша заболела. Она больше не хотела кушать. Пила только заваренный на веточках вишни чай. В тот день, как обычно, дедушка Миша принёс их хлебный паёк, но Алсу не обратила на него никакого внимания. Она лежала на кровати, едва дышала, на вопросы не отвечала, просто медленно моргала и смотрела в потолок.

Дистрофия уже убила весь их подъезд. Дедушка понимал, что его приёмная внучка будет следующей. Как-то они увидели незнакомую бабушку, которая умирала в парадной. Алсу предложила покормить бабушку семечками их попугая, которые они берегли, давали ему по несколько зернышек в день. Пока ходили за семечками, бабушка умерла. Позже выяснилось, что бабушкой оказалась их семнадцатилетняя соседка с верхнего этажа.

Он смотрел на девочку и понимал, что у людей при сильном истощении, когда уже нет сил играть, кушать и дышать, нет и желания жить. Как разбудить в ней это желание? Дедушка усадил Алсу на стульчик, поближе к буржуйке, чтобы она погрелась и тут его взгляд упал на сложенный в углу паркет. За окном скрипели санки – это везли очередного несчастного в последний путь.

И тут его осенило. Он поднялся, взял несколько паркетин, свой столярный инструмент и начал работу. Через какое-то время он услышал такой долгожданный голос Алсу: «Дедуля, что это ты там делаешь, неужели саночки?».

Он попытался что-то ответить, но почему-то у него от волнения пропал голос. Тогда он просто кивнул головой, улыбнулся и продолжил работу.

Алсу зашевелилась возле «буржуйки» и опять спросила: «Дедулечка, может тебе помочь?».

Дедушка опять кивнул головой и севшим от волнения голосом попросил спеть ему её любимую песенку.

И тут Алсу запела что-то на татарском. Голос был тихий, еле слышный, но в её глазах появилась искорка жизни.

Когда работа была закончена, дедушка усадил любимую куклу внучки в только что изготовленные саночки и сказал: «Алсу, с этого момента ты мама. Эта кукла твоя дочь и она очень хочет, чтобы ты покатала её на саночках!».

Алсу посмотрела на дедушку и попросила у него кусочек хлебушка с чаем, чтобы подкрепиться, потому что у неё сил нет сейчас покатать доченьку. Дедушка поставил чайник на печку, отрезал хлебушка и с умилением смотрел, как малышка отщипывает кусочки, кладёт их в рот и запивает горячим чаем.

Через час Алсу начала катать саночки по постели, а чуть позже вставать и ходить по квартире. Ходила и катала свою дочку, о чём-то с ней разговаривала и иногда пела ей песни, позже попросилась на улицу, потому что её дочке нужен был свежий воздух, да и по снегу санки катаются гораздо лучше…

Алсу выздоровела. Так они вдвоём прокатали куклу до самой весны.

Дедушка Миша умер за несколько часов до того момента, как их нашла специальная бригада. Девочки – студентки политехнического – работали в бригаде по поиску детей, у которых умерли родители или опекуны, для того, чтобы отправлять детей в детские дома.

Эту семью они знали. В этом доме в живых осталось двое: совсем старенький дедушка и его трёхлетняя внучка.

Дедушке Мише девушек, которые заходили к ним домой день через день, было жалко, и он как-то попросил их подняться к ним на этаж только в случае, если не будет видно дыма из трубы их «буржуйки». В тот день девушки шли по своему обычному маршруту, обсуждали последние новости с фронта. Подойдя к парадной, они подняли голову и, увидев трубу без привычного им дыма, побежали наверх.

Зайдя в квартиру, девочки увидели дедушку, который скрючившись лежал возле печки, в его руках было зажато несколько деревяшек, рядом с ним стояли деревянные саночки, а возле них замёрзшую, но ещё живую маленькую девочку.

Она сидела и гладила дедушку по голове, что-то пела на незнакомом им языке, а у неё из-за пазухи выглядывал облезший попугайчик.

P.S. За 872 дня блокады в Ленинграде погибли 630 тысяч человек. Большая часть умерла в первую блокадную зиму 1941/1942 годов – самую суровую, когда столбик термометра опускался до минус 32 градусов.

P.P.S. Саночки сейчас хранятся в Музее-библиотеке «Книги блокадного города», который находится по адресу: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 17.

ЭДДИ КРОК

Нижний Новгород

ДВА САДОВНИКА
рассказ

Какого чёрта этот полячек в форме врагов Рейха?

– Не кипятитесь, Валтер. Мы на детском празднике. Вспомните своих детей, получайте удовольствие.

– Я этого интеллигента пинками загоню в Мерседес, и он даст показания.

– Слава Богу, великую Германию строят не только грубияны, как вы, Вальтер. Если по своей воле не можете себя вести, выполняйте приказ.

Оберштурмфюрер Шмитц сидел, как на иголках. Провести операцию, захватить врагов, свершить возмездие во имя Рейха было реально для бесхитростного вояки.

– Еврейские выродки с чёрными зенками…

– Спокойно, Валтер. Приказываю оставить идеологию, молчать и слушать. И расслабьте, пожалуйста, лицо.

После задорной песенки худющие еврейские дети показали весёлый спектакль на польском. Роль вредного садовника пана Зелёнки играл директор школы. Он «угнетал» своей заботой овощи и фрукты, образы которых воплощали его воспитанники. В конце до них дошло, что старания садовника несут им пользу.

Не обращая внимания на кряхтение своего сослуживца, статный офицер в звании оберфюрера СС Юрген фон Фаренхайд получал удовольствие от сказки, написанной и поставленной знаменитым польским педагогом, очки которого смешно дополняли образ сердобольного Зелёнки.

*

Измождённый фашистской властью директор не боялся носить форму польского офицера. Душа его словно вспыхивала, одухотворённые глаза выразительно сверкали сквозь очки в тонкой оправе. А потом он затихал, устремляя взор куда-то вдаль. Глубокая печаль и изможденье. Юрген фон Фаренхайд это видел. Вместе с толстокожим Валтером он проводил допрос директора «Дома сирот» в его кабинете, согласно инструкциям гестапо.

Валтер был «плохим полицаем», проводящим жёсткую линию. Юрген же вёл себя мягко, часто приструнивая зарвавшегося коллегу. Согласно дьявольскому расчёту допрашиваемый должен был проникнуться симпатией к «мягкому полицаю» и идти у него на поводу. Но «этот упрямый еврей» почувствовал фальшь игры.

– Вы не понимаете, пан директор. Всё решено. Забудьте про «Дом сирот». Ни вы, ни я не можем ничего сделать. Какой смысл оставаться на тонущем корабле? У вас прекрасное будущее. Вы педагог. Или вам дороги только еврейские дети? Вы же писали, у детей нет национальности.

После этой фразы Валтер оставил свирепость и начал скучать. Все «кнопки», «крючки» и другие хитрости по запугиванию были использованы. Он ждал, когда Юрген попросит его «подготовить машину» и тэт-а-тэт окончательно «добьёт» беднягу пана Зелёнку, ещё не успевшего смыть грим.

*

Они ехали по западной Польше. Многочисленные КПП пропускали генеральский Мерседес. Проезжая Познань, оберфюрер поинтересовался самочувствием педагога, но тот молчал и смотрел в окно. Повторив вопрос и не получив ответ, Юрген оставил его в покое. За рулём Валтер крыл поляков, русских и особенно евреев, но отклика не находил и решил заткнуться. К утру они были у Бранденбургских ворот и ехали по Вильгельмштрассе, повернув в арку большого, напыщенного официальным канцеляризмом здания.

*

Директор в сопровождении Юргена покорно вошёл в кабинет с тяжёлой мебелью и портретом Гитлера над дубовым креслом.

– Хайль Гитлер.

– Хайль.

В кресле сидел высокий худой брюнет лет пятидесяти в форме с фашистской свастикой на рукаве. Волколак – первое впечатление педагога. Выхолощенный и высушенный многолетней, изнурительной службой Йозеф Гебельс напоминал ходячего скелета. Но глаза… о Боже, какие глаза! Они пронзали насквозь, они завораживали и толкали собеседника в отчаянное безумство. Они не горели ярко, а тлели. Внутри выкипала лава запредельных температур, и Бог весть, какая энергия таилась внутри. Пока таилась…

– Вы польский солдат?

– У него нет…

—Молчать, Юрген.

Поляк-еврей спокойно и внимательно смотрел на самого Йозефа Геббельса.

– У меня действительно нет другой приличной одежды.

Глаза Волколака перестали колоть, лицо размякло. Он выжал из себя улыбку, которая ему не шла – становился похож на маньяка.

– Уважаемый пан… – назвал его фамилию, – прошу прощения, что вас доставили по принуждению. Мои приказы не касаются личных желаний. Только интересы Германии! И вам не позволят встать на их пути!

– О чём вы, уважаемый?.. Извините, не разбираюсь в немецких чинах. Как директор «Школы сирот» в Польше может перечить интересам Германии?

– Юрген, оставьте нас.

Прохайлив Гитлера, тот вышел. Глаза Геббельса гипнотизировали беззащитного, тщедушного человека в старомодных очках, а тот как будто не замечал того чудовищного, невидимого потока, засасывающего жертву, заставляя тотально повиноваться. Выждав паузу, но не дождавшись привычного эффекта, нацист повёл в философию.

– Вы недавно играли садовника Зелёнку, уважаемый…

Польский еврей слегка вздрогнул.

– Да, это моя постановка. Весьма удивлён вашей осведомлённостью.

– Вот, что я хотел вам объяснить, пан драматург. На деле в этой жизни не вы пан Зелёнка, вредный садовник, а я. Я занимаюсь неблагодарной работой – подрезаю, даю опоры для роста в нужном направлении, дезинфицирую, выпалываю сорняки, охраняю от набегов. И это больно для людей, для общества. Но это и необходимо для их же выживания. И какую благодарность я имею? Ответ в ваших глазах – пренебрежительное высокомерие. Великий Рейх впервые в истории смело, решительно отверг стыдливую мораль. Мы привьём человечеству совсем другую, выдернем сорняки и разделим садовые культуры. Божественный порядок – разве не самая достойная цель? А что для этого нужно? Новое поколение, вырванное из пут прошлого, проклявшее тёмных родителей. Какое воспитание мы дадим взамен? Кто это сделает? Я вас спрашиваю!

– Вы хотите, чтобы я занимался педагогикой в Германии? Но наши идеалы несовместимы. Я не приемлю «выпалку сорняков», «разделение садовых культур» и жертву детей на алтарь «прекрасного будущего». Неважно, какой они национальности.

Будущее нельзя строить, убивая людей. Для растений ваш подход хорош. Казалось, удачная аналогия, но не для человека.

– Вам мешает религия. История не помнит жертв. Пройдут годы, никто не будет ворошить фекалии прошлого. У вас, иудеев, есть понятие Рая. Мы его строим из железа и камня с помощью людей и для людей. Жертвуя тысячами. Поверьте, и мне их жаль. Но на пути к цели есть барьеры и жертвы. Закон игры. У великой игры великие барьеры и жертвы! Евреям и русским не по плечу эта задача. У них религия, душа и всякая ерунда, чтобы избежать великой работы, которую кто-то обязан сделать. Из диких войн и разногласий открыть путь в новый порядок. Только Рейх и фюрер! История сметёт вас с пути, как река камни. Ничто не помешает естественному процессу, ни ваши Заветы, ни гуманизм и жалость.

– Вы правы. Я верующий, вы атеист. Я знал хороших людей, отвергающих веру. Они блюли мораль, общественные правила и не отличались от верующих. Но я познал – если отменить мораль, расширить масштабы задач, поднять планку ответственности и направить к цели улучшения человечества с атеистической точки зрения, то такой человек станет фюрером, а его единомышленники – руководством Рейха. Но я не тот, мы не можем понять друг друга. Мы созданы из несовместимых начал. Для целостной личности истиной является то, что она видит своими глазами. И это мужество, достаточное для того, чтобы знать, что именно вы видели, и сказать об этом. Оставим это. Я – неспособный оценить идеалы Рейха гонимый еврей, волей Бога отвечающий за вручённых мне несчастных детей, спрашиваю вас – как их спасти? «Дом сирот» расформируют, а детей отправят в лагерь, где они умрут. Я согласен выполнять все инструкции. Пусть я буду педагогом в Германии или где угодно, но мои дети будут со мной.

Рейхсканцлер Германии Геббельс почувствовал себя опустошённым. Он уже год не высыпался и худел.

– Мелко! Вы глупый человек, пан Гольдшмидт. Я вас переоценил и зря потратил время.

*

Он шагнул в газовую камеру концлагеря со своими воспитанниками летом 1942 года. Двое самых маленьких сидели у него на руках, он рассказывал им какую-то весёлую историю, чтобы они не испугались…

А в это время на «диком» востоке «трусливые русские» ломали хребет вермахту и разворачивали ход не только Отечественной, но и всей Второй мировой войны, чтобы в 1945 году вбить кол в сердце фашистской гадины.

ИЛЬЯ ТАРАНОВ

Ульяновск

ВАНЕЧКА
рассказ

Сейчас бы мою улицу назвали Тополиной, а тогда, ещё пустынную, необжитую, назвали Автозаводской. Много ли живут деревья? По-разному. На этой улице сотни три тополей. Они, все до единого молчаливые бессребреники, вслушиваются денно и нощно в гигантский мир, в его постук и взвень, в его перегорающую суету.

Деревья начали сажать в конце войны – весной сорок пятого. Сажали с тем энтузиазмом, с той благочестивой надеждой, что присуща лишь народу, едино устремлённому к миру и любви. Народу-победителю!..

Пленные немцы строили двух-трёхэтажные дома с четырёхскатными крышами, украшая фасады административных зданий строгими колоннами, карнизами и каменными парапетами. А жилые домики – балкончиками с ажурными перилами. Худородное пацаньё выменивало у этих побитых фрицев картошку на перочинные ножи, наградные кресты и зажигалки. А хлеба-то и самим не хватало: давали по карточкам.

День ото дня раскаты войны уносились в багровую зарю. А тополя росли, прямили улицу провинциального города, на которую выюркивали, тарахтя, трехтонные «ЗИСы», гружённые свежей сосновой доской. Военные шофёры с начищенными медалями и орденами, дерзновенные и весёлые, возили стройматериалы в новый растущий посёлок. Он нужен был строящемуся автозаводу, с конвейера которого вскоре начнут сходить знаменитые на весь мир «УАЗы», ульяновские неприхотливые автомобили-вездеходы.

Тополя тянули в лазурь молодые ветви. Пытались заглянуть вдаль, разглядеть Волгу, её быстрое течение, по которому сплавляли лес от берегов Камы до Сталинграда. Плоты спешили разбитой вереницей к разрушенному городу-герою. И тополя на моей улице торопились вырасти. Будто знали – скоро построят Куйбышевскую плотину, и Волга раздвинет берега, зальёт поймы, спрячет под собой ерики и острова, рыбацкие станы и деревеньки. Отразит в своём плавном просторе вселенский купол небес.

Под этими небесами рос наособицу большой раскидистый тополь. Он стоял не на главной улице, как все, а во дворе. Он помнил всё, что происходило вокруг, как, впрочем, и другие деревья на планете. Но я многое знаю из того, что было в его тополиной памяти. Его жёсткие округлые листья, просквожённые весной и летом солнечными лучами-волокнами, будто гигантский мозг, насыщались мировым звучанием. Подчиняясь тайным законам мироздания, они очищали природу: воздух и дух человеческий, землю и воду, мирозвучье и помыслы. Очищали от копоти повседневной суеты. От душевного остуда. Мы живём вместе с деревьями в общем мире, но они имеют больше права на жизнь, потому что первыми заселили планету. Если мы не понимаем их молчания, значит, мы несовершенны.

Этот тополь можно было назвать патриархом, хотя он был не стар для тополиного века. Что я знаю из его памяти? Его посадили в мае сорок пятого. Красивая русская женщина заприметила крепкий саженец, припала грудью, прижалась вымоченной слезами щекой:

– Будет память о моём Ванечке. Поить буду моего милого водичкой. Рассказывать ему обо всём. Пусть только слушает меня. Пусть живёт здесь мой Ванечка…

И рос, рос Ванечка-тополь. Рядом со скамеечкой, такой же, на которой до войны тёплыми летними ночами обнимался парень со своей любимой. И знал каждый вздох, каждое слово, каждый поцелуй… Помнил каждым листочком, каждой веточкой. Помнил, потому что красивая женщина подолгу сидела рядом с ним на скамейке, и они разговаривали безмолвно обо всём. Чаще о нём, о Ванечке, реже о ней, о её нелёгкой жизни. Так и жили – дерево и человек, благодарные друг другу за понимание, за теплоту, за любовь. А что ещё нужно одинокой душе?! И целый мир вокруг жил. Могучий тополь всех понимал, всех выслушивал и шумел-шумел крепкой листвой. Иногда христарадничал: просил людей лишь об одном – о сострадании.

Хотя двор, где рос тополь, и невелик, да жизни хватает. За полвека-то повидалось много. Он, Ванечка, теперь возвышался над новыми крышами, над антеннами и трубами. Над фонарными столбами. Над миром. Луна путалась в его ветвях, круглая и бледная. Но Ванечка долго её не держал. Отпускал к звёздам. Луна взблескивала и серебрила его крону, жалуясь на одиночество: «Звёзды мне не пара…». Тополь шептал тёмной листвой в ответ: «Эх, вековуха, вековуха…».

Однажды двор наполнился молчаливым людом, торжественным безмолвием, угрюмством. Красивую женщину вынесли в красном гробу, который поставили под тополем. Она не видела, как огромное дерево вздрогнуло разлапистым телом и застыло, сгорбленное и обвисшее. Она не почувствовала мягкого тополиного пуха, безмолвно наполняющего её новую обитель. Ванечка прощался с любимой и не мог напрощаться. Застывший, он глядел в небо на юрких стрижей, не понимая их беззаботности, их радостных, живых движений. Лишь когда ночная наволочь скрыла созвездья, тополь вздохнул-охнул и зашумел, застонал, отдавая миру всю накопленную боль…

Осенью, иззябший, он ронял в утреннюю студь позолоченные листья – плату за летнюю влагу и тепло. Уж мало кто помнил его историю. И помнил ли кто-то вообще? Улица обветшала, прежняя свежесть и молодость стаяли. Но тополь хранил в своей памяти и первую жизнь – жизнь Ванечки. Она проста, как и вторая. Родился в 1921 в деревне на Волге, каких по всей России тысячи. Перед войной приехал в город. Работал на заводе. Женился на красавице-девушке. На городской. Живи-радуйся! Но в сорок первом, страшной осенью, ушёл на фронт в сапёрную роту. Воевал, как воевали все – за Родину, за Сталина, за Мать родную, за Любимую. Взрывал мосты, освобождал от вражеских мин станции и города, наводил понтоны. Дороги войны вели от Сталинграда через Украину до Румынии и Венгрии. Рек повидал немало: Днепр и Днестр, Тису и Сирет. Но друзьям-однополчанам говаривал:

– Эх, на Волгу-матушку поскорее бы вернуться! Река-душа… Красотища… Мать божья.

Не пришлось. У судьбы свои дороги. Погиб перед самой Победой. Пришла похоронка, разорвала сердце, вычернила душу… За что, Господи?!

…Не тянутся теперь тополя на моей улице к небесным берегам. Живут – стареют. Высокие дома смело расширили город. Упрятали горизонт. Новая техника тарахтит и мчится по тополиной улице. Жизнь и должна двигаться вперёд. Двигаться, сохраняя память, насыщаясь богатством прожитого. Благопристойного. Мудрого. Вечного. Что изначально вложено Творцом в живое существо. В человека. В дерево… Сколько живут тополя? Говорят, сто лет. Целый век. Вот какая вторая жизнь должна была быть у Ванечки. Да не вышло. Весна ещё не развернулась, не разлила терпкое благоухание ожившей зелени. Ещё утренняя наледь удерживала холод зимы. Ещё хрупкие сосули пугали прохожих, а деревья уже готовились к весёлому многозвучью неба. И Ванечка оживал, вливался во всеобщий хор. Но однажды в него вклещилась пила, взвыла натужно, вогнала железные зубья в самую сердцевину. Приговорил Ванечку не Вседержитель небесный, не пророк и не гений, признанные отечеством и миром, а эдакий битюг, советчик страждущих христоборников подзаборных: дворник, имя которого и упоминать не возьмусь.

– Не молод уж я, братишки, собирать листья да ветвя. От этого-то дурня грузовик мусора набирается. А пользы-то на грош, – сказал он. Коротко и ясно. А молодым мужичкам долго ли завалить дерево, если интерес горячий предлагается. Дружно взялись – взревела бензопила, вгрызлась в самое изножье. В глазах – ничтожная одержимость хлебом насущным. Сказано – сделано…

Надсадно заскрипел ствол, задрожал, вытянулись ветви, вскрикнул Ванечка и рухнул перед толпой зевак. Рухнул посреди двора. Посреди города. Посреди планеты. Раскинул ветви-руки, как Гарсия Лорка. Глянул в позолоченную лазурь. Христом дрогнул на незримом распятии. Ещё живой, трепетал ветвями, отдавая тепло земле. Поверженный, лежал три дня, ещё чувствуя жизнь, сохраняя память Ванечки, память войны, память Мира…

Затем его распилили на чурбаки. Рассыпалось пространство любви… Судьба? Дороги судьбы неведомы человеческому разуму. Они пересекаются где-то, сплетаются воедино. Разрывая чужую дорогу, слабнет весь скрут судеб, идущих с тобой рядом. Даже если это деревья. Ведь деревья думают о нас. Да спасёт нас Господь от бессмыслицы! Пусть дороги судьбы прямятся тополями, прямятся добродетелью. Любовью. Лишь бы не пересекались наши дороги с дорогами войны. Пусть спят спокойно наши Ванечки. Пусть будет земля им пухом…

ТАТЬЯНА ОКОМЕНЮК

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…
рассказ

Сотня иль даже полсотни слов,
И жизнь станет сладкой, как эскимо.
И всё же не зря так устроил Бог,
Что в прошлое нельзя написать письмо.
Максим Леонидов

«Один… два… пять… восемь… – считал Алекс круглые белоснежные плафоны, мелькающие на потолке. – Странно, на них совершенно нет пыли. Неужели регулярно протирают? Почему бы и нет, всё-таки – лучшая онкологическая клиника Германии…».

Кровать, на которой его везли в операционную, бесшумно катилась по нескончаемо длинному коридору. Скоро медбратья завернут за угол, прокатят его ещё метров двадцать, вызовут лифт и опустятся вместе с ним в… преисподнюю, из которой тут же благополучно выберутся. Как тот Харон, перевозящий через Стикс души умерших к вратам Аида.

А вот он, Алекс… Это уж как повезёт. Обидно, конечно. Средняя продолжительность жизни мужчин в Германии – 78 лет. Ему же месяц назад исполнилось *всего* 55. А может, *уже* 55? И всё ж умирать неохота. Дома его ждут кот Фил, ожереловый попугай Кеша и куча недоделанных проектов. Роман вон нужно закончить… За сценарий уже аванс взял… В октябре – книжная ярмарка во Франкфурте…

Как же больница сейчас некстати! Но вариантов нет. Как сказало ему онкологическое светило, в тридцати процентах случаев прооперированные пациенты выживают. Остальные погибают в течение двух лет с момента установления диагноза. Стало быть, шансов у него тридцать против семидесяти…

Из груди Алекса вырвался надрывный лающий кашель, нарушивший ход его невесёлых мыслей. Тихо разъехались створки лифта и, поглотив пассажиров, тот медленно пошёл вниз. По канонам детективного жанра, в котором довольно успешно работал Алекс Май, его «потрошители» должны бы сейчас поинтересоваться последним желанием «жертвы». Не поинтересовались.

Впрочем, желание это было совершенно невыполнимым. Единственное, чего ему хотелось, – это исправить ошибки, допущенные на протяжении жизни. Он, конечно, понимал, что нельзя фарш прокрутить обратно, но буйное писательское воображение настырно рисовало картину его встречи с… самим собой, только двадцатилетним. Он мечтал прорваться сквозь толщу десятилетий, попасть в далёкий восемьдесят первый, найти Лёшку, тогда ещё студента Киевского политеха, и рассказать ему о том, что его ждёт. Предостеречь парня от ошибок, просчётов, разочарований. Дать шанс избежать тех бед и несчастий, которые довелось пережить ему самому.

Лифт остановился. Алекс мысленно перекрестился: «Выносите, вороные!». Его ввезли в сверкающую белизной операционную. В нос ударил специфический запах, в глаза – яркий свет многолампового бестеневого светильника. Над Алексом склонились люди в голубых шапочках и такого же цвета трёхслойных масках. Один из них поинтересовался его настроением, другой что-то пролопотал о счёте последнего футбольного матча, третий зачем-то стал уточнять его имя и фамилию.

«Заговаривают зубы. Стало быть, сейчас дадут наркоз», – подумал он обречённо. Дали. По телу волнами растеклось тепло. Алекс почувствовал необычную лёгкость в конечностях и странную тяжесть в голове. Очертания предметов стали понемногу расплываться. Анестезиолог о чём-то его спрашивал. Кажется, опять о футболе. Но ответить он уже не смог – куда-то стремительно уплывал. Сейчас окончательно погрузится в пучину тёмного омута, и – прощай реальность… «Отче наш, иже еси на небесех!».

Всё вокруг кружилось в стремительном водовороте. Подобно белью в барабане стиральной машины, вертело и самого Алекса. Адская стихия трепала свою стокилограммовую жертву, как мелкую щепку. Казалось, ещё минута, и от её бренной оболочки не останется и следа, но обошлось.

Буря постепенно утихла, дыхание восстановилось, свист в ушах сменили звуки пения птиц и плеска воды. Алекс обнаружил себя стоящим на шатком навесном мостике, перекинутом через горную речушку. Вокруг была такая красота, что у него аж дух захватило.

Оба берега обрамляли стройные высокие ели. Прямо впереди упирались в небо дымчатые горные вершины. Поражающий своей мощью водный поток с шумом преодолевал пороги. Чистый целебный воздух кружил голову. «Неужели альпийский курорт? – изумился он. – А может, я уже в раю? Как в том анекдоте: „Доктор, как прошла операция? – Я не доктор, сын мой, я – апостол Пётр“».

Алекс стал всматриваться в окрестности и содрогнулся. Дежавю! Он уже был здесь. Стоял на этом же месте. Видел этот живописный пейзаж. Восхищался этим скалистым берегом, бурлящим водопадом, горным ущельем, спрятанным в гуще леса.

Рука непроизвольно сжала шершавый деревянный поручень. Так сильно, что в ладонь впилась заноза. Алекс поднял руку к глазам и оцепенел. На поручне было выцарапано: «Лёха + Люся = любовь. 1981 год, стройотряд „Феникс“».

Этого просто не могло быть, ведь именно *он* перочинным ножиком выцарапал здесь эти слова тридцать пять лет назад.

Алекс посмотрел на левый берег. Там внизу, у киоска с сувенирами, стоял декоративный щит с надписью на украинском языке: «Ласкаво просимо в Карпати!». Как же его угораздило снова оказаться здесь? И почему его «автограф» выглядит таким свежим, будто оставлен только вчера? Бред какой-то! Он провёл пальцем по кривоватым печатным буквам, задумался.

Ну да, летом 81-го недалеко отсюда они строили турбазу «Трембита». Сколько воды с тех пор утекло, а здесь ничего не изменилось. Давно уж нет среди живых той непутёвой Люси, а мостик, перекинутый через Прут, даже не обветшал.

Вдруг за деревьями, на правом берегу реки, зазвучала знакомая песня:

Счастье дано повстречать иль беду ещё,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
И именно он называется жизнь!

По спине пробежали мелкие мурашки. Через пару минут материализовался и источник звука – транзисторный радиоприёмник «ВЭФ» с вытянутой до упора антенной. Он находился в руках рыжего вихрастого юноши, двигавшегося по мосту.

Выглядел парень довольно забавно: веснушки по всему лицу, причёска «Иванушка-дурачок», закатанные до колен спортивные штаны, кеды на босу ногу, выгоревшая на солнце штормовка. Довершали образ красная повязка с надписью «Дежурный» и «Родопина», дымящаяся в уголке рта.

– Здравствуйте, – улыбнулся он, поравнявшись с Алексом. – Пацаны сказали, что меня на мосту какой-то дядька ждёт. Это вы?

От удивления брови Алекса поползли вверх, но тут он заметил, что на шее у молодого человека – такое же, как у него самого, родимое пятно, а на скуле – идентичный трёхсантиметровый шрам. Матерь Божья! Да это ж он сам, Лёшка, в двадцатилетнем возрасте. Стало быть, его отшвырнуло в прошлое. Сбылась мечта идиота.

Сердце бешено заколотилось. Кажется, только вчера он был этим самым Лёхой – беззаботным, довольным собой, уверенным в завтрашнем дне, гордящимся величием своей страны, верящим в перспективы построения коммунизма, презирающим «зажравшихся капиталистов», – а уж целая эпоха просвистела над головой. Сколько же ошибок он совершил за это время! А столько важных вещей не сделал!

– Здравствуй, Лёша. Меня зовут Алексом, – протянул он парню крепкую ладонь. – Я приехал издалека, чтобы рассказать тебе о твоём будущем.

– Вы экстрасенс? – загорелись любопытством глаза хлопца. – Давайте присядем вооон на ту скамеечку под смерекой. Местные утверждают, что если к ней прислониться и попросить помощи, энергетика дерева снимет стресс, депрессию и другие нервные расстройства.

Пока шли через мост, юноша похвастался, что на заработанные в стройотряде деньги купит у знакомого фарцовщика бундесовский магнитофон «Грюндиг» и «очень путёвые часы».

– Хочешь, я тебе свои подарю? – расщедрился Алекс, демонстрируя парню престижную швейцарскую «Омегу».

– Неее, – скривился тот. – Фуфел со стрелками не прокатит. Я «Монтану» хочу – с подсветкой, секундомером и маааленькими кнопочками. Там ещё калькулятор есть, будильник и куча мелодий – чумовая вещь…

Алекс усмехнулся. Каким же дебилом он был много лет назад!

– Не знаю даже, с чего начать, – задумчиво произнёс он, устроившись на скамейке. – От того, поверишь ли ты мне, будет зависеть вся твоя дальнейшая жизнь…

– А давайте начнём с этого, – кивнул Лёшка на вкопанный напротив скамейки транспарант: «Коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым!» – В каком году мы его построим?

– Ни в каком. Он так и останется миражом.

– А что же тогда вместо него будет? – недоверчиво нахмурился парень.

– Хочешь – верь, хочешь – нет, а будет капитализм со звериным лицом. В начале девяностых *всё* накроется медным тазом: и СССР, и КПСС, и Варшавский договор. Членство в партии станет «пятном в биографии». Так что не ломись туда. Займись лучше немецким и компьютером.

– Чем-чем?

– Основами информатики и вычислительной техники. Наступит время, и владение персональным компьютером станет для тебя насущной потребностью.

– А немецкий зачем?

– Затем, что в начале девяносто шестого ты эмигрируешь в Германию.

Лёшка ошалело поднял выгоревшую на солнце бровь. В глазах юноши читалось: «Совсем дяденька сбрендил», но вслух он произнёс:

– Я, вроде, в ГДР ничего не забыл…

– А ты не в ГДР будешь жить, а в Мюнхене.

– Среди фашистов? – поперхнулся тот от негодования. – Этого просто не может быть! Предать родную страну я не смогу никогда.

– Сможешь. Это будет адекватным ответом на *её* предательство.

– Как это?

– Да выбросит тебя родина на помойку, лишив элементарной возможности прокормиться. Будет равнодушно взирать на бандитский беспредел, обнищание народа, падение нравов. Инженеры и педагоги превратятся в мишень для насмешек. «Героями нашего времени» станут бритоголовые братки с пудовыми золотыми цепями на бычьих шеях. В стране воцарятся хаос, голод, разруха, господство бездарей и идиотов. Ты станешь жертвой грабительской денежной реформы и резкого скачка цен. Познакомишься с понятиями «рэкет» и «бомж». Получишь возможность наблюдать пустые прилавки, карточную систему распределения продуктов, безработицу, невыплату зарплат, разгул проституции и наркомании, массовый исход соотечественников за рубеж. Тогда-то ты и решишься на десант в мир капитала. И очень вовремя: в девяносто восьмом из-за дефолта в стране разразится страшный кризис…

Какое-то время юноша молчал. На его гладком челе отразилась напряжённая работа мысли.

– Скажите, Алекс, вы – шпион? – спросил он полушёпотом.

В ответ тот громко расхохотался.

– С чего ты это… ха-ха-ха-ха… взял?

– Прикид у вас фирменный, часы иностранные, зубы сильно белые, пахнете импортным одеколоном… Вместо имени-отчества, приличествующих вашему возрасту, назвались Алексом. Ведёте со мной антисоветскую пропаганду. Небылицы рассказываете. Хотите меня завербовать?

Продолжая хохотать, Алекс потрепал парня по рыжим вихрам.

– Нет, я не шпион. У меня другая, не менее уважаемая профессия. Я – писатель. Довольно известный. Лауреат кучи международных премий. Почти по всем моим детективам сняты художественные фильмы.

– И как же ваша фамилия? – ехидно поинтересовался юноша.

– Май.

От неожиданности Лёшка аж подскочил. Услышанное настолько выходило за рамки его понимания, что даже поделённое на сто производило впечатление бреда.

– Покажите свой паспорт, – потребовал он решительно.

Алекс достал из кармана портмоне. Извлёк из него пластиковую карточку, украшенную звёздами, символизирующими страны Евросоюза. Молодой человек с интересом уставился в странный документ, совсем не похожий на паспорт.

– Бундесовец. Правильно я вас расколол, – заиграла на его лице победная улыбка.

Через мгновение она трансформировалась в гримасу недоумения, с какой в своё время таращилась в афишу известная Маяковскому коза.

– Здесь написано… Но ведь это же… мои данные. Это *я* родился в Киеве 30-го июля 1961-го года. Я! А вы старый уже. Сколько вам сейчас? 60?

– С утра, вроде, 55 было.

– Всё равно. После сорока разницы уже нет…

Алекс снисходительно улыбнулся:

– Это тебе *сейчас* так кажется. Я тоже в твоём возрасте 50-летних считал замшелыми пнями, а 60-летних – реликтами из мезозойской эры. Шли годы, и граница старости постепенно отодвигалась. Ты тоже придёшь к этому.

– Никогда!

– А если я скажу тебе, что я – это ты, только через 35 лет?

Молодой человек пристально посмотрел на своего визави: мысленно сосчитал морщины на его лбу, мазнул взглядом по грузноватой фигуре, неодобрительно покосился на глянцевую лысину.

– Глупости!

– А что ты скажешь об этом? – показал ему Алекс своё родимое пятно на шее и шрам на скуле. – Рассказать тебе, как я его получил? Мы со Стёпкой и Андрюхой подрались на пустыре с русановскими. Те пришли с велосипедными цепями и отдубасили нас по самое «не хочу». У меня осталась отметина здесь, у Стёпки – на виске, Андрюха чуть глаза не лишился…

Лёшка тупо молчал. Он был в шоке. Парню казалось, что сейчас кто-то вылезет из кустов венгерской сирени и скажет: «Ладно тебе, это был розыгрыш».

Ничего подобного не произошло. Алекс тоже не растворился в пространстве. Он по-прежнему сидел на скамейке, покачивая на весу ногой, и был более чем серьёзен.

– Вы хотите сказать, что знаете обо мне абсолютно всё? – произнёс юноша дрожащим голосом.

Мужчина утвердительно кивнул головой.

– А можно я вас потрогаю?

– Давай. И если я не окажусь призраком, обращайся ко мне на «ты». Ладно?

Лёшка легонько провёл ладонью по плечу собеседника. Тот оказался вполне осязаем.

– Разве такое бывает? – захлопал он ресницами, нервно вставляя в рот очередную «Родопину».

– Ещё вчера я был убеждён, что нет. Может, там – поднял Алекс к небу глаза – решили исполнить моё последнее желание…

– Почему последнее? – напрягся парень. – Вы что умирать собрались?

– Пока не знаю. Меня сейчас оперируют. Кстати, выброс изо рта эту гадость. – Приподнявшись, он отнял у Лёхи сигарету и швырнул её в урну. – Если не прекратишь дымить, то в полтинник с хвостом получишь рак лёгких. Удовольствие, скажу тебе, ниже среднего…

Юноша поник, как хлебный колос в грозу. Долго переваривал услышанное, затем смял всю пачку и навесиком отправил её вслед за сигаретой.

– Чего мне ещё следует опасаться?

– Люськи. По вине этой вертихвостки у тебя будут огромные неприятности.

– Разве мы не поженимся?

– Нет, конечно, – категорично заявил Алекс. – Бестолковая она и на передок слабая. Если не бросишь её, жди беды.

– Какой?

– Однажды вы со Стёпкой обнаружите Люську в ресторане «Лыбедь» в компании парней кавказской национальности. Попытаетесь её, пьяную, увести домой. Не получится. С джигитами завяжется драка, в результате которой будет нанесён ощутимый ущерб заведению общепита: вы перебьёте кучу посуды и мебели, угробите мозаичную витрину, два окна и музыкальный реквизит. Попадёте в милицию и как зачинщики дебоша будете отчислены из ВУЗа. А Люська через два года погибнет от рук своего сожителя-уголовника. Тот зашибет её своим пудовым кулачищем.

Ошеломлённый Лёшка аж голову в плечи втянул.

– В восемьдесят пятом ты женишься на совсем другой девушке – Наташе. Вот, кстати, её фотография.

Из внутреннего кармана куртки мужчина достал сверхплоский мобильник и несколько раз нажал на плоские кнопочки. На дисплее загорелось фото миловидной женщины средних лет.

Парень разочарованно вздохнул.

– Извини, приятель, – хохотнул Алекс. – Когда ей было двадцать, мобильников ещё не было.

– А что такое мобильник?

– Сотовый телефон. Ну… беспроводной аппарат. С него можно дозвониться в любую страну мира без всяких телефонисток. Вот смотри: здесь есть виброзвонок, диктофон, фото-видеокамера, модуль для приёма теле- и радиопередач, MP3-плеер, органайзер, даже встроенная открывалка для пивных бутылок.

Несмотря на то, что часть прозвучавших слов была ему совершенно непонятна, молодой человек пришёл в дикий восторг. Ни о чём похожем он не читал даже в фантастических романах.

– Фигасе аппаратик, – завистливо вздохнул Лёха, с детства неравнодушный к «умной» технике. – Расскажу пацанам – не поверят.

– Тебе предстоит освоить ещё много технических «чудес»: пульт дистанционного управления домашней техникой, микроволновую печь, видеомагнитофон, игровые приставки, лазерные диски, ультразвуковую стиральную машину, 165 каналов спутникового телевидения, Интернет, цифровой фотоаппарат. У тебя будет свой персональный компьютер. Это тебе не ЭВМ коллективного пользования с перфокартами и магнитными лентами…

– А телефон такой, как у вас, у меня будет?

– И не один…

– А зачем мне два? – резонно рассудил Лёха. – Второй я Стёпке отдам.

Лицо Алекса вмиг помрачнело.

– К тому времени его уже не будет… Степан погибнет… через два года… в Афганистане. Вскоре после вашего исключения из института его призовут в армию.

– Что вы такое говорите? – вскочил на ноги Лёшка. – Война там на днях закончится. Вон и в новостях говорят, что…

– В новостях врут, – перебил Алекс парня. – Советские войска покинут Афганистан в феврале 89-го. Знаешь, сколько ребят поляжет там за эти годы? Более 15 тысяч! Среди них будет и наш с тобой лучший друг. В апреле 83-го в бою с моджахедами в ущелье Ниджраб Стёпка получит тяжёлое ранение в живот и, не приходя в сознание, скончается в госпитале. Если б не ампутация большого пальца, и ты бы разделил его участь…

– Какая ам-пу-та…?

Вздохнув, Алекс снял правую туфлю, стянул носок.

– Видишь, нет пальца. С зимы 82-го я ношу специальную обувь. Ты, Лёша, после приключившихся с тобой неприятностей поедешь в Алтайский край раны зализывать. К дядьке нашему двоюродному – Егору-леснику. Там провалишься в полынью и отморозишь пальцы. На левой ноге их удастся спасти, а на правой… Беда, конечно, но именно это избавит тебя от исполнения интернационального долга…

Лёшка нервно сглотнул слюну. Со страхом и любопытством парень смотрел на обладателя «совершенного знания» и не мог понять, чего хочет больше: немедленно убежать отсюда или слушать дальше. После некоторых колебаний решение было принято:

– Продолжайте!

– Как скажешь, – кивнул головой Алекс. – В марте 86-го у тебя родится сын – Стёпка. Мама будет противиться тому, чтоб её внук носил имя безвременно погибшего парня. Но вы с Натахой настоите на своём, сочтя её опасения предрассудком.

Так вот, 26-го апреля произойдет страшнейшая техногенная катастрофа. Взорвётся реактор Чернобыльской атомной. Это будет вторая Хиросима. Об истинных масштабах бедствия народ узнает лишь спустя несколько дней. Всё это время Наташка будет гулять с коляской в парках и скверах. А в воскресенье вы с Андрюхой и его женой поедете на пикник в Пущу, и весь день месячный Стёпка будет впитывать радиацию. В результате начнёт сильно болеть. Всю недолгую жизнь у пацана будет слабый иммунитет, проблемы со щитовидкой и нервной системой.

Попав в Германию, он займётся спортом, увлечётся горными лыжами и вроде бы пойдёт на поправку, но… погибнет в результате несчастного случая. Поедет с ребятами в Альпы и там, на трассе, в него врежется подвыпивший сноубордист. Стёпка получит открытую черепно-мозговую травму. Ему сделают трепанацию, удалят из мозга осколки раздробленной кости, проведут несколько сложных операций, но не спасут. С таким диагнозом мало кто выживает, – задрожал его голос. – Никогда не прощу себе, что отпустил его в эту Австрию… Насчёт имени мама оказалась права. Только с годами понимаешь, что к советам старших стоит прислушиваться.

– Она сейчас с вами живёт? – спросил Лёха, нервно теребя повязку дежурного на своём рукаве.

– Что ты! Мама умерла в начале 90-го, за шесть лет до нашего отъезда в Германию.

Парень облизнул губы и часто заморгал.

– По… почему?

– Медики прохлопали. Сначала говорили: «У вас фигня – фигню не лечим!», потом заявили: «У вас амбец – амбец неизлечим!». Фигнёй была аневризма, амбецом – тромбоэмболия. Если б ей сделали операцию сразу после появления на ногах язвочек и синяков, всё было бы хорошо. Но она лечилась снадобьями каких-то сомнительных знахарей…

У Лёхи запульсировала жилка на виске.

– Так вы с женой совсем одни остались? – поинтересовался парень после долгой паузы.

– Хуже. Я остался совсем один, если не считать кота и попугая. Наташа после смерти сына ударилась в буддизм, примкнув к какому-то «Ордену Лотоса». В конце концов ушла от меня к своим сектантам…

Парень подавленно молчал, ковыряя землю под ногами носком кеда.

– Знаете, – оживился он вдруг, – а я пойду другим путём. Буду действовать от противного, и все мои близкие будут живы, здоровы и благополучны. Ну, не увижу я писательских премий – и ладно. Стану посредственным инженером, женюсь на какой-нибудь скромной Мане, заведу двух-трёх детишек. По выходным буду выпивать в гараже со Стёпкой и Андрюхой…

– …супругу называть Моя, костерить власти, жаловаться на неблагодарных детей и стремительно ухудшающееся здоровье, завидовать богатым и проклинать жизнь, которая не удалась, как это делает сейчас наш друг Андрей, – мысленно продолжил Майский Лёшкину тираду.

Год назад ему довелось побывать в Киеве на съёмках фильма по своему сценарию. Освободившись от дел, он купил дорогой коньяк и отправился к Андрюхе «вспомнить молодость». Дверь ему открыл беззубый неопрятный тип с мутными глазами и мелко трясущимися руками. После очередного «вам, буржуям, нас не понять – у вас от шоколада задницы слипаются», он попрощался с другом детства и пошёл в ресторан. Тот самый, с которого в юности начались все его неприятности. Сидел там до закрытия, пил «Арарат» без меры, бесконечно заказывал музыкантам «Киевский вальс». Это была тоска по навсегда ушедшей молодости. Времени, когда он искренне верил в то, что впереди его непременно ждёт счастье, до которого он вот-вот дотянется рукой…

– Я ведь зачем тебе всё это рассказываю, – смутился Алекс, видя полные растерянности Лёхины глаза. – Не для того, чтобы напугать или настроение испортить… Я надеюсь на то, что, проходя по моему маршруту, ты сумеешь проскочить мимо ловушек, расставленных судьбой. Не проморгаешь сына, не испортишь лёгкие, не останешься в одиночестве. Наша мама доживёт до глубокой старости и успеет понянчить правнуков. Ты будешь благодарен Богу, что есть у тебя друг Стёпка, вместе с которым можно и водочки хряпнуть в гараже, и власти поругать, и прожектами поделиться. Если всё у тебя сложится именно так, свою миссию я буду считать выполненной.

За беседой они не заметили, как начало темнеть. Разохотившись, Лёшка задавал Алексу один вопрос за другим, тот обстоятельно отвечал.

– Скажите, а стареть страшно? – простодушно поинтересовался парень.

– В общем-то, нет. Это – процесс незаметный. Жизнь, дружок, проходит очень быстро. Ты думаешь, что у тебя ещё прорва времени, что всё ещё впереди. Многое откладываешь в долгий ящик. Не живёшь на полную катушку, а только собираешься. Когда же вдруг оглядываешься, то обнаруживаешь, что прожитое рассыпалось на мириады атомов житейской чепуховины. Что впереди уже почти ничего нет. Что «потом» так и не случилось. Что жить надо было жаднее. Жаль, что доходит это до нас лишь с возрастом.

– Лёёё-хааа, ты гдеееее? – раздался из-за деревьев звонкий Стёпкин голос.

– Иду, братуха, иду! – отозвался тот, пружиной вскакивая на ноги.

Он подошёл к Алексу вплотную, крепко его обнял.

– Слушай, ты это… выздоравливай, что ли, – перешёл он наконец на «ты». – Не подводи меня, ладно?

– Да разве ж я против? – развёл мужчина руками. – Это теперь в компетенции «небесной канцелярии».

– Ты веришь в Бога? – удивился парень, возглавляющий ВУЗовский «Клуб воинствующих атеистов».

– Верю. Но где-то за подкладкой души храню надежду, что и над ним имеется кассационная инстанция, – ответил Алекс, и они оба прыснули от смеха. – Да, вот ещё что: возьми на память мобильник, – протянул он Лехе свой телефон.

– Не-а, – замотал тот лохматой головой. – С этим аппаратом меня объявят контактёром со внеземными цивилизациями. Оно мне надо? Ты, главное, держись. Пока ты жив, у меня имеется хоть какая-то перспектива…

Они ещё раз обнялись, и Лёха потихоньку потрюхал к мосту. Шёл, ссутулившись, едва переставляя ноги, будто нёс на своих плечах неподъёмный груз. Перейдя на правый берег, юноша оглянулся, помахал Алексу рукой и спустя несколько мгновений скрылся за смереками.

Мужчина обхватил голову руками. «Зачем я взбудоражил парня? – корил он себя. – Как ему жить-то теперь? На что надеяться, к чему стремиться, о чём мечтать, зная, что любимая девушка – дешёвая шлюха, лучший друг – смертник? Что скоро он с „волчьим билетом“ вылетит из ВУЗа и осиротеет. Что КПСС, в которую он так мечтал вступить, перестанет существовать, а страна, патриотом которой является, развалится, как карточный домик. Что жена от него уйдёт, а сын – единственное продолжение рода – погибнет…

Во имя чего тогда жить, если все потуги напрасны? Воистину прав был Экклезиаст, считавший, что умножающий знание умножает печаль. Выходит, он своим знанием отравил парню всю его дальнейшую жизнь. Хотел как лучше, а получилось – как всегда.

На душе у Алекса было мерзко и пакостно. Он долго бродил по лесу, выбирая самую «целебную» смереку. Наконец, определился. Остановившись перед древней тридцатиметровой красавицей, Май обнял её шершавый ствол, прижался щекой к серой, отслаивающейся тонкими пластинками коре и, подняв глаза к небу, стал смиренно дожидаться решения своей участи.

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ
рассказ

В последнее время у него всё чаще ныло сердце. «А что ты хотел после сорока? – вздыхала жена. – Всю жизнь не прогарцуешь. Сходи к доктору».

Сходил. Кардиограмма опасений не вызывала. Отклонений от нормы врачи не находили: «Перетрудились, небось. Возьмите отпуск, поезжайте на юг, отдохните».

Брал. Ездил. Отдыхал. Не отпускало. Ныло, как ампутированная конечность на непогоду.

А жизнь тем временем шла своим чередом: работа, субботние закупки продуктов с женой, игра в шашки с сыном-балбесом, вечерние чаепития в кругу семьи.

Всё, что он ел, казалось ему безвкусным. Телепередачи раздражали своим примитивизмом. В гости он больше не ходил. Праздники ненавидел. С тех пор, как из его жизни ушла Она, бытие превратилось в чёрно-белый фильм с выключенным звуком. Нет, оно не остановилось, но двигалось как-то на автопилоте, не вызывая никаких эмоций.

«Невозмутим, как индейский вождь, – удивлялась супруга. – Заорал бы, как раньше, что ли… А то отморозился и живёшь, как в анабиозе».

«Верное определение, – отметил он равнодушно. – Я ведь и впрямь Зомби, существо, из которого вынули душу и пустили гулять по свету. Выполняю необходимые функции, но при этом не чувствую ни температуры, ни перегрузок, ни боли. Разве только это нытье в области солнечного сплетения. Там, где, вероятно, и находится душа».

А ведь он сам ампутировал эту душу, приняв решение расстаться с той, которую любил, как казалось, уже нельзя любить в его возрасте. Он сделал выбор в пользу семьи. Сын находился в критическом возрасте и требовал неусыпного контроля. Дочь, расставшись с мужем-пьяницей, с годовалым внуком вернулась под его, отцовский, кров. У жены с нервами было совсем худо. А после того, как во время стирки она обнаружила в кармане джинсов их отпрыска тугой полиэтиленовый шарик с белым порошком, её психическое состояние стало критическим. Супруга постоянно плакала, проклиная тот день, когда согласилась с его решением переехать на ПМЖ в Германию. В общем, не дом, а филиал психлечебницы.

Любовь к Ней обрушилась на него, как цунами, не оставив времени на обдумывание ситуации. Впервые увидев Её на автобусной остановке, он вдруг изрёк: «Моя женщина», и сам удивился произнесённой вслух глупости.

Она была в коротенькой юбочке, демонстрирующей стройные загорелые ножки. Солнцезащитные очки, как обруч, поддерживали её рыжие, спадающие на плечи волосы. Незнакомка озабоченно поглядывала на часы, явно куда-то опаздывая.

Он подъехал поближе и сказал по-русски: «Садитесь, нам по пути». В том, что им теперь всегда будет по пути, он уже не сомневался. Забыв о намеченных с утра деловых встречах, довез Её до пункта назначения и, прождав четыре часа, доставил обратно. Объяснить своё поведение мог только ёмким словом «нашло».

Как позже выяснилось, «нашло» не прошло. «Попал», – пронеслось в сознании другое ёмкое слово, заменяющее «русаку» целое предложение, а то и абзац.

Так начался их роман, продолжавшийся двадцать пять недель, из которых вряд ли были проведены вместе хотя бы десять дней. Жили они в разных городах. Встречались раза два в месяц. Больше общались по мобильнику. Поэтому Она в шутку называла их отношения мобильными. Но уж когда встречались, пол плыл под ногами, а стены кружились, как взбесившаяся карусель.

Она была умна, красива, сексапильна. Пользовалась бешеным успехом у мужчин. На его вопрос, что нашла *такая* женщина в заурядном небогатом женатике, отвечала, что любят не за что-то, а вопреки.

Он понимал, что этих «вопреки» было выше крыши, а «за», пожалуй, только одно – невидимое постороннему глазу совпадение биополей на молекулярном, если не на атомном уровне.

За полгода их романа он ни разу не приболел. Не попал в дорожно-транспортное происшествие, хоть и лихачил. Не имел проблем в семье и на работе, хотя мысли его витали далеко от присутственных мест.

Их любовь была настолько сильна, что являлась иммунной защитой от чужой негативной энергии, и он каждое утро благодарил бога за то, что в день их знакомства Она опоздала на свой автобус.

Однако «ничто не вечно под луной». Редкость встреч, конспиративность телефонных разговоров, одиночество в праздники и отпуска стали разъедать их отношения. Она устала «питаться крохами с чужого стола» и, полушутя, сказала однажды: «Любовница – удовольствие дорогое, требующее достаточного количества сил, времени и средств. Не справляешься – пиши заявление по собственному желанию. Иначе будешь уволен с формулировкой: „Не соответствует занимаемой должности“».

Они не ссорились, не выясняли отношений, не объявляли друг другу о прекращении отношений. Просто он перестал звонить.

Испугавшись, что любимый попал в аварию и находится в больнице без сознания, Она набрала его номер. Услышав родной голос, нажала на «отбой». Диагноз был предельно ясен: он написал предложенное ему заявление, и Она подписала его, никогда больше не давая о себе знать.

Спустя два года от общих знакомых он узнал, что Ей предложили престижную работу в соседней земле, и Она уехала из дождливой и ветреной Нижней Саксонии в другую жизнь, где вышла замуж за преуспевающего бизнесмена, ценителя славянской красоты и поклонника загадочной русской души.

Она так и не узнала, что вместе с Ней из его тела ушла и не вернулась обратно пусть и не русская, но тоже изрядно загадочная, советской закваски, немецкая душа.

Он двигался по автобану. Резкая боль в груди заставила съехать на аварийную полосу. «Странно, – подумал он. – Как может болеть то, чего уже нет, что было ампутировано?». Оказалось, может. Ведь сохранились нервные окончания, помнящие вкус Её губ, ироничную улыбку, слезинку, дрожащую на ресницах любимой, взмах руки, поправляющей непослушные волосы. Он явственно ощутил на своей щеке Её тёплое дыхание, прикосновение губ, щекочущее движение пальцев вдоль позвоночника. «Крыша едет», – решил он, отключаясь.

Из небытия его вывел звонок айфона. «Ты чего трубку не берёшь? – всхлипывала супруга. – Наследник твой с дружком своим малахольным киоск на вокзале ограбил. В полицейском участке сидит сейчас… Что ты молчишь, оглох, что ли?».

Стенания супруги становились тише и глуше, пока не трансформировались в вязкий сироп, полностью закупоривший слуховые отверстия. Перед глазами вдруг заплясали белые точки, превратившиеся сначала в пушинки, а затем и в комки ваты.

Он стал совершенно невесомым. Мир медленно отдалялся от него, оставаясь где-то внизу. Сам же он поднимался всё выше и выше. Вокруг него, как метеориты, кружили обломки потерпевшей крушение жизни.

Там, внизу, кто-то махал руками и звал его к себе. Присмотревшись, он узнал жену, дочь с внуком на руках, сына, глядящего на него из-под козырька ладони.

Среди зовущих его людей он лихорадочно высматривал Её. Напрасно. От отчаяния ему хотелось кричать, рвать в клочья окутавшую его белую вату, но не было сил даже пошевелить пальцем.

Постепенно вата стала разжижаться, туман рассеиваться, а он – медленно опускаться на землю. Сгустившийся сироп стал потихоньку сочиться из ушей, и он различил встревоженный голос супруги:

– Что молчишь? Случилось что-то? Опять сердце?

– Не волнуйся, – выдохнул он, прижимая руку к груди. – Это просто… фантомные боли.

РАИСА ШИЛЛИМАТ

ДОЛГИ НОЧИ – БЕЛЫ СНЕГИ
рассказ

Енисей стал в октябре. Уже месяц пуржило, не переставая, но с переменной силой: лёгкая, почти ласковая позёмка переходила в довольно игривую метелицу, потом сменялась настоящим штормом с беспорядочно-озлобленным швырянием снежной сечкой, вынуждающей прикрывать глаза рукой, и тогда поле зрения – не больше метра. Ночь так стремительно наступала, что скоро вытеснила день, совсем. В тундре надолго поселилась неразлучная парочка – темень и тишина. Лишь поселковые улицы разрывали темноту цепочками слабых светлячков окон заснеженных домиков и редких уличных фонарей. Тишину же время от времени нарушала жутковатая игра ветра на струнах проводов, тянущихся под стрехи крыш, редкий лай собак, тявканье песцов на звероферме, что за посёлком, а то и отдалённый плач волков. Ещё реже – утробный гудок ледокола, пробивающегося сквозь льды. Казалось, пурге не будет конца, но управа находилась и на эту не в меру ветреную особу – повелителем всего и вся был мороз. Надоедала властителю кутерьма – утихомиривал одним ударом. И тогда…

Тогда, рассекая чёрную бездну над головой, над заснеженной тундрой змеилась и исчезала в бесконечности рыхлая лыжня мифического ненца Иомбо. Порою можно было увидеть и вечного шамана Урера, который однажды докамлался до того, что вознёсся на небо, вот с тех пор по нему и гуляет. Когда шаман камлает в полном трансе, его бубен проплывает во всей красе – ярко-жёлтый, в тёмных пятнах, когда же дело идёт туго, виден только краешек священного инструмента.

Точно определить, сколько миновало суток, можно было лишь по количеству сорванных листков календаря на стене, такого же двуцветного, как и пейзаж за окном. Этот чёрно-белый аскетизм заполнял всё вокруг, и видимо, когда плотность его массы, помноженной на силу крепчающего мороза, достигала критической точки, Гигантский Бык Севера, почивавший во льдах Студёного моря, получал в бок пинок такой силы, что просыпался. Хозяин Севера неспешно, как и подобает духу здешних мест, поворачивал свою величественную морду на юг и глубоко вздыхал после сна, одушевляя небо. И оно, до сего момента стылое и статичное, в одночасье оживало. Небосвод светился радостью, которая то рвалась вверх, то потоками струилась вниз, почти касалась земли, плескалась и пульсировала, разражаясь нерукотворным фейерверком. Всполохи нежнейших цветов, непрестанно переливающихся один в другой, то закручивались огромной спиралью в фиолетовую бочку, величиной в полнеба, то выстреливали прозрачными розовыми стрелами, разлетающимися в разные стороны, то вдруг стелились дымкой нежно-голубых шёлковых шарфов и тут же растворялись в темноте, вытесненные невесть откуда взявшимися густыми оборками разноцветной балетной пачки. Ни один создаваемый небом рисунок не повторялся и не застывал даже на мгновенье. Восторг и молчаливое ликование! Праздник глаза и души! Эту феерию можно наблюдать бесконечно – не наскучит.

И я любовалась этим удивительным, невиданным мною доселе явлением при любой возможности. Однажды, во время очередного небесного спектакля, почувствовала лёгкий толчок в грудь. С досадой опускаю голову, поймав себя на мысли, что шея сильно затекла. Вижу перед собой чёрного пса, а я ведь и не заметила, когда он подошёл. Его склонённая набок голова вровень с моим плечом, вокруг носа иней, умные глаза, кажется, не просто внимательно наблюдают за мной, но заглядывают прямо в душу. Здешние собаки как на подбор – огромные и на редкость добродушные существа. Уж не знаю, почему этот красавец решил оставить свои важные дела, по которым куда-то шёл. Неужели только ради того, чтобы разделить мою безудержную радость? Я думаю что он, как коренной житель, не находил в северном сиянии ничего особенного и не мог понять, отчего эта всего пару месяцев назад появившаяся в посёлке (ясно же, что ненормальная) пришлая напялила на себя сто тёплых одёжек и стоит с запрокинутой головой одна посреди улицы. А может, его внимание привлекли мои ноги, время от времени выстукивающие ритмы культового Танца Отмерзающих Ног?

Сидеть ему, по всей видимости, надоело, вот он и решил положить конец бесполезному времяпровождению. Пёс придвинулся чуть поближе и осторожно тронул лапой моё колено: хватит, мол, в небо глаза пялить, не видишь, что ли – я это.

– Чего тебе? Отстань! – я отошла от него и опять настроилась на созерцание.

Не тут-то было. Уходить он не собирался – снова сел передо мной и снова шаркнул когтями по шубе. Я отвернулась, но псина не отставала.

– Ты чей? Есть, что ли, хочешь? Ну, так и быть, пойдём, – пригласила я нового знакомца к себе, – А ведь и правда, пора домой, уже зуб на зуб не попадает.

Пёс не заставил себя долго упрашивать. В наш дощатый домик, стоящий несколько на отшибе, вошёл без всякой собачьей суеты. Едва перешагнув порог, уселся. Чтобы закрыть дверь, пришлось ногой подвинуть его роскошный хвост. В маленькой прихожей, служившей одновременно гостиной и кухней, в которой и без того негде было повернуться (чуть ли не половину комнаты занимала печь), теперь стало очень тесно.

Дома была только наша ярко-рыжая шотландская овчарка Гера. Она лежала в дверном проёме спальни, ждала меня, и, когда я в клубах пара ввалилась в комнату вместе с гостем, она удивлённо подняла голову, но, против обыкновения, не двинулась с места.

Гера вообще не изъявляла никакого желания сопровождать меня и разделять мои восторги лицедейством природы. Выходила на улицу только по нужде, когда совсем было невтерпёж. Подушечки её лап, непривычные к таймырским температурам, обжигало морозом так, что она, едва успев справить нужду, падала на снег, как подкошенная, поджав лапы под себя. С трудом удавалось поднять беднягу и помочь ей добежать до дома. После такой прогулки она ещё некоторое время нервно выкусывала заледенелые комочки снега, набившегося между её тонкими пальцами, а потом ещё долго и старательно зализывала лапы. Местным же собакам было всё нипочём, они спали у своих будок (у кого таковые имелись) прямо на улице, полностью занесённые снегом. Их густая и длинная шерсть была даже не шерстью, а пухом, который хозяева вычёсывали и вязали из него шарфы и шапки.

Против ожидания, животные, увидев друг друга, не стали вилять хвостами и обнюхиваться. Я сразу же поставила перед гостем чашку с едой, но он с укором глянул мне в глаза: нашла, де, чем угостить. И отвернулся.

– Ну, знаешь ли, чем богаты, тем и рады, тоже мне, гурман.

Чашку пришлось убрать. Пёс невозмутимо лёг у дверей, положив на лапы угольно-чёрную, с обвисшими лоскутьями губ, добродушную морду. Обе собаки молча, без явного проявления каких бы то ни было эмоций, разглядывали друг друга. Потом гость решил, что пора и честь знать, встал и ушёл, оставив на полу большое талое пятно.

Спрашивается, зачем приходил?

Захаживал он к нам с тех пор довольно часто. Аудиенции всегда проходили одинаково: он скрёбся в дверь, его впускали. По квартире не ходил, ничего не вынюхивал, к Гере приблизиться не пытался, полежав какое-то время у порога, с достоинством удалялся, играючи толкнув лапой сначала входную, потом коридорную двери. Наша красотка тоже не стремилась ближе познакомиться, но каждый раз мы были свидетелями, как обе собаки на какое-то мгновение застывали, глядя в глаза друг другу. Эти визиты стали предметом семейных шуток, вот, дескать, платоническая любовь аборигена к заморской леди: а наша-то какова, марку держит, как и подобает благородной даме!

Полярная ночь – не фунт изюма, с гипотетического утра до такого же вечера не покидало ощущение пребывания в полудрёме, а кожа на лице казалась натянутой так, словно её на затылке узлом завязали. Хотелось крепко зажмуриться, протереть глаза, а потом основательно проморгаться. Пробовала, легче от этого не становилось.

Заполярные будни, тем не менее, шли своим чередом. Иногда, по выходным, всем семейством ходили в клуб – в кино. По будням маршрут один и тот же: у детей дом – школа – дом, у родителей дом – работа – дом.

С вечера по местному радио предупредили: завтра ожидается сильная пурга, детей в школу не отправлять. Ну что ж, не первый и не последний раз.

Утро начинается с мысленных сетований – чёрт возьми, где моё беззаботное детство? Детвора сладко посапывает в кроватях, муж тоже спит – у него сегодня вторая смена. А я, горемычная, едва вылезши из тёплой постели, должна тащиться неизвестно куда. Точнее сказать, очень даже известно – куда. И это в метель, когда хороший хозяин собаку на улицу не выгонит…

Вдруг в полусонную голову приходит мысль, после которой я просыпаюсь окончательно: вне зависимости от того, плох местный хозяин или хорош, сейчас и здесь это выражение *не работает*! Тут же выплыл вопрос: только ли к этой поговорке относится моё маленькое открытие? Не на шутку озадачившись и тут же (за неимением времени на обдумывание) утешившись следующей, что, де, кто рано встаёт, тому бог даёт, одеваюсь и выхожу в коридор. Открыть входную дверь из-за напора ветра не удаётся. Налегаю на неё всем корпусом, чуть приоткрываю и протискиваюсь в образовавшуюся щель на свет божий (опять во-

прос, на свет ли?). Дверь за моей спиной, тупо хлопнув, тут же возвращается в объятия родного проёма. Попробуй теперь открой!

Матерь божия, что творится! Меня с моим цыплячьим весом и ростом, который остряки называют «метр с шапкой», немилосердная тётушка Пурга мгновенно и не очень нежно подхватывает под пушисты рукава и сносит с крыльца. Подошвы пим[1], подшитые простым войлоком (вот ведь халтурщики – камус[2] экономили!), предательски скользят по рёбрам ступенек, не задерживаясь ни на одной. Хрясь! Приземлилась – на спину, затылком на ступеньку. На какое-то время от неожиданности и боли захватило дух. Придя в себя, нащупываю нижнюю ступеньку, вцепляюсь в перильце и – ура, встаю! Вперёд, полярница новоявленная! Иду, вернее сказать, бреду…

Все эти борения сопровождаются мысленными проклятиями того дня и часа, когда не в чью другую, а именно в мою бедовую головушку пришла идея поработать в Заполярье. И вот, добилась – работаю… на всю катушку… особенно сейчас, в поте лица пытаясь пробиться сквозь ветер. А он, зверина, остервенело рвёт подол шубы. Кажется, нижняя пуговица выскочила из петли – шуба увеличила парусность. Хочу застегнуться, наклоняюсь… этого только не хватало – пуговицы нет на месте, оторвалась. Не сумев удержаться на ногах, падаю от резкого порыва ветра, который сбивает меня с ног и чёрной растрёпанной требухой тащит по белому полю. Колючий снег лупит по глазам, не видно ни зги, ориентация потеряна. Но ведь это же улица, где-то совсем рядом должны быть спасительные дома… вот что-то твёрдое ударило в бок, хватаюсь за это что-то, но по закону подлости толстая варежка соскальзывает с руки. Успеваю сообразить: лечу куда-то вниз, кубарем…

Кажется, прибыла «в пункт назначения». Хотелось бы ещё знать – куда. Скорее всего, я угодила в глубокий овраг, который за посёлком тянется к Енисею. Значит, я, одурев от падения с крыльца, пошла не в посёлок, а в тундру. Встаю: в одной варежке, под расстёгнутой шубой полно снега.

К моему удивлению ветер здесь не такой сильный, идти можно, от этого и мороз чуть слабее. Первым делом отряхнуть снег со свитера, пока тот не намок, застегнуться на оставшиеся две пуговицы, собраться с мыслями и идти, куда глаза глядят. Так опять же, и это выражение в сей момент не работает: некуда им, глазам, глядеть – белая кутерьма не даёт.

Пытаюсь подняться по склону: раз, другой, третий…

И раз, и другой, и третий сползаю. Наконец-то понимаю – затея бесполезная, ничего другого не остаётся, как идти вдоль оврага, тогда, может быть, выйду к Енисею. Мысль кажется спасительной, но через секунду она повергает меня в ужас – посёлок расположен на высоком берегу, на том самом, откуда меня только что сдуло и на который не понятно как взбираться. Увязая в снегу, медленно, но верно двигаюсь вперёд, пока не упираюсь в сугроб примерно в мой рост высотой. Из него едва видны концы кривых и жидких прутиков. Ох, как редко здесь можно встретить деревце, однако же, вот оно, стоит, родимое… Сил нет, ноги подкашиваются. Сажусь, прислоняюсь к худосочному стволику, охватывает ужас: обезумевшими оленями в загоне мечутся мысли, сталкиваясь друг с другом. Становится жалко не столько себя, сколько своих детей, но плакать нельзя: если ресницы склеит мороз, то открыть глаза уже не хватит сил. Чувствую себя мягкой игрушкой в руках озлобившейся хозяйки-стихии, готовой крушить всё и вся. Что может сделать против природы беспомощный и ничем не защищённый человек, самонадеянно возомнивший себя её венцом? Вот она я – венец, которому (Господи, сохрани и помилуй, каламбур-то чёрный!) приходит конец. В мозгу вдруг обнадёживающе проносится: бог не выдаст – свинья не съест. И следом: а если и это не сработает? Стоп, без паники! Надо передохнуть и успокоиться.

Тихо и тепло. Слабым эхом доносятся слова из сказки: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, милая?». Что за напасть? Слышу скрип полозьев (кажется или в самом деле?) и чьи-то шаги. Оглядываюсь по сторонам, но вместо красавца Деда Мороза в роскошной шубе и с посохом, вижу тёмные очертания нескольких фигур, судя по росту, детских. Что они здесь делают? Один из них подходит ко мне так близко, что я хорошо различаю черты его бледного, совсем не детского лица и цвет светло-голубых, почти белых, глаз. Маленький человек пристально смотрит на меня, шевелит губами, звука не слышу, но что он говорит, понимаю: «Мы не дети. Но дети у нас тоже есть».

Ну и чудеса! Откровенно рассматриваю незнакомцев: малицы[3] из пушистых шкур, на ногах бокари[4] из нерпы. Молча удивляюсь: «А росточком-то вы, ребята, совсем не удались!». «Мир силён многообразием, – следует несколько возмущённый ответ, – ты же не будешь нам сейчас доказывать, что высокий рост важнее ума? Или смекалки? Или силы и ловкости?». «Не буду», – покорно соглашаюсь я. Малорослая ватага помогает мне подняться и сесть в стоящие тут же нарты, запряжённые длинношёрстными животными, похожими на больших собак. Мы отбываем туда, не знаю куда.

Теперь вместо заснеженной тундры вокруг, сверху и по бокам нас окружают нависающие или торчащие снизу ледяные наплывы, которые кажутся причудливыми, стоящими на страже чудовищами. Они коротко врываются в луч света факела, что в руках одного из мужчин, и тут же уплывают снова во тьму. Фантасмагория ледового царства сменяется сонным покоем: что-то типа огромного тёплого и светлого зала, причём непонятно откуда исходит свет. Стены и потолок отливают голубизной. Наверху хорошо видны неравномерные, причудливо вьющиеся широкие жёлтые и серебристые полоски. На стенах – далеко

и беспорядочно разбросанные зелёные, красные и сиреневые пятна-разводы, от них тянутся прожилки, сплетающиеся в сложный орнамент. Зал напоминает осенний луг в старой деревне: вглубь тянутся серые холмики, словно стога сена. Одно существенное отличие: на полу не стерня, а мозаика из цветных камней.

Мы проезжаем к центру зала и останавливаемся возле самого большого холмика, который оказывается хижиной. Наклоняюсь. Вхожу. На большой шкуре белого медведя сидит, скрестив ноги, старушонка. Перед ней курится очаг. Повинуясь её царственному жесту, сажусь напротив. Она протягивает мне полоску копчёного мяса и кружку с маслянистой жидкостью.

– Нерпичий жир, – говорит она, – нужно выпить.

Пока грызу жестковатое мясо и с внутренним содроганием выпиваю жир (нельзя обидеть хозяйку), женщина говорит:

– Мы народ нижнего мира. В нашем мире много племён. Эта пещера – стойбище моего племени. Я – старейшина, мать и властительница. Все пещеры связаны между собой ходами. Население каждого стойбища несёт свою вахту. Наше племя ответственно за драгоценные камни, соседнее – за рудные залежи, а где-то далеко есть племена, которые охраняют нефтяные озёра и сердце мира – подземный огонь. Так было всегда. Последние столетия нам всё труднее выполнять свою работу. Неразумные люди среднего мира, откуда пришла ты, расхищают наши богатства. Вы умеете только брать от природы. Вы не бережёте её. Не одумаетесь – погибнете сами и погубите нас.

Она вздыхает, потом продолжает:

– Редко кто из людей видит нас. Далеко не каждый шаман имеет доступ в наш мир. Но ты, обычная женщина – здесь. Хочешь знать почему? Посмотри туда!

Поворачиваюсь в сторону, куда старуха указывает пальцем. Догадываюсь, что это так называемый «чистый угол» – место в чуме, где хранятся наиболее ценные вещи. К своему удивлению, на плитке камня цвета прозрачной бирюзы вижу несколько фигурок, очень похожих на те, что стоят на моём столе. Нет, они не просто похожи, вне сомнения – все сработаны одним ваятелем. Как-то осенью мы всем семейством пошли в тундру за грибами, и я нашла на вершине дальней сопки три странных фигурки из тёплого камня. Очень уж привлекли они меня, я тогда обошла весь посёлок с вопросом, что это могло быть, но ни один старожил не смог дать вразумительного ответа.

– Это святыни. Злой шаман похитил у нас три наших божества. Мы долго искали их, потом нашли. У тебя. Ты вернёшь их нам. Это очень важно. Моё время в нижнем мире подходит к концу. Скоро я отбуду в другой мир – верхний. Я уйду по вертикальному тоннелю. Моё племя уже приступило к его строительству. Но народ не может остаться без родоначальницы – матери. Иначе он перестанет быть народом. Моё место займёт другая женщина. Мать получает силу и права правления, а её народ благоденствие, только в том случае, если все божества живут в её доме. Ты ведь тоже мать, ты поймёшь меня.

Я обещала.

По возвращении домой мне рассказали, что пурга лютовала двое суток, и как только стихла, начались поиски. Странное дело – я мирно спала в овраге, около карликового деревца, которое было окружено стеной из плотно спрессованного снега. Нашли меня достаточно быстро: по призывному лаю большого чёрного пса, который, видимо, всё это время согревал меня своим теплом. Когда люди подошли совсем близко, пёс бросился прочь, в тундру. Только его и видели. В наш дом он больше не приходил.

Трудно сказать, кто сильнее радовался моему возвращению, дети или Гера. Собака всё норовила лизнуть меня в лицо и поскуливала в ухо так, словно что-то рассказывала. Обещание, данное маленьким человечкам, я выполнила. Пусть будет мир их дому, да и нашему тоже. По весне я отнесла фигурки в тундру, туда, где они были найдены.

Долгие годы это удивительное путешествие было моей тайной. Теперь я открываю её, хотите – верьте, хотите – нет. Я могла бы показать и содержимое шкатулки, которая спрятана в ящике моего письменного стола. В ней лежат варежки, украшенные вовсе не бисером, а камешками со сверкающими гранями, и ещё пуговица филигранной работы из жёлтого металла. Та самая, которую я обнаружила на поле своей шубы на месте старой, оторвавшейся. Но делать этого я не буду. Эти вещи – свидетели моего спасения, для меня они равноценны святыням, а святыни не выставляют на всеобщее обозрение. Если уйти от громких слов, они – память о необыкновенном крае, который вот уже более тридцати лет приходит ко мне во снах и воспоминаниях.

Совсем недавно мир облетела сенсационная новость: в тундре, недалеко от тех (когда-то наших) мест, обнаружили в земле огромное колодцеобразное отверстие с гладкими стенками. Дно просмотреть не удаётся, происхождение неизвестно. Учёные ломают голову – что да как. И только один человек знает, что на самом деле произошло – это я.

Примечания:

[1] Пимы – сапоги из оленьей кожи мехом наружу.

[2] Камус – часть шкуры с жёсткой шерстью, снятой с нижней части ноги оленя.

[3] Малица – верхняя одежда, как правило, из оленьих шкур, мехом внутрь, иногда из двух слоёв – мехом внутрь и наружу.

[4] Бокари – мужская обувь, мехом наружу, как правило, из камуса оленя.

НИНА ГЕЙДЭ

КУРС ЕГО ПРЯМО НА АЙСБЕРГ

***

Очень нужно, чтобы было время
ни на что – на странные раздумья
в предзакатной комнате, плывущей
в неизвестность: брошенные вёсла
унесло течением неспешным –
и сердечный компас неисправен.

Очень нужно, чтобы было время
ни на что – на долгое стоянье
у окна, где памяти полоска,
как пустынный берег после шторма,
к горизонту тянется, и кружат
чайки запоздалых сожалений.

Очень нужно, чтобы было время
ни на что: на акварели взглядов,
интонаций, жестов, обольщений –
на мгновенья радости случайной,
чтобы из житейской наковальни
вознестись в растрёпанное небо.

Очень нужно, чтобы было время
ни на что, а может быть – на нечто?
Впрочем, эти полюсы едины
где-то там, в четвёртом измереньи.
Очень нужно, чтобы было – время
ни на что – на жизни оклик: Ни-на!..

***

Корабль отплывает – ура и салют! –
начало любовного действа.
Там в днях разноцветных восторженно лгут,
смеются и плачут, как в детстве.

Там страсть в ореоле искусных прикрас
становится жизненной сутью.
Там можно дарить вдохновенно и красть –
никто никого не осудит.

Там счастье в дыхании дней и ночей,
там сны – в белизне подвенечной.
Корабль для всех, но корабль ничей –
и это отплытие вечно.

Стоит за штурвалом отнюдь не простак
и правит умело, не наспех.
«Титаник» – корабль называется так,
и курс его прямо на айсберг.

***

Суета, ни о чём разговоры –
жизнь торопимся выпить до дна.
Нам гордыни отмеряны горы,
а смиренья – былинка одна.

Её клонят к земле ураганы
не стихающих распрей и войн,
и становятся люди врагами –
над планетой разносится звон

поминальный, и словно солдаты,
шаг чеканя, проходят года
по опавшей листве, как по датам
роковым – не забыть никогда,

не исправить, не вырвать из сердца,
не вернуться в потерянный рай.
Нам так мало дано милосердья,
исступленья судить – через край.

Патрулями стоят на границе
между нами и дверью в иной
мир небесный – немые гробницы,
как грибницы печали земной.

Нам учиться бы кротости мудрой,
у реки, у цветов, у травы –
начинать безымянное утро
со склонённой пред Богом главы.

***

Вырвусь из мира внешнего –
тьмы фонари развешаны,
и властелины-вещи мне
машут печально вслед.

Над бытия законами –
клетками и загонами –
неугасим знакомый мне
недостижимый свет.

Снова вернусь в обыденность
с омутами-обидами,
бедами и обильными
реками праздных слов.

Ритмы души сбиваются,
медленно забывается,
что чудеса сбываются.
если чудит любовь.

***

Тоска одолеет – меня разбуди:
придумывать будем, как смерть обойти –
и жизнь многократно кругом обойдём,
беду вокруг пальца сто раз обведём.

Забросим подальше упрёков пращу –
я только тебя об одном попрошу:
мне мантию нежности сшей из разлук,
любви разнотравья и трепета рук,

из ярких страстей и печальных вестей –
и будь со мной рядом всегда и везде,
пока добываю из дней шелухи
тебе золотые орешки – стихи.

***

Благодарю бескрайнюю печаль
за новые осенние оттенки.
Ещё не опустел любви причал –
душа к нему пристанет перед тем, как

снег обесцветит жизни лёгкий холст –
в осеннем совершенстве увяданья
я поплыву и падающих звёзд
узнаю неземные ожиданья.

И будет мне в судьбе всего милей
цветов многообразие в палитре –
пусть кротко и бесследно отболит то,
что было краткой радостью моей.

***

Я обозналась, так бывает –
и гость случайный был таков.
Но что меня не убивает –
не пригодится для стихов.

Я обозналась, так бывает –
и говорю себе: не ной.
Боль постепенно убывает –
и прибывает свет дневной.

Душа пороги обивает
чужих миров, судеб чужих –
и всё на встречу уповает
с тем, без кого не может жить.

Осенний ветер завывает.
Идёт на убыль век земной.
Я обозналась – так бывает.
Бывает часто так со мной.

***

Январь скороговоркой объявляет,
что не дождаться мне твоих посланий,
и уж совсем наивно и нелепо
рассчитывать на кенарей залётных
твоих звонков (а вдруг потешат трелью).

Я выхожу из дома: хрипло лает
соседская собака, наползают
угрюмо сумерки. И право же – не лето.
Но свет луны мне кажется залогом
того, что я однажды помудрею

и научусь смиренной акварелью
довольствоваться, коли нет гуаши,
и холст судьбы – уж хочешь иль не хочешь –
необходимо чем-нибудь заполнить
(в ходу обычно бытовые сценки).

Вот вечно я с горячностью своею
врываюсь невпопад – неловко даже.
Ты, верно, развлечения находишь
поинтересней, чем так долго помнить –
тем паче после временнóй уценки –

какое-то кафе в кудрявом дыме,
где мы шутили, за руки держались,
и поцелуй губами лихо правил,
где наши голоса навек сплетались,
и волосы – как ночь со светлым полднем.

Всё повторяла я тебе простыми
словами – наважденья падежами –
что мы друг друга потерять не в праве,
но речи мои дымом улетали…
Довольно, впрочем, потрясать исподним

разлуки-побирушки – светской дамой
пора уже прикинуться. О чём я?
Ну да, о январе, о снеге, ветре.
О том, что эту зимнюю потерю –
такую должную (о, я ль не мыслю здраво?) –

не вынести – опять Шекспира драма,
как вьюга, разыгралась ночью чёрной.
И вот что я скажу ещё: не верь мне.
И что с того, что я себе поверю
впервые до конца – что толку, право?

***

Плен моих плеч, плед,
полночь, силки объятий –
зыбкого счастья след,
что наугад опять мне

случай слепой лепил –
наскоро, не усердно.
Промельком ты любил –
так, в полсудьбы, в полсердца –

через стеклянный щит.
Я – оголённым нервом,
вот и пришлось решить
участь разлуки – первой.

В будущей пляске лет –
тих одинокий вечер:
зябкие плечи, плед,
губ твоих плен вечный.

***

В горнице без ок*о*н
ссору не разгрести.
Гордости горечь. Сон
зыбкий. Туман в горсти.

А за порогом воз
счастья – разграблен весь.
Жизнь, словно гнутый гвоздь,
быстро начнёт ржаветь.

Дверь приоткрыта в ночь –
как светлячок, звезда.
Только уйти невмочь,
да от себя – куда?

АЛЕКСАНДР ПРАВИКОВ

ТЕМНЕЕ КАЖУТСЯ ПУСТОТЫ

***

Некогда, некогда, некогда!
Некогда ничего.
Только привыкнешь к миру,
Как уже нет его.
Только привыкнешь к зубу,
Как удалять пора.
Только привыкнешь к Зуму –
Снова оффлайн, жара.
Это не жалобы, просто
я привыкать привык
Только привык быть взрослым –
Хоба, уже старик.
Некогда перелогиниться,
Чертова суета.
Август расплывчат, как мыльце,
50 как вода.

***

Легко забыть о чужом кошмаре,
Легко обвинять того, кто забыл.
Трудно держаться детям на шаре,
Когда-то казавшимся голубым.

Вот и хватаются за что попало –
За голову, за чужое пальто…
Ещё за поэтов. Но этих мало,
И сами держатся ни за что,

И сами соскальзывают постепенно.
Вроде ещё видна голова
Там над волнами? Нет, это пена
И расходящиеся слова.

Такое лето, такое лето…
Легко, забывшись, брякнуть порой:
«Как было бы прекрасно всё это,
Когда бы не чертов 22-й».

Но тут же опомниться: Бога ради,
Пенять и клянчить – позор и стыд.
Нас время жрёт при любом раскладе,
И ни один не будет забыт.

Биба и Боба сидят на диване,
Им то холодно, то горячо.
То, что пока их не убивает,
Пока убивает кого-то ещё.

***

Как это было,
когда свет в комнате гас?
Тело уже забыло,
а слов и сейчас
нет, как тогда.
Скоро и тела не станет.
Всё бессмысленно, да?
Нет?

***

Бен Лившиц готовит ответ Маринетти…
Ах, так себе оба пророки.
Уже забродила чума на планете,
Но слово не связано «тройки»
Пока что с кровавым и грозным,
А только с искристым морозным.

И всё-таки были предчувствия, были,
Но кто когда верил Кассандре.
Теперь-то как пятна они проступили
И в этом с дурными слезами
Цыганском попсовом романсе,
Где саваном снег расстилался…

Вот нищие щеголи бродят попарно
И спорят о судьбах России,
И время пустое проводят бездарно.
Ни в Смольном ещё и ни в Зимнем
не ботает кодла по фене
И Осип хохочет в кофейне.

***

Как же страшен этот
Повседневный суд:
Умные уедут,
Лучших увезут.

Всё одномоментно,
Так оно и есть:
Смерть, безумье, лето,
Милость, жалость, жесть.

Нас осталось… впрочем,
Кто такие «нас»?
Каждый в одиночку
Входит в этот класс.

***

Тогда ещё не стыдно было
сентиментальничать и ныть.
И солнце правильно всходило,
А не с обратной стороны.
Теперь не то.

Летящий в космос,
Неясен больше мир ежу.
Я больше не люблю серьёзность
И только глупым дорожу.

В краю, откуда мы пока что
Сигналим лайками друзьям,
Ещё не допит воздух, кажется.
Вдохнешь поглубже, крикнешь: «Ямб
Твою, мол…» – отзовётся кто-то,
Мол и твою.

Но что ни час,
Темнее кажутся пустоты,
К себе притягивая нас.

***

Почему монументы всё так мускулисты?
Что ни памятник, то Аполлон.
Например, Достоевский – казалось бы, чистый
Тип дрыща. Но ведь даже и он!

Уж молчу про монахов, царей и чекистов –
Каждый выглядит, будто годами
Не указы ковал, не стрелял, не молился,
А сталлонил, брюслил да вандамил.

Ах вот если бы правда все эти герои
Забивали почаще на долг
Перед ближними, подданными и страною –
Мол, работа, ребята, не волк!

Убегали б со службы, ленились, косили –
А хотя б и буквально как граф.
Я, клянусь, веселей зажила бы Россия,
Вековые устои поправ.

А насколько бы меньше и крови, и пота
И, конечно, чернил пролилось!
Увлекательней хобби – и реже охота
Несогласных людишек того-с.

***

Почти элегия, почти на сельском кладбище из 2 частей

1

Собачка, подойди сюда,
ты помнишь, мы тут ссали?
А нынче вот – хурда-мурда
из пластика и стали.

Здесь было старое НИИ,
потом ему кирдык.
И новый дом построили,
и я к нему привык.

Куда девался старый дом,
могу себе представить.
Но то, что говорилось в нём,
осталось цело, да ведь?

2

Я глуп, но я люблю промзон
заброшенных унылость.
Нет, симпатичен и Флакон,
но там, где сохранилось

Немного памяти, зола,
убожество и мусор,
Там больше, кажется, тепла.
Конечно, дело вкуса,

И мой таков. Я знаю, да,
он откровенно плох.
Лежит бычок, течёт вода,
растёт чертополох.

Бычок лежит, а дыма нет,
курильщики в могиле
И всё-таки остался след
там, где они дымили.

***

Из окна автобуса посмотрел
Под поп-рок-побрякиванье в ушах
И увидел улицу, дальше сквер,
А по скверу кто-то кой-как бежал.

Идеально в ритм за стопой стопа
Он укладывал выдохи и прыжки,
И не зная, что в мой плейлист попал,
А тем паче в эти как бы стишки.

Полминуты, вряд ли дольше. Потом
Заиграло новое. Он пропал.
Я пошел к метро, сознавая, что
Идеально в чей-то плейлист попал.

Понимаете, это значит, что…
Я представил, что, вероятно, мы…
Продолжение – за чем-то вроде штор,
Мутных стекол, дыма, слепящей тьмы.

Это танец, танец – часы, года,
Спотыкаясь, каясь, летя в трубу.
Смысл есть, он там. А точней, та-дам,
Тарарам-пам-пам, ду-би-ду-би-ду.

МАРИНА КРУТОВА

С ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТОМ ПО ВСЕЛЕННОЙ

ЗЕРНО

Золотится жнивьё, как осколки янтарного солнца.
Щедрый Серпень бросает озимые звезды в поля…
И не важно, когда жизнь моя так же с неба сорвётся,
Потому что её, как зерно, нежно примет земля.

И оно прорастёт, и наполнится истинной силой,
И по стеблям его, как по венам, душа потечёт.
Вечный жизненный круг замыкается необъяснимо:
И звезда, догорев, начинает с начала отсчёт.

И пока янтарём в небе солнце бессмертное светит,
И ласкает побеги, земле воскрешенье суля:
На весенних лугах прорастают зелёные дети
Из зерна наших душ, что упали в родные поля.

ЖЕНСКОЕ РЕМЕСЛО

Снег занавесил простынями сад:
Хэбэшки белоснежные висят,
И в детство тянут и зовут упрямо.
Там – тощая стиральная доска,
На зимней речке два гнилых мостка,
И прорубь, где бельё полощет мама…

В воде холодной пальцы, словно лёд.
Отпустишь ткань на миг – и унесёт,
А мама шутит: «Для русалок платья!»
С ней рядом – таз, бельё горой лежит…
Не каждый с ним управится мужик.
Вот только это – «женское» занятье.

Потом в саду, от неба до земли,
Белеют парусами корабли –
Морозом укрощённые скитальцы.
Так было раньше… И почти везде:
Бельё купали в ледяной воде,
И мучались всю жизнь от боли в пальцах.

Течением те годы унесло…
Быть женщиной – «простое» ремесло?
Поймёт не каждый этот подвиг тяжкий.
…А мама рядом. И её рука,
Как в детстве, исцеляюще легка…
И я целую красные костяшки.

МОЙ ГОРОД

Тверской весны угрюмый вид
Напомнит старого бродягу:
В грязи, потрёпан и небрит,
Окурком ТЭЦ вовсю дымит,
В кармане сжав Лазури флягу.

На коже – сыпь дорожных ям
И вены вздуты половодьем…
А по нахмуренным бровям
Трамвай ползёт ко всем чертям,
И на Советской в ноль уходит…

На Комсомольской каждый год
Нарыв вскрывается подкожный.
И вновь бродяга просто ждёт,
Пока беда «сама пройдёт»,
Прижав асфальта подорожник…

Оставив почести другим
И старых крыш понурив плечи,
Мой город слишком человечен…
И от того до слёз любим.

НАСЛЕДСТВО

Где-то там, где дома приникают к земле,
Где застывшее время ко всем безучастно,
Мне в наследство достался заросший участок,
Да изба, прислонённая боком к ветле.

На облупленный шифер налипла листва,
Словно силясь прикрыть неухоженность дома.
И ветвей рукава, будто свыше ведомы,
Обнимают его по законам родства…

Опустевший давно – не приют, не очаг, –
Доживает свой век по-крестьянски покорно…
Здесь, из этой земли, силу черпали корни,
Но о них облетевшие листья молчат…

Лебеда и полынь – старожилы глуши.
Сотню вёрст прошагай – тишина бездорожья…
Здесь наследство моё: не от бабушки – божье.
А вокруг – ни души.

АНТОНОВКА

Антоновку с ветвей снимал сосед,
Стремянкой небо подперев умело.
И осень на его ладонях зрела,
И он был этой зрелостью согрет.

И становился будто бы здоров,
Вдыхая запах кислый и бодрящий.
И тяжесть яблок наполняла ящик,
И душу наполняла до краёв.

Но жизнь сама снимает урожай,
Срывая с веток души, будто ношу…
И дом был снегом густо запорошен,
И было деда по-соседски жаль.

А прелый запах яблоневых строк,
Лежащих без движенья на соломе,
Напоминал, что был хозяин в доме,
Но пережить антоновку не смог.

***

Осень стучит по шиферу: кап да кап.
Дуб за окном от старости: скрип да скрип.
Тускло луна рыжеет сквозь облака,
Словно ольховый лист к небесам прилип.

Белая рама: трещины и сучки.
Краска облезла – некому обновить.
Выцвели под ногами половички –
В память от них уходит цветная нить.

Время крадёт оттенки, как будто вор.
В вазе, покрытый пылью, стоит рогоз.
А на стене ковёр. И его узор,
С детства знакомый, в душу мою пророс.

Дышит усталым боком большая печь.
Ветер в трубе завыл, засипел, охрип…
Некому больше это тепло беречь.
Дуб – или сердце? – мается: скрип да скрип…

***

Умеет осень без труда
Давить на жалость:
Ладонь кленового листа
К стеклу прижалась.
Туман улёгся на траву
Намокшей ватой.
И ветер хрупкую листву
Метёт куда-то.

И нас метёт по всей земле…
Куда? – не знаю.
Тот лист кленовый на стекле –
Душа резная.
Картинок видим череду –
Чужие судьбы.
И по тому, что на виду,
О счастье судим.
Мы, позавидовав другим,
Своё не ценим.
И вновь, как листья, прочь летим
К туманной цели.
Но жизнь чужая не легка,
Хоть сахар с виду.
Чтоб не остаться в дураках –
Не позавидуй.

БИЛЕТ

Острый месяц на исходе лета
Косит перезрелых звёзд колосья.
И, слегка поскрипывая осью,
Медленно вращается планета.

По ночной распахнутой дороге
Катятся созвездий вереницы…
Если людям есть куда стремиться,
Значит, кто-то будет ждать в итоге?

Верстовыми звёздными столбами
Млечный Тракт расчерчен и размечен.
Но когда платить за вёрсты нечем,
На Земле становимся рабами.

И живём, старея постепенно,
И планету тянем, как телегу…
А ведь жизнь даётся человеку
С проездным билетом по Вселенной.

***

Я лежу на траве. И трава обнимает меня…
Караван облаков по лазурной пустыне кочует.
Словно кожа змеиная, с сердца сползает броня.
И ладони земли все душевные раны врачуют…

Я лежу на траве. И трава прорастает в меня…
Я вдыхаю рассвет. Я сама, как трава луговая.
Мне без этой земли не прожить не единого дня.
В городской суете я мертва. И лишь здесь оживаю.

Я лежу на траве – постаревший ребёнок судьбы.
И пытаюсь найти от взросления верное средство.
Но идёт караван по барханам небес голубых,
И уносит на белых горбах легкокрылое детство.

ВАЛЕРИЙ БАЙДИН

ТА ОДЕССА

из путевых заметок

Дорога до Одессы шла по узкой косе через Затоку. Электричка, то дрожа, то завывая, мчалась среди низкорослых деревьев. Смотреть было не на что, пока справа не мелькнул край позолоченного солнцем моря. Поезд прогрохотал над водной зыбью по мосту из ромбовидных железных ферм, по обе стороны вспыхнули лазурью сверкающие беспредельности. И вновь всё скрыли кусты, травяные пригорки, мелькнула сквозь листву песчаная лента пляжа, её заслонила вереница домишек с простецкими сельскими крышами, поплыли с замедлением пирамидальные тополя и бетонные столбы. Вагон остановился напротив крошечной станции с надписью: «Каролино-Бугаз», выдохнул через двери перегретый, пыльный воздух, обменялся пассажирами с низким перроном и задумчиво двинулся дальше. Через час показались и стали беспорядочно расти каменные предместья огромного города.

Одесса – некогда самый изумительный город всего Черноморья. Его красоту не скрыла даже серая советская патина. Коммунисты сделали многое, чтобы стереть царское прошлое, его потеснила безликость и доморощенное украинское безвкусие. Я сжимал губы и нёсся по улицам мимо памятников вождям, зданий с красными флагами на крышах, стеклобетонных сооружений, покрытых громадными тюремными решётками. Вряд ли архитекторы сознавали этот зловещий символизм. На старинных улицах я переходил на шаг, останавливался, вглядывался, расспрашивал прохожих о прежних названиях, об удивительных зданиях. Мне отвечали охотно, иногда с тайной гордостью, и я наслаждался городом: Дерибасовская, Ланжероновская, Пушкинская, в прошлом Итальянская, дом Руссова на бывшей Соборной площади с памятником губернатору Воронцову, Екатерининская и монумент императрице, Большая и Малая Арнаутские, где когда-то селились православные албанцы, а затем еврейские купцы, Оперный театр, Потёмкинская лестница, Приморский бульвар с памятниками Ришелье и Пушкину, Главпочтамт на Садовой в стиле Палладио, дом Фальц-Фейна, украшенный атлантами, здания эпохи модерна и эклектики, привокзальная площадь с пятиглавым высоким собором псевдорусского стиля, превращённым в планетарий.

– В честь кого этот храм построен?

– Во имя святого Пантелеймона-целителя, – грустновато улыбнулась старушка в некогда модной шляпке.

Я самозабвенно блуждал по городу и, наконец, заблудился к своей превеликой радости. Голод и чутьё пригнали меня к одесскому Привозу. И я обомлел от обилия на столах и лотках овощей, фруктов, вызывающе пахучей рыбы, пирожков и кренделей, смехотворным ценам, пряным разговорам и едким перебранкам продавцов и продавщиц.

– Бабонька, много булок не ешь – тело потеряешь!

– Мужчина, что вы так вздыхаете? У меня же всё дешево!

– Мне бы такую тёщу…

– Шо вы мне скажете за вашу рыбу?

– Очень стоющая. Стоит рубль за штуку. Вам отдам за полтинник…

Прислушиваясь и хмыкая, я ходил по рядам, не скрывая удивления, купил на обед два пунцовых лопающихся помидора по копейке штука, пирожок с горохом за четыре и за пять испечённый в масле и тающий во рту вергун. После Привоза неведомо как меня занесло на Молдаванку. Помимо воли взгляд проваливался вглубь дворов и двориков, ноги несли сквозь арки облупленных домов или в захламлённые проёмы. Внутри по стенам уступами скакали наружные лестницы, тянулись каменные веранды, деревянные общие балконы. На перилах сушились подушки и коврики, на верёвках, протянутых из конца в конец, исподнее бельё и почему-то зимние пальто. Густой запах кошек ударял не в нос, а в мозг. До ушей из открытых окон долетали смачные словечки, смешная, весёлая ругань. По этажам плыл патефонный голос Утёсова. И становилось ясно, что наступил вечер и что Одесса не похожа ни на один из виденных мною городов. Да и есть ли в целом мире похожие на неё? Не может с нею сравниться ни любимая

Москва, ни милый Львов. Две столицы старой России на берегах Балтийского и Чёрного морей дополняли славу, блеск культуры и невероятное многообразие её жизни.

Напрочь стёрлось из памяти, где я ночевал. Наверное, в каком-то студенческом общежитии. А наутро отправился в знаменитый Ильинский храм, бывшее подворье Афонского монастыря. Двухъярусная тонкая колокольня вздымалась над пятериком строгих, точно выверенных куполов. Признаюсь, этот собор убедил меня в возможностях византийского стиля конца прошлого столетия. В будний, непраздничный день верующих было мало. Несколько женщин в платочках крестились с колен под голоса монашеского хора. Они растекались по храму, наполняли его по самые своды. Я заслушался, забыл о времени и желании поскорее вернуться на одесские улицы, увидеть, услышать, запомнить этот город-открытие. Его душа открывалась, быть может, с самой пленительной силой. После службы молоденький тонкий иеромонах колыхнул бородой в ответ на мой восторг:

– Господь «в лепоту облекошася». Истинная красота благодатна.

Я начал его расспрашивать и узнал, что после революции тут обновленцы хозяйничали, многое попортили. Вернули верующим его румыны в годы войны, а потом коммунисты закрыть уже не смогли. Вся православная Одесса на защиту поднялась. Внутри здесь сейчас многое не так, как было. И снаружи тоже. Люди говорили, что подворье было ещё краше задумано, кирпичные стены хотели облицевать белым мрамором греческим.

– Ну, на всё высшая воля… – закончил монах и перекрестился.

Он посоветовал приехать на вечерню в Патриаршее подворье, в Успенский мужской монастырь, объяснил, как добираться. До службы оставалось несколько часов, и я решил во что бы то ни стало посмотреть море и одесские берега. В порту уселся на корму прогулочного кораблика. С капитанского мостика донеслось небрежное «Пошли!». И мы пошли. Чистейшая вода взорвалась и превратилась в пенистую струю. Мы пронеслись в солнечных брызгах мимо маяка, пересекли волнистую солнечную дорожку и оказались в открытом море. Чайки потянулись вслед, словно летающие собаки за кормом. Я перебрался на нос, где вспарывались встречные волны, вскипали мельчайшими пузырьками, закручивались вдоль борта пенистыми галактическими спиралями. Перебрался на левый борт, где всплывали из пучины огромные куски малахита и переплавлялись один в другой. За час мимо проплыла набережная Ланжерона с аркой, колоннадой и вереницей старинных дворцов, потянулся пляж Аркадии. Тут кораблик повернул и всё повторилось в обратном порядке, но совсем по-новому. Затем показались серые пески Лузановки, и я ужаснулся. Издалека берега показались червивыми. Распластанные, угоравшие на солнце тела сверкали чёрными точками вместо глаз, шевелились, будто скопище розоватых безголовых существ, выплывших из моря. Я перешёл на другой берег и утонул в солнечном ветре, в спасительной синеве. Гребни волн пенились и проповедовали иную, неземную, бесконечную жизнь. Много бы я дал, чтобы здесь, под открытым небом, посреди «житейского моря» зазвучал величественный церковный хор. Корабль причалил в порту на прежнем месте. Пошатываясь, я прошёл по пирсу, глянул на красную будку невысокого маяка, и всё вернулось на круги своя.

Полуголодный, перехватив что-то на бегу, к вечеру я добрался до Патриаршего подворья. Второй раз выстаивать службу не хотелось. Голова была переполнена впечатлениями. Я обошёл внутри уютный монастырёк, поставил в церкви свечку перед иконой Успения Богородицы и вышел проститься с морем. Подворье высилось над обрывом из окаменевшей красно-бурой глины. Закрыв глаза, я долго, до лёгкой одури дышал запахом соли, гниющих водорослей, выброшенной на берег дохлой рыбы. Вспоминал минувшую поездку и благодарил Бога за всё.

Вернувшись в центр, я вновь, пустился самозабвенно бродить по нескончаемой Одессе, улыбался уличным шуткам и тут же их забывал, заглядывал в магазины и покупал на дорогу какой-то еды, пил сок и чай в разных кафе, ужинал в полупустой гулкой столовой. И около полуночи дешёвым пассажирским поездом, съёжившись на второй боковой полке и внезапно обессилев, отправился в Москву.

1976

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

ГЛЕЙЗЕР В ОДЕССЕ И МОСКВЕ
очерк

Тёплый, безветренный осенний день. Одесса. Я поднялся по Потёмкинской лестнице на Приморский бульвар, прошёл мимо скамеек, на которых сменилось уже столько поколений одесситов, мимо пушки, мимо бывшей старинной биржи, на ступенях которой перед видеокамерой танцевали вальс какие-то молодожены, и спустился ко дворцу князей Гагариных – в нём теперь Литературный музей.

Задача у меня была одна – найти поэтессу Анну Божко-Стреминскую, чьи стихи столь ценит Игорь Иванович Павлов – старейший поэт Одессы, – передать через неё в дар музею редкие материалы, публикации Анастасии Цветаевой. Когда-то давно я попросил Анастасию Ивановну подписать Литературному музею её книгу «О чудесах и чудесном» и в один из своих прошлых приездов передал книгу с автографом в дар. Теперь она во чреве фондов, хранится «под спудом»…

Итак, вошёл я в музей, спросил, где могу увидеть Анну, мне указали комнату, но предупредительные сотрудники музея ещё по дороге указали и на вход в небольшой зал – идите, она там, скоро встреча с Глейзером начнется… Тот, эмигрант, живёт в Америке…

И я вспомнил…

Бульдозерная выставка. Вошла в историю русского искусства под этим названием потому, что художников-авангардистов разогнали, а картины давили бульдозерами.

Организатор – Александр Глейзер…

Сегодня – главный редактор журнала «Стрелец», устроитель множества художественных выставок в России и за рубежом. Журналисты в Москве считают его экспертом западного художественного рынка, берут у него по этой линии интервью.

Народа в зале было не чрезмерно много. Был уже и герой дня. Но он совершенно неслышно под объективом телекамеры рассказывал что-то в микрофон юной ведущей одесской программы новостей. Когда это действо окончилось, представитель музея с сожалением объяснила, что часть ожидавшейся публики на каком-то мероприятии, которое устраивает Евгений Голубовский – журналист, президент клуба одесситов. Но она прибавила, что часть лучшей публики всё же здесь…

Сначала Глейзер прочёл стихи – много стихов – из его книги «Мираж». Стихи, сделанные прочно, выстраданные. По форме достаточно традиционные. По чувству… из мира и «бурь» 1970-ых. В его «программном», по определению самого Глейзера, стихотворении говорится, что надо быть верным себе, «как высшей сути». Такой мотив, возможно, мог показаться эгоцентричным, но я вспомнил, как в 1975 году в Ереванском университете преподаватель античной литературы Левон Нерсесян гремел с кафедры, возвышаясь над нею лбом философа и челюстью сластолюбца – «Можно изменить жене, можно изменить Родине, можно изменить любовнице, – говорил он, – но если ты не изменишь себе, то не изменишь родине, матери, любовнице…». Так что и стихотворение Глейзера мне показалось убедительным по смыслу. По содержанию стихи его определённые, ясные, с нервом. Да, кажется они такие же и по форме… Запомнились строки: «Седовласый Саппир с молодыми глазами». Совсем недавно, кажется, в начале года, я выступал в Доме дружбы, в особняке Морозова вместе с Генрихом Саппиром и со Святославом Бэлзой на открытии литературного клуба…

Было и стихотворение, посвящённое Солженицыну. Прежде чем его прочесть, Глейзер оторвался от текста и сказал: «А знаете, как в эмиграции клевали Солженицына эмигранты, называли его представителем новой пятой колонны…».

Читал Глейзер и прозу. Вот как прозаик он мне показался ещё более проявленным в своём таланте, поскольку его проза, настоянная на фактах собственной жизни, пограничена мемуарным новеллам. Называлась книга «Человек с двойным дном», – как рассказал Глейзер, он позаимствовал название из советского фельетона о нём, по следам которого ему на дом пришло немало ругательных писем от советских, нет, скорее, ультрасоветских граждан… Письма эти он зачитывал…

Живость глейзеровской прозы рождается от её правдивости. Она показывает Глейзера-скандалиста, всегда идущего напролом, у него установка не бояться политических противников-коммунистов. Приходилось ему, по его словам, одерживать победы и над КГБ. Хотя для того, чтобы их одержать, он был готов и лбом стекло разбить в присутствии иностранных журналистов или действительно устроить демонстрацию с сожжением чучела Брежнева перед советским посольством в Париже…

Глейзер говорит – «Непонятно почему, но я стремлюсь к неприятностям» – например, по его словам, он на ходу выскакивал из автомобиля. Нелегально пересекал швейцарско-французскую границу, дважды в его жизни ему помогли чеченцы-мафиози, заседатели сандуновской бани… Рассказывал о том, как ему привелось спать с агентшами КГБ за границей, о «японских» похождениях Шемякина и Жарких… К нему приложимы его собственные слова – «Искусство требует жертв, особенно русское…». Как человек состоятельный, Глейзер является преуспевающей жертвой русского искусства.

Он почти не говорил о том, кому он отдаёт предпочтение среди художников, но понятно, что это, конечно, те, «бульдозерные» предпочтения. Мелькали имена Зверева, Вл. Яковлева, Немухина, Плавинского. Он рассказывал о том, что некий советский функционер Абакумов, кстати, родственник великого и ужасного главы МГБ, говорил ему о живописи авангарда, в частности, об Оскаре Рабине, – «Вот Вы такое дома у себя и вешайте!..». «И повесил» – констатирует Глейзер… Кстати, О. Рабину он некогда предложил персональную выставку в одном из клубов в Москве, когда ещё был инженером и работал в «Почтовом ящике» № 592. Тот ответил: «У Вас будут крупные неприятности…».

Что касается встречи с нынешним главой Российской академии художеств, Зурабом Церетели, – Глейзер рассказывал, что тот как-то позвонил ему в Париж, попросил его подарить 600, если не ошибаюсь, картин в новосоздающийся Музей современной живописи… Церетели говорил ему: «Ты же можешь, тебя знают, уважают, тебе дадут для меня… Я потратил большие деньги», – звонил по телефону в Москву, уговаривал друзей-художников… Но до него дошёл слух, что Церетели хочет открыть музей, где будут выставляться далеко не только современные художники, но и старики-академисты. А по мнению Глейзера это недопустимо. Церетели же привлёк, приманил его именно идеей Музея Современного искусства, авангарда!.. Звонит тогда Глейзер Церетели. Говорит: «Как это понимать, Зураб, значит у тебя будут не только представители авангарда, а просто всё вперемешку: и советские конъюнктурщики, и академики тоже!?.». Зураб Константинович не смутился. И спрашивает: «Ты у меня шашлык ел?» – «Да», – отвечает Глейзер. «А чехохбили?.. А пхали?» – «Ну ел, очень вкусно, ну и что?» – «А то, что кто там будет висеть – не важно… Важно – какой ресторан я там открою!..». «Какой ресторан?!. Мне это не пойдёт, – отвечал Глейзер – Modern Art не принято выставлять с академиками…». Так сотрудничество и не получилось, хотя Глейзер и безотносительно к этому случаю большой любитель именно грузинской кухни, он всё же «отозвал» работы художников, дары которых он для московского музея было организовал…

У Глейзера близ Нью-Йорка, точнее, даже в пригороде, продолжающем Нью-Йорк, в Джерси-Сити, свой Центр современной русской культуры. Аналогичные центры, впрочем, официально друг от друга независимые, он открыл и в нескольких других городах и странах… На Западе, в частности, в Париже, существование такого центра принимается, как нечто совершенно естественное, а вот в Харькове ему заявил один крайний националист, что он-де осуществляет русскую экспансию…

Издательская программа Ал. Глейзера особая, он издаёт в журнале и издательстве «Третья волна» В. Нарбикову, Хомича, их, как он выразился «штуки-муки». Издавал Иосифа Бродского, Евгения Рейна, Владимира Уфлянда, упомянутого Генриха Сапгира. На вопрос молодого одесского писателя, которого, по его словам, не печатают из-за его нецензурной лексики, об издательском процессе Глейзер ответил, что даже самые солидные издательства на Западе издают 60 процентов макулатуры, продающиеся на каждом углу, на станциях метро – бестселлеры, а на вырученную прибыль – серьёзную литературу; об этом впервые ему сказал издатель, когда была презентация его серьёзной книги о современном русском искусстве. И когда Глейзер спросил, почему они так высоко, в 17 долларов оценили книгу, ведь здесь этих его русских современных художников никто не знает и не будут покупать, издатель ответил, что это нормально, что выгоды не предполагается…

Я спросил, не приходилось ли ему сталкиваться за рубежом с подделками современного русского искусства, он ответил, что однажды его знакомой предложили купить работу русского авангардиста, она позвонила тем, кто продаёт, и сказала, что приедет с экспертом. «А кто эксперт, – поинтересовалась она, – Это Глейзер!». Ответ был вполне лаконичен: «Не приезжайте!..».

Он рассказал, узнав, что Юрий Мамлеев некогда писал предисловие к моей книге, что он первый в своём издательстве «Четвёртая волна» издал Мамлеева, но что в последующие издания всё же не вошли все «острые» места скандально известного романа «Шатуны», что они есть лишь в том, нью-йоркско-парижском издании…

А. Глейзер бывает в доме творчества в Коктебеле, там устраивал в этом году до одесского литературного музея выставку, хотя, по его словам, он не поклонник Волошина, которого считает скорее личностью, известной фигурой прошлого, чем графиком, произведения которого ценились бы на Западе…

Глейзер не одобряет хорошо подготовленных неоавангардных запланированных скандалов, которые устраивает Кулик: «Любит он, притворившись собакой, полизать ботинки у полицейского, а потом дамочку укусить… Но за это его забрать – забрали, а написать в прессе не написали, потому что понимают – этого-то скандалист и добивался. Такого же типа поведения и Бреннер…».

А вообще, встреча с «Человеком с двойным дном» – по названию его книги, прошла интересно и наполненно, поскольку он спокойный и образный, увлекательный рассказчик, странно было только одно, что, как он сказал, в сентябре 1999 года в Одессе он побывал впервые…

И в заключение скажу, что когда я вернулся в Москву, то в подаренном мне Катей Макдугл каталоге её лондонского аукциона я увидел работу известного графика-шестидесятника Александра Калугина с пометкой – «Из коллекции А. Глейзера». При встрече я рассказал жене Александра Калугина, что видел в Одессе Александра Глейзера. И Тамара и Александр многозначительно ухмыльнулись. Оказалось, много лет назад Глейзер, живя в Москве, брал у Калугиных «на реализацию» графические офортные листы и сбывал их, чаще всего иностранцам. И вот пронёсся слух: Глейзер уезжает за границу навсегда. Но уезжает тайно, а взятые у художников работы увозит с собой… То есть хочет их просто вывезти и украсть!.. И тогда Тамара берёт с собой крепких друзей, едут на квартиру к Глейзеру и видят – у него уже всё запаковано. На требование сейчас же вернуть работы Глейзер не реагирует. Тогда его сильно побили и заставили распаковать плотно упакованный багаж. Но всего отданного ему не нашли, то ли он хорошо припрятал, то ли уже с кем-то переправил через границу. И вот, спустя столько времени выставил увезённое на лондонском аукционе…

Последние сведения о Глейзере были печальны… Говорили, что он осел у дочери, страшно состарился, стал беспомощным. Теряет память… Потом пришло известие о его смерти. Так вот окончилась жизнь одного из первых в СССР успешных арт-дилеров. А за изданные книги Ю.В. Мамлеева и других писателей ему вслед поклон и спасибо…

1999-2016

«ЛИТМУЗЕЙ»

ЕЛЕНА ВАДЮХИНА

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕЕЗД
о перевозке гроба Лермонтова из Пятигорска в Тарханы и о событиях предшествующих

очерк

«Есть место, где я буду отдыхать…»
М.Ю. Лермонтов

На святой неделе 1842 года свинцовый гроб с прахом М.Ю. Лермонтова возвращается на родину в Тарханы. Везли его долго, с 27 марта до 22 апреля. После получения в конце июля печального известия Елизавета Алексеевна Арсеньева чаяла только одного – перезахоронения любимого внука на родной земле рядом с почившими там мужем Михаилом Васильевичем и дочерью Марией Михайловной, дедом и матерью Мишеньки. Едва бабушка отошла от инсульта и внутреннего принятия всей непоправимости беды, она подала прошение на Высочайшее имя дать соизволение перевезти гроб из Пятигорска в Тарханы. Сама она едва добралась из Петербурга в имение и в дальнюю поездку ехать не могла. У неё почти отнялись ноги, а глаза от слез не открывались, приходилось приподнимать веки пальцами. Получив положительный ответ в феврале, Елизавета Алексеевна отправляет в Пятигорск посыльных: не родственников, не знакомых дворян, а крепостных. Ответственным назначает грамотного Андрея Ивановича Соколова, камердинера Михаила Юрьевича (в роковую поездку на Кавказ он ему не служил, был отправлен им в Тарханы). В помощь посылаются двое дворовых, служившие Михаилу Юрьевичу в последние его дни: камердинер Иван Соколов, товарищ Мишеньки по детским играм, и конюх Иван Вертюков. С ними бабушка отправила сопровождающими трёх крестьян. Дворовые и крестьяне любили Лермонтова, искали у него зашиты перед суровой барыней. Всего выехало шесть подвод по дошедшим до нас преданиям тарханских крестьян. Оделись они, видимо, как и в прежних поездках, по-черкесски, с обмундированием: с шашками и кинжалами. Поездка была небезопасной, по дороге, случалось, путники погибали в засадах от рук горцев.

Оправились в путь суровой русской зимой в феврале по однообразным белым равнинам, как только Андрей Иванович получил в Чембаре документы на право вывоза гроба, и ехали до Машука, покрытого синими пролесками с вкраплениями белых, розовых и жёлтых цветов, которым и названия не знали.

Добравшись до Пятигорска, пять дней там пребывали, пока улаживали дела по вскрытию могилы и гроба и по положению в цинковый гроб, надо было сходить в храм и посетить место гибели. Встретились с гурийским юношей, помощником камердинера Лермонтова Христофором (Кайхосро) Саникидзе, предоставленным ему хозяином поместья, у которого Лермонтов снимал скромный домик в Пятигорске. Он их и отвёл на могилу барина. Даже креста не стояло, только камень с именем Михаил. Кто-то, наверное, уже принёс на могилу первые нежные цветы. Поклонники и друзья Лермонтова собрали 1500 рублей на памятник, но как узнали, что бабушка увезёт гроб в Тарханы, раздали обратно. И вот теперь у камня слуги, бывшие с ним в дни прощания, вспоминали, как дамы и барышни устлали всю комнату, где лежало тело всеми любимого Михаила Юрьевича, букетами и сплетёнными из цветов венками. И только Мария Ивановна Верзилина, их соседка, в гости к которой Михаил Юрьевич чуть ли не каждый день хаживал,

никак не могла войти в комнату: каждый раз падала в обморок. А её старшая дочь Эмилия Клингенберг, спровоцировавшая ссору убийцы с его жертвой, уже на следующий день после похорон танцевала на вечере у кн. Голицына, который тот перенёс из-за грозы, с 15 июля (по совпадению в это время Лермонтова убили) на 18 июля. Эмилия жаловалась, что как-то скучно там оказалось, всем было не по себе.

Слуги, конечно, помнили, как за час до выноса тела примчалась кузина Лермонтова Екатерина Быховец, умоляя отдать ей бандо, взятое Лермонтовым перед дуэлью у неё, видимо, на счастье, когда оно свалилось с распустившейся косы. Но его забрал для неё Дмитревский (так пишет фамилию Екатерина Быховец, но вероятно она имеет в виду приятеля Лермонтова тифлисского поэта Дмитриевского), но так и не отдал. Ей достался шнурок от крестика. В день своей смерти Лермонтов провёл с ней почти весь, гуляя по парку и обедая в ресторане. Перед прощанием Михаил Юрьевич ни слова не сказал ей о дуэли, хотя был очень грустен. За полтора часа до рокового выстрела он несколько раз поцеловал её руку и произнёс: «Cousine, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни».

Вспоминали, как господа растащили на память по листочку черновик романа барина. Уж хорошо, это или плохо, не знали. А ещё господа камешки с могилы на память собирали, чтоб потом в перстни вставить.

Крест на могиле запрещено было ставить дуэлянтам, так как они приравнивались к самоубийцам. Отпевать покойника тоже отказывались, хотя полковник А.С. Траскин, начальник штаба войск на Кавказской линии и в Черномории, ведший следственное дело, дал разрешение на отпевание, сославшись на аналогичный случай с Пушкиным. Наконец за хорошие деньги, подарки попадье и обещания друга и родственника Алексея Аркадьевича Столыпина, с которым покойный проживал, сделать хорошее пожертвование церкви от лица бабушки убиенного, провести обряд согласился отец Павел Александровский. Отец Василий Эрастов, молодой священник, ярый противник отпевания «ядовитого покойника», закрыл храм и ключи унёс, чтобы невозможно было внести гроб в храм, Отец Павел согласился отпеть на дому. Но как только увидел оркестр, сразу ушёл, так как поставил условия, чтобы без всякой музыки. Еле уговорили вернуться. Народ терпеливо ждал, а людей собралось очень много со всех Минеральных вод, только одних штаб- и обер-офицеров при шарфах было более 50 человек. Духовенство с погребальным гласом сопровождало вынос тела по пути следования к кладбищу к свежевырытой могиле. И при таком количестве народу стояла благоговейная тишина, даже слышно было, как шуршит трава под ногами. Дамы плакали, среди них среди них была и Ида Мусина-Пушкина, с которой Лермонтов танцевал почти весь вечер на последнем в своей жизни балу в Гроте Дианы, который сам и устроил.

Отец Василий Эрастов, позже написал несколько доносов на настоятеля Скорбященской церкви отца Павла, видимо, обиделся, что из 200 рублей ему не перепало ничего. Через полтора года отец Павел заплатил в пользу бедных штраф в 25 рублей. Через 48 после смерти Лермонтова лет на обеде после открытия памятника поэту, когда зачитали найденный документ о погребении, отцу Василию задали вопрос, не он ли был тем батюшкой, не пустившим в церковь, Василий Эрастов публично покаялся.

Сейчас посланники Елизаветы Алексеевны привезли от неё в благодарность отцу Павлу и передали в дар Скорбященской церкви икону Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (образ этот сохранился до наших дней и недавно чудесным образом **обновился**).

Один из первых биографов Лермонтова П.К. Мартьянов, собиравший материалы в Пятигорске в 1870 году, приводит сведения о чудовищном поведении врагов Лермонтова перед его погребением: «Тогда же в Пятигорске мы узнали о другом, если не более ужасном, то более возмутительном факте. В.И. Чиляев *(хозяин домика, который снимал Лермонтов)*, под честным словом передал нам, что противная, враждебная сторона предъявила коменданту *(полковнику В.П. Ильяшенкову)* требование похоронить его тайно ночью в овраге, но …старик Ильяшенков имел твердость отказать в этом!» (Мартьянов П.К. «Последние дни жизни М. Ю. Лермонтова», М., Древнехранилище, 2019). Не был ли тут замешан всё тот же отец Василий?

Из стоящих сейчас на кладбище двое особенно безутешно скорбели о своём барине. Один из них – его дядька Андрей Иванович, воспитывавший Мишеньку с малых лет. Михаил Юрьевич любил своего дядьку, доверял ему во всех отношениях, в том числе и свою кассу. В 1867 г. о нём была опубликована заметка: «На дворе, во ста шагах от дома, построен маленький флигелёк, где давно уже проводит свои грустные дни бывший слуга М Ю. Лермонтова – дряхлый, слепой старик, когда-то всей душой преданный поэту, о котором одно воспоминание до сих пор приводит в волнение всё его престарелое существо. Если вы спросите у него, помнит ли он своего барина, Андрей Иванович привстанет со своего места и весь задрожит. Он хочет говорить, но слова мешаются, он не в силах выразить вам всё, что в один раз желал бы передать вам. „Портрет, – силится он произнести, – портрет…“ – и несёт показать вам сделанный масляной краской снимок с лица, чей образ ему так мил и дорог» («Пензенские губернские ведомости»). Сохранилась записка С.А. Раевского, близкого друга Лермонтова, где он обращается к Андрею Ивановичу по имени, отчеству, видимо, и сам Лермонтов к нему так обращался, что для того времени было редкостью по отношению к крепостным.

Второй из них – шестнадцатилетний Христофор Саникидзе. По воспоминаниям друга поэта Н.П. Раевского (записанным В.П. Желиховской, сестрой Елены Блаватской), «Саникидзе так убивался

и причитал, оплакивая смерть Лермонтова, что его и с места было нельзя сдвинуть». Впоследствии уже, через тридцать и пятьдесят лет после гибели поэта, Саникидзе будет делиться своими воспоминаниями о Лермонтове (можно прочитать в публикации: Мартьянов П.К. «Последние дни жизни М.Ю. Лермонтова», М., Доевнехранилище, 2019). Христофор был самым молодым свидетелем тех трагических событий, а потому дожил до пятидесятилетия со дня смерти поэта. Последний его рассказ о дуэли Лермонтова был опубликован 15 июля 1891 года в газете «Кавказ», в день пятидесятилетней годовщины смерти поэта. Что в нём правда, что сознательная ложь, а что игра воображения, достроившая картину воспоминаний за отсутствиями деталей в памяти, понять трудно, но они расходятся со всеми другими воспоминаниями, и прежде всего, с описанием дуэли, на которую он, по его словам, тайком приехал. Однако нет никаких оснований предполагать обмана в его воспоминаниях о характере и образе жизни поэта. В эти дни 1842 года он наверняка рассказывал Андрею Ивановичу о том, как Лермонтов играл на флейте, как умел слушать, а это редкий дар, и как работал за письменном столом, слушая пение утренних птичек и как мыслями уходил далеко-далеко, как будто не замечая вокруг себя ничего. Христофор утверждал, что увозил Лермонтова с места гибели на арбе, при нём любимый им барин и умер, произнеся последние слова «Я умираю». В материалах следствия указано, что Лермонтова увозили с места гибели его кучер Вертюков и слуга Мартынова Козлов, правда, они и не отрицали, что был с ними ещё один слуга. Оба они давали показания под присягой, но были безграмотны и поэтому прикладывали палец к написанному, не имея возможности прочитать. Через сорок лет после гибели хотели поставить памятник на месте дуэли, стали искать старожилов, чтобы показали, где всё случилось. Нашёлся Чухнин, младший брат того самого извозчика, который якобы увозил Лермонтова с места трагедии. Васильчиков (секундант) гораздо позже событий написал, что это был, вероятно, извозчик, присланный полицией. По количеству претендентов на перевозку получается, что умирающего Лермонтова увозили дважды или трижды. Вероятнее всего, Чухнин просто хотел заработать, катая господ к месту дуэли. Может быть, это были его дрожки, а увозили Козлов и Вертюков? Тогда же отыскался старожил извозчик Чалов, привозивший господ офицеров на дуэль, а в 1842 году он, по его словам, привозил уже наших «героев» на место дуэли.

Здесь, в Пятигорске, многие называли гибель Лермонтова не следствием честного поединка, а убийством. В частности, об этом говорил Руфин Дорохов, товарищ Лермонтова по военным действиям, находившийся тогда на лечении в Пятигорске. Этот боевой офицер, познакомившись с Лермонтовым, отнёсся к нему настороженно, стихи его прежде не читал, а избалованных столичных офицеров не любил, но совместное участие в боевых действиях сблизило их чрезвычайно. Руфин Иванович, отличающийся буйным нравом, чуть не поколотил священника, отказавшегося отпевать убитого друга. «Не дуэль это, а убийство!» – кричал Дорохов. В день убийства Дорохов по свидетельству современников много суетился, видимо, хотел предотвратить смерть друга. Такие ходили слухи о Дорохове, да и условия дуэли и поведение Мартынова на месте поединка, о которых как-то люди узнавали, хотя подследственные были под арестом, расценивались всеми как убийство. Мартынов, находясь под следствием, рвался за час до похорон проститься с Лермонтовым, но его не пустили, так как боялись, что с ним расправится толпа. Тот же Руфин Дорохов, опытный дуэлянт, мог бы вызвать его на дуэль, а он бы не промахнулся, мог бы и просто поколотить его, что не раз делал с другими. За что и был трижды был разжалован в рядовые.

О гибели Лермонтова написано множество работ, по объёму превышающих все произведения Лермонтова. Первые тридцать лет после трагедии было строжайше запрещено делать публикации на эту тему, даже о его смерти решились написать публично только его друг Краевский и Белинский, в результате рождались слухи, перераставшие в легенды.

Следствие прошло быстро, в скором его завершении были заинтересованы все. Шутка ли, секундантом Лермонтова был князь Александр Илларионович Васильчиков, старший сын председателя государственного совета и председателя кабинета министров, ближайшего фаворита императора. А погибший – опальный поэт, своей смертью взбудораживший местное общество. На полковника А.С. Траскина легла ответственность за то, чтобы дело не приобрело такой же резонанс, как гибель Пушкина. Тому порукой тогда послужили разошедшееся по обществу стихи того же Лермонтова «На смерть поэта». Благо Пятигорск далеко от столицы! Однако вопросы подследственным были заданы профессионально, целью было узнать, не являлась ли дуэль подготовленным убийством, были ли серьёзные мотивы для дуэли, соблюдались ли правила дуэли и, наконец, стрелял ли Лермонтов. Видимо, у следствия были серьёзные причины подозревать сговор. Но удивительно, как трое дающих показания избегали давать прямые ответы. Возможно, следствие пришло бы к более достоверным результатам, если бы не пришёл приказ с «Высочайшей государя императора волей» закончить побыстрее дело и передать военному суду. А ведь были у Траскина серьёзные причины считать смерть Лермонтова не следствием честной дуэли. Так, в письме Траскина к П.Х. Граббе (Командующему войсками Кавказской линии и Черномории в 1838-1843 годах, генерал-лейтенанту) содержится интересная строчка: «Они собирались драться без секундантов». Кстати, Граббе, лично знавший Лермонтова по участию в военных операциях, так отозвался о его гибели: «Несчастная судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом – десять пошляков преследуют его до смерти» *(П.А. Висковатый. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова).*

Тем не менее у нас есть большие подозрения, чтобы обвинить и Траскина в сознательном неправильном ведении дела, так как отсутствие вскрытия трупа является серьёзным нарушением в установлении характера ранения. Следствие тогда закончилось военным судом с очень мягкими наказаниями. Мы не знаем, что знали слуги, что поведал бабушке Алексей Столыпин, двоюродный дядя и брат Лермонтова, давший расписку властям, что отвезёт ей имущество, оставшееся от Лермонтова, включая двух лошадей и двух дворовых. Но известно, что народ в Тарханах знал, что Лермонтова погубили злые люди.

В 1867 году впервые нарушится публичное молчание по поводу гибели Лермонтова: выходит книга А. Любавского «Русские уголовные процессы», где в одном из очерков впервые излагалось существо дела «О предании военному суду отставного майора Мартынова, корнета Глебова и титулярного советника князя Васильчикова, за произведённый первым с поручиком Лермонтовым дуэль, от чего Лермонтов помер». Автор как опытный юрист добросовестно привёл два варианта описания дуэли, воспользовавшись для этого соответственно ответами допрашиваемых на вопросы следственной комиссии. Так где же истина? Автор открыл ящик Пандоры.

Следует сразу объяснить читателю, отчего показания расходились. По правилам ведения следственного дела присягу давали только свидетели, подозреваемые могли в своё оправдание скрывать истинное положение дел. Сохранилась записка секунданта Глебова (в соавторстве с Васильчиковым) к Мартынову, написанная во время следствия: «Посылаем тебе брульон (черновик)… Ты к нему можешь прибавить по своему уразумению; но это сущность нашего ответа. Прочие ответы твои совершенно согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал верхом на своей лошади, а не на дрожках беговых со мной. Ты так и скажи. Лермантов же поехал на моей лошади: так и пишем. Сегодня Траскин ещё раз говорил, чтобы мы писали, что до нас относится четверых, двух секундантов и двух дуэлистов. Признаться, тебе, твоё письмо несколько было нам неприятно. Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и всем, но потому, что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермантова и приписываем этот выстрел несчастному случаю (все это знают): судьба так хотела… в доказательство чего приводим то, что ты сам не походил на себя, бросился к Лермантову в ту секунду, как он упал, и простился с ним. Что же касается до правды, то мы отклоняемся только в отношении к Т. (Трубецкому) и С. (Столыпину), которых имена не должны быть упомянуты ни в коем случае. Надеемся, что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали». Поясню, почему фамилия Лермонтова написана через *а*, а не *о*. Это была подлинная фамилия офицера и поэта Михаила Юрьевича. Фамилией же Лермонтов он стал подписываться, когда установил для себя, что является потомком легендарного шотландского барда Лермонта.

Итак, показания секундантов и дуэлянта менялись, а позже в воспоминаниях Мартынова и Васильчикова изменились и вовсе. Так, князь Васильчиков, проходивший по делу дуэли как секундант Лермонтова заявил, что сначала Глебов был секундантом Лермонтова, а потом стал секундантом Мартынова. Позже в воспоминаниях он напишет: «Собственно не было определено, кто чей секундант. Прежде всего Мартынов просил Глебова, с коим жил, быть его секундантом, а потом как-то случилось, что Глебов был как бы со стороны Лермонтова». Да помилуйте, какая же это дуэль, где же тут соблюдения дуэльного кодекса, кто чьи интересы представляет? В первом показании Мартынов сажает Глебова и Васильчикова в одни дрожки, и только по настоянию своих умных секундантов, которые объясняют ему, что по условиям дуэли секунданты разных дуэлянтов во избежание сговора не могут приезжать вместе, он меняет показания. Непонятно, почему они не увозят Лермонтова с места гибели, куда вдруг делись дрожки, а едут искать врача, и, по их сведениям, все врачи (трое, а потом по воспоминаниям двое) отказались. Пушкина же увезли с места дуэли, не дожидаясь, когда врач соизволит приехать. Причём в показаниях Глебов остаётся с мёртвым телом мучительно долго, прикрывая его шинелью и держа голову на коленях, хотя вроде тот умер. Как трогательно! В своих воспоминаниях Васильчиков ту же роль уже даёт себе и Трубецкому. Благо уже никто не поспорит, остальные свидетели к этому времени умерли. Со временем опубликован рассказ некоего анонимного лица, с которым якобы тайно поделился воспоминаниями Столыпин: тот сидит в такой же позе, накрыв Лермонтова шинелью. Как видите, желающих посидеть в памяти народа с убитым поэтом в такой же трогательной позе прибавлялось. Никто не задумался, зачем кто-то из них был в шинели в июльскую жару, если только его не взяли на случай ливня. Сохранились воспоминания Н.П. Раевского о жизни в Пятигорске, о причине дуэли и о самой дуэли, хотя он сам был только свидетелем вспышки Мартынова на шутку Лермонтова. По воспоминаниям Раевского друзья отсылают Лермонтова из Пятигорска в Железноводск, чтобы Мартынов поостыл немного, и он послушно соглашается. Ссора, приведшая к дуэли, произошла 13 июля. Но, по воспоминаниям В.И. Чиляева (впервые опубликованы в статье П.К. Мартьянова «Последние дни жизни М.Ю. Лермонтова» в 1892 г. в «Историческом вестнике», т. 47, № 2 и 3), переезд случился по другой причине: утром 12 июля 1841 г. Лермонтов и Столыпин явились к пятигорскому коменданту полковнику Ильяшенкову с просьбой продлить им курс лечения минеральными водами. Ильяшенков посоветовал Лермонтову в целях безопасности скорее уехать из Пятигорска, где у него было немало врагов. Чиляеву об этом лучше знать, ведь от него уехал квартирант. Значит, Ильяшенков знал о готовящейся расправе с Лермонтовым. Нужен был только повод к дуэли.

Радости от переезда не было, Железноводск только-только начинал застраиваться. Лермонтов снял домик под камышовой крышей и 14 июля переехал, поэтому его камердинер Соколов Иван находился в момент смерти Лермонтова в Железноводске, но вот почему вдруг кучер Вертюков оказался в Пятигорске? Видимо, лошадей Лермонтов ещё не перевёз на новое место. А уже к месту дуэли Лермонтов почему-то добирается на лошади Глебова, то ли из Карраса, куда они ездили обедать, то ли из Пятигорска. Одно известно точно, нет ни одного свидетеля дуэли. Или они ускользнули от следствия. Получается, о дуэли, мы знаем только из показаний трёх подследственных. Правда, есть один свидетель вызова на дуэль, это Ангелий Георгиевич Сидери, случайно услышавший разговор, когда возвращался от своей невесты Екатерины Кнольт, сироты, которая жила в семье своей опекунши М.И. Верзилиной, в доме которой и произошла ссора, приведшая к дуэли. Нам это известно уже по рассказу его сына. К сожалению, авторы всех воспоминаний тех трагических дней ссылаются на события, которым они не были свидетелями. Не было ни одного свидетельства травли Лермонтовым Мартынова. Да и сам Мартынов признавал на следствии, что Лермонтов его не оскорблял, ему просто не нравился его тон. Привожу отрывок из письма П.Т. Полеводина от 21 июля 1841 года, отдыхающего тогда в Пятигорске (письмо хранится в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина):

«Мартынов служил прежде в кавалергардах *(замечу от себя, как и Дантес; выходит, песню «кавалергардов век не долог» надо переиначить),* по просьбе переведён в Кавказский корпус капитаном, в феврале месяце отставлен с чином майора, – и жил в Пятигорске, обрил голову, оделся совершенно по-черкесски и тем… думал пленять здешнюю публику. Мартынов никем не был терпим в кругу, который составлялся из молодёжи гвардейцев. Лермонтов, не терпя глупых выходок Мартынова, всегда весьма умно и резко трунил над Мартыновым, желая, вероятно, тем заметить, что он ведёт себя неприлично званию дворянина. Мартынов никогда не умел порядочно отшутиться – сердился, Лермонтов более и более над ним смеялся; но смех его был, хотя едок, но всегда деликатен, так что Мартынов никак не мог к нему придраться». Впоследствии и Эмилия Шан-Гирей (в то время Эмилия Клингенберг), и Н.П. Раевский излагают всем известный случай в доме Верзилиных, приведший к ссоре Мартынова с Лермонтовым, когда прозвучавшее из-за остановившейся музыки громко слова Мишеля «montagnard au grand poignard» *(фр. «горец с большим кинжалом»)* взбесили Мартынова. Ничего оскорбительного в его прозвище не было, это не основание для дуэли, так как причиной могло быть только оскорбление, затрагивающее честь. Но Мартынов с нетерпением ждал только повода к дуэли. Возможно, эта ненависть копилась у него с тех пор, когда в юнкерской школе Лермонтов, затеяв игру в нумидийский эскадрон, вместе с приятелями облил его спящего водой, правда он тогда отомстил, но обида не прошла. Траскин заметил, что за ненавистью и раздражением Мартынова стояло нечто большее, чем просто обида на шутку. Если рассмотреть все предшествующие события, то всё способствовало обиде со стороны Мартышки, как называли Мартынова юнкерские однокашники. Лермонтов ухаживает за M-lle Эмилией – «розой Кавказа», как окрестил её Пушкин (есть предположение, что она и была той девочкой с золотыми локонами, в которую Лермонтов был влюблён в десять лет, но сейчас он её не узнал). Мартынов как более перспективный потенциальный жених имеет у неё больший успех, и Лермонтов преследует их шутками, но если к Мартынову он добродушен, то шутки по отношению к Эмилии довольны злы и оскорбительны, хотя и чередуются с любезностями (правда, в достоверности эпиграмм, собранных Мартьяновым, надо относиться с сомнением). Его шутка по отношению к Мартышке о большем кинжале носит довольно прозрачный намёк на победу в соперничестве за даму благодаря мужским достоинствам. У Эмилии было гораздо более поводов убить Лермонтова, что она и говорила позже в воспоминаниях: «Однажды он довёл меня почти до слёз; я вспылила и сказала, что ежели бы я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор». Есть даже версия, что она и убила Лермонтова, а вину на себя взял Мартынов. Его в этой ситуации как раз раздражали не сколько шутки Лермонтова, сколько реакция на них окружающих, прежде всего барышень, хихикающих над остротами Мишеля. У Лермонтова был альбом с карикатурами на Мартынова, которые разукрашивали всей компанией. Но там были карикатурно изображены абсолютно все товарищи из его компании и сам автор. К сожалению, альбом до нас не дошёл, Столыпин Монго (такое прозвище А.А. Столыпин получил в юнкерской школе, и оно осталось у него на всю жизнь, даже после смерти) сжёг их, пока шло следствие. Никакой злобы к Мартынову Маёшка (это прозвище по имени уродливого героя французского романа Лермонтов придумал себе в юнкерской школе) не испытывал. Конечно, обидной была карикатура, где Мартынов, никогда не расстававшийся с кинжалом, в том числе в гостях у барышень, сидел с ним на ночном горшке, но согласитесь, действительно остроумно. Из показаний слуг Лермонтова и Мартынова и воспоминаний Чиляева, в гостях у Лермонтова и Столыпина Мартынов бывал ежедневно, поскольку жил с Глебовым напротив, никакой вражды между своим барином и его гостем слуги не заметили.

В период, пока тема гибели Лермонтова была под запретом, погибает на Кавказе Глебов, умирают и другие упоминаемые в воспоминаниях Васильчикова секунданты: князь Сергей Трубецкой и Алексей Столыпин. Ни строчки о Лермонтове они не оставляют для публики. Лев Николаевич Толстой, трижды общавшийся со Столыпиным, так и не попытался узнать у него правду о роковом дне. А после спрово-

цированные публицистами оставшиеся в живых Мартынов и Васильчиков в конце жизни оставили воспоминания, в которых ответственность за исход дуэли и дачу неверных показаний перекладывали друг на друга, мы из этих воспоминаний никогда не узнаем правды. Основную вину Васильчиков сваливает на Трубецкого, уже умершего к этому времени, будто бы тот после счёта 3, когда дуэль кончена, выкрикнул: «Стреляйте! Стреляйте!» (Беседа редактора журнала «Русская старина» историка М.И. Семевского с кн. А.И. Васильчиковым в конце 1869 – начале 1870 г.).

Причём в конце текста оба добавляют, что, если что-то не досказали, то пусть дополнит соответственно второй из них. Это был вызов друг другу из боязни, чтобы другой не открыл правды. Почему-то большинством лермонтоведов принято за правду участие Трубецкого и Столыпина в дуэли, но при этом единственным серьёзным аргументом их участия была цитируемая мной выше записка Глебова и Васильчикова Мартынову. Их имена скрывали, чтобы им не навредить, так как у них были более серьёзные мотивы избегать следствия. Столыпин уже отбывал наказание из-за участия в первой дуэли Лермонтова, а Трубецкой был в Пятигорске в нарушение предписания. В записке же говорится, чтобы о них не упоминали при ответах, но не говорится, в качестве кого они замешены в этом деле. Однако с трудом верится, что Траскин стал бы подвергать свой авторитет опасности нарушением следствия из-за них. В маленьком городке наличие ещё двух секундантов не удалось бы скрыть, тем более, что Ильяшенкова держали в курсе.

Многие годы биографы Лермонтова пытались объяснить странное ранение Лермонтова, идущее снизу вверх, что невозможно при условии поединка на дуэли, самыми различными версиями. Самыми популярными было неисправленное дуло пистолета, экспертиза которого в своё время не была проведена. А потом Столыпин Монго и вовсе подменил их, взяв себе подлинники, как память о Лермонтове.

Но оказалось, что сделать криминалистическую экспертизу можно и в наши дни, и она куда достоверней показаний подозреваемых. Опытный следователь, раскрывший много сложных уголовных дел и заказных убийств, Александр Владимирович Карпенко заинтересовался следственным делом Лермонтова и в сотрудничестве с опытным практиком и аналитиком следственной работы Заслуженным юристом РФ Валерием Ивановичем Прищепом провёл серьёзное исследование, тщательно изучив и материалы дела Лермонтова, и материалы по оружию того времени. Результатом стала книга А.В. Карпенко «Оправдание Лермонтову» (2013). С помощью современной компьютерной программы «Компас 3D», зная рост Лермонтова и точное описание входного и выходного отверстия, установили траекторию полёта пули. Третья рана мягкой части плеча поэта показывает нам, что пуля в теле поэта «не гуляла», как считают некоторые исследователи, не уходила в сторону от рёбер и внутренних органов, а «прошила» поэта насквозь. На языке криминалистов это означает, что деривации пули в теле поэта не было. Траектория полёта пули относительно вертикальной оси тела поэта составляет 60 градусов. И если траекторию пули продлить вниз до земли, то упрётся она в землю на расстоянии 1,803 м (180,32 см) от раны поэта. Это максимальное расстояние, которое возможно. Тогда Мартынову, чтобы выстрелить, пришлось бы лечь на землю или стрелять в упор (на этой версии строится версия о том, что стреляла Эмилия). Далее Карпенко предлагает свою правдоподобную версию. Лермонтов принял смерть на лошади, в то время как Мартынов находился на земле. Рост скаковой лошади в холке составляет 160 см. Если на лошадь положить седло и всё, что к нему положено, высота сидящего всадника выравнивается до холки. Путем экспериментальных замеров у людей среднего телосложения мы устанавливаем, что расстояние между седлом (ягодицей наездника) и 10 ребром составляет 20-22 см. Округлим до 20 см. Получается, что входное отверстие от пули находится на расстоянии 180 см. от уровня земли. Компьютерная программа выдаёт нам тот же угол вхождения пули в тело – 60 градусов.

Такова версия Карпенко, у неё есть один недостаток. Если Мартынов стрелял в Лермонтова, сидящего на коне, лошадь могла понести, хотя мы реально не знаем, куда делась лошадь, на которой прискакал Лермонтов на дуэль, почему-то в результатах следствия этот простой вопрос не освещён.

Хотела бы обратить внимание читателей на одну фразу из записок однополчанина Лермонтова по лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку А.И. Арнольди: «Смеркалось, когда я проехал Шотландку, и в темноте уже светились мне приветливые огоньки Пятигорска, как вдруг слева, на склоне Машука, я услыхал выстрел» (Арнольди А.И. Из записок // М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – М.: Худож. лит., 1989. – С. 259-276.) Давайте проанализируем этот текст, где автор не имеет никакой выгоды в изложении правды или лжи. Уже темнеет, то ли преждевременно от тучи, то ли от заката солнца, дуэли в это время не устраивают, ливня ещё нет, хотя какие-то капли уже капали на него задолго до темноты. Даже если они задумали дуэль, то в условиях поднявшейся бури, надвигающейся темноты и ливня как-то странно устраивать дуэль; не логично ли её перенести, чтобы хотя бы видеть друг друга? Заметьте, это **один** выстрел, а не два. Если Лермонтов, как пишут многие современники, стрелял в воздух, то где второй, от Мартынова? Или это уже выстрел после дуэли? Можно сделать из всего этого предположение, что Лермонтов был убит не на дуэли (по характеру ранения), получилось ли это после дуэли, или дуэли вообще не было, или дуэль должна была состояться без секундантов, как упоминал Траскин, в силу того, что Лермонтов не хотел усугублять судьбу друга Столыпина Монго, а других секундантов у него не было,

сведений про это нет. Скорее всего, сначала всё происходило по тому сценарию, как впоследствии указывали трое подследственных, то есть они планировали, что всё обойдётся примирением и шампанским по этому поводу. Приведу отрывок из письма В.С. Голицына к почт-директору А.Я. Булгакову, любившему собирать сведения о событиях: «Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил [отметим это «повторил»!] торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что всё это была одна шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощение не токмо тут, но везде, где он только захочет!». Конечно, он не был свидетелем, но откуда-то узнал. А вот старик А.А. Кикин (знакомый Арсеньевой и Мартыновых), ненавидящий «мерзавца» Лермонтова, как и всех современных рифмоплетов, в письме к дочери с презрением пишет после того, как посетил мать Мартынова через две недели после дуэли: «Тогда они с Барантом поцеловались и напились шампанским. Сделал то же и с Мартыновым, но этот несмотря на то убил его…». Откуда у него сведения? Из письма Мартынова, полученного матерью. Можно предположить такой вариант событий. Выстрел произошёл уже позже примирения, когда закусивший удила Мартынов стал требовать у Лермонтова всё же сразиться без секундантов, несмотря на непогоду и темноту. И отмахнувшийся от него Лермонтов, уже сидящий на лошади, был убит вспылившим Мартыновым снизу вверх. Он мог просто угрожать ему пистолетом, чтобы Лермонтов спешился, но нечаянно нажал курок. Секунданты же неоднократно упоминали, что Мартынов неопытный стрелок и не умеет пользоваться пистолетом, и убийство было случаем, судьба распорядилась, хотя непонятно как он закончил юнкерскую школу и участвовал в сражениях. Возможно, он как раз и стрелял в воздух, но понёсшая лошадь сделала попадание в цель. Испугавшийся Мартынов просит приятелей подтвердить, что убил Лермонтова в честном поединке.

Всё, что нам известно о дуэли – это показания и воспоминания убийцы и двух секундантов, один из которых (Глебов) был соседом Мартынова, а второй Васильчиков имел повод обижаться на шутки Лермонтова гораздо больше. К князю Васильчикову Мартынов имел огромный интерес как к персоне, имевшей возможности помочь ему реализовать планы обогатиться на винных откупах, для чего и приехал на Кавказ. Отец князя был не только председателем государственного совета, но и активно принимал участие в становлении дела винных откупов у будущего греческого магната Бенардаки, видимо имея с этого доходы. Многие считают именно Васильчикова подстрекателем дуэли. Внешне он был вежлив с Лермонтовым, а втайне имел интригу с глупым, раздражительным, по его собственным же словам, Мартыновым. Именно на Васильчикова Лермонтов писал более ядовитые эпиграммы, называя его пустельгой, дипломатом не удел, «Дон-Кихотом иезуитизма». Во всяком случае, Эмилия Клингенберг и Васильчиков оба в числе подозреваемых подогревателей ненависти Мартынова к Лермонтову. Во время следствия всё окружение дома Верзилиных сделало всё, чтобы максимально не замешать их в это дело, в том числе давали ложные показания, тем более, что у Эмилии и так уже была сомнительная репутация из-за неудачливого романа с кн. Бартеньевым. Мартыновым управлять было легко, он из тех личностей, которые могут совершать глупые поступки, лишь бы доказать, что они лучше всех. Хотя у Лермонтова были и другие более серьёзные недоброжелатели, мы не будем здесь касаться этой отдельной темы.

Вернёмся к ранению Лермонтова. По заключению лекаря Барклая-де-Толли, Лермонтов умер сразу после ранения, что уже тогда вызвало недоумение, так как внезапная смерть бывает только при ранении в сердце, которого в заключении не было. Тот же Мартынов утверждал, что признаки жизни после выстрела у раненого были, а дальше Мартынов уже покинул место убийства. В 1946 году профессор медицины профессор С.П. Шиловцев написал работу, напечатанную в 100 экземплярах (Шиловцев С.П. Рана Лермонтова. Вопросы хирургии войны и абдоминальной хирургии. Горький. 1946. С. 68-74.). Он обратил внимание, что рана после выстрела дымилась (по словам кн. Васильчкова), что возможно только при выстреле с близкого расстояния. Изучив на трупах на основе описания входа и выхода пули ход прохождения пули, он признал заключение Барклая-де-Толли о том, что пуля повредила два лёгких, ошибочным. Не было произведено вскрытие, что являлось нарушением «Наставления для полицейских врачей», заключение сделано только благодаря осмотру. Барклай-де-Толли был, конечно, не полицейским лекарем, но военным медиком, работавшим в госпитале. Он должен был иметь представление о характере ранений, дать описание размеров входного и выходного отверстия пули, что он не сделал. Пуля, пробив брюшную стенку, могла поранить печеночный угол поперечно-ободочной кишки, могла и не поранить его. Дальнейший ход пули, по С.П. Шиловцеву, был следующим: пуля пробила левую долю печени, ранила желудок или только малый сальник, слева повредила диафрагму, произвела сквозное ранение нижней доли левого лёгкого, пробила грудную стенку слева, повредив мягкие ткани левого плеча, известный хирург считает, что крупные сосуды брюшной полости и сердце не были затронуты. Сразу хочу дать пояснение другой версии во избежание упрёков в мой адрес в неиспользовании заключения профессора Ленинградской Военно-медицинской академии В.И. Молчанова (1967 года), опровергающего профессора Шиловцева. Он объясняет прохождение пули снизу вверх рикошетом от ребра или предмета

одежды (этим предметом могло быть бандо Быховец). Эта версия не годится, так как я уже указывала ранее, компьютерная программа дала точно такую же прямую траекторию пули: входа, выхода и прохождения по плечу, как и рассматривал её Шиловцев на трупах, а не исходя из теоретических предположений. К тому же внутренний рикошет от ребра мог быть только, если Мартынов стрелял под углом 45 градусов, а рикошет от пуговицы или бандо должен был привести к характерному входному отверстию и никак не мог соответствовать описанному выходному отверстию. Шиловцев доказал, что, хотя ранение Лермонтова являлось очень тяжёлым, оно не могло привести к мгновенной смерти. У Лермонтова было внутреннее и наружное кровотечение, сильное переохлаждение, кровотечение усугубила перевозка по каменистой дороге. Но при этом он мог прожить от 4 до 5 часов. По свидетельству офицера, зашедшего в домик, когда тело Лермонтова уже лежало на столе в Пятигорске, под столом стоял таз, куда стекала кровь из раны. Вспоминали, как дамы прикладывали свои платочки к сочившейся ране, чтобы сохранить кровь на память. Все это происходило не раньше, чем через пять часов после выстрела. Если бы были повреждены крупные сосуды, кровотечение было бы более интенсивным и закончилось бы раньше. Удивительно, почему Молчанов гадает о возможности повреждения крупных сосудов на кофейной гуще, не прочитав воспоминаний. Есть свидетельство, что сначала Лермонтова привезли на гауптвахту, а потом уже в домик Чиляева, значит, Ильяшенков знал, что Лермонтов по показаниям секундантов жив, не арестовывать же труп. Шиловцев утверждает, что таких больных спасти можно своевременной операцией, что хирурги и делали в санитарных палатках на фронтах Великой отечественной войны даже с более тяжёлыми ранениями. Далее автор подробно описывает ход операции.

Глебов и Мартынов как профессиональные военные должны были установить, что Лермонтов хоть и находился в шоке, но был ещё жив, но никто из них не перевёз его в город, хотя сами давали показания, что они приехали на дрожках. Тут версия Карпенко всё объясняет, нужно было время, чтобы Мартынову и его сообщникам, прикрывшим его убийство, прийти в себя, придумать версию для следствия и согласовать показания. В сохранении жизни Лермонтова как возможного разоблачителя своего убийства, выходит, никто не был заинтересован. Столыпин и Трубецкой знали о готовящейся дуэли, были посвящены или частично посвящены и дали слово. Эта моя версия, и я не претендую тут на достоверную истину. Да, на мой взгляд, это задача криминалистов, а не литературоведов.

Мартынов во всех своих показаниях пытался выставить Лермонтова провокатором своего убийства, буквально требовавшим, чтобы его вызвали на дуэль, однако это было не так; оправдание Мартынова было продуманной защитой, дававшей возможность смягчения приговора.

Лермонтов, узнавший смерть в раннем детстве, много о ней думал. В последний отпуск в Петербурге он посетил гадалку, надеясь узнать, получит ли долгожданную отставку, она ему предрекла совсем другую отставку, после которой уж ни о чём просить не будет. Эта была та самая гадалка, что предрекла смерть Пушкину и Грибоедову. Тревожные мысли терзали его. Именно поэтому, когда по дороге на место назначения он со Столыпиным Монго остановился в Георгиевской крепости и недавний знакомый Майденко пригласил их поехать с ним в Пятигорск, он схватился за эту соломинку. Что ему угрожало в Пятигорске? Ну, в крайнем случае, небольшое наказание за самовольное отклонение от маршрута. Он уговаривал Монго принять это приглашение. За окном ливень, а перед взором ещё вставали страшные картины раненых, наводнивших Ставрополь, из которого недавно выехали: кто без рук, кто без ног. Магденко вдобавок поведал жуткую историю о том, как недавно по дороге черкесы зарезали офицера. И, видя большие сомнения Столыпина, старшего по званию, а потому несущего ответственность за него, Михаил предложил подбросить монетку, чтобы выбрать судьбу и, подбросив, очень обрадовался, что судьба определила Пятигорск. Тот же Барклай-де-Толли дал им медицинское заключение с рекомендациями лечения в Пятигорске, и комендант Ильяшенков дал разрешение на пребывание на лечении. И опять убегая от рока, по рекомендации Ильяшенкова накануне смерти Лермонтов сменил место жительства на Железноводск. Так кто же эти враги, о которых предупреждал Ильяшенков? В это время поэт набрасывает такие строчки:

Мои друзья вчерашние – враги,
Враги – мои друзья,
Но, да простит мне грех Господь благий,
Их презираю я…

Врагом оказался однокашник Мартынов, чего не мог предвидеть Лермонтов, когда радостно встретился с ним, приехав в Пятигорск. В те же дни он сочиняет своего «Пророка». Не родились ли строчки «*В меня все ближние мои / Бросали бешено каменья*» из его собственных перипетий? И кто эти ближние? Не Монго ли – самый близкий по родству и по проживанию, но далёкий по духу. Они вместе учились в юнкерской школе, вместе служили в лейб-гусарах, вместе жили в Царском Селе, вместе сосланы и на Кавказ за дуэль с Барантом (Столыпин был его секундантом), дважды вместе отправлялись на Кавказ. Бабушка просила его опекать внука. За его наставления Лермонтов и говорил: «Ты как моя бабушка». Император его не лю-

бил или даже ненавидел как соперника по отношению к женскому полу. Столыпин, первый красавец Петербурга, имел неотразимое влияние на женщин и спас одну даму от домогательств самодержца. Но духовной общности между двумя товарищами не было. Чтобы правильно представить характер приятеля Лермонтова, надобно, наверное, вспомнить Павла Петровича Кирсанова, написанного Тургеневым во многом со Столыпина, включая и события его биографии. Сохранились письма Алексея Аркадьевича к сестре того периода, полные описаний его пустого времяпровождения, – ест, лежит, курит, пьёт, принимает ванны, опять ест. Пишет о приятелях и ни строчки о Лермонтове, как будто этот заводила и яркая личность не живёт в соседней комнате, уже не говоря о том, что он создаёт шедевры.

Мартынов всю жизнь оправдывался, но никогда не раскаивался, хотя и был приговорён к покаянию в Киевской лавре (для сравнения, Дантеса, заметим, не убийцы, а только секунданта Пушкина, приговорили к повешению. И только прошение Натальи Николаевны Пушкиной спасло его от казни). Такой благоприятный приговор возможен был только не гражданским, а военным судом, о чём и просил Мартынов, кстати по совету того же Столыпина, ссылаясь на своё звание и недавнюю службу. Вот что он писал своим приятелям-секундантам: «Чего я могу ожидать от гражданского суда? Путешествия в холодные страны? Вещь совсем не привлекательная. Южный климат гораздо полезнее для моего здоровья, а деятельная жизнь заставит меня забыть то, что во всяком месте было бы нестерпимо моему раздражительному характеру!..». Какое же здесь раскаяние, только желание избежать наказания, что ему и удалось.

Теперь в 1842 году Саникидзе несомненно рассказал крепостным Арсеньевой, как убийца Мартынов, находясь под арестом, играл жалостливые мелодии на «фортепьянах» и дамы, наблюдая в окошке его печальный вид в чёрном бархате, уже не испытывали к нему острой ненависти, как прежде, а только жалость и сочувствие. Впоследствии Николай Соломонович будет писать «Исповедь», но так и не допишет, видимо, оттого, что сказать всю правду он не хотел. Он назвал Лермонтова человеком, превосходящим по своему интеллекту всё его окружение, но он не восхищается его литературными произведениями, видимо, тайно всю жизнь завидуя ему. Мартынов сам любил писать стихи и даже сочинял повесть. Я не буду сравнивать их с произведениями Лермонтова по художественным особенностям, слишком безнадёжно и несправедливо сравнивать гения и графомана, но мне хотелось бы сравнить их мысли, выраженные в стихах после знаменитого сражения на реке Валерик. Потрясённый Лермонтов пишет одно из своих самых горьких пронзительных произведений «Валерик», где есть такие строки:

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?

Мартынов пишет поэму на батальную тему, но для него война – это упоение победой. А пока Лермонтов пишет свой «Валерик», что же сочиняет Мартынов, наблюдая за Лермонтовым?

Вот офицер прилёг на бурке
С учёной книгою в руках,
А сам мечтает о мазурке,
О Пятигорске, о балах.
Ему всё грезится блондинка,
В неё он по уши влюблён.

Вот такое получилось длительное отступление от событий 1842 года к самому источнику событий. Наши посланники не могли не посетить могилы знаменитого профессора медицины Иустина Евдокимовича Дядьковского, находившейся в нескольких метрах от могилы поэта. Это был знаменитый учёный-материалист, студенты Московского университета шли на его лекции с восторгом. Ему было 59 лет, крепкий и закалённый, он в последнее время болел и приехал в Пятигорск летом поправить здоровье. Бабушка Лермонтова передала через него гостинцы и письмо внуку. Профессор сам зашёл в домик к Лермонтову, но, не застав, просил того прийти к нему домой, что тот с радостью и исполнил. «Беседа его с Иустином Евдокимовичем зашла далеко за полночь. Долго беседовали они о Байроне, Англии, о Бэконе. Лермонтов с жадностью расспрашивал о московских знакомых. По уходе его Иустин Евдокимович много раз повторял: «Что за умница».

На другой день… вечером Лермонтов его увёз [в дом Верзилиных] и поздно вечером привёз его обратно. Опять восторг им:

– Что за человек! Экой умница, а стихи его – музыка; но тоскующая» (Из письма Н. Молчанова В.В. Пассеку от 27 июля 1841 г.)

Через шесть дней после смерти Лермонтова Дядьковский неожиданно умирает по причине принятия слишком большой дозы лекарств. Как-то не верится в такой диагноз по отношению к светилу медицины, защитившему диссертацию на тему «Рассуждение о действии лекарства на человеческое тело». В Пятигорске существует предание, что он не пережил смерть Лермонтова, что странно для медика, практикующего в лазарете, участвующего в комиссии по борьбе с холерой, который видел много смертей на своём веку. Смерть его остаётся такой же загадкой, как и кончина Лермонтова. Предполагаю, что Дядьковский осмотрел ранение Лермонтова и составил своё умозаключение, противоречащее официальному.

27 марта 1842 года гроб вынимают и приподнимают крышку, закрывают, смолят и кладут в цинковый гроб. На этом траурном мероприятии присутствует всё семейство Верзилиных и Николай Раевский.

Траурный кортеж двигается домой по той же дороге, по которой Лермонтов столько раз в детстве возвращался с бабушкой после лечения на водах. Сначала крепость Георгиевская, потом ещё одна станция, недалеко от которой год назад при поездке в крепость Шую по назначению сломалась ось в телеге, на которой ехали Соколов и Вертюков. Им тогда пришлось ждать проезжающих, чтобы те сообщили господам Столыпину и Лермонтову об их беде. Этим проезжающим и был упоминаемый ранее Магденко. Передавая просьбу слуг, с господами познакомился, а после сманил их в Пятигорск.

Гроб везут дальше. Останавливаются в Ставрополе. В этом городе Лермонтов провёл времени больше, чем в Пятигорске и Кисловодске. Он был здесь 15 раз, начиная с пятилетнего возраста, останавливался проездом, получал назначение в штабе Кавказской линии и Черномории, лечился от простуды в госпитале, общался с декабристами, Львом Пушкиным. В этом городе поэт сделал много зарисовок (сейчас копии рисунков хранятся в местном музее). Поручик Лермонтов был завсегдатаем вечеров в местном обществе в гостинице «Найтаки» зимой 1840 -1841 годов. Отсюда он поехал в отпуск в Петербург, но всё-таки пришлось вернуться раньше времени, так как неосторожно поступил, посетив бал. Император был возмущен. Опальный поэт на балу, так-то он проводит свой отпуск!

Соколовы и Вертюков делятся своими впечатлениями о совместных поездках с Лермонтовым, о проживании в Ставрополе. Андрей Иванович не мог не вспомнить, как в 37-м году Лермонтов приехал в Ставрополь совсем без вещей, так как они по дороге были украдены, за что он и чувствовал себя, наверное, виноватым перед барином. Пришлось ждать, пока мундир изготовят, в штаб явился с запозданием, за что и получил взыскания. Возможно, они подходили к дубу, что рос во дворе дома Щербаковой, где останавливались раньше, чтобы прикоснуться к дереву, под которым поэт любил писать и задумывать новые произведения. Благодаря этому дубу поэт исправил слово «зелёный» в известном стихотворении «Дубовый листок» на «дубовый». Конечно, они навещают дядю их барина, участника Отечественной войны 1812 года, генерал-майора Павла Ивановича Петрова, бывшего начальника штаба войск Кавказской линии и Черноморья, который был женат на двоюродной сестре матери поэта. Михаил Юрьевич в 37-м году, когда умерла его двоюродная тётка, навещал дядюшку каждый день, пытаясь утешить его в горе. Здесь, как предполагают, было написано «Бородино». И Андрей Иванович, наверное, знал эти стихи наизусть. Слуги и крестьяне идут в Троицкий храм, чтобы заказать службу за упокой. Сюда их барыня водила внука ещё в детстве. Наверное, верные слуги отстояли службу, ведь идёт великий пост.

Вспоминают они последнее посещение Лермонтовым Ставрополя при следовании в Шую. Барин тогда играл в бильярд и много писал. Сохранилось до наших дней письмо Софье Карамзиной, написанное сразу по приезде в Ставрополь 10 мая за полтора месяца до смерти: «Я не знаю, будет ли это продолжаться, но в течение моего путешествия я был одержим демоном поэзии, т.е. стихов. Я заполнил наполовину книгу, которую мне подарил Одоевский, что мне, вероятно, принесло счастье. Я дошёл до того, что стал сочинять французские стихи». И далее он просит у неё соизволения познакомить её с новым сочинением, и пишет ей эти прелестные стихи на французском, звучащие дуновениями весны и предчувствия нежной любви. Лермонтову 26 лет, он полон вдохновения, литературных замыслов, ему не терпится уйти в отставку, чтобы посвятить себя делу своего призвания, которое ему и завещал отец. Он собирался написать историческую трилогию о России, намеревался отрыть журнал, где бы печатались только отечественные авторы с оригинальными произведениями на русском языке, а не переводы неизвестно каких французских романов. Он не собирался умирать. А сейчас он в ином мире. И только его дворовые люди рядом с его телом. Всё та же весенняя грязь и распутица. В том же письме Карамзиной следующие слова: «Из этого вы можете видеть, какое спасительное влияние имела на меня весна, очарованная пора, когда грязи по уши и меньше всего цветов. – Итак, я уезжаю сегодня вечером. Признаюсь, вам, что я изрядно устал от всех этих путешествий, которые, по-видимому, продолжаются в вечности». Он хотел отдыха. Хотел времени на литературные труды. Незадолго до смерти он написал своё знаменитое стихотворение, где звучали усталостью и надеждой строки:

Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб весь день, всю ночь мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел.
Надо мной чтоб вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Бабушка выполнит его последнее желание: она велит посадить около склепа дуб. В конце мая дуб покрывается зелёными листьями и шумит ими над склепом поэта, а ко дню рождения поэта становится медным, поражая своим ярким цветом на фоне чёрной земли и голубого неба. Поэт, словно дубовый листок из своего стихотворения, оторвавшийся от родной ветки, возвращался на родину.

В дороге, давая отдых лошадям, последним четвероногим спутникам Лермонтова, дворовые Лермонтова не могли не вспоминать необыкновенную любовь поэта к ним. Для него они были не просто средством передвижения, но как для гусара соратниками и друзьями. У Лермонтова были разные лошади: и выездные, и строевые и верховые, причём маститые. Муж племянницы бабушки недалеко от Тархан содержал конный завод, куда она часто наведывалась с внуком. Да и позднее она никогда не скупилась на лучших лошадей для Мишеньки. Любовь к лошадям зародилась у него в раннем детстве, когда четырёхлетнего Мишу посадили верхом на маленькую лошадь, сделав для него удобное седло наподобие черкесского. С тех пор верховая езда стала его любимым занятием. А на Кавказе, куда ездил в детстве, он видел в селениях, настоящую джигитовку. В юнкерской школе он серьёзно пострадал от необъезженной лошади, на которую сел, подстрекаемый старшими юнкерами, лошадь раздробила ногу, юный всадник потерял сознание, лечился в госпитале, ещё два месяца ходил на костылях. Но школу не бросил, как предположили в то время товарищи, и страха к лошадям не испытывал. Они его слушались. Дворовым слугам было что рассказать крестьянам, например, как в Царском селе на карауле барину пришлось всю ночь гоняться за необъезженным жеребцом английской породы Шекспиром, вырвавшимся из стойла, носившимся по конюшне и будоражившим остальных лошадей. Эх, как бы им это время вернуть!

Крестьяне вспоминали, как шесть лет назад, когда Лермонтов, получив отпуск, приехал в Тарханы в последний раз, они радовались. Крестьяне, сложившись, купили для него лошадь в Чембарах, серую в яблоках. Михаил Юрьевич с благодарностью принял, выезжал каждый день на ней на зимние прогулки. О лошадях своих заботился, оттого и возил с собой кучера Вертюкова, которому лошадей доверял, не то, что денщикам, которые могли и загубить лошадь.

А в Пятигорске «по утрам, Лермонтов уезжал на своём лихом Черкесе за город. Он любил бешеную скачку и предавался ей на воле с какой-то необузданностью. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, как головоломная джигитовка по необозримой степи, где он, забывая весь мир, носился как ветер, перескакивая с ловкостью горца через встречавшиеся на пути рвы, канавы и плетни» (Мартьянов П.К. «Последние дни жизни М. Ю. Лермонтова», М., Древнехранилище, 2019). Две у него были лошади, одна другой лучше, о них сейчас Вертюков и рассказывал, сидя вечером за чаем на постоялом дворе. А уж как Лермонтов рисовал тех лошадей, барин показывал рисунки. Ещё мальчиком Миша лепил фигурки из раскрашенного воска, целые сценки, их Иван Соколов тоже видел. Лошадки у него получались, как настоящие!

Он брал уроки по рисованию у художников Солоницкого и Заболотского, оставил нам сотню рисунков и картин с лошадями, где все движения переданы с удивительной точностью и живостью. А стихи и проза? В пятидесяти произведениях лошадям посвящены незабываемые строчки, многие из которых мы помним с детства наизусть. И с какой любовью он писал о них! Помните старинную песнь Казбича из повести «Белла»?

Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Обратный путь лежал через Тамбовскую землю. Вот что рассказывал Сорокин Иван Павлович (записала директор музея в Тарханах в 1948-1949 годах) со слов его деда крестьянина Петра Матвеевича Болотина, ехавшего с этим траурным обозом: «А дорога лежала через Кирсановский уезд Тамбовской губернии. Доехали они до села Воробьёвки и остановились на отдых. А село это принадлежало Мартынову, который

убил Михаила Юрьевича. Воробьёвские мужики узнали, что наши везут гроб Лермонтова, и говорят им: «Вот наш барин убил вашего, а ему за это ничего не было, да ещё царь землёй наградил. А ваш-то шёл против царя и нашёл себе смерть». Когда тарханские мужики узнали об этом разговоре, то пуще прежнего стали любить Михаила Юрьевича».

Существуют три предания, имеющие некий мистический оттенок, если посмотреть на них вместе. Дед Лермонтова Михаил Алексеевич Арсеньев покончил жизнь самоубийством на новогодний вечер после игры в самодеятельном театре, отравившись оттого, что его любовница, соседняя помещица, не смогла приехать, к ней внезапно вернулся муж из-за границы. Говорят, что его жена Елизавета Арсеньева высказалась в тот момент: «Собаке собачья смерть». Эту же фразу в 1911 году передаёт редактор «Русского архива» П.И. Бартенев уже от другого лица. Он лично слышал эту историю от княгини М.В. Воронцовой, бывшей тогда ещё замужем за родственником Лермонтова А.Г. Столыпиным: «Государь по окончании литургии, войдя во внутренние покои кушать чай со своими, громко сказал: «Получено известие, что Лермонтов убит на поединке». – «Собаке – собачья смерть!» Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна (Веймарская, «жемчужина семьи») …вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял сестре своей (на десять лет его старше) и, вошедши назад в комнату перед церковью, где ещё оставались бывшие у богослужения лица, сказал: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит»… Когда внезапно ушёл из жизни сам император в возрасте 59 лет, решили поставить ему памятник и объявили конкурс в народе на лучшую эпитафию, поставили урну, куда люди могли опускать записки со своими вариантами эпитафий, но, когда переполненную урну опустошили, и стали читать, пришли в ужас. На записках было написано: «Собаке собачья смерть».

Не знаю, был ли какой плач на Руси по поводу смерти императора, а вот по поводу Лермонтова – да. Люди ощущали его смерть как личную трагедию. Мы это знаем по многочисленным письмам и тех, кто знал Лермонтова и тех, кто его читал.

Нам известно из письма Марии Лопухиной А.М. Хюгель (в девичестве Верещагиной), как тяжело его смерть пережила её сестра, та, что все долгие годы после его отъезда из Москвы 9 лет назад продолжала любить поэта тайно, Варвара Александровна Бахметьева (умерла через десять лет после смерти возлюбленного). О ней был его любимый разговор с Катенькой Быховец, которая напоминала ему Вареньку в юности. Узнала ли она, что последнее его стихотворение было о ней? Но невольно вспоминается другое стихотворение, вольный перевод из Гейне, написанное тогда же в пятигорское лето:

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье,
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье…
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Лермонтова затронуло стихотворение Гейне своей близостью к его любви и его думам. Надеемся, что души любящих друг друга встретились на небесах.

Конечно, самой сильной потерей его смерть стала для бабушки, для неё он был смыслом жизни. В первое время слышать не могла имени внука, так ей было больно, даже имён других поэтов при ней нельзя было упоминать, а потом смирилась. И была по свидетельству крестьян великодушна, щедро раздавая милостыню. Да и для кого было теперь держать имущество, она потеряла всех: мужа, дочь и внука. Теперь единственной её надеждой было свидеться с дочерью и внуком на небесах.

В начале XX в. чембарская жительница М.И. Храмова, мать первого директора Тарханского музея, записала три тетради воспоминаний старожилов о прошлом Чембара и предания о Лермонтове и его семье. Так описала она события 1842 года:

«Гроб с прахом поэта привезли 21 апреля (ст.ст.) 1842 года, на пасхальной неделе. В Чембаре сделали остановку. У собора Николая Чудотворца служили панихиды. Бывшая дворовая вспоминала: «Барыня старая приезжала. А господ сколько было!.. <…> Молодые ей ручку целовали, а старые обнимали. У всех были свечи. <…> Помин в Чембаре устроили: раздавали булки, калачики и деньги…».

А в Тарханах на два дня гроб установили для последнего прощания, 23 апреля состоялось захоронение в фамильном склепе, над которым потом была сооружена часовня. По воспоминаниям крестьян, «по всему селу плач стоял неподдельный»… Крепостные вспоминали, что молодой барин «до народа-то добрый был…, жальливый, <…> обиды от него никому не было… Не фрельный [капризный] был, простой…, добродушный…, отдал крестьянам Моховое болото, обещал землю дать и рощу Долгую…».

Не хочу представлять Лермонтова в идеальным виде, он бывал и вспыльчив, унаследовав раздражительность от отца, и едок, правда, никогда по отношению к слугам или солдатам (тут сказывался пример бабушки, которая всегда всем говорила в глаза что думала). Но нельзя ему отказать в великодушии, умении попросить прощения, сочувствии к простому народу. Здесь сказались и пример его рано умершей матери, о которой ему много рассказывали, и воспитание его гувернантки, и наставления отца, да и природное великодушие и смелость, унаследованные от родителей. Для великодушия нужно не только сочувствие, но и смелость. Рассказывали, как один раз маленький Миша с плачем упрашивал бабушку не наказывать дворовую девку, «А ну как я тебя побью вместо неё», – пригрозила бабушка, – а ведь не побоялся. Ни один русский не оставил в воспоминаниях своих крестьянах столько любви к себе, передававшихся из поколения в поколение, как Лермонтов. Существует много преданий, собранных от крестьян о доброте Михаила Юрьевича, и любви к нему, и благодарности крестьян.

Юный Лермонтов когда-то написал:

…я родину люблю
II больше многих: средь её полей
Есть место, где я горесть начал знать,
Есть место, где я буду отдыхать,
Когда мой прах, смешавшися с землей,
Навеки прежний вид оставит свой.

Родина приняла его прах. Удивительно, как мало прожил он и как много оставил о себе доброй памяти. Мы с детства читаем его стихи, которые В.В. Розанов назвал золотым евангелием русской поэзии, и они остаются в памяти, остаются частью нашего сознания, формируя нашу душу, нашу фантазию и ту сокровенную связь с Богом, которая близка каждому ребёнку, а потому и стихи проникают в самую глубину сердца.

ВАЛЕРИЯ КИРСАНОВА

СМЕРТЬ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
очерк

Часть первая

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Чёрный человек,
Чёрный, чёрный,
Чёрный человек
На кровать ко мне садится,
Чёрный человек
Спать не даёт мне всю ночь.

С. Есенин. «Чёрный человек»

Согласно официальной версии, поэт покончил жизнь самоубийством. К этому мнению склонялись многие его современники, кто-то из близких друзей.

На расстоянии в почти сотню лет сложно разглядеть подробности, да и где их взять? В отредактированной, словно сказки для детей, официальной биографии? В мемуарах, наполненных страстями, страхом, завистью или в диких сетевых байках?

И всё же попробуем.

Свидетель первый: близкий друг, с которым молодой Есенин какое-то время вместе жил и путешествовал, соратник по перу, красавец Анатолий Мариенгоф. Отличный писатель. Однако Сергей обошёл его во всём – в таланте, популярности, по деньгам. Читаем в «Романе без вранья»: «Есенин до последней капли выпил бутылку шампанского. Жёлтая муть перелилась к нему в глаза. У меня в комнате, на стене, украинский ковёр с большими красными и жёлтыми цветами. Есенин остановил на них взгляд. Зловеще ползли секунды и ещё зловещее расползались есенинские зрачки, пожирая радужную оболочку. Узенькие кольца белков налились кровью. А чёрные дыры зрачков – страшным, голым безумием.

Есенин привстал с кресла, скомкал салфетку и, подавая её мне, прохрипел на ухо:

– Вытри им носы!

– Серёжа, это ковёр… ковёр… а это цветы…

Чёрные дыры сверкнули ненавистью:

– А!… трусишь!…

Он схватил пустую бутылку и заскрипел челюстями:

– Размозжу… в кровь… носы… в кровь… размозжу…

Я взял салфетку и стал водить ею по ковру – вытирая красные и жёлтые рожи, сморкая бредовые носы.

Есенин хрипел.

У меня холодело сердце».

Было? Возможно. Скорей всего. А ещё в то время случились малые поэмы (36 штук!), поэмы полноформатные, проза… Поэт говорил, что никогда не пишет хмельным. Так когда успел-то написать, если беспробудно пил? Не сходится пазл. Вероятно, были запои, но когда он был особенно неудобен – трезвым или пьяным?

***

Они следят, охотятся повсюду,
Я слышу хищный стрекот тёмных птиц –
Всё ждут, когда я отключусь, забудусь,
Не распознаю в сумраке их лиц.
Смеются над поэтом, слабым, пьяным,
Наверно, нет забавы веселей,
Толкать под локоть бармена: «Налей!
Пускай заблеет связанным бараном».
Мне страшно, я таким и становлюсь –
Как будто мозг заткнули винной пробкой.
Поток стихов сменился струйкой робкой,
Где вместо жизни умиранья грусть.
Першит под нёбом горечь расставанья…
Мой друг, люби и помни, до свиданья.

Часть вторая

Я пришла в Дом печати к его гробу.
Он лежал раскрашенный.
Его загримировали, и синие щеки были нарумянены.

Галина Серебрякова, воспоминания

Возвращаясь к теме смерти, приведём несколько фактов, дающих повод для размышления: на посмертной фотографии Есенина чётко виден большой вдавленный шрам, пересекающий переносицу. Согласно акту патологоанатомического вскрытия, вмятина на переносице появилась из-за того, что голова Есенина долгое время была прислонена к горячей паровой трубе отопления – но, по мнению опытных криминалистов, под таким углом голова человека (даже мёртвого, даже висельника!) просто не становится. Далее, след от петли, отмеченный судмедэкспертом, описан как тонкий, светлый, обрывающийся у затылочной части – то есть он никак не мог остаться от толстой верёвки, обёрнутой вокруг шеи несколько раз, а именно в такой удавке и нашли поэта…

Следующая несостыковка – порезы на руках. Представьте, правша хочет порезать себе вены – ну ведь логично, что он вскроет левую руку, так ведь удобнее, он привык действовать правой рукой! Тем не менее, глубокий порез именно на правой руке. Непонятно…

Такие мелочи, как вытекший левый глаз, кровоподтёки на ногах, царапины и порезы на руках, явно прижизненные, вывих правой ступни, можно не рассматривать, поскольку это неопасные для жизни повреждения, хотя для целостности картины их можно запомнить…

Второй свидетель, поэт и переводчик Николай Николаевич Браун, сын журналиста, который помогал снять тело Есенина с трубы: «Мой отец – Браун Николай Леопольдович рассказал следующее: смертельная рана, глубоко уходящая, была у Есенина над правым глазом, под бровью, пробита, как будто ударили сдвоенной железной палкой, а вероятнее всего – рукояткой револьвера типа наган с ушком, оставившим две характерные вмятины на лбу, очевидные на „неофициальной“ посмертной маске. Я спросил отца о круглой ране над правым: не был ли Есенин застрелен? Ответ отца: „Он был умучен“. Переносье было пробито на уровне бровей и левый глаз запал». Кстати сказать, Николай Леопольдович наотрез отказался поставить подпись под протоколом, предполагающим смерть через повешенье. В результате подписи поставили люди, которые вообще не видели Есенина на трубе.

Так повесился человек или повесили?

***

В гробах лежат накрашенные куклы,
Но этот мёртвый слишком непохож:
Как будто вместо фото дан чертёж,
Где рот его, младенчески припухлый,
Прорезал на бумаге острый нож.

Волос кудрявых склеенные комья
Заправили прямыми на виски.
С застывшим выражением тоски
Лежит на досках некто незнакомый.

Душа его, проворная синица,
Уже летит на запад, на восток –
Петь по ночам для тех, кто одинок:
Минутным мороком ожить, присниться,
Наговориться вдоволь между строк.

Часть третья

Я средь женщин тебя не первую,
Немало вас,
Но с такой вот, как ты, со стервою
Лишь в первый раз.

Чем больнее, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.

К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Дорогая… я плачу…
Прости… прости…

С. Есенин. «Сыпь, гармоника. Скука… Скука…»

Изучая биографию поэта, приходишь в изумление от неистощимой изобретательности авторов. Недавно в Википедии, в кишащей орфографическими ошибками статье прочла, что «поэт покончил с собой, впав в депрессию от своей неразрешимой бисексуальности». Это Есенин-то, обожающий женщин, с его нескончаемым хороводом романов! Жаль, что поэт не может восстать и отлупить клеветника как полагается… Кстати, а что сам Сергей Александрович говорил о своих женщинах?

«За всю жизнь любил только двоих». Зинаида Райх и Айседора Дункан. Обе незаурядные личности, обе ненадолго пережили поэта, погибнув страшной смертью. «Письмо к женщине», посвящённое первой жене Зинаиде, одно из самых восхитительных любовных стихотворений Серебряного века…

А вторая жена была мировой знаменитостью. Разменявшая пятый десяток танцовщица, с которой двадцатипятилетний Сергей стал жить с первого дня знакомства, с которой расстался так жестоко. Впрочем, своими расставаньями без сантиментов Есенин и до этого был знаменит. Но…

Третий свидетель, переводчик, директор школы танца Айседоры Дункан Илья Шнейдер пишет: «Есенин не пропустил ни одного спектакля Айседоры ни в Москве, ни в Петрограде… Особенно он любил „Славянский марш“, который смотрел иногда не из зрительного зала, а со сцены. Его удивляли речи, которые постоянно произносила Дункан и во время спектакля, и по окончании его. Сам Есенин, как известно, ораторским талантом не обладал, хотя стихи свои читал с потрясающей силой. Умение произносить речь без пауз, „эканья“ и „меканья“ вызывало у него восторг.

– А вы действительно переводите со сцены всё, что говорит Изадора, или от себя добавляете? – допытывался у меня как-то после спектакля Есенин, возбуждённо улыбаясь и сияя глазами. – Поговорить-то она любит!».

Не совпадают подробные мемуары Шнейдера, ежедневно общавшегося с парой, с многочисленными сплетнями, будто прощелыга Есенин использовал богатую немолодую танцовщицу для своих целей. По Москве тогда ходила частушка:

Ваня ходит неумыт,
А Сережа чистенький.
Потому Серёжа спит
Часто на Пречистенке.

Думается, это две равновеликие силы, энергии притягивали и отталкивали друг друга. И возможно, пьяница и неверный муж был загнанным волком, который не хотел, чтобы его участь разделила любимая женщина… Не мог жить с Айседорой или просто не мог уже жить? В любом случае, конец любовной истории. Не очень-то помогло. Петля, затянувшаяся на шее поэта, очень скоро задушила Дункан. Её последние слова «Прощайте, друзья, я еду к славе!» до сих пор в перекличке с есенинским «До свиданья, мой друг, до свиданья…». Роковое совпадение, фатум, судьба.

***

Она звала его: «Ангел мой!
Сергей Александрович, dear».
А он её – Дуней, своею милой…
Этой тактильной, почти немой,
На языке его неговорящей
Женщине ночью дарил любовь,
Сладкие пьяные страсти.
И, расставаясь, думал ли он,
Что попадут под удавку рока
Прима, на сцене нашедшая трон,
И убежавший поэт одинокий.
Оба любимцы любой толпы,
Оба задушены, оба мертвы.
Всё, что осталось, утоптано в строку.

Часть четвертая

Я выпил кубок свой до дна,
Душа отравою полна.
И вот я гасну в тишине,
Но пред кончиной легче мне.

С. Есенин. «Исповедь самоубийцы»

Несомненно, Сергей Александрович имел суицидальные наклонности, страдал от страшной депрессии, которая усугублялась запоями. Он чувствовал приближение смерти – более ста упоминаний о кончине за последние два года творчества красноречиво говорят об этом.

Но давайте честно, попытки самоубийства, не приводящие к смерти – это лишь способ привлечь к себе внимание, получить сочувствие. Да, это инфантильно, что не противоречит характеристике поэта.

Тем не менее, не отвечающий в личной жизни за многие поступки, Есенин крайне серьёзно относился к своим стихам. Например, когда власти решили изъять из его сочинений слово «Бог», Сергей Александрович подрался с наборщиком в типографии, но книга вышла без сокращений, и до самой смерти поэта никто больше не осмеливался самовольно редактировать его тексты.

Свидетель четвёртый, поэт Василий Князев, тот самый приятель, который сопровождал тело Есенина в морг и дежурил ночь возле трупа, а утром получил вещи покойного. Он написал пронзительное стихотворение, с начальным катреном:

В маленькой мертвецкой у окна
Золотая голова на плахе:
Полоса на шее не видна,
Только кровь чернеет на рубахе…

Но почему же наблюдательный человек не заметил странгуляционной борозды висельника? Об этом свидетельствует его стихотворение. А дело в том, что когда человека вешают после смерти, эта полоса бледная или вовсе отсутствует…

***

Писать правдиво доставало сил,
Но смерть найдёт того, кто ищет лихо…
Зелёный змий его уговорил
Забраться на трубу, а после спрыгнуть.

Так было, да? Повесился во сне?
По пьяни можно сделать что угодно:
Прощается, идёт к бюро работать,
А ночью с чёрной тенью на стене
Ведёт часами странные беседы –
Всё холоднее жизнь, всё жарче ад…
Он пьяница, никто не виноват!
Кудрявый локон намочила Лета.
Квадратная столешница плывёт,
Ей машет вслед растроганный народ.

Часть пятая

Кто смеет мне быть правителем?
Пусть те, кому дорог хлев,
Называются гражданами и жителями
И жиреют в паршивом тепле.

С. Есенин, поэма «Страна негодяев»

Рассмотрим главную составляющую «убийственной» версии – кому выгодно?

Пьяница и дебошир, мало ли кто мог желать Есенину смерти! Но сколько человек имели возможность не просто убить, а ещё инсценировать самоубийство при закрытой изнутри двери в дорогой гостинице?

Как вообще попасть в закрытое помещение? Через окно? На дворе декабрь, окно закрыто, дверь тоже.

Значит, в номер впустил своего убийцу сам поэт. Но кто бы это мог быть? Сергей Александрович в тот вечер никого не хотел видеть, о чём и сообщил портье. Значит, это были люди, которых Есенин не мог не впустить, обязан был открыть перед ними дверь.

Сторонники версии самоубийства могут возразить, что стихи Есенина очень любили власть имущие. Лев Троцкий был горячим поклонником Есенина, несколько раз у них случались личные встречи. За Есенина ходатайствовал перед Дзержинским Христиан Раковский, чтобы тот помог с лечением «самого талантливого поэта в Союзе». Ему помогал близкий к Сталину Сергей Киров. Кто же тогда посмел поднять руку на Есенина?

А теперь представьте человека весьма влиятельного, обожающего стихи некоего поэта и не скрывающего свою симпатию. Этот человек читает новую поэму Есенина «Страна негодяев» и узнает в ней себя так отчетливо, как будто это фотографический снимок. Что он чувствует? Ярость, сродни той,

что терзает мужчину, узнавшего об измене красавицы жены. Желание наказать и возможность сделать это. Влияние, чтобы судмедэксперт, портье и остальные оставили правильные воспоминания для истории. Подписи стоят только под нужными документами, остальные молчат, потому что не хотят идти по этапу, ведь поэта уже не вернёшь…

Свидетель пятый, врач-рентгенолог, поэт, литературный критик Иннокентий Оксёнов оставил запись в своём дневнике: «Лежал Есенин на дровнях головою вперёд, ничего под тело не было подложено. Милиционер весело вспрыгнул на дровни, и извозчик так же весело тронул. Мы разошлись, и каждый унёс в себе злобу против кого-то, погубившего Сергея».

То есть сомнений, что Есенин убит, у тех, кто видел тело в тот злополучный день, не было. Судя по осторожному молчанию сочувствующих, не было сомнений и в том, кто убийцы.

***

Ты мог не видеть, просто отвернуться
От смрадных трупов, нищих стариков,
Детей распухших, глупых батраков,
Которых мы спасали от оков –
Вольно ж им было снова в грязь вернуться…

Мы вознесли тебя под облака.
Собака, что ж ты лаешь на хозяев?
Надеялся, что нынче не достанем?
Что сможешь закосить под дурака?

Наш просвещённый век не терпит пыток,
Но ты чертей узнаешь по рукам –
Дотронутся до тела тут и там,
И ты поймёшь, как безнадёжно хлипок
Заплёванный, залитый водкой «храм».

Часть шестая

Не знаете ли, что тела ваши
суть храм живущего в вас Святаго Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою.

Коринфянам 6:19

И главное, необъяснимое для версии о самоубийстве обстоятельство – Есенина отпевали сразу по кончине и продолжали поминовения на протяжении многих лет. По православным канонам церковные молитвы о самоубийце невозможны. Только частные, домашние, которые из любви к усопшему читают друзья и родственники… Но в случае с Сергеем Александровичем всё было иначе.

Шестой свидетель, Ирина Михайловна Мамонова, внучка двоюродной сестры поэта по линии отца: «Есенина отпевали в трёх местах: в Москве, родном селе Константинове и соседнем селе Федякине. Не было сомнений, что он убит. Иначе никто бы не стал его отпевать. Моя бабушка, Надежда Фёдоровна, была на семь лет старше поэта, она прожила 97 лет. Бабушка рассказывала, что была на отпевании в Константинове. А в Москве на отпевании – мама Есенина Татьяна Фёдоровна».

***

Когда пройдут все мытарства земные,
Услышь его во Царствии Своём.
Глаз васильковых тёмный окоём
Захлопнется. Заголосит о нём
Трава сухая, пегая, ковылья,
Под снежным покрывалом зашумит,
Припоминая рук его усладу:
«Прими к Себе, небесный Виноградарь…»

Поэты – человеческий подвид,
Который нарождается без кожи,
И так живёт – кто посмелей, кто строже,
Но боль стоять на месте не велит –
И мы бежим, теряя осторожность,
Туда, где херувим с мечом стоит.

Часть седьмая

Мне жаль тебя.
Останешься одна,
А я готов дойти
Хоть до дуэли.
«Блажен, кто не допил до дна
И не дослушал глас свирели».

С. Есенин. «Письмо к сестре»

Кто же, какой официальный источник впервые объявил о самоубийстве поэта? Удивительно, невероятно – но это были газеты, которые 29 декабря 1925 года взорвались подробностями о трагедии в «Англетере». Там были воспоминания знакомых, очевидцев, добавляющих к портрету Есенина деструктивных, разрушительных черт, подтверждающих версию о самоуничтожении. В отличие от журналистов, работники 2-го отделения милиции Ленинграда, расследующие «дело Есенина», дождались окончания XIV съезда партии, общественного отклика, реакции родственников Сергея Александровича и только после этого приняли решение.

Седьмой свидетель, заведующий столом дознания Вергей почти месяц спустя, лишь 20 января 1926 года, написал заключение:

«Не усматривая в причинах смерти гр. Есенина состава преступления, полагал бы материал дознания в порядке п. 5 ст. 4 УПК направить нар. следователю 2-го отд. гор. Ленинграда – на прекращение за отсутствием состава преступления. 20 января 1926 г. Завстолом дознания Вергей.

Согласен: нач. 2-го отд. ЛГМ (Хохлов)».

Ловкий документ. С одной стороны, ни одного слова, подтверждающего самоубийство Есенина, а с другой – нет состава преступления, умер и умер, аминь.

Ах, не умер, убит? Да кто ж будет считать щепки, когда рубят лес? В Ленинграде всё еще властвует человек, в своё время сказавший: «Мы должны превратить Россию в пустыню, населённую белыми неграми, которой мы дадим такую тиранию, которая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Путём кровавых бань мы доведём русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния».

Нет в стране Советов места поэту Есенину, который и сам признавал: «Тошно мне, законному сыну российскому, в своём государстве пасынком быть».

***

Если текст просыпан уже в тетрадь,
Ты никак не сможешь соврать про это –
Как бы тьма не старалась тебя пугать,
Раздувая тени на стыках света.

Некто спрятанный вдруг оказался наг,
Скальпель слова срезал его покровы.
Ненадёжный друг или верный враг?
На бумаге явится чёткий контур.

Неприятности – это не точный факт.
Между Злом и Ужасом сделай выбор,
Уповая на Бога. Давай, простак,
Рыбаком побывав, обращайся в рыбу.

И когда утопят тебя в крови –
До последней строчки держись, плыви.

С Есениным было покончено. Немного больше времени заняла работа с «есенинщиной» – вой литературных и политических шакалов, радостно бросившихся на труп, разлился по всей стране: «…от его стихов попахивает Средневековьем, как и от всех произведений „мужиковствующих“», «…поэт погиб потому, что был несроден революции» (Лев Троцкий), «…идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого «национального характера» (Николай Бухарин), «лирика взбесившихся кобелей» (Л. Сосновский).

«Большое видится на расстоянье» – написал когда-то Сергей Александрович.

Расстоянье в сто лет достаточное, чтобы разглядеть рост человека, поэта, из способного крестьянского мальчика превратившегося героя своего времени…

«СЕТЧАТКА»

ЕЛЕНА ТИТОВА

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Возможность данной темы и предварительных комментариев к откликам Варлама Шаламова (1907-1982) на творчество Марины Цветаевой была обозначена в докладах и выступлениях в 2017 г., когда многое в поэтическом наследии Варлама Тихоновича и содержащееся в его записных книжках, черновиках, письмах ещё находилось в работе исследователей и не было представлено в публикациях. Общение с составителем, автором вступительной статьи и примечаний двухтомного издания стихотворений и поэм В.Т. Шаламова в серии «Новая библиотека поэта» (2020)[1] Валерием Васильевичем Есиповым позволило систематизировать и уточнить необходимые материалы, получить новые сведения, а также понять, что вопрос о рецепции Шаламовым творчества и судьбы Марины Цветаевой – это, безусловно, лишь одно из направлений общего исследования поэтики Шаламова в контексте художественных исканий Серебряного века. Новое обращение к теме, разумеется, учитывает и метафорическое сближение имён в эссе Бориса Парамонова в книге «Мои русские». Назвав Цветаеву самым крупным поэтом XX века, сравнивая её с Осипом Мандельштамом, автор приводит следующую параллель: «если Мандельштам – это Солженицын, то Цветаева – Варлам Шаламов. Дело не в том, кто выжил, а кто погиб, а в том, какое длящееся впечатление остаётся от их творчества. В случае Мандельштама это всё та же „тоска по мировой культуре“, по „всечеловеческим холмам, синеющим в Тоскане“. Мандельштам, что ни говори, – это небо. Цветаева – оставь надежду всяк, сюда входящий: ад, онтологический провал. И душа её из этого ада стремится не на небо, а – в никуда, в ноль бытия»[2].

Обратим внимание на то, что, как будто следуя этому сближению имён и одновременно корректируя его, автор недавней статьи (опубликована в 2021 г.) «В. Шаламов и М. Цветаева: родство и полярность поэтических миров»[3] Дарья Кротова настаивает на том, что в ряде своих творческих и мировоззренческих установок они предстают даже антиподами. Это, однако, не отменяет ценности всех высказываний Шаламова о Марине Цветаевой и необходимости видеть в его совпадениях и несовпадениях с ней проявление довольно сложной поэтики усвоения, возникшей в биографическом плане довольно поздно.

Содержательная часть представленного здесь исследования в целом опирается на хронологический принцип и учитывает жанровые особенности произведений Варлама Шаламова и документов, в которых упоминается имя Марины Цветаевой или идёт речь об отношении к ней. Однако некоторых смещений и нарушений хронологии не всегда удаётся избежать, поскольку и сам писатель возвращался к некоторым своим оценкам и уточнял обстоятельства знакомства с цветаевской поэзией.

По утверждению самого Шаламова, стихи Цветаевой пришли к нему в неволе: в пересыльной тюрьме в 1929-м и в 1937 г., а также в условиях работы фельдшером в посёлках Колымы. В Бутырской тюрьме в 1929 г. он услышал от сокамерника радиотехника Соколова, арестованного по делу розенкрейцеров, «Сон Стеньки Разина», в 1937-м – бывший эмигрант, литературный критик Герман Хохлов, пражанин, прочитал ему стихотворение «Роландов Рог»[4] – и Шаламову удалось запомнить этот текст на слух наряду с двумя стихотворениями В. Ходасевича, не забыл он его и на Колыме. Мотивировать запоминание данного цветаевского стихотворения можно двояко: произведение это в условиях тюремного заключения звучало как лирический манифест человека, не сломленного обстоятельствами, а позднее, скорее всего, вспоминалось в связи с самоопределением Шаламова как поэта, поскольку он снова активно вернулся к стихам в конце 1940-х. Реминисценции из стихотворения «Роландов Рог» вошли в черновик неопубликованного при жизни Шаламова стихотворения «Портрет» 1954 г: «Оледенеет нищих смех, / Косматый леший свистнет. / Одна из всех, противу всех / В петле повиснет»[5]. Часть цветаевской форму-

лы «за всех» в шаламовском стихотворении 1959 г. на тему поэзии также будет поддержана аллюзийным сближением: «Стихи – это стигматы, /Чужих страданий след, / Свидетельство расплаты / За всех людей, поэт» (НБП-II, 94).

Данные реминисценции и аллюзии (их ряд, безусловно, может быть дополнен в специальном исследовании) не являются всё же главными откликами поэта Варлама Шаламова на имя Цветаевой, её судьбу. В его наследии обнаруживается своеобразный цветаевский стихотворный триптих, состоящий из произведений: «Мне грустно тебе называть имена…», «Ты молча смотришь на меня…», «Цветной платок, что сбился набок…»[6]. Несмотря на различие моментов создания, все три текста являются посмертными обращениями к Марине Цветаевой, во всех трёх говорится о её гибели и о жертвенной природе поэтического дара. Впервые цикл полностью был опубликован в 2020 г. Приводим эти стихотворения ниже под цифрами:

М. ЦВЕТАЕВОЙ[7]

1.

НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ

Мне грустно тебе называть имена
Российского мартиролога.
От Пушкина тянется, вьётся она –
Кровавая эта дорога.

Уж будто поэту стиха не сложить,
Не жертвуя собственной шкурой,
Уж будто без смерти нельзя стало жить
Традициям литературы.

Верёвка и пуля, кинжал и яд…
Как будто в сыскном музее,
В квартирах поэтов покойных висят
Реликвии ротозеев.

Я выйду когда-нибудь в эту игру
На пристальный взгляд пистолета.
И имя твоё повторяя, умру
Естественной смертью поэта.

<1942–1950>
(НБП-II, 154-155)

2

НАЕДИНЕ С ПОРТРЕТОМ

Ты молча смотришь со стены,
Болярыня Марина,
Залита пятнами луны,
Как стеарином.

Ты взглядом гонишь муть и хмарь
Бесовского веселья.
Дрожит наследственный янтарь
На ожерелье.

А может, это ложь луны,
И сквозь луны уловки
На шее явственно видны
Узлы верёвки.

<1954>
(НБП-I, 335)

3.

НАЕДИНЕ С ПОРТРЕТОМ

Цветной платок, что сбился набок
И обнажил на шее след
Объятий тысячи Елабуг,
Венец успехов и побед.

Всё та же рыцарская служба,
Незамолённые грехи,
Другим – покой, любовь и дружба,
Тебе – стихи, одни стихи.

<1964>
(НБП-II, 155)

Обстоятельства создания и история 1-го стихотворения особые. Поводом для его создания стало известие о гибели Марины Цветаевой, «в какой-то изустной версии дошедшее до Колымы» (НБП-II, 503), где в это время находился Варлам Шаламов: в 1942 г. он работал сначала в угольной шахте лагеря «Аркагала», к концу года был переведён на общие работы на прииск «Джелгала»[8]. Стихотворение могло быть сложено в сознании и записано не сразу, однако впоследствии, в феврале 1952 г., уже будучи вольнонаёмным фельдшером в Оймяконском районе Якутии, Шаламов отправляет это стихотворение, наряду с несколькими другими, Борису Пастернаку. С этого момента начинается переписка двух авторов, по которой очевидно, что и стихотворение Шаламова, посвящённое Цветаевой, и само имя её становятся для двух поэтов основой для размышления о судьбе творческой личности, о таланте и его зависимости от влияний, о недопустимости перепевов и повторений в поэтическом искусстве и одновременно о возможности (на этом настаивает Шаламов) творческого отклика на поэзию тех, кто так помог выстоять в борьбе с тяжелейшими, «расчеловечивающими», испытаниями.

Указанное стихотворение в ответном письме Пастернака не случайно отмечено первым. В этом лирическом признании Шаламова тема насильственного и преждевременного ухода поэтов из жизни, благодаря перечислению способов, отсылает не только к Цветаевой, но и к Пушкину, Лермонтову, Есенину, Гумилёву, Нарбуту, Лифшицу и, безусловно, соотносится с раздумьями Шаламова о Мандельштаме. Причём эта тема не обретает романтического воплощения – гибель поэта признаётся неизбежной платой за дар и чувство свободы. Строка, открывающая третью строфу: «Верёвка и пуля, кинжал и яд…» (НБП-II, 155) невольно напоминает ответную реплику героини «Поэмы Конца» Цветаевой: «Яд, рельсы, свинец – на выбор!» (III, 36), однако данных о том, что на тот момент Шаламов знал это произведение, нет. Завершение 1-го стихотворения, его заключительная строфа, в которой мотив готовности к смерти сочетается с мотивом верности избранному герою, созвучно цветаевской поэтике периода 1916-1921 гг. и уже явно отсылает к концовке стихотворения Цветаевой, посвящённого Сергею Эфрону:

В его лице я рыцарству верна.
– Всем вам, кто жил и умирал без страху.
Такие – в роковые времена –
Слагают стансы – и идут на плаху.
(I, 202)

Важно отметить, что Шаламов на момент создания этого 1-го стихотворения цикла уже был знаком с книгой «Вёрсты» (обстоятельства знакомства можно лишь предполагать, сам автор их не пояснял). Накануне 1953 г. он сообщает в письме Пастернаку: «Жена прислала мне ещё стихи Цветаевой, но большинство их – из „Вёрст“, которые я хорошо знаю, и большим удовольствием было перечесть их снова на полюсе холода – письма жены, Ваше письмо и стихи. Ваши и цветаевские»[9].

В период встреч с Пастернаком после освобождения Шаламова, а именно в 1953-1956 гг., нового этапа эпистолярного общения, тема, связанная с Цветаевой, не была забыта. Одно из направлений этой темы было определено словами Пастернака, которые Шаламов в середине 1960-х гг. приводит в черновике мемуарного очерка о поэте: «Переписка с вами – это переписка с Мариной Цветаевой, она хотела от стихов приблизительно того же, что и вы»[10]. Вместе с тем, несмотря на последующее знакомство Шаламова с цветаевскими письмами к Пастернаку (ещё предстоит выяснить, какими именно, по какому и откуда взятому источнику) и интересу к оценкам поэзии, содержащихся в них, в записной книжке 1965 г.

появится и такое определение: «Письма Цветаевой Пастернаку – экзальтированной литературной дамы»[11]. При этом, однако, стоит учесть общий контекст самой записи: ряд высказанных в ней оценок допускает предположение, что в приведённой выше фразе заключено суждение не только Шаламова или даже вовсе не Шаламова.

Два других стихотворения цветаевского цикла у Шаламова, оба «портретные», также тесно связаны с темой гибели. Они перекликаются и с записью Шаламова, сделанной в 1960-е гг. и похожей на план очерка о Марине Цветаевой. В записи есть отсылка: «Квартира Л.М. Бродской с портретом Цветаевой» (НБП-I, 548). Речь идёт о художнице Лидии Максимовне Бродской-Сегаль (1892-1977), с которой Шаламов общался и переписывался в середине 1950-х гг. Сравнительно недавно стало известно о живописной работе, которая и стала поводом к написанию, по крайней мере, 2-го стихотворения (3-е могло быть создано уже по канве воспоминаний о первом впечатлении в момент подготовки сборника стихотворений «Глубокая печать»[12]): автор единственного прижизненного живописного портрета Марины Цветаевой – Магда Нахман, он создан в 1913 г., а в 2022 г. подарен Дому-музею Марины Цветаевой в Москве.

Важно также заметить, что, судя по письму Л.М. Бродской в декабре 1954 г., какие-то вопросы о Марине Цветаевой Шаламов художнице задавал. В коротком ответе адресат поддерживает серьёзность темы и даже предлагает Шаламову расширить круг тех, с кем можно говорить о Цветаевой: «А насчёт М.Ив. разговор особый и с людьми могу Вас познакомить, которые её хорошо знали и у которых её стихи есть. Я знаю сестру её мужа»[13]. Краткий перечень сведений о Цветаевой и оценок её жизни, полученных от Л.М. Бродской, зафиксирован в записной книжке Шаламова[14].

Отметим, что содержащиеся во 2-м стихотворении и частично отмеченные в комментариях В.В. Есипова (НБП-II, 504) реминисценции и аллюзии (главные: «болярыня», «узлы верёвки», «след на шее», «Елабуга»), а также менее явные отсылки («рыцарская служба» – стихотворения «Роландов Рог» и «С.Э.»), тесно связывают это 2-е стихотворение с 1-м. В 3-м также поддержан мотив жертвенности выбора – «Тебе – стихи, одни стихи» (НБП-I, 155) и мотив неизбежно трагического, насильственного ухода поэта из жизни. Роднит их и обращение к Цветаевой как к живому адресату – своеобразно перебивающее, оспаривающее мысль о конечности земного бытия поэта.

Все три стихотворения цветаевского цикла у Шаламова внутренне диалогичны – это его разговор с Цветаевой, его поэтическое, поверх расстояний и времени, обращение к ней, взывающее к ответу. Такой почти интимной диалогичности: «И имя твоё повторяя, умру», «Ты молча смотришь со стены, / Болярыня Марина», «Цветной платок, что сбился набок / И обнажил на шее след» – нет в других стихотворениях, посвящённых поэтам Серебряного века, в том числе в циклах стихов к Пастернаку и Ахматовой.

Самое позднее поэтическое упоминание Шаламовым о Цветаевой – в коротком четверостишии:

Чехи – колыбель славянского рода,
По-славянски мягка их природа.
Истеричный цветаевский крик
Не годится на чешский язык.
<1973>
(НБП-II, 239)

Стихотворение, разумеется, не рассматривалось автором при подготовке сборника «Глубокая печать» в начале 1960-х гг., поскольку ещё не было написано. Его лаконичный характер говорит о принципе, свойственном Шаламову на этапе угасания поэтической активности: рифмованные строки использовались по аналогии с фантиками в детстве – для закрепления в собственной памяти события и впечатления. Эпитет «истеричный» был воспринят как результат отрицательной реакции, что привело к следующему выводу в комментарии В.В. Есипова: «С глубоким уважением относясь к творчеству М. Цветаевой, Шаламов с раздражением воспринимал «по-женски» аффектированную стилистику многих её стихов, а также статей и писем» (НБП-II, 533). Однако если данное короткое произведение рассмотреть в широком историко-литературном, политическом и биографическом (биография и автора указанного текста и Марины Цветаевой) контексте, учесть при этом сравнительные смыслы в следующем стихотворении Шаламова «Чехи» («Решительная нация…»), то возникнут самые разные ассоциативные значения двух последних строк, оспаривающие приведённый выше комментарий. Мешают согласиться с ним и особые документы, в которых зафиксированы устные высказывания Шаламова о Марине Цветаевой ещё в середине 1950-х гг., – донесения осведомителей.

В настоящее время известны восемь таких текстов, в трёх из них, датируемых 10, 11 апреля и 21 июня 1956 г., есть имя Цветаевой. Как отрицательный факт в первом же донесении оговаривается уверенность Шаламова в том, что обязательно будут признаны и напечатаны стихи таких поэтов, как Есенин и Блок, что «зазвучит Цветаева»[15]. Повторяя заключительное суждение во 2-м донесении, тот же осведоми-

тель усиливает обвинение Шаламова следующим пояснением: «Цветаева-поэтесса лирического круга. Причём круг этот ограничен – кроватью, церковью, богом без особых примет и возлюбленным „лебедем-молоденьким“. Никаких общественных вопросов в стихах Цветаева не поднимает. Критики её относят к писателям личной лирики, причем очень бедной»[16]. В 3-м, наиболее обстоятельном сообщении, указываются новые реплики Шаламова, включающего Цветаеву в круг чтимых им поэтов, наряду с Пастернаком, Есениным, Клюевым, упоминающего погибшего в лагере Мандельштама и расстрелянного Павла Васильева. При этом осведомитель, характеризуя Цветаеву как „ужасную“ греховодницу и неточно цитируя в подтверждение её стихотворения «Кабы нас с тобой – да судьба свела…», «Люди на душу мою льстятся…», так поясняет отношение к ней обвиняемого лица: «Эта поэтесса укладывается в „теорию искренности“, и поэтому нравится она Шаламову»[17].

И по таким донесениям, и по упоминаемым выше письмам Шаламова можно понять, какую важную роль в шаламовских размышлениях о Цветаевой сыграли другие поэты, оказавшиеся своеобразными «посредниками»: ключевые фигуры здесь, конечно, Пастернак и Мандельштам. Выступая 13 мая 1965 г. в МГУ на первом вечере, посвящённом Мандельштаму, Шаламов перед чтением своего рассказа «Шерри-бренди», говоря о значении лирика, публично произносит имя Цветаевой. Среди тех, кто лично знал Цветаеву, помимо названных выше, следует упомянуть и вторую супругу Шаламова О.С. Неклюдову[18], а также Н.И. Столярову[19]. Напоминала о Марине и сестра её – Анастасия Ивановна: Шаламов указывает на неё и её судьбу в записных книжках[20], набросках воспоминаний «Двадцатые годы» (1962), в черновике очерка «Бутырская тюрьма» (начало 1970-х гг.).

Важно отметить, что в конце 1950-х и в 1960-е гг., уже за рамками «оттепели», Шаламов неоднократно в критических эссе и теоретических работах по поэзии (количественный их показатель по отсылкам к имени: более двадцати) упоминает Марину Цветаеву и сближается с ней в требованиях к человеку творческому, пишущему и публикующему стихи. Но он высоко оценивает и её наследие как прозаика: «Проза Цветаевой показывает, чего стоят поэты, когда они берутся за прозаическое перо. Воспитанная многолетней работой над стихами привычка к экономии и лаконичности, к выбору точного слова, самым благодетельным образом действует»[21] («Поэт и проза»).

Главные контексты шаламовской эссеистики, определяющие отношение к Цветаевой таковы:

1. Цветаева всегда указывается Шаламовым в перечне поэтов, без которых нельзя понять Серебряный век и к творчеству которых надо открыть дорогу молодым.

2. Достижения поэта видятся Шаламову прежде всего в индивидуальной интонации: для неё «характерен вопросительный тон, переход фразы на другую строку, лишение стихотворения его песенного начала, нагнетание тревожности, появление неожиданностей. Неожиданности эти имеют книжное начало. Цветаевский почерк мы узнаём очень легко»[22] («Поэтическая интонация»).

3. Шаламов соглашается с А.Т. Твардовским, высказавшим в рецензии на первую книгу Цветаевой, изданную в СССР, мысль, что доступность таких произведений всегда помогает развенчать псевдоноваторство некоторых молодых поэтов. Борясь с эпигонами и подражателями, критикуя Леонида Мартынова, Шаламов защищает Цветаеву от литературных воров и определяет её так: «израненное сердце, живая человеческая судьба, кровавые раны души»[23] («Поход эпигонов»).

4. Для Шаламова Цветаева – главный союзник в понимании единой природы поэтического искусства, фонетической основы поэтического текста, она «несравненный звуковой организатор своих стихов»[24] («Звуковой повтор – поиск смысла»), поэтому так близка ему при определении рифмы и её необходимости.

5. Характеризуя собственные стихи, Шаламов оказывается также созвучен Цветаевой и в утверждении хронологического подхода к лирическим произведениям и в способе речевого оформления своего суждения «Стихи всякого поэта – это поэтический дневник, дневник его души. При установлении точной хронологии каждого моего стихотворения читателя ждёт, мне кажется, убедительная картина мира»[25]; «в мире нет таких явлений физического, духовного, общественного, нравственного мира, которые не могли бы быть отражены стихами»[26].

Высокая частотность обращений к имени Цветаевой в стихах и эссе Варлама Шаламова позволяет утверждать, что в творческом самоопределения последнего Марина Цветаева стала одним из важнейших мировоззренческих ориентиров. Поэтика усвоения Шаламовым Цветаевой основана на постоянном творческом диалоге с ней, определениях поэзии как судьбы и длительного духовного сопротивления. Взгляды Цветаевой на искусство, её творческие императивы многое определяют в этико-эстетические позициях Шаламова как эссеиста и литературного критика. От момента формирования читательских предпочтений и начала творческой работы (конец 1920-х) и по 1970-е гг. к имени Марины Цветаевой Шаламов обращается многократно и по самым разным поводам. Его цикл стихотворений, посвящённых Цветаевой, а также аллюзийно связанных с ней, самый большой и разветвлённый в контексте художественных обращений этого автора к поэтическим именам Серебряного века. В этот цветаевский цикл у Шаламова, наряду с тремя, собранными самим автором, а также указанным в статье четверостишием, безусловно, входят и такие, датируемые 1964-1965 гг., как «Таруса», «Плоскодонка. Весла перевоза…», «Теряя вес, как бы в паденье...»[27], «Нерест»[28].

Значение цветаевской прозы, в том числе эпистолярной, для Шаламова несомненно, а настойчивость в доказательствах роли Марины Цветаевой в развитии русской поэзии и необходимости публикации и изучения созданного ею особенно заметна в 1955 –1965 гг.

Прочтение произведений Шаламова-поэта и эссеиста с точки зрения его «оглядок» на Цветаеву помогает очень многое понять и в его собственном творческом развитии, его художественных исканиях.

Примечания:

[1] Шаламов В.Т. Стихотворения и поэмы: В 2 т. / Вступ. Статья, сост., подг. текста и примеч. В.В. Есипова. СПб.: Издательство Пушкинского дома; Вита Нова, 2020 (Новая Библиотека поэта).

[2] Парамонов Б. Мои русские. СПб.: ИД «Петрополис», 2013. С. 370.

[3] Кротова Д.В. В. Шаламов и М. Цветаева: родство и полярность поэтических миров // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология, Том 31. Выпуск 3/2021. С. 538-588.

[4] Сведения из очерка В.Т. Шаламова «Герман Хохлов» // Шаламов В.Т. Собрание сочинений в 6 т. (7 т., доп.). М., 2013. Т. 4. С. 561.

[5] Шаламов В.Т. Стихотворения и поэмы: в 2 т. / Вступ. Статья, сост., подг. текста и примеч. В.В. Есипова. СПб.: Издательство Пушкинского дома; Вита Нова, 2020 (Новая Библиотека поэта). Т. 1. С. 547. Далее стихотворения В.Т. Шаламова, их заглавия и датировки приводятся по изданию, указанному в первом примечании. При отсылке под цитатой до номера страницы используется условное обозначение: НБП-I или НБП-II.

[6] С учётом разных вариантов представления данных стихотворений в печати и последующих в статье элементов текстовой рамы в данном случае используем первые строки произведения, затем – цифровые обозначения (1, 2 и т.д.).

[7] Здесь и далее заглавия, датировки стихотворений В.Т. Шаламова с учётом их графического оформления приводятся по изданию, указанному в первом примечании.

[8] Здесь и далее факты судьбы В.Т. Шаламова приводятся по разделу «Основные даты жизни и творчества В.Т. Шаламова» в издании: Шаламов В.Т. Четвёртая Вологда: повесть, рассказы, стихи / Варлам Шаламов, [сост., отв. ред., авт. вступ.ст. и коммент. В.В. Есипов]. – Вологда: Древности Севера, 2017.

[9] Варлам Шаламов. Переписка с Пастернаком [Электронный ресурс]. URL: https://shalamov.ru/library/24/1.html (дата обращения 2.10.2022).

[10] Шаламов и Пастернак: новые материалы. Публикация, подготовка текста и комментарий Валерия Есипова //Знамя. 2022. № 9. С.182

[11] Варлам Шаламов. Записные книжки 1965 г. III [Электронный ресурс]. URL: https://shalamov.ru/library/23/12.html (дата обращения 12.11.2022).

[12] Сборник «Глубокая печать» издан не был.

[13] Варлам Шаламов. Переписка с Бродской Л.М. [Электронный ресурс]. URL: https://shalamov.ru/library/24/4.html

[14] Запись, по сведениям В.В. Есипова, такова: «М.И. Цветаева (Л.М.Б.) – Лидия Максимовна Бродская (рассказала). Странная драма. Сын, ушедший от матери, потому что она ему испортила жизнь. Высокая, узкобедрая, широкоплечая. Работала всегда утром и регулярно. Скупая. В Париже проезд на автобусе стоил франк. М.И. всегда ходила пешком. Муж сказал ей, что будет бросать в канаву двойную стоимость билета, если М.И. не будет ездить в автобусе. М.И. стала ездить.

Муж был в Испании. В Париже он изменял ей. М.И. относилась к этому довольно равнодушно. Парижская полиция её извещала об изменах мужа.

Талант – это и есть забвение формы, освобождение от власти формы». Источник, указанный В.В. Есиповым: РГАЛИ. Ф. 2596, Оп. 3. Ед.хр. 15. Л. 8.

[15] Варлам Шаламов. Под окном стукача. Донесение 1. [Электронный ресурс]. URL: https://shalamov.ru/documents/11/ (дата обращения 1.10.2022).

[16] Там же. Донесение 2.

[17] Там же. Донесение 3.

[18] Ольга Сергеевна Неклюдова (1909-1989) – писательница, вторая супруга В.Т. Шаламова. Была знакома с М.И. Цветаевой в эвакуации, виделась и общалась с ней в Чистополе. В фонде писателя есть 7 стихотворений Цветаевой, частично переписанных рукой О.С. Неклюдовой.

[19] Столярова Наталья Ивановна (1912-1984) – переводчик, секретарь И. Эренбурга. Была знакома с Л.М. Бродской, в 1960-е поддерживала общение с А.С. Эфрон, с которой познакомилась еще во Франции. Шаламов переписывался с Н.И. Столяровой ней, посвятил ей стихотворение «Нерест» (см. примечание 28).

[20] Сведения об этом предоставлены В.В. Есиповым.

[21] Шаламов В. Всё или ничего: Эссе о поэзии и прозе. – СПб.: Либус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2016. С. 351-352.

[22] Там же. С. 325.

[23] Там же. С. 318.

[24] Там же. С. 391.

[25] Варлам Шаламов. Кое-что о моих стихах [Электронный ресурс]. URL: https://shalamov.ru/library/21/34.html (дата обращения 12.12.2022). 1

[26] Там же.

[27] Стихотворение ассоциативно связано с «Поэмой Воздуха» Цветаевой.

[28] Созвучен стихотворению Бодлера «Плаванье» в переводе Цветаевой. Этот текст становится в 1960-х для А.С. Эфрон критерием качества переводов других стихотворений Бодлера. Шаламов все эти переводы мог прочитать по сборнику: Бодлер Ш. Лирика. М.: Художественная литература, 1965, но позднее, поскольку стихотворение «Нерест» было опубликовано («Сельская молодежь», 1965, № 10) до того, как указанный выше сборник был подписан в печать (3.11.1965). Вероятно, с текстом перевода Цветаевой бодлеровского «Плаванья» Шаламова познакомила Н.И. Столярова (см. примечание 19). Биографический же комментарий ко всем названным стихотворениям возможен с учётом поездки Шаламова в Тарусу осенью 1964 г., однако причины и обстоятельства данной поездки пока не прояснены.

«КАМЕРА-ОБСКУРА»

МАРГАРИТА БЕРЁЗКИНА

НАТАЛИА КОРРЕЙА – СИВИЛЛА С АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ

Среди португальских поэтов XX-го века поэтесса, писатель, драматург и эссеист, издатель антологий, депутат португальского парламента – Наталиа Коррейа (1923-1993) – выделяется яркой индивидуальностью, талантом и оригинальностью. Будучи общественным деятелем, она внесла свою лепту в борьбу за женское равноправие и права человека. Творчество поэтессы оставило особый отпечаток в португальской литературе. Это прежде всего – её богатое метафоричное воображение и фантазия, постижение реальной жизни и превращение её в волшебную мистерию духа.

Наталиа де Оливейра Коррейа родилась 13 сентября 1923 года в небольшом городке Фажау де Байшу, на острове Сан-Мигел Азорского архипелага в семье учительницы. Отец её эмигрировал в Бразилию. Детские годы на острове среди океана, где сама природа хранит легенды, были безоблачными и оставили в её душе самые светлые воспоминания.

Есть остров волшебный среди океана,
В лазури гортензий – но это не сон…
Озёра там – в кратерах спящих вулканов…
Где феи порхают, не властен закон.

Коровы пасутся на тучных полянах,
И вечность – задумчива в шелесте волн.
На празднике Духа Святого крестьяне
Детей коронуют с начала времён.

Наш дом наполняется музыкой звонкой.
Мне волосы мама ласкает гребёнкой,
И падает жемчуг с небес на ковёр.

Детство души, ещё на открытой…
И над холмами – солнцем залитый,
Радужный, многоцветный простор…

На формирование личности будущей поэтессы оказала влияние её мать – Мария Жузе де Оливейра, которая сама была писательницей-романисткой. Она приучила дочь к чтению и постоянному самообразованию. Когда Наталии исполнилось 11 лет, мать уехала с ней и её старшей сестрой в Лиссабон, где открыла частную школу. В 1935 г. Наталия поступила в Лицей им. Д. Филипы де Ланкастер. Окончив лицей, Наталиа работает журналистом на радиостанции «Португальский Клуб» и пробует силы в разных литературных жанрах. В 1945 году была опубликована её первая повесть для детей. Тогда же начинается её политическая карьера. Она знакомится с Марио Суарешем и вступает в партию «Движение Демократического Единства». В 1946 году в газете «Португалия, Мадейра и Азоры» было опубликовано её стихотворение «Серое Утро», вышел в свет её первый роман «Сумерки в Квартале», и в 1947 г. – сборник стихов «Река Облаков», созданный в лирической традиции, близкой народному песенному творчеству.

Тучки плывут над рекою,
Кто знает, где их причалы?
Призрак моей каравеллы,
Плыви, не зная печали…

Плыви по дорогам странным,
Плыви по дорогам забвенья,
Сквозь бури плыви и туманы
На волнах крутых вдохновенья…

Мечты мои – крылья ветра –
Звёзды с небес сметают.
Паруса моих мыслей
Уносят – куда – не знаю…

В 1952 г. её мать с дочерью Кармен уезжают в Бразилию, а в 1956 г. Наталиа получает известие о смерти матери, остро переживая утрату. В 1957 г. выходит в свет сборник поэзии «Найденное измерение». Вслед за первыми сборниками появляются романы: «Мадонна» (1968), «Остров Цирцеи» (1983), сборники поэзии: «Песня Затонувшей Страны» (1961), «Матриа» (1968), «Вино и Лира» (1969), «Потоп и Голубка» (1979), «Перемирие» (1983), литературные эссе, пьесы для театра. Под её редакцией выходят антологии поэзии: «Антология Средневековой Поэзии» (1970), «Женщина» и «Сюрреализм в Португальской Поэзии» (1973), «Антология Поэзии Периода Барокко» (1982). Некоторые её произведения подвергались цезуре. В 1966 году она издала под своей редакцией «Антологию португальской эротической и сатирической поэзии», которая была запрещена как нарушающая нормы общественной морали. Наталии грозил судебный процесс. Антонио Салазар вступился за поэтессу, и Наталиа получила условный срок. Так же он поступил с её театральной пьесой «Гомункул» (1965) – сатирой на самого Салазара. Будучи человеком ясного ума и без предрассудков, он сказал: «Да, правильно сделали, что изъяли книгу, но не трогайте автора, это очень, очень умная женщина». И на этот раз Наталию оставили в покое.

Кусай мой хвост ундины карнавальной,
Я звёздам буду петь, как свиристель.
А если ты закроешь путь астральный,
Который подарил мне менестрель,

Я с ветром взмою. Лунное сиянье
Моих стихов – полночная свирель.
Что мне до славы! – Волчье завыванье,
Пустое дребезжанье пустомель,

Тщеславия безумная игра…
Открыта я всем четырём ветрам –
Обещанная миру изумленья,

В компании пророков – вездесущая,
Мне прошлое открыто и грядущее
И звёздное даровано мне зренье.

Относится ли её позднее творчество к сюрреализму – сама она говорит об этом с осторожностью. Не принадлежа ни к одному течению, Наталиа не отрицает некоторую близость к сюрреалистическому видению мира, понимая поэзию как магическое искусство. Она говорит о «сближении поэзии и магии», когда речь идёт о желании автора освободить речь от предрассудков и условностей, позволить воображению расширить границы реальности, «чтобы смерть превратить в жизнь, а печаль – в радость».

Лови мои стихи в морском прибое
Моей эфирной жизни – полнолунья…
Пророчица, монахиня, колдунья –
В разладе вековом сама с собою,

Спешу за очарованной судьбою,
Волнует боль любви – кошачьей лгуньи…
Ведь расставанье – радости безумней,
Мечтаний о божественном покое…

Под полною луной – руины зданий…
О, плодородный пепел обновления –
Творение сивилл и созиданье!

И так меня увлёк прилив забвенья,
Что повинуясь высшим предсказаньям,
Прощаюсь я, но на волне прозренья.

С точки зрения консервативного португальского общества личность Наталии Коррейа казалась слишком экстравагантной, почти богемной. Она была четыре раза в браке, но всю жизнь тайно любила одного человека, который был намного её моложе. Когда ей было 19 лет, она вышла замуж за Алваро душ Сантуша Диаша Перейру. Раннее замужество было данью традиции или юношеской влюблённостью, со временем перешедшей в дружбу. Настоящей её страстью была «невозможная», тайная любовь к двоюродному брату, Жузе Антонио Коррейа, которая длилась всю жизнь. Как разгадать непостижимые, мистические загадки человеческой души? Поэзия и Любовь происходят из одного божественного источника – Вселенной…

Поэзия – надмирного исток,
В котором мир родится изначальный.
Груди моей целуешь ты цветок
И приобщаешься к небесной тайне.
Ты зажигаешь в чреве у меня
Священный луч богини – Анаиты.
И вспышка лучезарного огня
Таинственно с вселенской влагой слиты.
Живого Духа плотское гнездо –
Любовь бессмертье обретает в теле –
Посланье истины, сердцебиенье снов
В сознании, летящем в запределье.
Поэзия, в твой призрачный фиал
Нектар златого века тихо льётся –
Так собирает звёздные слова
Пчела-поэзия, летя на крыльях солнца.
Как ветер пробудил листвы язык –
Подспудный замысел – божественный, сокрытый,
Так вспышка молнии – неповторимый миг,
Алмаз в венце плясуньи Анаиты.
Двуликие животные любви,
Вы – тех влюблённых призрачные тени,
Чьи золотые буквы мы прочли
На синем поле Матери-вселенной.

Расставшись с мужем после семи лет брака, в 1949 году, Наталиа пережила краткое, «подобно вспышке молнии», увлечение и вышла замуж за американца – геофизика Уильяма К. Хайлена, с которым много путешествовала. Этот краткий, но насыщенный впечатлениями период отразился в её книге «Открыла, что я – европеянка» (1951). Возможно, неосознанно она искала такого мужа, который мог бы заменить ей отца.

В 1950 г. Наталиа снова вышла замуж за Алфредо Луиса Машадо (1904-1989), который был старше её на 19 лет. В ранней юности Наталиа вела с ним переписку, и их дружба длилась годами. По свидетельству друзей, Алфредо был истинной любовью её жизни – «мужем и матерью» в одном лице. Вместе они устроили в их доме литературный салон – принимали деятелей искусства, писателей и политиков. В 1950-60-е годы к ним приходил художник Жузе Алмада Негрейруш – друг Фернандо Пессоа. Собирались также политики, оппозиционные режиму Нового Государства, среди которых были Марио Суареш, Франсишко Са-Карнейро, Сну Абекассис. Когда «Отель Империи», принадлежавший Алфредо, закрылся, Наталиа постаралась найти мужу занятие. Он стал хозяином литературно-артистического кафе «Бутеким», которое Наталиа основала в 1971 г. вместе с Изабелой Мейрелес. Это был настоящий «Бутеким Свободы», как называл его писатель Фернандо Дакошта, где пела Амалия Родригес и другие исполнители романсов

в стиле «фадо», встречались писатели, поэты и художники, спорили политики и интеллектуалы. В её клубе устраивали собрания члены философского общества – «Движение португальской философии». Её друзьями были журналист Антонио Сержио, поэты Марио Сезарини и Ари душ Сантуш и многие другие известные личности. Бывали в её клубе и зарубежные писатели и деятели искусства – Генри Миллер, Анри Мишо, Грэхэм Грин, Эжен Ионеско.

Из неведомых сфер проникают надмирные звуки,
Из источников вечности в мир прилетевшие вдруг,
Пишут, словно во сне, невесомо парящие руки –
Руки-крылья, которыми правит божественный дух.

Не твоя эта музыка – крики отчаянья, муки,
Это фадо судьбы – из глубин, чей огонь не потух,
Это жертвенник боли, где боги берут на поруки,
Голос бога в тебе, состраданьем тревожащий слух.

В полумрак погружённый, в тускнеющий сумрак заката,
Познаёшь ты тоску, розы-жизни испив ароматы,
О, изысканный «мистер» – с очами печали – поэт…

Звёздам вызов бросаешь? Осторожно, подрезаны крылья!
Ты достаточно мудр, чтобы знать, что твой разум – бессилен.
Ты – провидец, ты – лучший, но в мире тебя уже нет.

С 1975 г., в период революционных преобразований, «Бутеким» стал центом политических дебатов в защиту демократии плюрализма. В нём проходили собрания с участием будущего президента Рамальо Эанеса, писателя Фернандо Дакошты, военных «Группы Девяти». В 1980 году Наталиа была избрана депутатом парламента – Национальной Ассамблеи – по спискам Португальской социал-демократической партии. Однако, столкнувшись с консервативными взглядами коллег, она вышла из партии и стала независимым депутатом. В 1985 г. она поддержала Демократическую Партию Обновления во главе с Рамальу Эанешем, поверив в возможность альтернативы прогрессивному реформизму, и снова была избрана депутатом в 1987-1991 гг. В 80-е годы она создала телепрограмму «Матриа», в которой выдвинула идеи феминизма в специфической матриархальной форме, идентифицируя женщину как архетип естественной свободы, мудрости, вселенской Любви, мира и благополучия, источник матриархальной энергии человечества. Позднее, понятие Матриа (Родина) и Патриа (Отечество) она объединила в единое целое – Фратриа (Братство).

Когда-то, на Крите, в прохладе Эгейской лазури
Богиня ветров – подгоняла суда – Анаита,
Натянута кожа её барабанами бури,
Звала мореходов во мраке ночей её цитра.
Плясала стихия, звенели браслеты запястий,
И звёзды-глаза сквозь тяжёлые тучи сквозили,
И море рыхлили тайфунов звериные страсти,
И каждый был гостем в полях её солнечных лилий.
Взлетали и падали пенные волны под ветром –
Безумная пляска на лезвиях тонких кинжалов,
Глаза застилали буранов свирепые вепри,
Под юбками туч разрезали их молнии жала.
Была она лаской и сказкой, плясала куницей,
В ней Космос пульсировал – осени, вёсны и зимы,
Плодами её мог в безумье любой насладиться,
И в душу она проникала, как облако дыма.
В зачатье и в родах, ты – дева Любви непорочной,
Энергию света тебе отдаёт полнолунье,
И чудо творится в мерцающем сумраке ночи
Звезды-Анаиты, стихии – небесной плясуньи.
То было на Крите – Европы могучие храмы
Уже зарождались в богини танцующем теле…
И каждый был вихрем, стрелою, крылом урагана,
И каждый испил её страсти кипучее зелье.

Даже в 80-е годы, когда уже прошли демократические преобразования, Португалия оставалась ещё очень консервативной страной во всём, что касалось положения женщины в семье и в обществе, поэтому Наталиа Коррейа, безусловно, опередила своё время, борясь за женское равноправие. Она хотела называться именно поэтессой, а не поэтом, считая, что женский вклад в поэзию – самодостаточен и не нуждается в определении мужского рода, что не противоречило её идее о том, что в искусстве все люди равны и сочетают в одном лице как женские, так и мужские черты, что в области чистого Духа все творческие личности – Андрогины, к которым она причисляла и себя.

Небом и адом в беспамятстве грезила,
Счёт потеряла годам и освистана,
Душу вложила в ремёсла небесные,
Вечность, приду ли в поля твои чистые?

Сеяла песни – кристаллы поэзии,
Цветом манящие, чарами истины…
С болью несла эти цепи железные,
К той, запредельной влекло меня пристани.

Шла я сквозь луны, словно Сивилла,
Камень заветный вселил в меня силы –
Так научилась я ворожбе…

Там, где кончается мысль, за пределы,
С ветром к подножью богов прилетела,
В истинном свете открылась тебе.

Наталиа изучала культуры и цивилизации разных эпох и народов, их религии, верования и лингвистические системы, чтобы выступить в защиту общечеловеческих ценностей и идентичности. Её взгляды часто принимали характер экуменизма и были эклектичны. В поэме «Перемирие» она примиряет богов всех времён и народов под эгидой Святого Духа.

Поэтесса защищает идею взаимопроникновения и взаимного обогащения разных культур, идею создания евро-иберо-афро-азиатской цивилизации, в которой понятия Родины-Отечества, языка, религии, этнической принадлежности и политических идеалов сольются в гуманистическом единстве. Возможно, историческая роль Португалии, объединившей в прошлом разные континенты, культуры и народы, навела её на мысль о единстве цивилизаций. О демократическом перевороте 1974 года – «революции гвоздик» она писала: «Я – не революционерка. Понятно, что мы разрушаем структуры, чтобы восстановить их с тем же цементом – жаждой власти. То, что нам предстоит сделать, – это раскрыть человеческое сознание во всей полноте бытия. …Все революции, включая сегодняшнюю, – это ошибочный, неудачный опыт в попытке достичь Истины».

Не от мира сего… Но с какой я упала планеты –
Той, бессмысленной, жуткой, которая все-таки – мать…
Я – с далёкой звезды, в небесах затерявшейся где-то,
И на мне – благодать и погасшего света печать.

С философским сарказмом – проклятья, вопросы, ответы
В том театре абсурда, где должна притворяться и лгать –
Незавидная роль – выполняя чужие обеты,
Пустоту с идеалом лишь малым пространством разнять.

Это бред бытия и мучительное удивленье –
Появиться на свет от мечты, потерпевшей крушенье,
Время жизни – взаймы, и с безумной звездою – родство…

Осаждённая тьмой, пребываю я в недоуменьи,
Как познать мне себя, мою сущность – прошу я прозренья…
Мне безумье подскажет, что я – не от мира сего.

Наталиа вела в своём клубе литературно-музыкальные вечера, а её супруг был администратором. Они прожили вместе 36 лет. В 1989 году она овдовела и, не желая оставаться одна, 17 марта 1990 года вышла замуж за своего верного друга и почитателя – кинорежиссёра Дордио Гимараэша, который давно её любил и относился с тихим обожанием. Они были друзьями с 1962 года, когда участвовали в Конгрессе Европейского Общества Писателей в Италии. Вместе они снимали фильм «Санто Антеро» – об Антеро Кинтале – выдающемся поэте Азорского архипелага, творчество которого было близко обоим. В 1986 году на стихи Наталии был написан Гимн Азорских островов. В цикле «Романтические сонеты» поэтесса называет свой остров «Матерью».

В сердце острова – чаши озёрных жемчужин,
Этот жемчуг ты мне отдала на прощанье.
От зари до зари чайки кружат и кружат,
Остров – Родина-Мать, ты – пастушка мечтаний.

Я уехала в край отдалённый и чуждый,
В те заморские Индии вечных скитаний.
Но стихов моих лилии с феями дружат,
И тщеславия звери подкрались нежданно.

Я – усталая чайка. Ты – остров мой отчий,
Где находят приют твои блудные дети.
Там заря янтари в океане полощет…

Крылья сломаны. Что мне осталось на свете?
Я сливаюсь с волной и кедровою рощей,
Остров мой голубой – в океане столетий!

В 1992 г. Наталиа возглавила создание «Национального Фронта Защиты Культуры» в содружестве с писателем, лауреатом Нобелевской премии Жузе Сарамагой. В 1991 г. Наталиа Коррейа была награждена Орденом Свобода и получила Премию Португальской Ассоциации писателей за книгу «Романтические Сонеты». В то же время она издаёт полное собрание сочинений «Ночное Солнце и Дневная Луна», которое явилось итогом всей её творческой жизни, продолжает публикации стихов и участвует в литературных конференциях.

Музы-подруги, внесите свои зеркала,
Где отразилась печать быстротечного времени.
С вестью благой над Землёю рассеялась мгла,
В круге богов неразрывном – летите, мгновения…

Райские кущи иль адского пекла смола –
Клетка для веры, индукция вероучения…
Дух вездесущий простёр надо мною крыла,
Душу мою заманив в голубые селения.

В роще души моей тени идут по дороге –
Мёртвых влюблённых, воскресших под сенью платанов,
В тихом сиянии лунном, в шелесте листьев…

Новую страсть в них вдохнули всесильные боги,
С пламенем жизни, возникшем, откуда незнамо…
Так же и я поспешу их дорогой лучистой.

Жизнь с Дордио, которого она называла мужем-братом, была счастливой, полной событий, путешествий и творческих открытий, но длилась не долго. Накануне, вечером, возвращаясь с мужем из клуба «Бутеким», она почувствовала себя плохо и наутро, 16 марта 1993 года скончалась от инфаркта в возрасте 69 лет. В цикле «Романтические сонеты (1990 г.) она вспоминает свой первый поцелуй и первую любовь на волшебном острове, где она родилась.

Я прошлое стараюсь удержать:
Мой первый поцелуй на Луговине,
За пианино – в синей шали – мать,
И ангелы, поющие в овине.

Мой остров, облаков закатных рать,
И океан – дремотный и пустынный,
И Континент, который не объять,
И дрожь, и в аметистах – вечер длинный…

Любовь моя, мои ушибы, раны,
Звезда-бродяга и иные страны,
Лицо – в тумане, радость кратких встреч…

Пытаюсь я связать всё воедино,
Но чувствую, что жизнь – неуловима,
Не удержать её и не сберечь!

Несмотря на славу смелой и сильной женщины, Наталиа чувствовала себя неуверенно. В душе она оставалась наивной девочкой, боялась призраков, привидений, не могла засыпать одна, всегда интересовалась потусторонними явлениями и даже участвовала в спиритических сеансах. Друзья говорили, что она «как дитя», и чтобы защититься от собственных страхов, создавала миф о собственной личности как о бесшабашной амбициозной феминистке, с дымящейся сигаретой и острой на язык…

Приходит из глубин, из самой сути
Тот голос, что меня сбивает с толку –
Чужая сущность, странная до жути,
Вторгается мне в душу втихомолку.

И всё же, это – я… В одном сосуде –
Несхожесть и единство… Как иголку,
Ищу я свет во мраке. Всё без толку…
Вокруг меня – пустыня и безлюдье.

Я – тень мечты, какой-то цели дальней…
Меня когда-то у меня украли,
Я по себе тоскую ночь и день…

Раздвоенная, я не знаю, кто я.
Я вижу только, что во мне нас – двое,
Но не пойму, где истина, где тень…

Создавая свой поэтический мир, она последовательно защищала идею равенства Духа и Плоти, часто вступая в полемику с религиозной доктриной.

О, смертный путник, что тебе за дело,
До Вечности, куда ведёт дорога?
Здесь ты – есть тело, а порочить тело –
Не лучше, чем хулить живого Бога.
Разумной плоти – кто творец и зодчий? –
Сюжеты вечности из ниоткуда…
Из воздуха, воды, огня и почвы
Рождается Любви живое чудо.
Душа – двулична, любит лицедейство,
Но тело служит правде непрестанно,
Чтоб в запределье – Парки фарисейство
Не оплело нас нитями обмана.

Кровь звёздная кипит в нас. В нашей плоти
Вселенная заключена – без края…
Любовь сквозь вечность мы несём в полёте…
Плоть – образ Бога. Истина простая.

Наталиа живо интересовалась эзотерическими учениями разных народов, отголоски которых находим в её стихах. Её эклектичные воззрения, вера в торжество Любви, в победу Добра над Злом – давали ей силы бороться против войн, коррупции, стяжательства, унижения человеческого достоинства. Она верила в божественную силу Слова и в то, что Словом можно изменить человеческую природу и судьбы мира. Свободная от догм и канонов, Наталиа Коррейа изучала философские течения, создавая свой собственный поэтических голос – романтический, и в тоже время, выходящий за пределы своего времени. Свои мысли она вложила в манифест, обращённый к людям с призывом не терять человечности, не расчеловечиваться. Она считала, что человек, созданный по образу и подобию Бога, должен сохранять Бога в себе. Неважно, какую религию исповедует человек, к какому народу принадлежит, на каком языке говорит, он должен оставаться Человеком.

Упорно роясь в смысле бытия,
Я постигаю боль души нетленной.
Пространства пыль и пламени струя
Сплелись в единый узел во вселенной.
Рождение – божественное «я» –
Универсальный разум в мире тлена?
А смерть, быть может, новая земля –
За гранью бытия побег из плена?

Чужда себе, загадкой одержима,
Ищу своё лицо под маской грима,
У времени в плену, без оговорок…

На мне – клеймо всевидящего рока,
От Бога – ни единого намёка,
Лишь в душу мне проник вселенной морок.

Наталиа всю жизнь сохраняла особую эмоциональную связь с родным островом, который она называла «Остров-Мать». Её волновали связанные с ним легенды об Атлантиде. Зелёные Азорские острова, озёра в кратерах спящих вулканов, кусты голубых гортензий вдоль дорог, бескрайний океан вокруг и купол синего неба, – всё это представлялось ей волшебной сказкой. Вся поэзия Наталии Коррейа – это плаванье в водах таинственного океана бытия, который она пытается познать, основываясь на идее полного раскрепощения человеческой сущности. На всю жизнь поэтесса сохранила детское, немного наивное восприятие, что помогло ей стать оригинальной поэтессой. Стиль её стихов соединяет элементы барокко, романтизма и сюрреализма. Но в душе она осталась романтиком и идеалисткой.

Верю в ангелов, гуляющих по свету,
В ясные глаза Богини – бриллианты,
В лунную любовь под сонатину ветра,
В волшебство, в легенды об атлантах…

Верю в мудрых, знающих ответы,
Примиренье ищущих в разладе,
Верю, что в секунде – вечности секреты,
Что в грядущем небо станет свято.

Верю в божества чистейшего астрала,
В лилии над каменным провалом,
В плоть, заворожившую тот свет…

Верю в нереальность, в наважденье,
Верю в Землю в розовом цветенье
И в Любовь, которой мир согрет.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

НЕБО – ЭТО КРЫШКА ЧЕМОДАНА

(Ганна Шевченко, Хохлома, берёзы и абсурд. Книга стихотворений. – Москва: Литературный клуб «Классики XXI века», 2023. – 104 с.)

Поэтический мир Ганны Шевченко всегда узнаваем. У него есть своё лицо, свой характер и особая атмосфера. На первый взгляд он кажется компактным, камерным, подчинённым единому и на долгие годы установленному распорядку. Это герметически замкнутое пространство, внутри которого наблюдается некая цикличность, повторяемость явлений и каждодневно совершается один и тот же ритуал – выход из дома, переход через дорогу, ожидание городского транспорта, поездка на работу и обратно.

Впрочем, название вышедшей в 2023 году книги стихов Ганны наводит на мысль, что не всё здесь так просто. «Хохлома, берёзы и абсурд» – так может звучать ответ на вопрос какой-нибудь анкеты. Вопрос, например, такого содержания: «С какими тремя словами ассоциируется у вас Россия?». Одноимённый с названием книги поэтический текст подтверждает подобные догадки *(«Я обожаю матушку-Россию за хохлому, берёзы и абсурд»)*. Это задаёт определённый тон повествования, формирует особую оптику зрения – слегка ироничную и несколько остранённую.

Только на первый взгляд картинка, нарисованная автором, кажется обыденной и даже заурядной. Стихотворение, открывающее книгу, показывает привычную среду обитания лирической героини – маленький шахтёрский городок или посёлок городского типа, в котором живут простые рабочие, обременённые повседневными заботами:

Похож на земли феодала
в царапинах неровных пашен
мирок, в котором я рождалась,
из грязи, пыли и ромашек.
Недолгий дождь, остатки лета,
вода, ползущая с отката,
сквозняк и проволока света
в холодном брюхе комбината.

Но постепенно перед глазами читателя начинает открываться совсем иная перспектива, уводящая далеко за пределы земных координат. Взгляд автора надмирен и способен сделать обычную будничную зарисовку фрагментом общей картины мироздания. Предельная внимательность к деталям никак не отменяет сакральности происходящего. Мирок, рождаемый *«из грязи, пыли и ромашек»* явно сродни поэтическому сору Ахматовой. Подлинно возвышенное вырастает из земного, неприметного – как будто говорит нам и Ганна Шевченко, превращая собственную биографию в индивидуальную космогонию:

Тот мир далёк и многоцветен,
осыпан росами тумана –
всё это я – и степь, и ветер,
и шахта с запахом тимьяна.

В таком же контексте предстаёт перед нами жизнь рядового шахтёра, чьё возвращение домой подобно бегству легендарного князя Игоря из половецкого плена. По ходу движения героя любой географический объект становится не просто конкретной точкой пространственной ориентации, но и неким духовным ориентиром, вписанным в мифологическую модель мироздания:

Простёрлось справа поле пыльное,
а слева – балка слюдяная,
и небо грубое, двужильное,
светлеет, звёзды пеленая.
Шахтёр – основа мироздания.
II террикон, как черепаха,
Застыл в режиме ожидания
за остановкой Красный Пахарь.

Так своеобразно решается в книге проблема «маленького человека», чья жизнь по сравнению с жизнью вселенной кажется ничтожной соринкой, ничего не значащей пылью. Героиня Шевченко категорически не согласна с подобной философией. Иронически позиционируя себя как *«одну из неприметных, бесполезных, что проживают на планете»,* она самим своим поэтическим существованием опровергает тезис: *«сегодня ценность человека не больше стоимости мыши».* Напротив, каждый обыватель (в значении личности, обживающей свою персональную ойкумену) должен мыслиться как отдельно взятая планета, уникальная и неповторимая. Возможно, именно таким подходом объясняется интересная художественная особенность книги: конкретное, бытовое здесь нередко одухотворяется, возвеличивается до уровня абстрактного, а возвышенное овеществляется – как будто приспосабливается к человеческим нуждам и потребностям. Вообще для поэзии Шевченко очень характерно, что не человек приспосабливается к мирозданию, а оно к нему, принимая форму комфортного, близкого ему мира, становясь неотъемлемой частью его личности:

я придумала пространство
для удобства и души,
и теперь моё гражданство
населяет камыши,

и теперь в морозной пасти
жмёт на скорость снегоход.
Кто там звёзды копипастит
в наш районный небосвод?

Универсум, снизошедший до уровня частной жизни – это гуманность, ранее не наблюдавшаяся ни у одного из классиков русской литературы. У лирического героя Тютчева есть страх перед обнажённой ночной бездной, в поэзии Маяковского и Пастернака нередко проскальзывает мысль о том, что «вселенная – место глухое» и, стало быть, невосприимчиво к мольбам и онтологическим запросам человека. Зато поэзия Ганны Шевченко привлекательна образом родного, одомашненного космоса, приручённого хозяином, способного вести с ним диалог *(«Я сообщаю космосу: „Алло, сегодня нас снегами замело…“ <…> Мне космос отвечает: „Ну и пусть, что может быть прекраснее, чем грусть…“).*

Камерный мир книги «Хохлома, берёзы и абсурд» выстраивается по законам поэтического слова, одухотворяется им. Для героини в первую очередь важна её творческая ипостась, поэтому своё индивидуальное пространство она наполняет литературными реалиями и значимыми культурными аллюзиями. Так сатирическая зарисовка превращается в аллегорическую картину в духе шагаловских полотен:

Был лес похож на творчество Шагала,
вдали визжала электропила,
я вдоль акаций медленно шагала
и воду минеральную пила.
Земля и небо сделались контрастны,
я не забуду этого вовек –
нечёсаный, суровый, сине-красный,
мне перекрыл дорогу человек…

Пространство творческого абсурда – единственно приемлемая для автора форма существования. Её она противопоставляет абсурду реальной жизни, в которой возможны войны, катаклизмы, запреты и предписания. Всё это временное, наносное, разрушающее естественную гармонию мира. Истину же следует искать среди бессмертных смыслов и значений, в царстве абсолютной, ничем не ограниченной свободы. По мысли Шевченко, пространство, окружающее нас, должно созидаться по законам красоты, что равнозначно законам поэтического слова:

Дни не размножаются в неволе,
только лишь становятся сутулей,
а вчерашний день упал за поле,
словно сняли снайперскою пулей.
<…>
Но уже, непасмурный и броский,
взят всевышним снайпером на мушку.
Посмотри, как в небе светит Бродский –
солнце в рыжеватых конопушках.

Но даже в большей степени, чем Бродский, поэтическим миром Ганны Шевченко правит Александр Блок. Кажется, что именно у Блока заимствованы циклически замкнутые пространство и время, и этот изо дня в день повторяемый маршрут, каждый пункт которого навеки вписан в общую картину мироздания. Это настоящий метаурбанизм, в контексте которого реальные географические объекты *(«фусло тротуара», «три берёзы старого бульвара», «угол парка», «старый тополь»)* перестают быть тождественными сами себе, превращаясь в многоуровневые символы и отсылая нас к первоисточнику: *«Ночь, улица, фонарь, аптека, / Бессмысленный и тусклый свет…»*.

Однако в стихах Ганны Шевченко гораздо больше надежды. Движение её лирической героини поступательно. Оно способно преодолеть инертность цикличности и выйти к новым горизонтам. Даже если они находятся за пределами земного существования – это всё равно путь к свету, путь *«к ветрам дорогой кольцевою»,* избавление от *«тоски души по выходам из тела»*. Эта поэзия способна даже отчаявшуюся душу примирить с жизнью в её самых неприглядных, бытовых проявлениях, посмотреть на вещи глазами творца – «арендатора нездешних земель». Для него смысл жизни заключается в том, чтобы идти, *«преодолевая линию убожества»* и находя даже в самых ничтожных мелочах повод для творчества:

В помутневшем замкнутом и хмуром
воздухе синицы ни одной –
как же одиноко этим утром
рядом с переходом в выходной.

Только тапки с шёлковым халатом,
туфли и короткий кардиган –
город, как предсказывал Довлатов,
поместился в старый чемодан.

И поймёшь негадано-нежданно –
облака откроются вот-вот,
небо – это крышка чемодана,
что несёт к вокзалу пешеход.

О ДЩЕРИ ПЕТРОВОЙ СТИХАМИ И ПРОЗОЙ

(Владимир Буев, Елизавета. – М.: Книжный клуб «Чехов», 2024. – 137 с.)

Писать на исторические темы – задача не из лёгких. Хотя бы потому, что слишком много уже всего написано, и поразить читателя оригинальностью подхода не представляется возможным. Но Владимиру Буеву как будто удалось решить эту проблему. Его книга об императрице Елизавете притягивает своей экспериментальностью. В ней объединены различные жанры и стили. Здесь и эпистолярная переписка, и моноспектакль, и поэзия, и даже проза. Может возникнуть вопрос, оправдывает ли себя подобная эклектика? Думается, да – хотя бы потому, что даёт взглянуть на известную историческую личность в разных ракурсах, под разными углами зрения.

При поверхностном прочтении книги может возникнуть ощущение, что автор повторяется, излагая одни и те же факты то в примечаниях, то в стихах, то в монологе императрицы. Но это не соответствует истине, поскольку угол зрения повествователя меняется в зависимости от характера излагаемого материала. Более того, авторская личность по-разному встраивается в тот или иной жанровый и стилевой контекст. В примечаниях к письмам дщери Петровой к своим родным, друзьям, врагам и недругам Буев выступает в роли летописца, фиксирующего исторические события в порядке их хронологии. В эпистолярной части он преобразуется в рассказчика, оценивающего императрицу со стороны, формирующего определённую точку зрения у читателя. Это особый взгляд, отчасти добродушно-ироничный, отчасти серьёзный, про-

диктованный основной задачей – показать не царствующую во всём блеске Елизавету, а тяжело больную женщину, дни которой сочтены, а деяния подвергнуты самооценке – к слову сказать, не всегда критической.

Что касается последней части – монопьесы – то она менее всего традиционна, насыщена постмодернистскими приёмами. И здесь автор как будто говорит с нами от лица современного нам поколения, с характерной для него особой оптикой зрения, выходящей далеко за пределы описанной эпохи. Здесь важно получить ответ на вопрос, каким образом внешняя и внутренняя политика Елизаветы могла повлиять на весь ход развития российской истории.

Совсем не случайно автор решил обратиться к образу умирающей императрицы. Только «за несколько дней до небытия» человек может позволить себе предельную откровенность во всём – ведь перед лицом Всевышнего утаивать нечего. Это время саморазоблачения, раскаяния и подведения итогов. Из спутанной, не всегда логически последовательной речи героини читатель может извлечь много интересных подробностей: и её частной, интимной жизни, и её исторических деяний, и её личных предпочтений в вопросах религии, культуры, социума. Иногда бред Елизаветы приобретает пророческий характер – она «заговаривается» на несколько эпох вперёд, упоминая ещё не рождённых исторических деятелей и ещё не свершившиеся события. В итоге формируется масштабный, противоречивый и по-своему притягательный образ самодержицы всероссийской.

Первая часть книги – «Дщерь Петрова в письмах к своим сподвижникам и фаворитам» – может быть прочитана по-разному: от стихотворных фрагментов к примечаниям, и наоборот. Лично мне более продуктивным показался второй путь. Комментарии автора помогают лучше сориентироваться в историческом контексте, глубже его осмыслить, а потом раствориться в поэтической атмосфере воспоминаний дочери Петра о своей жизни и годах правления. Каждый адресат Елизаветы определённым образом с ней связан: или степенью родства, или общностью деяний, или значимой (положительной, либо отрицательной) ролью в её судьбе – а в итоге, и в судьбе всего государства. Открывается переписка лирическим, очень тёплым обращением героини к своему супругу – Алексею Разумовскому:

Не смущайся, не пугайся, милый Лёша,
Скоро осень, а потом зима проснётся.
Жизнь свою, пиша тебе, сейчас итожу.
Жизнь моя зимой, возможно, оборвётся.

Интонация императрицы меняется в зависимости от того, к кому конкретно обращено её послание: речь становится то более гневной (например, при упоминании о свергнутой Анне Леопольдовне), то игриво-ироничной, как в письме к лучшей подруге Мавре Шепелевой-Шуваловой («ох, развратно ты в Голштинии кутнула!»), то ностальгической – как в письмах к многочисленным фаворитам. Но всё это эпистолярное многообразие объединяется общим настроением: готовностью к смирению и всепрощению, даже если речь идёт об опальном Бестужеве или изменнике Апраксине, повернувшем войска вспять от владений Фридриха Прусского:

Бог судья тебе и мне. Готов встречаться?
Смирный ты? Смиренной стала я, не склочной.
Будем мы в раю друг другу улыбаться,
Если ты в раю… А я там буду точно!

Грядущая смерть уравнивает всё – и плохое, и хорошее – превращая людей и события в значимые воспоминания. По сути, вся первая часть книги Буева – это попытка в ненавязчивой, занимательной форме познакомить читателя с биографией Елизаветы, в её личном и общественном преломлении.

Вторая часть – монопьеса «За несколько дней до небытия» – представляется более сложной по драматургии и авторскому замыслу. Здесь перед императрицей встаёт гораздо более сложная задача – принять не своё окружение, а саму себя – как историческую личность и самодержицу всероссийскую, чья деятельность будет вынесена на суд потомкам. Это бесконечная череда рефлексий и обрывочных воспоминаний – причём не только о прошлом, но и о будущем. Автор намеренно заставляет свою героиню «выпрыгнуть» из контекста эпохи, наделяя её провидческим знанием ещё не наступивших веков и культур.

Ещё в первой, поэтической, части мы ощутимо чувствуем в шестистопном хорее дыхание Бродского с его «Письмами римскому друг из Марциала». А в монопьесе речь Елизаветы и вовсе становится причудливым постмодернистским миксом из разных времён, стилей и жанров. Великая императрица перемежает высокопарную речь грубопросторечными фразами, которые под стать только зекам (например, «волки позорные»), фрагментами из песен советской эпохи, отсылками к различным культурным архетипам. Любопытно, что сама героиня постоянно рефлексирует по этому поводу:

Ах, как хочется танцевать, словно я Золушка какая, и… запеть: это было недавно, это было давно. Ведь в какое интересное и прекрасное время мы нынче живём! Во время моего правления! Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек!.. Что-то я уже начинаю разные периоды своей жизни путать и перемешивать. Как кубики расставлять и переставлять.

«Разные периоды своей жизни» Елизавета путает со значительно более поздними событиями – эпохой революции, сталинским правлением, построением коммунизма. И уже не дщерь Петра Великого, а обобщённый образ российского (далее – советского) правителя предстаёт перед читателем. Книга перестаёт восприниматься как исторический очерк, превращаясь в философский трактат о самодержце – просвещённом монархе или тиране, которому суждено стать благодетелем или злодеем на многие века вперёд. Что и говорить – ответственность велика, а каждый шаг может стать необратимым.

Сбивчивая, хронологически непоследовательная речь императрицы, «прыгающей» то в прошлое, то в будущее, становится формой выстраивания диалога между разными временами, созвучными друг другу. Так, например, осуждая нерешительность Бутурлина в годы войны с Пруссией, героиня как будто невзначай упоминает Троцкого и провозглашённый им в 1918 году, в Брест-Литовске, принцип «ни мира, ни войны». Значимо, что Брестский мир, поддержанный на всех уровнях советской власти, современники назвали «похабным», так как по его условиям Россия потеряла многие территории, вынуждена была выплачивать огромную контрибуцию, провела полную демобилизацию.

Подобное историческое «прозрение» Елизаветы наводит на мысль о том, что за всё, в том числе и за трусливую нерешительность, великим мира сего придётся заплатить – двойной или даже тройной ценой. Так было, есть и будет:

И чего вдруг мне на ум ни с того ни с сего пришла какая-то странная фамилия. Троцкий. Кто такой Троцкий? И почему фамилия сия ассоциируется со словами внука: ни мира, ни войны? И что за Брестский мир такой? Бред какой-то. Чего только не почудится и из недр подсознания не выплывет! Короче, отказалась я от эксперимента, осознав, что король прусский такие бесславные и оскорбительные оружию нашему толкования рассеет, что оныя, наконец, у многих дворов худую импрессию произвести могут. Так в сердцах и написала Бутурлину после его провала! Отзывать его надо! Но погожу пока.

Осознающая перед лицом смерти всю масштабность ответственности за свои деяния и реформы, императрица и перед лицом своих подданных, и перед лицом Бога хочет предстать праведной, незапятнанной дурными поступками и помыслами, милосердной и справедливой. Если в первой части книги ей свойственны кротость и смирение, то здесь она отчаянно, даже яростно защищает своё доброе имя, доказывая законность и обоснованность своего правления:

…Эх!.. Взбалмошная я у них, видите ли!.. И при чём тут взбалмошная? А! Вспомнила! Надо будет завтра Катьку Белосельскую, болтушку эту, хорошенько наказать, из фрейлин её изгнать, а деревни с крестьянскими душами и серебро с процентами за пользование обратно в казну изъять. И Или сразу в Сибирь сослать, что ли, чтобы лишнего не болтала и на меня гадостей не наговаривала?

При чтении книги Владимира Буева в какой-то момент приходит осознание того факта, что она как будто и не совсем о жизни и смерти дочери Петра Великого. Кажется, что прославленная биография императрицы – всего лишь повод обратиться к нашей истории – её прошлому, настоящему и будущему – и понять, что в ней может стать предметом для подражания, а что – решительным основанием никогда не совершать определённых поступков. Во избежание трагических последствий.

НЕУДАВШАЯСЯ ТИШИНА

(Михаил Гундарин, Непоправимый день – М.: Синяя гора, 2024. – 116 с.)

Новая книга Михаила Гундарина «Непоправимый день» сразу же отсылает к творчеству Евгения Рейна. В частности, к его поэтическому сборнику с одноименным названием, выпущенному в издательстве «Огонёк». Очевидного сходства тематики здесь как будто бы нет. Герой Рейна показан на фоне Ленинграда, исторического и культурного – и это особый мир, столь же масштабный, сколь и герметически замкнутый. Но мостик уже проложен, перекличка неизбежна, и то, что виделось монологом, осмысливается как диалог.

Если вдуматься, тональность обеих книг задана ключевой темой – темой воспоминаний и сожалений о неминуемых утратах. Это очень возрастная поэзия, в которой *«опыт, сын ошибок трудных»* дан в том числе и для того, чтобы прийти к неутешительному выводу: *«как мало пройдено дорог – как много сделано ошибок».*

«Вот и всё: я стар и страшен, только никому не должен. То, что было, всё же было. Было, были, был, был, был…», – с горечью восклицает знаменитый петербургский поэт. Вслед ему начинает отчётливо звучать голос «одного из последних одесских футуристов» Семёна Кирсанова: *«жил-был – я. Стоит ли об этом?»*.

Книга москвича Гундарина как будто о том же самом. Читать его стихи тяжело – они словно засасывают в воронку безнадёги и «зряшности» жизни. Здесь повсюду властвует зима – осень весьма редкий гость, а лето и весна вовсе не появляются, разве что во снах. Впрочем, время года – здесь категория условная, символическая. Зимним, замороженным является внутренний мир лирического героя – человека, переживающего кризис среднего возраста, мучимого рефлексией по поводу несбывшихся надежд и нереализованных планов. Три раздела книги композиционно выстроены так, чтобы отчётливо прослеживалась личная авторская история, нередко данная на фоне социальных катаклизмов.

Название первого раздела – «Ангел-истребитель» – отсылает к великому фильму Луиса Бунюэля, долгое время запрещённому у нас в стране. Сюжет настолько же аллегоричен, насколько и прост – после роскошного званого ужина знатные гости обнаруживают, что не могут выйти из столовой. Длительное пребывание в замкнутом пространстве постепенно обнажает их худшие стороны, пробуждает животные инстинкты. Такова и оптика зрения автора книги «Непоправимый день». Его ангел – отнюдь не благая сила, а запрятанная в белое сила тьмы, искушающая человека, призывающая его не к созиданию, а к разрушению:

скоро я умру и сам стану ангелом-истребителем
у меня для этого есть всё
долгая память
твёрдая рука
чёткий глазомер

«Непоправимый день» – книга в чём-то беспощадная, не оставляющая ни тени надежды на благополучный исход событий. Автор – человек, давно и навсегда снявший розовые очки и увидевший мир с его изнаночной, мало приглядной стороны. Отсюда и соответствующая поэтика – тяготение к рваной, суровой рифме, осложнённой дольником, десакрализация метафор, наполненных повседневным, бытовым содержанием. Здесь любой возвышенный образ стилистически снижен, низведён до уровня земного видения. Небо, бьющееся в окне «как оборванная афиша», рваный город, валяющийся «среди семи небес», дальняя гроза, твердящая «непоправимое такое», «сирени тревожное мясо»… В этих реалиях обретает себя творец, ещё совсем недавно стремившийся к высшей, лучшей доле.

Но жизнь подвергается безрадостной корректировке, поэтому сквозная тема смерти воспринимается на подобном фоне вполне органично. Автор много думает об этом, ощущает скоротечность существования и близость неизбежного:

Вот и всё, что осталось от болтовни
Пылкой юности (думали – не унять!).
Двадцать третьего будет плюс пять в тени,
Не забудь же перечитать.

Депрессивная городская элегия – так можно было бы жанрово обозначить поэзию Гундарина. Но всё же в этом художественном пространстве диалог нередко выстраивается по вертикали: лирический герой обращается к Богу, чувствуя себя его жалким подобием, неудавшейся копией:

Сочинявший стихи из стихов, или из ничего,
я, как водится, был только тенью луча Твоего,
только шорохом листьев Твоих
в золотой листопад,
только сетью Твоей,
погружённый во тьму наугад.

Дальнейшее развитие эта тема получает во втором разделе книги – «Разноцветная кровь». Здесь находим и оригинальное воплощение образа «маленького человека», беспомощного перед лицом судьбы, забитого властями и повседневной рутиной. Особого внимания заслуживает цикл из шести стихотворений, где галерея «маленьких людей» (Полуэктов, Петров, Пузырёв, Пустовалов, Птах) циклически замыкается образом-прототипом – легендарным Башмачкиным, который «мелким стал чиновником, вошью на вещах».

Это духовное измельчание человека, собственное духовное измельчание более всего тяготит автора. Чего стоит наша жизнь, если вся она сводится к праху и пустоте? Не случайно у всех героев фамилия на букву «п». Заурядная работа, немытая маршрутка на остановке, измена вместо любви, изжога вместо удовольствия от еды, и заключительным аккордом – «короткий спазм» с падением во прах. Вот и всё, что нам отпущено – таков безрадостный вердикт. Свет неисправен – вместо него остаются «корпус пустой, ледяное тело».

В третьем, заключительном разделе под названием «Короткий эпилог» у стихов появляется ярко выраженный социальный подтекст. В сущности, он был и до этого – реалии современности, ковид и война явственным или неочевидным фоном сопровождают каждый текст Гундарина. Но только в конце книги эти реалии оформляются в самостоятельную тему – личность в контексте эпохи. И дело не ограничивается только недавними событиями. Перед глазами читателя проплывают «лихие девяностые» – смутные времена, «где пьются коньяки под чёрную икру, где сигареты Kent и солнце сверх лимита». Здесь с баулами, набитыми всяческим барахлом, «плывёт челнок по золотым волнам», а балет «Лебединое озеро» *(«танцы в беспощадной синеве»)* воспринимается как знак беды.

А вскоре на смену лихим девяностым приходит и февральская беда, по сравнению с которой даже прежние беды меркнут. Человек становится разменной монетой для государства, формой расплаты за его грехи, тривиальным «пушечным мясом»:

Собирался домой.
Но пришёл приказ –
и развеян пепел над чистым полем.
А теперь, невидимый, среди нас
он сидит и кажется всем доволен.

Что же остаётся в бесцветном мире, который всё труднее «раскрашивать в надлежащие краски»? Видимо, то самое «тренье слизистых, пенье медных», «неудавшаяся тишина», из которой рождается поэтическое слово:

Тренье слизистых, пенье медных,
Шелестение остальных.
Целый мир – от его победных
До его никаких –
Умещается между бедных,
Беглых гласных имён Твоих.

Здесь безумие, и паденье,
И любовь моя, и вина –
Просто звуков сосредоточенье,
Неудавшаяся тишина.
Нам оставлено только зренье,
Жизни судорожная волна.

КАК УСТРОЕНЫ КОТ И ЕГО ХОЗЯИН

(Вячеслав Харченко, Кот Беня, Лена и окрестности. – М.: Формаслов, 2022. – 120 с.)

Если в вашем доме поселился кот, который причиняет вам массу неудобств – значит, пришла пора серьёзно задуматься. Возможно, что-то в вашей жизни вы делаете не так, и какие-то ваши поступки идут вразрез со вселенским замыслом. Какие именно? На этот вопрос поможет ответить добрая и мудрая книга Вячеслава Харченко, посвящённая его четвероногому другу – коту Бене.

Это не просто сборник коротких и забавных историй – это практическое руководство для тех, кто почувствовал себя готовым быть в ответе за тех, кого приручил.

А когда наступит полная темнота,
Ко мне выйдет Бог в обличье кота,
Сядет рядом и спросит наверняка:
Помнишь, как ты мне давал молока?

Так начинается книга – и так начинается путешествие в мир любви, где две отдельно существующих планеты «кот» и «человек» постепенно объединяются в новую разумную цивилизацию – «кот и хозяин». Здесь царят совершенно особые отношения. Здесь так же, как в любом процессе обучения и познания, взаимодействующие стороны постоянно меняются ролями, становясь то учениками, то наставниками друг для друга. Ты просто приобрети кота, приучи его к порядку – и в итоге он сам станет твоим гуру, научит тебя доброте, терпимости, мудрости и милосердию.

Сама композиция книги подводит читателя к такой мысли. Только на первый взгляд кажется, что здесь нет ничего особенно – просто небольшие зарисовки из жизни домашнего питомца. Но если вчитаться внимательнее – обнажается внутренний сюжет, нерв повествования. И приходит понимание, что это не только про кота – это ещё и про человека, который рядом с котом становится другим, более чутким и отзывчивым и менее зацикленным на себе.

С того момента, как двадцатилетняя девушка упрекнула будущего счастливого обладателя рыжего пушистика в душевной чёрствости («у вас просто нет сердца»), началась долгая и увлекательная история познания и самопознания.

Вначале кота назвали Фенек – на основании внешнего сходства с лисицей: *«Такое же рыжее маленькое существо с огромными ушами и ярким рыжим хвостом охотилось на африканских мышей»*. Но потом, когда хозяину стал понятнее характер животного, когда в дальнем углу под плинтусом были найдены потерянные золотые вещи, кот обрёл своё подлинное имя: *«– Да никакой ты не Фенек – сказал я. – Ты Беня Крик, просто Беня»*.

Имя, обретённое в процессе наблюдения и познания, становится важным шагом в приручении маленького питомца. А затем каждый новый шаг оборачивается новой радостью открытия, очередным этапом жизненной мудрости.

История кота Бени, за которым мы наблюдаем с самого начала и до конца, становится настоящим жизнеописанием. Разделы книги показывают нам различные вехи кошачьей биографии, своеобразные этапы раскрытия главного героя – неожиданно и в новом качестве. Беня в Москве совсем не тот, что Беня на даче в Подмосковье. Вдали от цивилизации, в условиях дикой природы у кота просыпаются его врожденные инстинкты охотника, добытчика пропитания: *«Попав на дачу, городской кот Беня одичал <…> залез на яблоню в погоне за соловьём, поймал толстую откормленную мышь и принёс в отремонтированную комнату…»*.

Аналогично животное ведёт себя и на даче у моря, не видя особых различий между теми местами, где ему предоставлена абсолютная свобода: *«Здесь, на юге, мы сняли дачу в селе под Евпаторией, и Беня сразу принял её за подмосковную. Он… стал диким и агрессивным. Загнать его ночью в дом практически невозможно»*.

Вячеслав Харченко (он же один из героев книги) непрерывно наблюдает за своим питомцем – пытается изучить его повадки, привычки, вкусовые предпочтения. Одним словом, он стремится понять и принять своего кота – и процесс даётся ему совсем не просто. На протяжении всей истории мы наблюдаем позитивную диалектику – переход от непонимания и непринятия к полному взаимопониманию и взаимопроникновению. Установленный в начале повествования тезис *«Я не понимаю своего котёнка Беню»* постепенно перерастает в утверждение *«Наше мужское общество (я и Беня) достигало полного взаимопонимания»*.

Слово «взаимопонимание» здесь, безусловно, главное – даже кодовое. Это новая точка отсчёта, в которой кот и его хозяин становятся единым целым. Нет больше антитезы «я и кот» – есть нерасторжимое единство «мы с котом». В конечном итоге автор уже настолько породнился со своим подопечным, что начал с ним не просто «разговаривать», а вести философские диспуты. Мысленные, конечно, – но кто знает…

И, каким бы парадоксальным ни показалось подобное утверждение, в процессе взаимодействия и взаимообучения Беня преуспевает намного больше, чем его владелец. Так, результат приучения к порядку кота кажется на первый взгляд удручающим: *«Я много и долго воспитывал своего кота. Учил подавать лапу, приносить тапочки и выключать лампу на прикроватной тумбочке. Единственное, чего я добился, – чтобы кот не залезал на обеденный стол с едой…»*.

Выясняется, что все эти якобы полезные умения от лукавого, а вот «наставления», которые кот, новоявленный пушистый Будда, даёт своему хозяину, действительно мудры и не беспочвенны: *«– Понимаешь, почему я нормален, а ты нет? – спросил меня Беня <…> мне никогда не придёт в голову размещать свои фотографии в социальных сетях, а ты только тем и занят <…> за этим стоит пустота, не даосская пустота, а самая настоящая пустота…»*.

И как тут не согласиться, как не принять тот факт, что это мы – подопечные наших животных, мы – их вечные ученики, а совсем не наоборот. Ну а если копнуть ещё глубже, то получается, что кот – практически наша совесть, лакмусовая бумажка наших помыслов и душевных качеств.

Чему же способен научить обычный дворовый кот, найденный на помойке? Самой важной на свете вещи – любви. Той любви, которая ничего не требует взамен, кроме, возможно, ответного чувства. Той любви, которая оценивает объект или предмет не с точки зрения приносимой пользы, а с точки зрения его самоценности.

Такая философия не поддаётся привычной логике, но она единственно верная:

– Кот, какая с тебя прибыль? – вопрошает хозяин. <…> Мышей ты в городе не ловишь, только пьёшь молоко, ешь сметану и корм, даже не мурчишь – никакой прибыли!

– А солнце ради прибыли встаёт? А луна ради прибыли светит? А море ради прибыли шумит?

Подобные вопросы раз и навсегда рушат все прочие аргументы. Любовь не требует объяснений и доказательств – она объясняет всё одним своим существованием.

Книгу Вячеслава Харченко я бы назвала, наверное, как-то иначе. Например, «Кот-Будда» или «Кошачий буддизм». Хотя, учитывая, что здесь всё же два главных героя, подошло бы название «Как устроены кот и его хозяин».

А устроены они очень просто: большое сердце и сердечко поменьше, ноги и лапы, блохи с клещами в шерсти и бесконечные тараканы в голове. Но, конечно же, их будет легко прогнать – если у тебя есть кот. Он не позволит тебе думать о смерти: *«…какие тут думы о смерти, когда страдает живое существо»?».*

Он не даст тебе спокойно уйти на работу, пока ты его не покормишь. Он заставит тебя мучиться угрызениями совести, если ты его случайно обидишь.

Сам же он, улетая на Марс, ничего не скажет и даже не обернётся. Но в это время Иисус/Аллах/Машиах поймут, что их ближайшая задача – создать «мир котиков и бабочек, где нет Славы и К» и вообще нет людей.

Или есть? Тут уже решать нам с вами – и, безусловно, автору этой книги.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

(Эдуард Учаров, Стиходворения: Стихи, проза, эссе – Казань: Издательство Академии наук РТ, 2018. – 316 с.)

Для истинных любителей поэзии и приключений книга Эдуарда Учарова станет настоящей находкой. «Стиходворения» – название отнюдь не случайное. Это не просто стихи – скорее это поэтические путешествия, приглашение на увлекательную экскурсию, где границы пространства чётко не очерчены. Даже если автор делится с читателем своими впечатлениями о каких-либо местах и городах, в которых ему доводилось бывать, речь идёт не столько о его географическом перемещении, сколько о духовном взрослении. Он смело «ныряет» в колодцы воспоминаний, заглядывает во дворы своего детства, размышляет о прошлом и будущем. Его движение – это, в первую очередь, неуспокоенность духа и мысли, поиск самого себя.

Книга состоит из трёх частей, представленных тремя жанрами: поэзия, проза и эссеистика. Но парадоксально то, что везде автор, в первую очередь, остаётся поэтом. Особая образность, музыкальность художественного мышления Учарова создают цельность замысла, делают разделы созвучными и «зарифмованными» единой мыслью, общим настроением и душевным состоянием.

Внутри поэтической части тоже есть свои рубрики. В первой рубрике мы становимся участниками масштабного экскурсионного тура, начатого в Казани и завершённого в горах Дагестана. К Казани автор ещё вернется в своих прозаических миниатюрах, но до этого мы вдоволь напутешествуемся по улицам, переулочкам и дворам его детства. Вот дом Лобачевского, Лядской сад и Ленинский садик. А вот посёлок Крутушка и протекающаяя там река Казанка, манящая шестилетнего Учарова «на крючок нарыбачить улов». Путешествие по Казани становится экскурсом в близкое и далёкое прошлое. Здесь каждый объект – значимая веха биографии автора и реальный, действующий персонаж. Тяготение к ярким метафорам и олицетворениям – визитная карточка поэта. Каждый дом, переулок, памятник у него имеют своё лицо, свой особенный характер, выделяющий объект среди прочих. Это живые существа, ведущие себя так же, как люди. «Завод-монастырь» отпускает грехи, дома улицы Волкова кровоточат и шатаются, как зубы, озеро Кабан «ощетинивается волнами стриженными» и действительно уподобляется израненному зверю.

Окружающее пространство, центром которого неизменно остаётся Казань, становится для Учарова его личной ойкуменой, наполненной особым, биографическим и мифологическим содержанием. Это нечто, выходящее за пределы реальности, относящееся к иному измерению, в котором нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего – есть только безграничное поле памяти и творчества:

Кичиерского лося проще,
конанерского дуба злей,
где священная роща ропщет,
я кленовый краду елей.

Языкастый казанский мальчик
выгнул жабры и лёг лещом,
мы сыграем с тобою в Яльчик,
но сегодня пока ещё

льют русалочью кровь озёра,
бьёт марийская жизнь хвостом –
эту воду не сшить узором,
не распять никаким Христом.

Если первая поэтическая рубрика созвучна второму, прозаическому, разделу книгу, то вторая рубрика уже обозначает ключевые мотивы учаровской эссеистики. Всё начинается с посвящений – Гавриилу Каменеву, Ивану Данилову, Геннадию Капранову. Судьбы этих поэтов органично вплетаются в биографию самого автора и становятся плацдармом для раздумий о творчестве и участи творца. Эта тема, безусловно, преобладает над всеми прочими, становится основной.

Долгое и сложное постижение своего предназначения, мучительное «нащупывание» своего голоса, своей неповторимой интонации и, наконец, поиск слова – предмет постоянных философских раздумий Эдуарда Учарова, источник его нескончаемой рефлексии, вне которой созидательный процесс невозможен. Поэт сравнивает себя с одиноким звонарём, постигающим искусство быть услышанным и понятым людьми.

Но второе достижимо только в том случае, если творец научился слышать и понимать самого себя:

Я ещё до конца не изучен,
не испытан на прочность пока,
но как колокол бьётся в падучей –
я набатом сдираю бока
<…>
и в малиновом хрусте костяшек,
на ветру у свияжских лагун,
прозреваю я голос свой тяжкий,
но понять до конца не могу.

Творчество, которому автор сознательно приносит себя в жертву, отрекаясь от прочих житейских благ, осмысливается и проживается им как сложный, даже болезненный физиологический процесс, разрывающий изнутри, не умещающийся в границы земного существования. Это момент прорыва иной, сверхчеловеческой сущности – фактически новое рождение:

кессонной ночью, влажной и млечной,
всплывая к высотам рыб,
в крови закипают стихи,
конечно,
когда ты уже охрип.
<…>
и бьётся плавник о поверхность стали,
и вывернут странно рот.
у тех, кто поверх перископной дали
проходит по небу вброд

Только ради этих мгновений, настолько же мучительных, насколько и прекрасных, стоит жить на свете. Но даже обречённый на вечное пребывание «в кашемировом небе на вырост», носящий «облака на резинке», поэт остается не чужд и земному. Помимо счастья «языком нащупывать слова», он обретает и необходимое каждому счастье любви, привязанности к близким людям, без которых полнота бытия была бы невозможна.

А ещё в мире существует радость путешествий и новых открытий. Лирический герой Учарова пребывает в состоянии вечной неуспокоенности, непрерывного движения – не только физического, но и духовного. Иногда он отправляется в прошлое, иногда заглядывает в будущее. А порой просто бродит по улицам Казани, с рюкзаком за плечами. Либо, влекомый жаждой новых впечатлений, покупает билет на «ближайшее, что отходит», и едет в «места незнакомые». И всё увиденное им становится частью уникального опыта, новым творческим этапом.

В коротких прозаических зарисовках и географических заметках Учаров едва ли не в большей степени поэт, чем в своих стихах. Привлёкшие его внимание архитектурные и географические объекты – не застывшие монументы, а живые существа, полноценные герои повествования. Излюбленный автором приём олицетворения в сочетании с яркими, неожиданными метафорами превращает любую экскурсию

в поэзию и музыку – точнее, в музыку поэзии, на волнах которой каждый дом, каждый памятник и храм говорит с тобой на особом языке. Вот как описана, например, Старо-Татарская слобода: *«Деревянная слобода мягчает, покряхтывает срубами на солнцепеке. Каюм Насыри удовлетворённо поглаживает бороду. Скучает Исламский колледж (вся история казанской толерантности в названии). Мечети Аль-Марджани – по барабану. Она соборная, свободная, гордая и зелёно-белая».*

Экскурсантам-любителям старины и архитектурной экзотики, отправившимся вслед за Учаровым, остаётся только позавидовать. Им откроется та сторона экскурсионных объектов, о которой они даже и не подозревали.

Совершенно особенной и в высшей мере поэтичной кажется и эссеистика Учарова. Говоря о том или ином поэте, автор умудряется рассказать о самом себе, оригинально вплетая чужое творчество в канву собственной жизни. И это отнюдь не эгоцентризм, а глубокое понимание того, что любой опыт, в том числе и литературный, должен быть пропущен через себя, стать созвучным мыслям и чувствам, воспоминаниям и моментам настоящего.

Ничего чисто литературоведческого, родственного классическому анализу художественного текста мы здесь не найдём. Здесь – всё та же пульсация жизни, биение в унисон двух поэтических сердец, созвучных по образу мыслей. Просто жизнь, пропущенная сквозь призму творчества. Поэтому не обходится без метаморфоз. Благодаря стихам Юрия Макарова поэт налаживает мост «через декабрьскую леденящую пропасть в полнозвучье неспешного лета», потом, следом за осенними стихами Сергея Малышева, ощущает холодный ожог первого снега. Но вовремя подоспевший автобус Филиппа Пираева увезёт поэта туда, где есть доброта и свет. «Потому что в венах моих сегодня – вместо крови – текут стихи», – выдыхает Учаров. И одной это строки достаточно, чтобы убедиться в достоверности сказанного.

Поэзия – главный герой этой книги. И о чём бы ни шла речь, в какой бы форме автор ни выражал свои мысли – над всем будет преобладать звук, ритм, гармония слова. Именно в этом смысле «Стиходворения» – настоящий поэтический путеводитель. Не речь экскурсовода, произнесённая стихами, а паломничество к поэзии. Прозревание и проживание поэтического слова внутри себя, в небе нёба, на кончике языка.

КЕЛЬТСКАЯ МИФОЛОГИЯ И СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ

размышляя о главном герое романа

(Анна Маркина, Кукольня [роман]. – М., Формаслов, 2023. – 374 с.)

Чем для искушённого читателя может быть привлекателен «*современный интеллектуальный роман с элементами триллера и детектива*»? Ответов на вопрос может быть множество. Кто-то оценит изящество и оригинальность постмодернистских приёмов, стремление автора к новаторству. Кого-то увлечёт сюжет, а кого-то – герой, как будто бы открывающий новую страницу в галерее художественных образов.

Автор книги «Кукольня», поэт и прозаик Анна Маркина, признаётся в том, что задумкой романа было объединение формального эксперимента и жанрового сюжета. Задумка эта, безусловно, удалась, наглядно продемонстрировав, к чему может привести удачный синтез новаторства и литературной традиции. И основным доказательством того, что всё удалось, является как раз главный персонаж произведения – псих-одиночка, не лишённый черт обаяния и порой вызывающий к себе чувство жалости.

С одной стороны, созданный Маркиной образ абсолютно современен – он как будто сошёл со страниц криминальных хроник. Знаток древности и языков, большой любитель кельтской мифологии и обладатель своих персональных «скелетов в шкафу», Зеленкин – настоящая авторская находка. У него есть реальный прототип – российский краевед-некрополист, убеждённый в том, что может оживить умерших детей.

В то же время дело не обошлось без литературной традиции. У Зеленкина, если вдуматься, много литературных предшественников. В целом он кажется кем-то средним между Башмачкиным, Беликовым и Передоновым – героем сологубовского «Мелкого беса». А вот какой из этих литературных персонажей наиболее органично «врастает» в постмодернистский замысел и в наибольшей степени влияет на созданный Маркиной литературный типаж – вопрос отдельный. И отнюдь не однозначный.

От гоголевского героя здесь – своеобразное решение темы «маленького человека». Зеленкин, получающий гроши за свою работу, задавленный и униженный, вызывает жалость и сострадание. Его жизнь скудна на события и положительные эмоции. Отсюда тоска по морю как по несбыточному: *«Когда он увидит море? Никогда? Зарплаты у него кот наплакал, зато в планах – книга, газетная колонка, студенты, но главное не это. Главное, что ехать не для кого и не с кем».*

Однако в дальнейшую прорисовку образа героя-маньяка Башмачкин никак не вписывается. На асоциальные поступки он, в силу своей забитости, вряд ли способен. Отомстить своим «обидчикам» он тоже не может – разве что мистическим образом, после своей смерти, как это и описывает Гоголь. Да и в интеллектуальном развитии, как и в развитии духовном, скромный чиновник-переписчик деловых

бумаг явно уступает своей современной версии. Помню, кто-то из моих учеников назвал Башмачкина ксероксом. Забавно, но ведь, по сути, так и есть. Речь здесь идёт о духовной деградации личности, о постепенном угасании в ней креативной функции. Герой, как мы помним, был совершенно не способен к самостоятельному мышлению и творческой деятельности. Вспомним один из эпизодов повести: *«Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тёр лоб и наконец сказал: „Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь“. С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало».*

А вот персонаж Маркиной по-настоящему умён, образован и литературно одарён. Он работает внештатным сотрудником газеты «Нижегородский наблюдатель», периодически пишет для неё статьи, читает лекции в университете, обладает широким кругозором, в силу чего общаться со многими людьми ему просто скучно. Следовательно, от Башмачкина остаётся только традиция – в чистом виде.

С Беликовым Зелёнкина роднит потребность в социальной ограниченности от мира. Герой, как огня, боится женщин и близости с ними. Ему гораздо интереснее глубокая древность, нежели реальная жизнь с её заботами и страстями. Древнеегипетская и кельтская мифология для героя – то же самое, что для Беликова – мёртвая латынь. Здесь и разгадка к искаженной логике персонажа, и объяснение его «заботы» о мёртвых девочках. Но опять-таки до Зеленкина Беликову далеко. Чеховский персонаж так сильно боится, «как бы чего не вышло», что этот страх убивает в нём любую инициативу. Пойти ночью на кладбище? Раскопать чью-то могилу? Да это же перевороту подобно! Нет, Беликов, пришедший в ужас от вида женщины на велосипеде, не пойдёт на такое – ему достаточно его футляра, и совсем не обязательна какая-либо иная реализация. В этом плане герой гораздо более статичен.

Что же касается Передонова, то здесь всё обстоит гораздо интереснее. Здесь уже вполне можно поставить ситуацию на психологические рельсы, вспомнив старика Фрейда с его теорией ущемлённых аффектов. Героев Сологуба и Маркиной объединяет некая «чревоточина» внутри, объясняющая потребность в мелкобесовстве и пакостничестве. Передонов, страдающий манией преследования и острым параноидальным психозом, одержим страхами на протяжении всего романа. Но помимо того, что герой мнителен, он ещё и амбициозен. Эта амбициозность толкает его на абсурдные действия и в конечном итоге на убийство, после чего следует уже полное безумие. Олицетворением страхов Передонова является маленький серый зверёк, похожий на мышь – недотыкомка, плод больного воображения и результат давних психологических травм.

У Зеленкина тоже есть своя «недотыкомка серая» – преследующий его призрак из прошлого. Это «мёртвая невеста» Наталья Лазова, с которой всё и началось: и тяга к некрополям, и замогильные голоса детей, молящих о пощаде. Но всё же Зеленкин – не убийца. В отличие от обезумевшего Передонова, чей внутренний демон, вырвавшийся наружу, приводит к абсолютной бесконтрольности действий, герой Маркиной отчасти ещё управляет собой. У него есть потребность в самореализации, пусть даже и весьма странной, но нет столь ярко выраженного деструктивного начала. Напротив, он по-своему стремится к созиданию – даёт возможность новой, более счастливой жизни тем, кто рано её потерял. Он мнит себя новым богом и перевоспитателем юных женщин, чьи нравы изначально считает порочными: *«Разве можно им верить? А я-то балда, балда! Зачем полез? Хожено уже этими тропами. Ничего нового. Ева всё тянется и тянется к запретному плоду, хоть кол на голове теши. Миллион раз лиши её рая, и света, и безмятежности, а она всё будет болтать со змеями. Потому что сама змея. Ух, женщины!».*

Что же в итоге? А в итоге абсолютно новый тип героя, умудрившегося соединить в себе забитость гоголевского персонажа, асоциальность чеховского и деятельностную амбициозность сологубовского. Соединить, но при этом не утратить особенных черт, отличающих его от всех прочих литературных предшественников.

Автору «Кукольни» явно хотелось бы, чтобы читатели видели его героя не маньяком, а глубоко больным человеком. Чтобы он вызывал по отношению к себе сострадание, а не отвращение. А если добавить к этому, что у него своя логика жизни, своя «поэзия» – пусть даже слегка извращённая с точки зрения традиционной логики – то герой даже по-своему симпатичен. Его внутренние монологи – это опоэтизированные потоки сознания: *«а здорово вот так выйти посреди дороги разрезающей сосновый лес на две части и задышать полной грудью и повернуться спиной к городскому шуму и потопать в самую чащу чтобы веточки хрустели под ногами и сбоку таскали иголки деловитые муравьи отстраивающие общественные зиккураты… под жидкой лампой и не разгибаешься сутками а тут хвойная музыка сложенная из самых ясных гармоний скрипа стволов лёгкого шелеста трав птичьего пения…».*

Такой совершенно неожиданный подход к раскрытию детективной истории и к образу антигероя вполне в духе современного постмодернистского романа.

И отнюдь не в плане авторской вседозволенности, а в плане расширения границ духовного видения ситуации, которая не должна оцениваться однозначно. Сквозь тьму всегда немного брезжит свет, и автор «Кукольни» прекрасно это понимает.

В заключение хотелось бы добавить ещё одно: есть абсолютная убеждённость в том, что Зеленкин – один из тех литературных персонажей, который достойно продолжит галерею образов-архетипов современной русской, да и мировой литературы. Именно с этим непреложным фактом и хочется поздравить его создателя – Анну Маркину.

ЧАСТИЦА БОГА

(Дмитрий Зиновьев, Бозон Хиггса. – М., Синяя гора, 2024. – 116 с.)

«Настоящая поэзия – всегда разговор с Богом». Эта фраза, давно уже ставшая крылатой, не поражает оригинальностью, но интересно, что она пришла мне в голову только после знакомства с новой книгой Дмитрия Зиновьева. Казалось бы, никакого Бога здесь нет и в помине – напротив, автор всячески позиционирует его отсутствие. Но это всего лишь удачная маскировка. Разговор здесь именно о Боге, которого человек потерял, но всё ещё может найти.

Главная тема и одновременно болевая точка повествования четко обозначена уже в названии, вроде бы совсем не поэтичном, более похожем на научный термин. Бозон Хиггса – это элементарная частица, открытая физиком Питером Уэром Хиггсом. Ею заполнено всё пространство, и благодаря ей все прочие элементарные частицы обретают свои массы. *«Частица Бога»* – такое определение бозону Хиггса дал Леон Макс Ледерман.

Сам автор, при личном моём разговоре с ним, утверждал, что никакого изначального замысла у него не было – было всего лишь желание подвести промежуточный итог и написать о жизни лирического героя за 40 лет его существования. Сейчас, по словам Зиновьева, у него появилось больше стихов с более отчётливым обращением к Богу. И всё же божественное начало неизменно присутствует в его творчестве, поскольку для него *«частица Бога – это частица поэзии, которая есть везде».* Именно в этом определении и кроется замысел книги.

А начинается всё как будто бы с пустоты. Реальность в стихах Зиновьева кажется какой-то игрушечной, бутафорской. Одним словом, виртуальной. Она существует, но проходит мимо – как расплывчатый фон суетливой жизни (*«а конкретики нет и в помине»*), как *«череда бесконечных лакун».* Но всё же эта пустота не безнадёжна. Она устремлена к определённой цели и содержит явный намёк на то, что ей может быть что-то противопоставлено. Что-то, стоящее за ней, временно утерянное, но выводящее человеческую жизнь в иное измерение.

Три раздела книги составляют её внутренний сюжет, позволяют увидеть поступательность авторской мысли, устремленной к поиску божественной частицы. Первая часть – «Актуальный контент» – кажется самой мрачной и безнадёжной. Это апокалиптическая картина мира, в котором человек теряет свою целостность, распадаясь на миллион ничтожных мелочей: *«карманы, паспорт, ИНН, военный билет, страховое, маска, телефон»* и т.д. На смену ему приходит *«медийный герой», «цифровой эталон на просторах двоичной вселенной».* Поэтический язык здесь становится подобным радиотрансляции. Его имитационная функция очень важна, поскольку поэту важно в процессе творчества писать не о чем-то, а что-то – живописуя, создавать образ декларативного мира, состоящего из отчётов, «сводок с полей» и калейдоскопически сменяющих друг друга событий. При этом транслировать своё состояние на бумаге и одновременно передавать размеренный, однообразный ход суетливой жизни. В самом синтаксическом строе речи, изобилующей однородными членами и многочисленными повторами, ощущается звук и атмосфера пустоты, её психологическое давление на лирического героя, передающееся и нам:

платежи платежи платежи платежи…
квитанции, бланки, платёжки, скажи,
что так и должно быть, и, чтобы понять,
попробуй отсюда слинять

Анжамбеманы и перечисления нарочито удлиняют речь повествователя, выводя её далеко за пределы традиционного текстового формата, куда-то за линию горизонта, где конечная цель бессмысленного кругового движения окончательно теряется. Этому движению можно противопоставить только отрешённое созерцание знакомых объектов, по-блоковски замыкающих жизнь в границы земных реалий:

Ирина курит, глядя в окно,
мне всё равно.
В окне,
во дворе
белеет зима,
колодец, дома.

Но не только Блок появляется на страницах этой книги. Невольно вспоминается и «маленький человек» Пушкина и Гоголя – незаметный винтик, двигающийся «в потоке жизни», спешащий с работы, голодный и уставший, вступающий в незримый диалог с городом и его «официальными лицами». Этот «официоз» подчеркивается и географической организацией текста, где большое бросает вызов малому и где манежное пространство перетекает в лубочный, «невсамделишный» городок:

На выходе заминка, тут у стены толчок
бесплатный, это ж надо, приятный пустячок…
Ну всё, ушел…
навстречу мне, где был простор манежный, –
лубочный городок с фонтаном, сказочный, манерный.

И всё-таки уже здесь, в дышащей безнадёжностью реальности первой части книги, появляется нечто совершенно иное. В непрерывно рокочущее радио, которое по сути есть полный, непроницаемый вакуум, внезапно может прорваться голос истины, как случайная помеха на линии. Первый такой миг внезапного, мистического озарения – в стихотворении, написанном на смерть мамы. Здесь фальшь окружающего мира сменяется искренней, неподдельной интонацией боли, а у пустоты появляется иной подтекст, некий намёк на возможность её замещения чем-то важным, содержательным:

пятый год без тебя и нет ничего больней
нет никакого понятия время лечит
всё что не сказано в прошлом в мутном потоке дней
напоминает пустоты сегодняшней речи

То же – в стихотворении, посвящённом жене и сыну. *«До меня потихоньку дошло – вы нужны мне, как воздух…»*, – признаётся лирический герой Зиновьева, и тут же, словно пугаясь собственной предельной откровенности, уводит себя в сторону от этого разговора: *«а впрочем, будь что будет, чего не пришло, но придёт обязательно, прочерк»*.

Второй раздел – «Неформат» – дарит долгожданную смену декораций. Здесь уже другие виды, иные страны и новые ощущения. Здесь становится свободнее и легче дышать. Здесь можно, путешествуя в Средневековье по флорентийским камням, встретить *«Данте в хитоне помятом»*, увидеть, как *«звёзды морские лежат на дне»*, услышать, как венецианские лодочки *«бьются бортами»*.

Вселенная, бывшая до этого бутафорской и плоской, начинает постепенно обретать объёмные очертания, выстраивая отношения человека и мира по вертикали. И у самого автора возникает спасительная идея о том, что не всё – тлен и суета, что всё же есть *«видимое пространство и неизменность вещей, таинство венецианства суетной жизни людей»*.

Но только к стихотворению «Волошинский сентябрь в Коктебеле» душа как будто ненадолго излечивается от ран, ей становится просторней и светлее – она выпрямляется. Здесь пустоту заменяет жизненное и культурное пространство, а на смену времени с его изменчивостью и непостоянством приходит вечность. И не мудрено – вслед за Волошиным приходит Пушкин, совершающий вместе со своими героями путь *«из Феодосии до самого Юрзуфа»*:

русалки и коты на самом деле
являются проезжим иногда…
и жизнь неповторима на прицеле
у времени, и вечности вода
меняет краски…

Откуда ни возьмись, берутся краски, человек перестаёт быть медийным героем на полях виртуального пространства и становится творцом. И как бы в противовес миру запретов и цифр, перед нами встают *«вечные небесные холсты на тему счастья всевозможных человеков»*.

Оказывается, формула счастья всё же возможна – и третий раздел, одноимённый с названием книги, даёт нам тот искомый элемент человеческой души, ту творческую частицу, которая становится постоянной величиной на фоне наносного хлама цивилизации.

Позволю здесь процитировать себя, вспомнив свой отзыв на книгу Дмитрия, размещённый на задней стороне обложки: *«В стихах Дмитрия Зиновьева уживаются время и безвременье. Наполненная суетой повседневность состоит из постоянно меняющихся картин и новых героев на их фоне. Но автор всё ещё способен вырвать себя из бесконечного круга платежей, падежей, миражей, куар-кодов, новостных лент, выдохнуть и сказать: послушай немного природу, стрижи, пичужки земные по небу снуют и песни поют».*

СМИ, спецслужбы, интернет, маски, мобильные телефоны, двоичные системы, работа, зарплата – всё это исчезнет однажды, обнажив человеку его подлинную суть, не привязанную ни ко времени, ни к вещам. Поэтому у автора, преодолевающего эстетику пустоты, всегда найдётся повод поговорить с читателем *«о чём-то вечном и бесконечном».*

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«ИЗБЫТОК ЖИЗНИ – САМ СЕБЕ СМЫСЛ»

(Владимир Гандельсман, В небе царит звезда. Избранные эссе. – М., Издательство центра арт-терапии «Делаландия», 2024. – 184 с.)

Владимир Гандельсман начинает книгу эссе эмоциональными статьями о творчестве своих близких друзей ленинградского периода жизни, Льва Дановского и Валерия Черешни. Так сложилось, что я не очень хорошо знаком с творчеством питерских поэтов, кроме тех, с кем меня связывают дружеские отношения. И книга Гандельсмана помогла мне восполнить эту лакуну. Мне так понравились стихи Льва и Валерия, что я стал смотреть в интернете их биографии, знакомиться с их стихами. Именно в этом мне видится главная задача эссеиста и рецензента – воодушевить читателя. Чтобы он отложил в сторону Толстого и Шекспира – и читал Дановского и Черешню. Помнится, ознакомившись с работами Виктора Шкловского о Толстом и Достоевском, я инициативно погружался в чтение наших классиков. Конечно, обладают магией инспирации и статьи Владимира Гандельсмана.

Спектр интересов Владимира Гандельсмана необычайно широк. Он пишет и об авангардной поэзии, и о традиционной, и о прозе, и даже о живописи. И буквально в каждой работе тонко и проникновенно говорит о музыке. Что-то тронуло, какая-то строчка зацепила – это может быть достаточным поводом для написания эссе. Владимир – благодарный читатель, и его эссеистика написана с любовью к авторам и их творчеству. Создаётся впечатление, что и рецензии, и предисловия Владимир пишет, поймав вдохновение. Вот что он говорит, например, о книге Бориса Фабриканта «Крылья напрокат»: «Книга, подобно собору, предполагает строгую архитектуру, когда музыка возникает из постоянной переклички отдельных элементов строения, когда есть ритм и рифма, и не важно, в чём они нашли своё воплощение – в камне, в музыке или в слове». И дальше: «Мне по душе, что прошлое время то и дело настигает настоящее, не прикладывая к этому никаких усилий, а настоящее видит прошлое, и видит перед собой, не оборачиваясь. И жизнь переплетена со смертью, как это бывает только при жизни, и – с особой силой – в событии творчества».

Мы видим, что речь Владимира Гандельсмана афористична. Точность и языковая безупречность его формулировок в сочетании с глубиной суждений поэта способны вызвать у читателей катарсис. Это крайне редко случается в критике и эссеистике. Из классиков, обладавших таким даром, вспоминаются разве что Розанов и Шкловский.

Жанр новой книги Гандельсмана достаточно редкий – поэтическая эссеистика. Владимир обладает и наблюдательностью, и пониманием чужого творчества. Но у автора есть ещё одно качество, которое поднимает его эссе на большую высоту. Это знание основ бытия. Это даже не философская подготовленность, хотя в таком знании бывает много философии. Это личностная мудрость, которая проявляет себя, когда есть повод её проявить. Например, цепляющие за душу стихи другого поэта. Наверное, черта эта – благоприобретённая. Ребёнок с этим не рождается, он должен вначале стать личностью. «Сам ли он приблизился к пониманию сего или с помощью религиозных философов – не имеет значения. Ведомо – и всё тут», – так пишет Гандельсман об Алексее Кудрякове. Эти же слова можно сказать и о нём самом.

В задачу рецензента входит выбор наиболее пронзительных строк рассматриваемого писателя. И, чем выше класс эссеиста, тем лучшие фрагменты в произведениях других авторов он находит. Например, вот такие:

с моим живым небесное сшивая,
хлопочет дождь, светают зеркала,
и ты стоишь и смотришь, как живая,
входи, я знал, что ты не умерла…
(Сергей Шестаков)

Не могу отказать себе в удовольствии процитировать маленький отрывок из рецензии Владимира Гандельсмана: «Вышедший в Санкт-Петербурге сборник стихов «Перекур» принадлежит драгоценному перу Кати Капович. Катя относится к тем поэтам, которые не обслуживают ни критику, ни теорию литературы, поэтому писать о ней – если вы не принадлежите к цеху литературоведов – легко (цех работает, но без „перекуров“). Катя не относится к тем поэтам, которые говорят „мы“, чтобы в случае группового провала снять с себя ответственность за авангардное неумение писать стихи. Поэзия Капович – индивидуальное выражение традиции, а значит – её обновление. По-моему, это и есть искусство».

Я не случайно выбрал этот яркий фрагмент. Из него мы можем многое узнать не только о Кате Капович, но и о самом Владимире Гандельсмане. Например, что он не принадлежит к цеху литературоведов. Его эссе – это отклики поэта. Они малонаучны, но зато прозорливы. Например, Гандельсман обратил внимание, что у Кати Капович – «перевёрнутый» мир. Так, у неё на детской площадке «девочки вниз головою висят в сентябре». Мир, увиденный в такой перспективе, неожидан. Это «выворачивание» привычного взгляда. И таких стихов с «обратной перспективой» эссеист нашёл у Кати немало. Другое меткое замечание Владимира по поводу стихов Капович – его реакция на эти строки: «Я приду после смерти / в заметаемый листьями вторник, / по которому носится ветер / и с метлой ходит заспанный дворник». Гандельсман пишет по этому поводу, что поэт может прийти после смерти куда угодно, куда душа пожелает. Прозаическая речь автора – поэтична сама по себе: «снежинка нежится в своём летаянье». Во всех своих откликах Владимир остаётся, прежде всего, поэтом, о ком бы он ни писал.

«Ясность мышления у поэта – авангардна!» – убеждён автор, и это тоже – откровение. «Восхитительно, как автору удаётся сохранить гармоническое равновесие, абсолютную ясность мысли, и доверительную человечность, и силу высказывания, при том, что поэтическое слово находится в непрестанном порыве выйти за пределы постижимого», пишет Владимир о творчестве Елены Севрюгиной. Думаю, эссеистику Гандельсмана стоит читать и просто так – вне интереса к поэту, о котором он пишет. Потому что в любом месте у него может «случиться» глубокая мысль или афоризм. Например, «даже если мы когда-нибудь поймём устройство Вселенной, мы никогда не ответим на вопрос: „зачем?“». Кроме того, писатель цитирует в эссе строки современных поэтов, которые наверняка станут классикой: «за горизонт переселить глаза, / чтоб видели а после показали» (А. Цветков). Или вот такая есть у него нетривиальная мысль: «избыток жизни – сам себе смысл». Действительно, поэт – это донор духа. А что создаст человек, которому едва хватает сил на собственное существование? Избыток жизни нужен как раз для творчества и его реализации.

Читая эссе Гандельсмана о поэтах, с чьим творчеством я прежде не сталкивался, невольно начинаю гадать: родствен – не родствен? Но даже не родственных авторов, конечно, хорошо знать, хотя бы по имени. Владимир Гандельсман абсолютно не эгоистичен. Книга «В небе царит звезда» завершается краткими откликами на творчество коллег. Это очень важно, как знак внимания к собратьям по перу. В этом проявляется человечность. Чудесный «панегирик», написанный верлибром, посвящён автором Вадиму Жуку. Владимир часто цитирует известных писателей прошлых лет, и это не просто демонстрация эрудиции. Цитаты у него всегда к месту. Вот, например, что говорил о поэзии Марсель Пруст: «Тирания рифмы заставляет хороших поэтов искать совершенства». Парадокс, но какой замечательный!

Завершить сюжет о новой книге мне бы хотелось словами благодарности Наде Делаланд, которая поспособствовала появлению на свет этого издания. И, конечно, приведу особо запомнившиеся и полюбившиеся цитаты из книги Владимира Гандельсмана: «Как это всегда бывает в истинной поэзии, мгновение испытывает себя на вечность. А если „вечность“ звучит слишком высокопарно, то – на прочность», «Не узнавать этот мир – значит находиться в непрерывной точке новизны», «Паломничество в святую землю русской поэзии продолжается!». Такая книга – настоящий подарок любителям русской словесности. Мы видим в ней избыток жизни, который, по утверждению автора, «сам себе смысл».

«ЖИЗНЬ МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ЧУДОМ…»

(Валерий Байдин, Быть русским. – СПб, Алетейя, 2024. – 478 с., ил.)

Есть философы и культурологи, которых сложно читать из-за несовершенного языка, который не поспевает за глубокими мыслями. Валерий Байдин – редкий автор, который, наряду с умением исследовать и обобщать, обладает достоинством яркой, насыщенной литературной речи. Это делает книгу его воспоминаний не только искренней, но и захватывающей. Некоторые детали повествования способны удивить читателя, который ни разу не бывал в Париже. Так, например, если верить автору, «истинный Париж вполне уместился бы в московском Садовом кольце». Русская литература давно облюбовала путешествия как один из любимых литературных жанров. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева стояли у истоков этого интересного жанра. Валерий Байдин вносит новую струю в роман путешествия. Эта идея озвучена им в названии предыдущей книги – в «Неподвижном странствии», которое образует с новой книгой смысловую дилогию.

Она заключается в том, что движение и неподвижность словно бы дополняют друг друга, как диалектика и метафизика. Они не воспринимаются героем порознь, это единое целое.

«Дорога утешает, особенно дальняя, неизвестная. Её сбивчивая речь звучит сквозь рёв встречных поездов, грохот мостов и стук колёс: „подожди, подожди, подожди…“. Нетерпение безрассудно, иногда смертельно, как прыжок на полном ходу. Томиться на полустанке или нестись вперёд – какая разница? Придёт время, и всё изменится вокруг и в душе. Останется лишь самое насущное. Об остальном не стоит жалеть». В сущности, Валерий высказывает здесь ту самую концепцию «неподвижного странствия».

Мы видим, что речь Байдина приближается к поэзии: она интонационно мелодична и образна, приближаясь в этом отношении к лучшим образцам русской прозы – «Слову о полку Игореве», рассказам Гоголя и романам Набокова. Что сделало возможным странствие Валерия Байдина длиною в жизнь? Так распорядилась судьба, а знание французского языка очень помогло в общении за рубежом. У Валерия это именно странствие, а не эмиграция. Странствие – как судьба, жизнь – как путешествие сознания.

Жизненные сложности, зависть французских коллег не сломали автора, а сделали его сильнее. Примером для Валерия послужила судьба одного из героев его исследований – физика Чижевского. Жизнь учит нас стойкости и умению на зло отвечать добром.

Талант в области речи хорошо сочетается у Валерия Байдина с одарённостью в области мысли. Книга писателя удивительна тем, что автору удалось вспомнить свои диалоги тридцатилетней давности с представителями русского зарубежья. Это было во многом переломное время, когда разговоры между знаковыми людьми стоило записывать. Например, вот какой разговор случился в Париже у автора с академиком Элен Каррер д`Энкосс, православной француженкой с грузинскими корнями:

– Что ждёт Россию? Опять жизнь между смертью и чудом.

Валерий поднимает философские, экзистенциальные вопросы, как бы между прочим рассказывая о парижских встречах, когда он собирал подписи для своего православного проекта. Книга Байдина захватывает мыслями о прошлом, настоящем и будущем, – словно это не мемуары, а серьёзная философская книга. Конечно, со многими утверждениями автора хочется поспорить. Но мировоззрение Валерия сформировались не сегодня и не вчера. Это результат кропотливой душевной и духовной работы. Взросление и становление писателя совпало с кризисом атеизма в Советском Союзе. Стало очевидным, что русскому народу нужны другие духовные основы для существования и процветания. Язык был кровью, которая скрепляла народы, жившие в России. Язык, вера и историческая судьба – ядром, которое и сформировало русскую культуру, русскую идентичность.

Что поражает в книге Валерия? Цепкая память на детали тридцатилетней давности. Книга Байдина увлекает по-настоящему, словно сам оказываешься на улицах Парижа, не выходя из дома. «Неподвижное странствие» возникает и у читателей Валерия. Я сделал при чтении книги Байдина удивительное открытие: странствует не только человек, странствует порой и культура. Иногда такое путешествие – вынужденно, и культура с трудом укореняется на солончаках чужой земли. А ещё в мире идёт невидимая борьба между различными христианскими конфессиями, которые пытаются переманить неофитов на свою сторону. Валерий много общался в Женеве с экуменистом Патриком де Лобье, проходил обучение в его группе. Экуменизм – это своего рода христианский глобализм. На мой взгляд, экуменизм утопичен, поскольку у разных народов созрели индивидуальные вековые привычки, и объединить все конфессии под одним началом теперь уже очень сложно. Это – ловушка. Дело даже не в том, кто как крестится. Когда католик поёт о своих сокровенных желаниях: «Когда б имел златые горы и реки, полные вина…», православный человек застывает в недоумении. Всё это русскому чуждо и непонятно.

Байдин цитирует высказывание Василия Розанова, который говорил в «Опавших листьях», что любое движение души сопровождается у него «выговариванием». В сущности, и тексты Байдина – пример такого выговаривания. У меня возникают положительные эмоции от пейзажей, которые сопровождают повествование. Знаток русской иконы, конечно, не может не любить живопись. Вот, например, как описывает автор Женевское озеро – «сияющий расплав синего стекла». Встречая такие удивительные метафоры, понимаешь, в чём преимущество прозаика перед стихотворцем: не нужно укладывать свою речь в строгий размер. Чудесны и словесные портреты знаменитых людей, с которыми общался Валерий. Начало девяностых было удивительным историческим периодом, когда людям казалось, что наконец наступили лучшие времена. Но, как мы убедились впоследствии, это была иллюзия.

Книга Байдина несёт в себе «десакрализацию» Запада. Во Францию всё то, что вызывает у нас протест сегодня в России – «актуальное» искусство и т.п., пришло ещё в конце восьмидесятых – начале девяностых. Валерий Байдин рассказывает, как это его шокировало в первые годы пребывания в Париже. Во французских академиях живописи перестали изучать рисунок, поскольку это больше «не актуально». Всё это сильно смахивало на «Закат Европы» Освальда Шпенглера, о чём и сообщает нам автор. Давняя мечта русских – «увидеть Париж и умереть» перестала быть мечтой, поскольку сегодня это уже совсем другой Париж. Неподвижное странствие Байдина – это ещё и путешествие внутри путешествия. Автор рассказывает о судьбах многих соотечественников, вынужденно оказавшихся в эмиграции.

От книги идёт свет. Возьмём даже отдельные фразы: «Вечное поминовение – это таинство самосохранения рода и народа», «Языковая робость перед знаменитостью и блистательной женщиной была преодолена, словно звуковой барьер», «Я колебался между мучительными неизвестностями». Особенность судьбы Валерия – его, тогда ещё молодого учёного, притесняло советское государство, причинив ему много боли. Он был близок к движению хиппи и религиозному подполью, и под давлением властей был исключён из аспирантуры МГУ, уволен из Института Искусствознания. В начале 1990-х годов покинул Россию, учился в Швейцарии и во Франции, защитил докторскую диссертацию по русскому авангарду, преподавал и читал лекции в университетах Нанси, Нормандии, в Сорбонне.

«Многознание уму не научит», – говорил Гераклит. У Валерия Байдина эрудиция сочетается с системным мышлением, которые позволяет ему делать правильные выводы. «Быть русским» – энциклопедия эмигрантской жизни. Русские люди приходили на Запад из ниоткуда, через тернии, сражаясь за свою жизнь, но при всех трудностях строили на чужой земле островки православного мира. Это подвижники, люди, на которых держался русский мир. Культура на чужбине сохранялась вокруг православных церквей. Это во многом неизвестная, катакомбная история русского духа. Коммунистические газеты, конечно, ничего об этом не писали. Автору повезло, что он, будучи ещё молодым человеком, повстречал среди эмигрантов уникальных людей. Среди прихожан православных храмов Франции оказалось и много иностранцев. Неожиданно православие оказалось привлекательным и для них, сочетая французское умное сердце и русский сердечный ум.

Всем памятна фраза из «Мастера и Маргариты»: «Рукописи не горят». А вот что говорит на эту тему Валерий Байдин: «Исчезнувшее не исчезает, превращается в атомы памяти. Вместе они собираются в особое духовное вещество, из которого народ созидает свою историю и культуру». У Михаила Булгакова это утверждение носит частный характер, а в высказывании Байдина мы слышим тенденцию, закономерность, обобщение духовного опыта. Русские люди часто подвержены эмоциям. То мы себя переоцениваем, то, наоборот, слишком недооцениваем. Порой кажется, что нам везде не рады. Книга Валерия Байдина возвращает русскому человеку его достоинство.

Ценность работы Байдина заключается в том, что приоритетность православия для России не провозглашается автором априори, а исследуется на личном опыте, который включает в себя и общение с другими христианскими конфессиями. «Быть русским» – это книга Пути. Наверное, в чём-то автор книги – идеалист. Как религиозный философ, он говорит об «иконном сознании» и соборности души русского человека. А ещё это книга преодолённых искушений и обретения себя. «Главное – возрождение православия, русских традиций, народной души», – говорит писатель. «Быть всечеловеком, оставаясь русским», – вот главная мысль этой замечательной книги.

АВАНГАРД С КРАЕВЕДЧЕСКИМ УКЛОНОМ

(Елена Коро, Сано чара. Стихи. Серия «Поэты Вселенной». – Севастополь, ПК ППТС, 2024. 32 с., ил.)

В стихах Елены Коро соединились лирическая напевность Бальмонта и авангардная загадочность Хлебникова, «космогония звуков». Это необычные стихи, фаэзия (определение автора, создавшего свой собственный мифо-поэтический жанр). Звук у Елены Коро – «демиург, дающий начало миру». «Звук, голос» – «фон» в переводе с древнегреческого. «Одна-единственная фонема как единица языка может положить начало целому автономному миру», – пишет Елена Коро. «Сано чара» на непальском наречии – песня малой птицы.

Вот характерный фрагмент поэтической речи Елены: «Пешелётики аль, / крылышкуя, легчающих строф / письмена, глифы таинственных рун, / ходоки мимолетий, миги / алеющих солнц облакитья, / разлетаются таинством, сонмом / повествуя: я есмь – крылатому свету» («Гонцы альбиции»). Это не заумь – это речь профетическая, свойственная сивиллам, пророчицам, вещуньям. Соответственно и словарь поэта составлен из слов редких и специальных, таких, как виды региональных растений, деревьев и трав. И, конечно, в поэтике Елены приветствуется словотворчество. Коро создала новый язык, духовно связанный с Южным берегом Крыма. Когда читаешь такие тексты, нужно быть очень внимательным.

Например, как вы думаете, что такое «пешелётики аль» из приведённого выше стихотворения? Очень помогает в затруднениях название стихотворения – «Гонцы альбиции». Соответственно, «пешелётики» – это «летающие пешеходы», ходоки по небу, гонцы, существа, которые сочетают полёт и пеший ход. Здесь мы встречаем у Елены Коро – шагаловскую метафору света. «Аль» – усечённое от «альбиции». Ну, а за «альбицией» уже нужно заглянуть в словарь. Это небольшие субтропические деревья или кустарники.

Безусловно, не все читатели обладают глубоким знанием биологии, чтобы дешифровать герменевтику автора. Поэзия Елены Коро специфична, но первородна. Стихи Коро высоко оценил Константин Кедров, пригласив её в своё творческое объединение ДООС.

Несомненные «следы» ДООСа я нахожу и в новой книге Елены Коро. У Кедрова все ДООСы носят суффикс «-завр»: стрекозавр, стихозавр и т.п. Одно из стихотворений Коро в новой книге называется «Зараустый Завр» – «кто зарью зарит из сна». И слышится: «так говорит стихозавр Заратустра».

Елена не боится назвать свою книгу непонятным словом из другого языка. Наоборот, это даёт читателям «энергию постижения», пусть даже этих читателей будет немного. Рифма не играет в творчестве Елены главенствующую роль. Есть – есть, нет – ну и ладно. И это не небрежность автора, а особенность её поэтики. Новая книга Елены Коро – своеобразное объяснение в любви Южному берегу Крыма. Алупка, Массандра, Ливадия, Симеиз, Ореанда, мыс Мартьян, и, конечно, сама Ялта стали не только фоном, но и героями произведений Елены Коро.

Бескорыстная любовь к природе всегда поэтична. Звук у Елены – зряч, он обладает способностью видеть. И это придаёт фаэзии Коро симфонизм звучания. Она пишет звукописью, «звуков переливом», «стуком и слухом в такт, дробью сердца». Когда мы говорим о непохожести одного поэта на других, в этом, как правило, есть некоторая доза преувеличения. Но в случае с Еленой Коро всё обстоит именно так: поэт-мифотворец по определению в высшей степени оригинален.

И, конечно, путеводной звездой для Елены в поэзии является творчество Велимира Хлебникова. Орнитолог по профессии, он подслушал у птиц редкие звуки для своих стихов. И Елена Коро – наследница по прямой этой редкой, но чрезвычайно интересной линии в русской поэзии. Её «Сано чар*а*) – лучшее тому подтверждение. Книга проиллюстрирована фотоснимками поэта-путешественника, визуально дополняющими её тексты.

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ – ОН ЖИЛ С ПОКОЕМ ВРОЗЬ…»

(Александр Мельник, Время летучих мышей. Книга стихотворений. – Льеж. Бельгия, Maison de la Poesie d`Amay, 2024. – 81 с.)

Новая книга Александра Мельника охватывает достаточно большой промежуток жизни поэта – с 2018-го года по 2024-й. Поэтому в ней собрано много разного – эти годы, начиная с футбольного мундиаля в России, оказались насыщенными событиями. Многочисленные путешествия по странам и континентам с презентациями журнала «Эмигрантская лира», в котором Александр – главный редактор, затем – ковид, мировые конфликты, тяжёлая болезнь, из которой поэт едва выкарабкался. Вот что он об этом писал в социальных сетях: «Ровно два месяца назад, 17 сентября 2023 года, у меня случился инсульт, подкосивший моё здоровье, но не сломавший мой дух. Это первое моё стихотворение, написанное с тех пор».

Два подбитых крыла за плечами –
с браконьерской ухмылкой инсульт
о добыче судачит с врачами.
Крепость рушится без катапульт
по велению чёрного ангела,
но сдаваться никак не резон –
я смотрю безбоязненно нагло
на гудящий у стен гарнизон,
потому что – пиит-сочинитель –
попадавший не раз в переплёт,
убеждён, что мой ангел-хранитель
скажет сросшимся крыльям: «На взлёт!».

17 ноября 2023 г.

Больше в стихах о своей болезни и её преодолении Александр не писал, а его новая книга – настоящий гимн жизни. «Время летучих мышей» открывается незабываемой строкой: «Земная осень чуть наклонена…». Стоило автору заменить «ось» на «осень» – и возникла поэзия: осень как склон жизни. Ось у Мельника тоже присутствует, но уже в другом стихотворении:

У глобуса поскрипывает ось –
мелькают континенты под рукою
Пусть говорят – он жил с покоем врозь.
А что покой? В пути не до покоя…

Некоторые стихи Пушкина, на мой взгляд, достаточно полемичны. И Александр Мельник в диалоге с нашим прославленным классиком демонстрирует уязвимость некоторых его крылатых фраз. Вспомним: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». По поводу счастья я не уверен, по поводу воли – согласен, а вот покой вызывает у меня вопросы. У кого он точно есть – у покойника. Но есть ли он у живого человека? И вообще что это такое? Когда тебя никто не трогает? О покое с Пушкиным полемизировал уже Лермонтов. Александр Мельник убеждён: живущему покой противопоказан! И здесь я с автором полностью согласен – возможны паузы в деятельности, созерцательный отдых – но никак не покой. «Жизнь никогда не выпьется до дна, / хотя и льётся, как вино из бочки» – читаем в другом стихотворении Мельника.

Но вернёмся к глобусу и мелькающим континентам. Поэт много путешествует, пропагандируя разные ипостаси своего проекта «Эмигрантская лира». Я по-хорошему завидую путешествиям Александра. Пекин, Сидней, Лиссабон, Рио-де-Жанейро – география впечатляет. Путешествия помогают поэту понять, как прекрасен мир в своём разнообразии – и как относительно всё на земле:

Австралийская осень сменилась бельгийской весной.
Эвкалиптовым маслом хандру прогоняет голуба.
Жизнь вошла в колею. Эманируя сиднейский зной,
загружается видео в чёрные недра ютуба.

Удивляется местный народ моему скулежу,
и любимая, кстати, ему удивляется тоже.
Я в прострации полной по мокрому парку хожу,
страусиной походкой пугая случайных прохожих.

Кенгуриное братство, мне жить без тебя невтерпёж!
Так и хочется плюнуть на всё и сбежать к антиподам,
но прикусишь язык, и стучащее сердце уймёшь,
и пойдёшь по дождю, как Христос по бушующим водам.

Поэзия Александра Мельника изобретательна и мастеровита. Новая книга открывается стихотворением под названием «Игра», словно бы намекая на то, что игровая стихия будет в ней задавать тон. Я уже как-то отмечал, что Александр Мельник – постмодернист, ориентированный на лирику Пушкина: «кошачья жизнь – другим наука», «пока, пока, пока… – как много в этом звуке…». Звучит несколько непривычно, но смешение классицизма и постмодернизма в русской поэзии встречается не впервые. Яркий тому пример – творчество Виктора Коркии.

Для Александра Мельника поэзия – это не только образность мировосприятия, но и неразрывная связь с творчеством больших русских поэтов. И, конечно, не Пушкиным единым жив Александр. Иногда у Мельника заметно и влияние поэтики Александра Кабанова: «В густой ночи горит Полярный рай – / оттуда Павел в Галатасарай / по Скайпу шлёт послание к фанатам». Конечно, жить в обществе и быть свободным от влияний невозможно. Но в них есть и много хорошего. Речь поэта вряд ли стала бы яркой, если бы он не прочёл ни одной книги. Мельник, поэт-мыслитель, читает много и постоянно, в том числе и на французском языке.

На самом деле, с классиками у Александра получается не полемика, а своего рода двухголосная фуга. Как это происходит? Покажу на примере. Классик, в данном случае – Заболоцкий, задаёт «высокую» тему, о красоте: «А если так, то что есть красота / И почему её обожествляют люди? / Сосуд она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?». Александр, стараясь держать «планку» разговора, говорит о чём-то другом, своём, но, может быть, не менее важном: «пришедший в этот мир из ниоткуда, / я до сих пор не знаю, почему / огонь, в моём мерцающий сосуде, / не может навсегда рассеять тьму». На мой взгляд, здесь даже есть философская загадка, какую именно тьму имеет в виду поэт – свою личную, вокруг себя, или же тьму мировую, космическую. Всё это придаёт стихам Александра свежесть и глубину. А ведь, казалось бы, он только перефразировал классика…

Аллюзии Александра не нарочиты. Он своеобразно выстраивает диалог с классическими строками. То, что переработано сердцем поэта и стало «своим» – и формирует культуру. Вот ещё один пример такой фуги с классиком («Не дай мне Бог сойти с ума. / Нет, легче посох и сума» – Пушкин): «Возьми мою суму и посох забери – / я буду и без них слоняться до зари / по пустоши души, бессонницей гонимой». Должен сказать, что это совсем не просто – на равных разговаривать с классиком. Правда, у современного поэта, конечно, есть некоторая фора по времени. Но ведь сам по себе такой дуэт – обязывает!

В лирике Александра Мельника порой не понятно, то ли это юмор, то ли едкий сарказм, то ли самоирония: «Из-под пера выходит сейсмограмма, / под Льежем тишь да божья благодать. / В любовных схватках проку нет ни грамма – / лицом к лицу лица не увидать». Зато у читателей есть выбор –

жанр текста они могут определить сами. Я думаю, что это именно юмор, но с элементами самоиронии и сарказма. Лирика Мельника впечатляет яркостью, живой жизнью, бьющей через край радостью бытия. В ней встречаются просторечные слова, которые снижают пафос и делают речь поэта живой и своеобразной: охламон, верхотура, выкрутасы, судьбинушка… Порой это симбиоз чапаевского «врёшь, не возьмёшь!» и «чую с гибельным восторгом, пропадаю» Владимира Высоцкого. Лирический герой на полную катушку проживает свою земную жизнь, которая даётся нам в этом обличье только однажды.

Александр Мельник, как и Фёдор Тютчев, ночь предпочитает дню: «но я опять за вспыхнувшей звездой / ползу вперёд в расставленные сети». «Время летучих мышей» – книга полифоничная. В ней есть не только поэзия, но и философия, и физика, и метафизика. Не покидает поэта и тропинка из детства: «Я тот же мальчик, злящийся на згу». Зга в русском языке употребляется только в выражении «ни зги не видно». Но поэта это не останавливает, он всегда готов употребить неологизм.

Александру Мельнику свойственны интернационализм и всемирная отзывчивость. Ему есть дело до всего на свете. Есть, например, стихи о жизни бельгийского полицейского. Разнообразие тем у поэта удивляет и радует. Мельник неизменно тянется к свету: «Всё суета… но восходит над парком звезда, / и, окрылённый учением Екклесиаста, / тянешься ввысь из родного земного гнезда, / зная нутром, что мешает излишек балласта». Жизнь прожить – не поле перейти. Александру Мельнику это известно из собственного опыта:

Земля ещё кружится по орбите,
вокруг шумит вселенский кавардак.
Что значит жить? Вдоль путеводной нити –
идти из мрака в непроглядный мрак.

Над миром снова небо заалело,
сверкнуло солнце в капельке росы,
и то, что ночью ныло и болело,
опять поёт и смотрит на часы.

Преодоление бывает не только физическое, в борьбе с болезнью, но и нравственное. Что толку бесконечно ругать зло? Оно рано или поздно само себя дискредитирует. Лучше создавать вокруг себя островки радости и добра.

МАШИНА ВРЕМЕНИ АНДРЕЯ ГРИЦМАНА

(Андрей Грицман, Далее везде. Короткая проза, эссе, интервью. – Киев, Друкарский двор Олега Фёдорова, 2022. – 176 с.)

Однажды мне случайно попался томик прозы Андрея Грицмана «Поэт и город» – и с тех пор я внимательно слежу за его творчеством и неизменно открываю для себя что-то новое. Во мне просыпаются неожиданные, а то и вовсе не свойственные мне мысли и образы, рождённые творчеством Андрея. Вот и сейчас, при чтении новой его книги, у меня возник образ машины времени, которую придумал Грицман. Конечно, это не Герберт Уэллс и не Андрей Макаревич. В своих коротких рассказах автор создаёт некое волшебное пространство, в котором человек может свободно перемещаться во времени. И это не билет в одну сторону, а, подобно «Ивану Васильевичу» у Булгакова, сквозной временной портал, внутри которого автор и его герои могут свободно ходить туда и обратно. Например, Андрей Грицман и Эдгар По могут встретиться и побеседовать как в 19-м веке, «на родине» американского поэта, так и в 21-м веке, в нашей современности. В коротких рассказах Грицмана обыкновенная действительность переплетается с фантастической, и призраки прошлого неожиданно оказываются из плоти и крови.

Один важный, на мой взгляд, для автора рассказ – «Там, где я хотел быть» помогает понять природу такой машины времени. Существует известная поговорка – «хорошо там, где нас нет». Герой Грицмана рвётся побывать там, куда он давно мечтал попасть, но… действительность его разочаровывает. «Не к добру людям исполнение их желаний», – предупреждал Гераклит. Рассказ Андрея Грицмана носит концептуальный характер. Лучше реализовать мечту – и разочароваться, чем бесконечно мечтать – и к мечте не приблизиться. Как сказал Боккаччо, «лучше делать и каяться, чем не делать и каяться». А ещё лучше – делать и не каяться. У грицмановского движения к мечте и обратно есть свой геометрический рисунок – это «двойной ход амфисбены», взад-вперёд, который тоже чем-то напоминает машину времени. Оказывается, лучше всего – дома, на своём привычном месте. Но герой может это осознать только путём ухода и возвращения. Как Пер Гюнт у Ибсена или блудный сын у Рембрандта.

Короткая проза Грицмана с первых страниц захватывает необычностью сюжетов. В начале книги идут рассказы с элементами фантастики. Андрей умеет находить неожиданное в обычном: такие ракурсы,

темы и идеи, что это всегда свежо, оригинально и интересно. И, пожалуй, «монтеневская» форма повествования-калейдоскопа для Грицмана совершенно естественна. Достаточно вспомнить его книгу «Поэт и город», с похожей композицией, где под одной обложкой так же объединены эссе, рассказы, интервью и рецензии. Названия книг у поэта всегда любопытны и неожиданны. «Далее везде» – это строка на табло в расписании московских электричек. Андрей Грицман, в прежней жизни – москвич, а в нынешней – житель Нью-Йорка, придумал очень интересный способ организации книги с разнородными элементами: отдельное произведение – это станция следования пассажира электрички. На какой-нибудь приятной станции читатель может сойти – и надолго там задержаться. Такой станцией в новой книге Грицмана стала для меня его статья об особенностях самоперевода.

Дело в том, что, однажды приехав в Америку, я столкнулся с необходимостью срочно перевести свои стихи для выступления перед англоязычной аудиторией. Уровень владения английским позволял мне надеяться, что такая задача окажется мне по плечу. И, действительно, верлибры я перевёл достаточно быстро. Но вот с рифмованными стихами пришлось изрядно помучиться. У Андрея Грицмана я прочёл, что подобные трудности подстерегают едва ли не каждого автора, который отважился заняться самопереводом. И дело вовсе не в таланте переводчика или его отсутствии, – просто лексика одного языка сплошь и рядом не совпадает со словарным запасом другого. И переводчику для решения задачи приходится придумывать новые образы, более свойственные языку перевода.

Книга Грицмана не случайно называется «Далее везде»: автор словно бы намекает читателям, что неплохо было бы посетить и другие станции, не только любимые. Цельность личности помогает Грицману писать в разных жанрах на разных языках – в душе у него есть внутренний стержень, а язык служит только средством для воплощения творческих замыслов. Если действительно «останавливаться везде», то есть читать в книге всё подряд, в какой-то момент начинаешь понимать, что ответы на свои вопросы можно почерпнуть здесь же, в этой же книге. Надо только читать внимательно. Например, Грицман подробно рассказывает в интервью о своём творческом методе, о своём мировоззрении. Сюжеты его фантастических рассказов, представленных в первой половине книги, становятся понятнее из реплики, сказанной в одном из интервью: «Мир таинственен. Зона, как в „Сталкере“ Тарковского, находится в шаге от меня. Всё может произойти и происходит в любой момент».

У Андрея Грицмана есть в творчестве не только сквозное время, но и сквозные темы. Трудно представить себе книгу эссеистики Грицмана без статей об Иосифе Бродском и Пауле Целане. Кажется, у автора особое отношение к творчеству этих двух поэтов. У меня даже возникло ощущение диссертационной ценности этих исследований Андрея. У Бродского автор выделяет «уникальный метод слияния метафоры и мысли». «Бродский взял совсем другую ноту – позицию абстрагированности, отстранённости. Это – ночное борение с ангелом, а не энергия, направленная на конкретного исторического противника. Отличие Бродского от других в том, что энергия его черпается из другого источника. Конфликт происходит не на глазах, он плохо „пеленгуется“. Одна из главных причин его огромного успеха в том и состоит, что с самого начала он был сам по себе, вещью в себе, и в меньшей степени – реакцией на окружающую действительность». Очень интересно! «Бродский создал собственные условия и правили, свой язык, и в этом – его сила и его слабость». Грицман настолько глубоко и обстоятельно понимает творчество Бродского и Целана, что его работы на эту тему интересны даже тем, кого трудно назвать поклонниками творчества этих поэтов.

Разнообразие жанров не мешает цельности восприятия творчества Андрея Грицмана. Его умная, оригинальная, открывающая новые горизонты эссеистика, на мой взгляд, ничуть не слабее, чем его стихи. Некоторые мысли Андрея могут оказать терапевтическую помощь пишущему человеку: «В поэзии „вкусовщина“ вещь полезная, в любом случае от неё никуда не денешься. Я, например, не обижаюсь на редакторов, на журналы, которые не принимают мои стихи, поскольку они им чужды, – как говорится, „другая группа крови“». Действительно, не стоит расстраиваться, если кто-то тебя не печатает. Это не свидетельствует о том, что ты плохо пишешь. Возможно, редактор – просто «другой». Или сам ты – «другой». Мы видим, что врач Грицман может исцелять нас и духовно.

Какие-то важные для нас темы Андрей раскрыл настолько талантливо, что я их теперь вижу именно «по Грицману». Например. Андрей пишет о том, что человек получает право называть чужую землю своей, когда в неё ложится прах его близких. Думаю, зерно истины есть и в обратном – человеку нельзя забывать о земле, где покоится прах его предков, даже если он давно оттуда уехал. И в том, что я стал об этом размышлять, большая заслуга философской эссеистики Андрея Грицмана. Его статьи активируют мыслительную способность читателей. Важно и то, что Андрей поднимает в своём творчестве экзистенциальные темы. Это свидетельствует о масштабе личности писателя. «Преодоление эмиграции» – глубокое и эмоциональное исследование человека, который давно прошёл эту инициацию. Эта тема звучит у Грицмана и в других работах, например, в интервью с Даной Курской: «Никакого отрыва от родного языка ни я, ни близкие мне коллеги не чувствуем. Разрыв с государством и даже со страной и разрыв с языком – совершенно разные вещи». Разносторонний талант Андрея Грицмана широко и ярко проявлен в его новой книге.

«ВЗГЛЯНИ НА МИР ИЗ НОВОГО ПРОСТРАНСТВА…»

(Татьяна Кайсарова, Слепое сопряжение. Поэзия души. – М., «Вест-Консалтинг», 2024. – 134 с., ил.)

Стилистика стихотворений Татьяны Кайсаровой мало меняется со временем. Но это именно то постоянство, которое вызывает симпатию. Поэт всегда себе интересен – и в радости, и в печали. Стихи Татьяны, даже грустные строки о несбывшемся, обладают особой магией и целебными свойствами. Ты не просто попадаешь в совершенно другой мир – ныряешь в него с головой, и возвращаться назад особо не хочется. Мир современного человека часто раздроблен, и стихи Кайсаровой возвращают нам ощущение собственной цельности. Это – долгожданный приют для души, которого ты давно искал:

Не уснуть, не проснуться, лишь медленный свет,
и нельзя обернуться, покинуть приют.
Слышен звук – это ангелы горько поют,
это падают звёзды в кювет.

Обычно по стихам сразу видно, звуковик поэт или художник. Но у Татьяны зрение и слух участвуют в её творчестве на равных правах. Она и художник в слове, и музыкант. Смотрю одно стихотворение – вижу акварель: «Встали сосны, как цифры простейшие, / на шершавой ладони добра. / Облака, словно сны наши вещие – / те, которым сбываться пора». Смотрю другое – слышу звук: «Вином ли, чаем ли / запить отчаянье? / Тьма твоих чаяний, / мечтаний – тьма. / Вошёл нечаянно, / в окне зима. / „Делись печалями“ – / звала сама. / Касалась взглядами / волос и рук… / О, Боже, надо ли, / мелькнуло вдруг. / Смогу ли вынести / любовь к другой? / Молчала, вынесла, / сожгла покой. / Из злата высекла: / „любимый мой“». В этом стихотворении особенно ярко ощущается принадлежность Татьяны Кайсаровой к ахматовской ветви русской поэзии.

Татьяна смотрит на мир словно бы откуда-то сверху, и эта высокая отстранённость, на мой взгляд, многое спасает в душе. Но это не отстранённость равнодушия. Нет, всё, что происходит в мире, волнует поэта как человека. Это отстранённость неучастия. Татьяна живёт затворницей на Валдае, редко возвращаясь в Москву. Впрочем, сама глубинная поэзия сегодня – затворница: по-другому ей себя не сберечь: «Вот октябрь. / И светило к надиру / Опустилось. И пробуешь ты / Докричаться до внешнего мира / Через вязкий порог глухоты». Когда я читаю эти строки, самая первая ассоциация у меня – Андрей Ширяев, русский поэт-эмигрант, который покончил с собой в Эквадоре. Что-то неуловимо «ширяевское» слышится в строках Татьяны Кайсаровой – в лексике, стилистике и в том, что тайный, камерный мир поэта вдруг становится вселенским и космическим. У Татьяны это похоже на «инсайдаут», о котором говорил Константин Кедров. Важную роль в поэтике Татьяны играет память. Читаем: «память – случайная нить», «запах памяти». Память – цемент духа, который связывает разрозненные жизненные фрагменты в единое целое.

«Слепое сопряжение» – книга жанрово разнообразная. Триптих Кайсаровой «Он и Она» всколыхнул в моей памяти эпос Шри Ауробиндо «Савитри». Мистицизм, эзотерика проявляются у Татьяны даже в любовной лирике, а сама встреча мужчины и женщины космична по своей природе:

Из тени в тень и от волны к волне,
от мысли – к смыслу бытия и быта –
такая вот нехитрая орбита –
то леденеют, то горят в огне!

Она и Он, Они… А, может, МЫ?
Как медленные капли по стеклу
стекаем. Как смола, влекомая в смолу,
как день и ночь – контрастны и немы.

Не обрели друг друга. Были рядом.
Спешили, оставляя на потом,
всё то, что после приходило сном,
блаженством неизведанным и ядом,

разлитым в эту войлочную тьму,
чтобы, богоподобные, не спали,
а миражи небесных зазеркалий
не открывали тайны никому.

Стараюсь читать стихи, насколько это возможно, внимательно. Хорошо, когда они побуждают читателя думать. Я долго пытался расшифровать название книги Кайсаровой. И тут меня осенило: слепое сопряжение – это же Божий промысел! А любовь, согласно Татьяне, подобна божеству. Читаю в авторском послесловии: «Наша судьба – самое непредсказуемое слепое сопряженье, которое только может быть. Незримо, неощутимо соединяются и сплетаются нити судьбы, и возникает полотно нашей жизни».

Бывает, поэт, словно бы невзначай, «проговаривается» о чём-то очень важном в своём творчестве, даёт ключ к пониманию своей стилистики. Читаю у Татьяны: «Просветлений внезапных пора – не игра, не игра, не игра». О чём говорит поэт? Прежде всего, о том, что он не похож на других. И в данном случае это, скорее, отмежевание от постмодернистов и всех тех, кто пишет стихи ради игры слов или какой-либо другой игры. Не случайно своё отрицание «не игра» автор повторяет три раза. Что же тогда творит стихи Татьяны Кайсаровой? Ответ – в первой строке этого двустишия: внезапные просветления. Это хрустальные дали между явью и сном, между жизнью и смертью, «незримый сгусток бдения и сна».

Поэзия – не игра! Вспоминается Георгий Иванов: «Мне говорят – ты выиграл игру! / Но всё равно. Я больше не играю. / Допустим, как поэт я не умру, / Зато как человек я умираю». Бывает так, что игра навязывается лирическому герою извне. И тогда это – чужая игра. Вот что мы читаем у Татьяны Кайсаровой:

II длится неприглядная пора,
где лживых слов смертельная игра,
как горечь, растворённая в бальзаме,
и вещий сон лежит пустым холстом,
разгадку оставляя на потом
зияющею тьмой в оконной раме.

Мы видим, что совсем избежать игры человек не в состоянии. Как поёт Герман в арии из «Пиковой дамы», «Что наша жизнь? Игра!». Но всё же главное для человека во враждебном мире – сохранить честь и достоинство. Каким бы камерным ни был внутренний мир русского поэта, он не может не откликнуться на человеческую беду:

Не скошен луг, не собраны осколки.
Взлохмаченная спутница беда
качает сон сгоревшего посёлка,
отброшенного взрывом в никуда.

Воронка и вороны. Куц рассвет.
Упала тишина туманным пледом
и никого в немом пространстве нет –
по расписанью лишь жара и лето.

Увидишь такое – и «немота» (так называется одно из лучших стихотворений Татьяны в «Слепом сопряжении») в одночасье проходит. «Мир дымится», он безумен, его нужно лечить, он нуждается в кардинальных переменах: «И рушатся миры на стыке слов, / и клоуны безумные в фаворе, / и поминальный звон колоколов / несносен в нескончаемом миноре».

Стихи Кайсаровой хорошо вписаны в контекст русской поэзии. Татьяна сама оформляет издаваемые книги, и её живопись нравится мне не меньше, чем стихи. На мой взгляд, живопись и стихи образуют у поэта одно целое. Жаль, что дороговизна цветных репродукций не даёт читателям возможность насладиться графикой Татьяны в большей степени. Обложка книги – настоящий фейерверк эмоций, а сама книга настолько разнообразна, что, пожалуй, мне пора закругляться – обо всём, что в ней есть, рассказать всё равно не получится. Многие стихи из новой книги близки по духу к сонетам Шекспира, а в её конце есть целый раздел из сонетов. Это логично выстроенная драматургия. А закончить мне хотелось бы отрывком, вложенным Татьяной Кайсаровой в уста Фемиды:

Пробьёт твой час, и грянет суд, поверь.
Взгляни на мир из нового пространства.
С провинциальной верой в постоянство
не избежать безжалостных потерь.
Но рухнет мировое самозванство,
и истина сама откроет дверь.

Верим и надеемся.

КОСМОС СЕРДЦА ЛИДИИ ГРИГОРЬЕВОЙ

(Лидия Григорьева, Термитник 3. Роман в штрихах. Книга третья. – СПб, Алетейя, 2024. – 220 с.)

Вышел в свет третий, заключительный том «Термитников» Лидии Григорьевой, завершая величественное здание её трёхтомного метаромана. Три тома написаны и изданы в рекордно короткие сроки – в 2020 году проект только был задуман, а в конце 2024-го – уже завершён. Писательница исследует современную действительность с разных точек зрения, вширь и вглубь. Словно отважная лётчица, она поднимается в небо над человеческими сотами и наблюдает за жизнью. Умение «подсмотреть» чужую жизнь – встречается нечасто. Через весь трёхтомник у писательницы проходит сочувствие к «униженным и оскорблённым», обездоленным и страдающим, порой – не по своей вине. В результате мировых военных пожаров страдают обычные люди (рассказ «Граффити»). Есть ситуации – но нет выхода. Для многих людей, кому посчастливилось выжить, началась новая жизнь, к которой они были не совсем готовы. Всё это – герои Лидии Григорьевой.

Честно говоря, я под большим впечатлением. Трёхтомник Григорьевой – уникальное собрание мини-рассказов, которые составляют метароман. «Термитники» напоминают собой огромный мегаполис, населённый людьми разных профессий, конфессий и национальностей. Это островки бушующей жизни. Читая метароман Лидии, мы словно бы совершаем кругосветное путешествие. Трёхтомник являет собой портрет нынешнего времени: боевые действия, невинные жертвы, охотники за удачей, беженцы-нелегалы… Панорама Лидии Григорьевой объемлет как мир, так и войну. И где-то эти полюса сходятся. На войне – люди тоже живут и обустраивают свой быт. Писательница не остаётся в стороне и от этических проблем. Так, герой-лётчик раздумывает, бросить ли бомбу на город, или же попасть под трибунал, не выполнив смертельное задание. И гуманизм в данном случае побеждает.

По «Термитникам», пожалуй, можно изучать историю двадцатых годов 21-го века. Везде – борьба за жизнь, за внимание противоположного пола, за место под солнцем. А ещё в рассказах Григорьевой присутствуют животные, насекомые, земноводные и прочая живность. В симбиозе с человеком и отдельно от человека. Как же богата видами жизни наша планета! У автора это не просто отдельные характеры – это их сосуществование, дружба и вражда, разные виды любви. Многие «термиты» посвящены семейным коллизиям. Автор дружен с жизнью, и жизнь платит ему той же монетой. У писательницы – невероятно богатый язык и энциклопедический охват действительности. Она, конечно, демиург по отношению к созданному ею миру. Лидия даёт разнообразие жизни, её цветущую сложность. Читаешь Григорьеву – и складывается цельная картина современного мира.

В третьем томе «Термитников» вдумчивому читателю открывается, что в романе есть и скрытый герой – степь. Степь у Лидии Григорьевой – «гений места». Здесь она родилась и, хотя давно не бывала в родных местах, знает быт тамошних людей, видит процессы, которые руководят жизнью, чувствует степные запахи, слышит стрекотание насекомых – изнутри, внутренними глазами, космосом сердца. О степи я нашёл у автора замечательный отрывок: «Есть в нашей русской природе и женское начало. Это степь, распростёртая и вширь, и вдаль. Непаханая недотрога. Хочешь – бери и владей. Сопротивление неизбежно, но преодолимо. Женские капризы жарких степных суховеев и зимних обманных, ведущих к гибели, метелей известны заранее. А притяжение цветущей женственности необоримо. Порою гибельно, но сладострастно».

В новом томе что-то отходит на второй план – например, борьба человечества с ковидом. Но военных рассказов становится больше. Война у Лидии Григорьевой – страшное бедствие, которое застигает врасплох людей, живущих в прифронтовых областях. Но есть в её военных рассказах и другие, не менее важные мотивы, например, бессмысленность жертв (рассказ «Степные грозы»). Порой добровольцами туда идут, как ни странно, романтики («Петь или не петь»). Григорьева показывает, что на войне порой сходятся лучшее и худшее в человеке. Но происходит это, как правило, в разных людях («Хуторок в степи»). Возникает ощущение, что писательница творит «в режиме реального времени», синхронно с происходящими на земле событиями. Ей не требуется много времени на осмысление происходящего, и это – тоже своего рода новаторство: мы помним, что Лев Толстой написал об Отечественной войне 1812 года только спустя 50 лет после её окончания. Хотя, если быть честным, тот же Толстой писал «Севастопольские рассказы» вживую, прямо по следам военных действий. Способ осмысления зависит от характера художественных задач.

У писательницы много знаний из современной жизни, которые она черпает отовсюду – обычный визит в магазин или к врачу может дать начало новому произведению. С поэзией «термиты» роднит то, что мини-рассказ тоже может начаться с одной услышанной строки, в которой уже заложены и ритм повествования, и его смысл. Лидия часто использует свои поэтические навыки и в прозе. О том, что автор – поэт, напоминают нам часто встречающиеся в её прозаических текстах рифмы: «лучница –

разлучница», «от любви и дури – до игры на бандуре», «бери ранец, новобранец», «прохвосту всё по ГОСТу». А порой ничего и не зарифмовано, а всё равно слышно, что это речь поэта: «усталость дневная глаза и уши замела поземкой сна». И заканчивается книга тремя лирическими эссе – «Птица Экзот», «Урал и Степь», «Ангелология». Всё живое, и сами строки словно бы шевелятся, замирают, дискутируют. И всё это – космос сердца Лидии Григорьевой.

Прозаическая речь писательницы своеобразна: она действует как драматург, у неё все персонажи имеют свой индивидуальный язык. Как пишет режиссёр и автор спектакля по первому тому «Термитника» Ольга Калашникова, Григорьева умеет «через небольшую деталь увидеть и точно прочесть и судьбу, и возраст, и жизненный опыт каждого персонажа».

Иногда в жизнь героев Лидии просачивается что-то тайное, включаются тайные механизмы; автор рассказывает в книге даже об операциях секретных служб. Развивает Лидия Григорьева на новом материале и традиционные для русской литературы темы: отцы и дети, лишний человек (рассказ «Мусорщик и билетёрша»). Престижные профессии и наука жить порой радикально не совпадают. В каждой социальной группе есть свои установки: что хорошо, а что плохо. Но порой кто-то из героев Лидии идёт «за флажки» – и нарывается на семейную обструкцию.

Григорьева – хороший психолог. Видимо, не случайно героиня, которая присутствует у неё во всех трёх частях, словно бы скрепляя их своим присутствием, – психотерапевт Вероника Хохлова: «По своей работе она хорошо знала, что есть люди без воображения. Они органически не могут что-либо вообразить или представить. И это нисколько не мешает им жить. Более того, она поняла, что эти люди – счастливцы. Они живут только сегодняшним днём в горизонтальном мире! И даже не подозревают, что у жизни есть объём и вертикаль». Лидия Григорьева как раз даёт читателям и объём, и вертикаль.

Автор чувствует себя достаточно свободно и раскованно: в «термитах» попадаются и эротика, и крепкое словцо. Это варево жизни, в котором всё возможно: уровень культуры у всех людей – разный. Лидия пишет остро и ярко, – не только сюжетно, но и словесно. «Я пишу „термиты“ как бы „взахлёб“, – признаётся писательница, – на одном дыхании. Не успеваю ставить точки – и бегу дальше, захлёбываясь новыми замыслами». Многие рассказы Григорьевой – это монологи героев. Обычно это русские люди или выходцы из стран бывшего СССР, разбросанные по всему миру. Но есть и люди других национальностей – например, китайцы и англичане. «Термитники» – феномен нестандартного мышления. Например, Григорьева необычно написала о ксенофобии: человек может быть невиновным в расизме. Порой организм человека негативно реагирует на человека другой расы помимо воли самого человека.

Поэт и критик Вера Линькова пишет о разнообразии литературных жанров в «Термитниках»: «Самобытная „фигура речи“ включает в себя и аллегорию, и алогизмы, и парадоксы, и юмор, и притчи, и сарказм, и каламбур, и прочую штриховую семантику». Хочу немного дополнить этот мысленный ряд.

У писательницы и её героев часто срабатывает ассоциативное мышление. Так, например, на файл «имя папки» у героя тут же отозвалось в душе: «имя мамки». И у автора появляется повод рассказать семейную историю. В другом «термите» Лидия Григорьева использует иносказание, которое содержит эротический подтекст: «Она вообще особняком стояла, но особисто жила. А он столбом пред ней восстал – остолбенел от желания стать надёжной опорой». Удаётся Григорьевой и словотворчество. Тут и там в её текстах рассыпаны неологизмы и редкие слова сленгового происхождения, например, «ретруха».

Порой избыток жизненной энергии перерастает у героев Лидии в обыкновенную дурь («Крик невесты»). Драйв, конечно, вещь хорошая. Но иногда он переходит разумные пределы. Впрочем, это всегда было свойственно русским людям. «Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца русского таит неизъяснимы наслажденья, бессмертья, может быть, залог», – писал Пушкин. А теперь мы видим в рассказе Григорьевой, что эти свойства русской души вдруг обнаружились и у китайцев. «Термитники» являют собой горячий источник свежих мыслей и образов. Видимо, не случайно в «термитах» спряталось ещё и слово «термы».

Реальность непредсказуема. Что-то на нас постоянно надвигается, и мы никогда не знаем, что именно будет определять нашу жизнь в ближайшие годы. Поэтому люди 21-го века не похожи на людей века 20-го. Мне представляется важным сочувствие писательницы своим героям, которые живут и выживают в это непростое время. А когда время было простым? У каждого времени – свои вызовы. Мир полон страдания – как своего, так и чужого, которое писатель-гуманист воспринимает как своё, близко к сердцу. Подведём итоги. Весь трёхтомник Лидии Григорьевой – единое целое. Книга уникальна по своему формату. Другому человеку написать это было бы трудно – и биографически, и ментально, и по масштабу таланта. Фактически Лидия Григорьева изобрела новый литературный жанр. Приживётся ли он в русской литературе или же будет стоять особняком, как «Горе от ума», – покажет время.

«СО МНОЙ СЛУЧИЛАСЬ ЖИЗНЬ…»

(Татьяна Богданова. Пригоршни звездопада. История в лицах. Стихи. – М., Вест-Консалтинг, 2024. – 228 с., илл.)

У Татьяны Богдановой есть в творчестве какой-то особенный изыск, который проявляется у неё уже в названиях книг. Театр начинается с вешалки, а книга поэта – с названия! Просто хороший поэт сказал бы: «пригоршни звёзд». Но Татьяна идёт дальше: пригоршни звездопада. Как говорится, почувствуйте разницу! За звёздами надо ещё отправиться в космос, чтобы собрать их в свою ладонь. А звездопад – он здесь, с нами, на Земле! У Богдановой это не простой звездопад – звёздами у неё выступают великие поэты, художники, композиторы. «Пригоршни звездопада» для Татьяны Богдановой – совершенно естественное направление её творчества. Такие стихи пишутся у неё постоянно и достаточно давно. Конечно, будут появляться и новые, я в этом нисколько не сомневаюсь. Книга уже вышла, а свежие стихи Татьяны «из серии ЖЗЛ» продолжают появляться в соцсетях. Поэту нравится выражать пристрастность, неравнодушие к творчеству коллег. В книге представлено несколько разделов, объединённых яркими названиями: «Серебряные дребезги», «Золотые брызги», «Цветная мозаика» и «В русских песнях поэзия есть».

Главное сокровище и достояние пишущего – его язык. Можно даже перепеть чужие мысли, но обязательно своими словами! Портреты поэтов от Татьяны Богдановой интересны тем, что она переплетает свой голос с акустикой рассматриваемого поэта. Получается своего рода двухголосная фуга, где голоса звучат не попеременно, а в унисон. Таков, например, портрет «короля поэтов» Игоря Северянина:

Нежной трелью разбуженный,
Редким солнцем разглаженный,
Ты идёшь – отутюженный,
Твой пробор – напомаженный.

Взгляд скользит по проталинам
По причине радушия.
Твой платок – накрахмаленный
И духами надушенный.

Будет в мареве зарева
Закипать кулуарово
День, родившийся заново
На плечах ягуаровых.

В дымке веток сиреневых
Аромат опьяняющий.
Для тебя он – мигреневый,
Он такой для меня ещё.

Тень, что стелется под ноги
По причине зенитности, –
Узнаваема многими.
Это – тень знаменитости.

Сверху одеревянена,
Продолжая парение,
Дышит трость Северянина
Новым стихотворением.

Эти стихи названы автором «стилизацией под Северянина», хотя, на мой взгляд, это именно портрет поэта, в котором есть элементы стилизации. А портреты у Богдановой – это «история в лицах». Автор мастерски использует в стихотворении дактилические рифмы, которыми хорошо владеет. Есть в «Пригоршнях звездопада» и другие яркие портреты. Вот, например, Макс Волошин: «в нём Зевс из помещика слеплен». Порой у Татьяны это не столько портрет, сколько характеристика человека или обстоятельств его жизни. Вот как она пишет о Марине Цветаевой: «Здесь не нужна, в изгнаньи – невозможна, / Невозвращенка в собственное небо». Очень точная характеристика!

Татьяна Богданова – редкий по нынешним временам поэт, который занимается исключительно творчеством. Для такого подхода необходима уверенность, что это занятие… окупится – прежде всего, конечно, морально. Нужно быть уверенным в своей избранности. «Я – стихия», – говорит о себе Богданова. Это то, что роднит её с Мариной Цветаевой. В разные периоды жизни Татьяна постоянно возвращалась к диалогу с Мариной, к размышлениям о её трагической судьбе. В «Пригоршнях звездопада» мы видим большой цикл стихов, посвящённых Цветаевой. Многое в судьбах великих поэтов можно понять по перипетиям собственной судьбы: «Осознаю: посланникам – непросто / Среди бескрылых жителей земли». В цикле стихов, посвящённых Марине, много находок. Вот как талантливо обыграно автором слово Таруса: «Таруса – та Русь, где хотела лежать бы Цветаева. / Та русая прядь её, что, наконец, завилась». Привлекает внимание и первая строчка всего цикла – «Со мной случилась жизнь…». «Жизнь» для женщины – это иногда внезапная влюблённость. Бывает, что это та самая «запретная» любовь, которая рождает стихи.

Татьяна любит художников слова, о которых пишет. Среди поэтов есть и трижды, и четырежды герои Татьяны Богдановой. Стихи, вошедшие в новую книгу, написаны в разные годы. Это следы восторгов и эстетических влияний, испытанных при чтении любимых авторов. Однако даже платоническая любовь к творчеству того или иного автора может сойти на нет в результате предельного насыщения его творчеством. К достоинствам новой книги я бы отнёс и то, что посвящения Татьяны любимым поэтам – не оды и не панегирики. Порой это стихотворные диалоги, где один поэт ругает другого (например, Смеляков – Вертинского). У Богдановой много деталей, которые помогают раскрыть тот или иной образ. Пожалуй, Татьяна могла бы читать о любимых поэтах лекции. Но она пишет об этом стихи. Сочный язык, знание истории русской литературы, только ей присущая «балладная» форма изложения материала – вот главные достоинства портретной серии Татьяны Богдановой. Внутри поэтических портретов, сделанных Богдановой, я вижу большое разнообразие редких жанров: сонеты, акрокаре, усечённая дольниковая октава… Есть даже французская баллада с посылкой – тот самый жанр, который, фехтуя на шпагах, продемонстрировал нам в пьесе Эдмона Ростана Сирано де Бержерак.

Татьяна пишет истово и вдохновенно. Её портреты – живые, не «литературные» и не «живописные». Там клокочет магма! «В сердце бушует орган, / Разветвляется струнами вен». Там заново проживается жизнь. Стихотворные портреты Богдановой не похожи на другие посвящения, прежде всего, тем, что автор словно бы лично внедряется в эпоху, о которой пишет. С какой болью она пишет, например, о Блоке и его «Двенадцати»: «А когда заболел он, / Всё решался вопрос: / Кто ж в том венчике белом – / Неужель наркомпрос? / Растревожена тема: / „Кто тут власть? Где тут Бог?“ / Не читает поэму / Умирающий Блок…». Действительно, у читателей возникает ощущение, что Блок умер от своей злополучной поэмы. Порой Татьяна от избытка чувств даже «наезжает» на своих героев, исходя из свойственных ей представлений о долге, чести и справедливости. Я, например, не стал бы ругать Айседору Дункан – хотя бы потому, что она трагически погибла. Но у Богдановой другой угол зрения, другая точка отсчёта. Она критикует «босоножку» с женской точки зрения, как «не пару» своему любимому поэту Сергею Есенину. У автора – своя правда, которая болит в сердце.

Но, в целом, Татьяна настроена на позитив; сочувствие встречается у неё чаще. Богданова прочитывает стихи любимых поэтов глубже, нежели рядовой читатель. Она на всё обращает внимание – на детали и на тайнопись, которая есть у всех великих. Часто у неё это реконструкция фрагментов из жизни того или иного поэта или художника, дань благодарности его творчеству, в данном случае – Александру Блоку:

Я сама на восходе сгораю.
Мне восставший из пепла – чета.
О весна без конца и без краю!
Без конца и без краю мечта!

Татьяна центонно входит в жизнь и творчество своих героев, точь-в-точь как Марина Цветаева – «не позванной». Это и является лирическим дерзновением. Многие портреты близких автору по духу художников по градусу повествования напоминают любовную лирику. Если вы читали письма Цветаевой к Ахматовой, вы поймёте, о чём идёт речь.

Стихи сопровождаются у Татьяны Богдановой фотопортретами её героев. Очень разные авторы-герои мирно уживаются в сердце поэта. Соснора и Фатьянов, Евтушенко и Рубцов, Есенин и Бунин, Друнина и Чичибабин. Художники – Врубель и Васнецов, Шагал и Ван Гог, Рубенс и Сальвадор Дали. Композиторы – Брамс и Шопен, Бетховен и Мусоргский, Паганини и Моцарт, Бах и Алябьев. Новая книга открывает нам Татьяну как талантливую читательницу – а такое происходит не с каждым писателем. Она блестяще образована и постоянно пополняет свои знания, изучая биографии писателей и их произведения. Татьяна пишет настолько увлекательно, что хочется тут же перечитать первоисточник, подаривший ей вдохновение.

Автора творит, прежде всего, наличие вкуса. Хорошо, когда у читателя и писателя он совпадает. Вкус помогает Татьяне Богдановой находить у классиков лучшие, самые важные для нас строки. Стихами она неожиданно творит то же, что делает хорошая, качественная критика. Татьяна не боится вольно интерпретировать строки классиков. Например, у Тютчева нам, прежде всего, важна донесённая мысль. Как замечательно сказал поэт о любви: «Души с душой родной слиянье / И поединок роковой» (интерпретация Богдановой). Никто не сказал о любви лучше в русской поэзии! У любящего человека открываются шлюзы души. «Случается жизнь» порой и у читателя. И как хорошо, афористично сказала об этом Татьяна Богданова! А если жизнь по каким-то причинам не случилась, у нас есть на этот случай «пригоршни звездопада» любимых поэтов.

«ПОЭЗИЯ КАК ФОРТОЧКА В СОЗНАНИИ»

(Владимир Козлов, Зачем поэзия. Книга эссе. – Ростов-на-Дону. Prosodia, серия «Про себя», 2023. – 72 с.)

Когда мы сегодня говорим о поэзии, мы часто находимся в плену представлений полувековой давности, когда стихи собирали стадионы. Наше сознание инерционно продолжает работать в парадигме советского времени: поэзия – это важно, это конечная цель человечества, а для творца – это пропуск в вечность. Но ничего этого сегодня уже нет – ни осознания в обществе важности поэзии, ни гарантированного пропуска в вечность. Для новаторских стихов – нет ещё читателя. Конечно, стихи по-прежнему широко представлены в современной жизни. Полемичная книга Владимира Козлова помогает нам разобраться в злободневных вопросах вокруг поэзии. Обратите внимание: после названия книги Козлова – «Зачем поэзия» – нет знака вопроса. И книга подтверждает, что это, скорее, не вопрос, а ответ. Она отличается от большинства научных изданий тем, что в ней нет «воды» и бесконечных ссылок на предшественников. Всё очень сжато и качественно сформулировано. Она экзистенциальна, как личный опыт выживания художника в современном мире, хотя и относится, по утверждению автора, к социологии литературы. Книжка тонкая, но читать её можно долго, делая паузы, чтобы поразмышлять о сказанном.

Владимир Козлов начинает с того, что художник – профессия опасная для выживания, подразумевая под «художником», конечно, и писателя. Не любая поэзия является билетом в бессмертие, и особо рассчитывать на это, очевидно, не стоит. Современный мир, с его технологиями и идеологиями, абсолютно враждебен поэзии. Для того, чтобы выжить в неприветливом мире, человек должен соблюдать своего рода внутреннюю экологию. Козлов хорошо формулирует тезисы, поэтому его очень удобно цитировать: «Поэзия – место собирания человека как личности». Именно в стихах поэт преодолевает раздробленность своего мира и становится цельной личностью.

К текстам автора сразу возникает доверие. Во-первых, его мысли – умные. Во-вторых, они свежие, и, конечно, для доктора филологии, которым является Владимир Козлов, это нестандартная книга. Научные люди обычно широко обобщают сказанное другими. Однако социология и эстетика творчества в современном мире разработаны так мало, что и опереться здесь, в сущности, не на кого. Надо быть пионером. Козлов исследует новые проблемы, которые только родились в последние десятилетия. Владимир – человек дела. Дело у него порой даже идёт впереди слова. Он одновременно – и традиционалист, и новатор, такой странный и редкий симбиоз в одном человеке.

Автор пытается найти ответы на животрепещущие вопросы, возникающие в области поэзии, заострить внимание на современных тенденциях, и это достойно уважения. Даже если ответы найти не удаётся, или удаётся, но не все, сама попытка побуждает читателей тоже задавать себе эти вопросы. Например, в чём причина девальвации значения поэзии? Можно дли это изменить в ближайшем будущем? Мы приходим к выводу, что поэзия перестала быть для людей главным духовным каналом. Эфир сегодня засорён разнородными стихотворными текстами. Количество побеждает качество, и смешение уровней письма вносит неразбериху в восприятие поэзии обычными людьми. Клиповое сознание у современного человека тоже не способствует пристальному прочтению поэзии. Владимир Козлов правильно пишет и о потребительском отношении к стихам со стороны самих авторов. Все хотят почестей: дипломов, медалей, лауреатств. Между тем как истинная поэзия – сама себе награда.

«Я пишу не для миллионов, не для единственного, не для себя. Я пишу для самой вещи. Вещь, путём меня, сама себя пишет», – говорит Марина Цветаева в работе «Поэт о критике». Александр Пушкин в сонете «Поэту» так сказал о «самодержавности» пишущего автора: «…Дорогою свободной / Иди, куда влечёт тебя свободный ум, / Усовершенствуя плоды любимых дум, / не требуя наград за подвиг благородный». Пушкин поднимает вопрос «самостояния поэта» перед лицом своей судьбы, критики его произведений и по отношению ко всей жизни. У меня сложилось впечатление, что Владимир Козлов в книге «Зачем поэзия» следует в фарватере пушкинских мыслей, развивая их применительно к новому времени. Многое из того, что изложил классик, с пушкинских времён нисколько не изменилось.

Козлов умеет задавать себе неудобные, но важные для понимания происходящих процессов вопросы. И здесь новаторство автора – уже в том, что он поднял эти вопросы. Он не только задаёт их, но и честно пытается на них ответить. Козлов пишет о реакции современников на экспериментальную поэзию: «Художник тем временем копает всё глубже, его „лица необщее выражение“ становится всё более необщим, и это может всё более и более раздражать». Парадокс: чтобы состояться, поэту нужна яркая индивидуальность. Но оценивают художника современники, которые остались по отношению к нему далеко позади и не могут воспринять эти опыты положительно. Автору должно повезти, чтобы его творчество было адекватно воспринято современниками. Не вовремя родился или опередил своё время – можешь остаться аутсайдером. Реакция общества на творчество – часто вещь болезненная и несправедливая. «Далеко не все герои времени могут реализоваться как главные, – резюмирует Козлов. Конечно, гораздо проще писать в духе традиции, только вот эта ниша, начиная с Пушкина, уже достаточно плотно заполнена.

Книга Владимира Козлова явилась для меня неожиданностью. Я не подозревал, что процессы, о которых пишет автор, поддаются анализу. У Козлова – незаурядные аналитические способности, что среди поэтов является большой редкостью. На мой взгляд, это очень важная книга, которую хочется порекомендовать пишущим людям, как «форточку в сознании». Важные мысли Владимира посвящены позиции художника в смутное время, когда идёт война и трудно не быть партийным и пристрастным, оставаясь гражданином. «Для художника не может быть хорошей власти, потому что любая власть хочет его использовать», – говорит писатель. Он призывает авторов «осознавать все эти риски».

«Зачем поэзия» – редкая книга, где её автор выступает за «волошинское» отношение художника к воюющим сторонам в гражданской войне. Для такой позиции необходимо мужество. «Художник – это и есть воображение современного мира, – пишет Владимир Козлов. – Если у мира нет воображения, то сторонам конфликта нечем вообразить себя в ситуации другого. Они не могут поставить себя на место другого, не могут вообразить его резоны, не могут представить, как бы они поступили в этой ситуации. Если вы не можете вообразить другого, вы не сможете ему и сострадать». А ведь Тютчев говорил: «И нам сочувствие даётся, / Как нам даётся благодать». Сочувствие – очень важно для писателя. Есть принципиальные вещи, которые предавать в себе нельзя.

Книга Владимира Козлова особенно необходима людям, которые думают примерно так же, но по внутренним причинам не решаются озвучить свои мысли. А теперь можно сослаться на книгу Владимира – так же, как мы ссылаемся на Пушкина, когда транслируем его «неудобные» мысли из сонета «Поэту» и других его произведений. Владимир Козлов, как и подобает творцу, по-пушкински «твёрд, спокоен и угрюм». Это как раз и привлекает в его новой книге. Ещё одна важная мысль Владимира – о том, что чтение поэзии способно избавить человека от примитивного мышления. Человека не примитивного труднее «построить» или заставить его совершать негуманные поступки. В заключение, хочется сказать вот о чём. Ницше произвёл маленькую революцию, начав разрабатывать философию как эссеистику. Книгу Владимира Козлова «Зачем поэзия» вполне можно назвать научным исследованием. Но форма этого исследования – ёмкая и афористичная эссеистика. Такая литература доступна самому широкому кругу читателей.

ИРОНИЯ И ЮМОР СПАСАЮТ МИР

(Красная Шапочка. Декамерон. Проект АЯРТ. – М., Издатель Горбушин Олег Юрьевич, 2024. – 184 с., ил.)

Мы часто восхищаемся людьми, про которых говорят, что он и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но человек-оркестр всё делает сам, и при этом не происходит главного – нет движения творческих людей навстречу друг другу. В нашем случае всё было как раз наоборот – художники нашли друг друга, чтобы вместе творить добро. В московской библиотеке им. Чехова прошла презентация книги о Красной Шапочке. Создание подарочной книги для детей к Новому году – акт великодушия и доброты. Я узнал, что эту редкую книгу, представленную, как оригинальный творческий проект АЯРТ, создавал целый коллектив авторов, десять разных художников, каждый – со своим уникальным почерком.

Когда у меня появились маленькие дети, я стал читать им разные сказки, в том числе и такие, которых самому мне в детстве родители не читали. Среди них были «Доктор Айболит», «Муми-тролль» и «Хроники Нарнии». Конечно, читал я детям и русские сказки о Сером Волке. Однажды моя пятилетняя дочь Полина удивила меня неожиданной репликой: «Папа, ты знаешь, Серый Волк для меня больше не актуален». Я вспомнил эту фразу дочери в московской библиотеке им. Чехова, где проходила выставка-презентация иллюстрированной книги о Красной Шапочке. В новой книге, представленной группой художников, авторам удалось «актуализировать» Волка и Красную Шапочку. Нужно было уйти в сторону от традиционного сюжета и его повторяемости. Художники сами стали сказочниками – и, придумав оригинальные ответвления от известного сюжета, волшебно их проиллюстрировали. Писать картины было для них делом привычным. А вот как сочинять сказку приходилось учиться по ходу действия. Это распространённая в сегодняшнем мире комплексная задача, когда для её выполнения многому нужно научиться.

Группу единомышленников собрал Олег Горбушин, который одно время работал главным художником в детском издательстве «Самовар». Пятнадцать лет тому назад он начал вести занятия в своей студии. Среди его сегодняшних учеников – взрослые люди самых разных профессий. Он начинал с ними работать, когда им было от 7 до 15 лет. Олег учил их работать творчески, в неакадемической манере. Так возникла «Студия творческого рисования». «Мы работаем с визуальным языком, который способен раскрывать внутренний мир отдельной личности», – сказал на презентации книги Олег Горбушин. – Творчество для нас – это, прежде всего, искусство коммуникации». Проект Горбушина – новый вид коллективного соавторства, интеграции и взаимодействия читателей с текстом, его героями и автором. Внутренний ребёнок во взрослом читателе рисует своё состояние текста, визуальную интерпретацию сюжетов, смыслов и диалогов при помощи оптики и лифта наставника.

Книга о Красной Шапочке – уже третий проект группы Горбушина. Вот что сказала на презентации книги гость вечера художник Елена Краснощёкова: «Графические работы, представленные на выставке, хороши как по смыслу, так и по содержанию. Они динамичны, интересны по цвету, контрастны и поэтому привлекают внимание зрителей. Авторы задействовали три основных цвета – белый, красный и чёрный. Хочется открыть книгу дальше, посмотреть, почитать. Неординарная графика! Уровень работ – высокопрофессиональный. Видно, что художники хорошо знают законы композиции».

Все эти работы были представлены на стенах библиотеки им. Чехова. Куратор выставки Елена Пахомова, стоявшая у истоков создания клуба поэтов-авангардистов «Классики 21-го века», отметила, что библиотека им. Чехова часто проводит выставки художников-иллюстраторов. Она сказала, что очень рада появлению на её площадке проекта, который собрал такую внушительную и разнообразную аудиторию:участников, зрителей и читателей. Вот имена авторов «Красной Шапочки»: Олег Горбушин, Марина Семёнова, Светлана Ильичева, Александра Новикова, Мария-Эмилия Приблагина, Ольга Минеева, Василий Крупий, Ирина Кулыба, Анастасия Шпак, Лена Малиновская. Оказалось, что пишет картины маслом у Горбушина и поэт Алексей Прохоров, которого я встретил на презентации книги. Он выступил и продюсером нового проекта.

Однако при чём тут «Декамерон», – спросите вы, посмотрев на заглавие книги. Оказалось, что к произведению Боккаччо и его сюжетам книга никакого отношения не имеет. Декамерон у Олега Горбушина – просто название жанра: десять человек пересказывают сюжет известной сказки по-своему. Книга наполнена юмором и иронией постмодерна. «Ирония и юмор ежедневно спасают этот мир», – говорится в послесловии к изданию. Джованни Боккаччо, гений итальянского Возрождения, проповедовал творческую смелость, свойственную и участникам проекта книги о Красной Шапочке. Он говорил: «Лучше делать и каяться, чем не делать и каяться». Эти слова звучат как творческий девиз. Но возможная отсылка к Боккаччо в названии книги – не более чем приманка, используемая авторами для привлечения дополнительной интриги.

Все мы, в той или иной степени, инфицированы постмодерном. Предтечей постмодернистов был, пожалуй, даже великий Гёте, переиначивший с добрый десяток «Фаустов», написанных до него. В детстве я любил переделывать на свой лад популярные песни, а потом, став отцом, сочинял для детей, укладывая их спать, какую-нибудь забавную сказку, абсолютно «с нуля». Берёшь любой предмет, даже неживой, и придумываешь о нём, в стиле сказок Андерсена, приключенческую историю. Это творческая работа, основанная на импровизации. Начинаешь делать какие-то неожиданные для себя вещи, и приходишь к пониманию, что не боги горшки обжигают. Открываешь в себе terra incognita. Я хорошо представляю себе этот творческий процесс. Каждый художник, придумывая индивидуальный сюжет для книги о Красной Шапочке, решал для себя сам, в каком месте и каким образом можно отклониться от канона. Есть главная тема, а всё, что ты сочинил – это вариации на заданную тему. Получив в подарок такую книгу, фантазировать начинают и дети.

Малый круг художников Олега Горбушина придумал и создал книгу, а книга, в свою очередь, собрала большой круг читателей. Получается круг в круге. Художники включили свою фантазию – например, Лена Малиновская представила, что Красная Шапочка утром проспала – и потому разминулась с Волком. Авторы поднимают в книге тему времени и повторяемости сюжетов. Важно было уйти от шаблонного восприятия известной сказочной истории. В этом заложена идея всего проекта. Художница Марина Семёнова представила, что с Красной Шапочкой повстречался волк из мультфильма «Ну, погоди!», которому девочка оказалась совсем не нужна – ему был нужен только Заяц, которого он повсюду искал. Это уже совсем другой поворот сюжета. В итоге у создателей книги получился многослойный культурологический пирог. Все мы ощутили на себе арт-терапию нового проекта. А затем авторы книги попотчевали гостей, пришедших на презентацию, «пирожками от Красной Шапочки».

В чём, на мой взгляд, ценность этой сказки, её фольклорно-эзотерический смысл? Это сказка перерождения. Девочку освобождают из «тюрьмы» в животе у Волка, и для неё начинается новая жизнь, Вита Нова. Перерождается и сама Красная Шапочка. Это уже не та беззаботная шалунья, которой она была до происшествия в лесу. Книга Олега Горбушина объединяет людей самых разных возрастов. Счастливые её обладатели учатся фантазировать и творить, создавая вокруг себя пространство любви и добра.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ИГОРЯ ГОРА

(Игорь Гор, О. Бендер-младший. Комиссар радости. – М., Издательские решения, 2024. – 202 с.)

Игорь Гор – редкий писатель, который в каждой новой книге меняет свой язык. Тех, кто знаком с его «Заповедями воина», новая работа премного удивит. Для меня стало открытием, что можно так писать. Книга расширяет горизонты миропонимания. Удивлять – прежде всего, самого себя – творческое кредо писателя. В «Заповедях воина» стилистика Гора была близка к японским хокку, эзотерическим афоризмам Николая Рериха, Рабиндраната Тагора, философским произведениям Валентина Сидорова «Ступени» и «Ключ». Там порой было сложно различить, поэзия это или афористичная проза, например: «Нить, ускользающую в Вечность, Мечом два раза не рассечь». «Искусство – / Пламя без свечи, / Любовь без сердца, / Боль без раны». Эти тексты близки к символизму. Но писатель оказался жанровым полистилистом, и мы видим это в новой его книге. Игорь, чем бы он ни занимался, всё время – «в поисках нового языка».

Если в «Заповедях воина» Гор – учитель, то в «Комраде» он – «анти-учитель», коуч, который всё время говорит парадоксами и провоцирует правду. Книга заявлена автором как юмористическая, однако это не традиционный юмор, а, скорее, юмор мировоззренческий, попытка соединить юмор и философию. Это уже пытался делать в конце 19-го века Фридрих Ницше. В новой книге Игоря Гора собраны очень хорошие тексты – с точки зрения литературы. События у писателя происходят в самых разных местах, но это, пожалуй, только иллюзия. Основное действие во всех новеллах происходит в области мысли. А место действия – условно, как в театре. И в этом плане книга Гора больше похожа не на романы Ильфа и Петрова, а на «Заратустру» Ницше и «Хулио Хуренито» Ильи Эренбурга. И герой Гора, скорее, современный наследник Заратустры и Хуренито. Можно вспомнить в качестве предтечи и софистику Сократа.

Книгу переполняет едкая, саркастическая философия. Это «мужской» мир, достаточно жёсткий и в то же время творчески бескомпромиссный. По жанру многие тексты Гора – скетчи социального характера. Игорь Гор – человек-театр. Тексты, вошедшие в новую книгу, похожи по форме на театральные монологи в духе Евгения Гришковца. Это импровизационное искусство, которое рождается здесь и сейчас. Мы видим переливающиеся через край эмоции, множество придаточных предложений и знаков препинания. Абсурд и юмор, инициация и контринициация, которые присутствуют у Гора, роднят его книгу с произведениями экзистенциалистов, мистиков и духовидцев.

Что же представляет собой новый герой Игоря Гора? Это внук Остапа Бендера, наш современник. Дед героя пытался жить по-капиталистически при социализме и был там «лишним человеком». Его внук – тоже «лишний», но уже при капитализме. Он так же не попадает в своё время. Литературная критика подробно рассматривала проблему «лишнего» человека. Мы убеждаемся в том, что это не является проблемой какой-то определённой эпохи, например, времени Онегина и Печорина. «Лишним» был и Дон Кихот. Иногда время выпадает героям такое, что не вписаться в него – гораздо лучше для человека. Аутсайдерство – порой достойнее.

В книге Гора дураки и юродивые – тоже люди, которые не вписались в своё время. Это – своеобразное социальное юродство. В глаза русский человек часто говорит одно, а за глаза – совершенно противоположное, и для него это совершенно нормальный порядок вещей: «Сами мы не местные… не извольте беспокоиться, Ваше благородие… чтоб вы сдохли… Люди добрые… шли бы вы отсюда… Хлеб вам да соль!.. зашибём… Хорошего вам дня… чтоб вам провалиться, ироды…Доброго пути!.. будьте прокляты…». Мы видим, что сознанию русского человека свойственна амбивалентность, на которую проницательно указывает автор. Гор развенчивает мифы. Он понимает главное – «мир развивается противоположностями». Россия у него постоянно переворачивается, как игральная карта: то она тёмная, то – светлая, то – и та, и другая одновременно.

Главы, из которых состоит книга, связаны между собой только главным героем. Их можно читать и по отдельности. Герой Гора рассуждает о фундаментальных понятиях в жизни людей – о дружбе, любви, верности и предательстве и т.п. Порой эти тексты не только парадоксальны, но и провокационны, чем-то напоминая памфлеты Жванецкого и Задорнова: «Если хочешь с человеком дружить – дай ему в долг, возьми его к себе на работу, познакомь его со своей женой, ляг рядом с ним спать и посмотри, что он будет делать. Если его ничего из предложенного не вдохновит – подкинь ему кошелёк, подсунь под дверь паспортные данные, пришли случайно смс с кодом от сейфа…». Афористичность языка Гора – сильная сторона его творчества: «Писатель – тот, кто живёт в языке, дышит словами, задыхается ими, колдует, молится», «Иллюзии, господа, сдавайте ваши иллюзии, ибо завтра они обесценятся сами».

Многие страницы новой книги посвящены отношениям между мужчиной и женщиной: «Женщина не всегда понимает, чего хочет сама, но инстинктивно знает, что нужно требовать от мужчины!», «Мужчина от природы охотник, поэтому он никогда не замечает, как становится добычей сам», – саркастически замечает Гор. Брак, согласно автору, – это для мужчины потерянный рай. У Гора есть мысли о любви удивительной глубины: «Любящий не может перестать любить, хотя и ясно видит, что его вторая половина,

как человек, ему не пара». Писатель создаёт свой литературно-социальный театр, и все эти маленькие рассказы могут быть сыграны и на сцене.

В новелле «Свободный человек» автор показывает абсурдность абсолютной, ничем не регламентируемой свободы. Если все будут делать всё, что захотят, выиграет тот, кто сильнее. «Встретились на мосту два человека. Один другому говорит, что может ему всё что угодно высказать в лицо, что он по-настоящему свободный человек, и плюнул ему для убедительности прямо в харю. Другой не согласился с аргументами и говорит, что по-настоящему свободного человека не может остановить ничего, и врезал собеседнику прямо между глаз. Первый, выплюнув нос на свежеуложенный настил, доброжелательно, гнусавым голосом произнёс: „Я с вами не согласен, но отдам вашу никчёмную жизнь за то, чтобы я мог свободно выражать ваши мысли своими руками“. И уверенно начал душить оппонента». И это только завязка событий, которые произойдут в этом рассказе. Казалось бы, это просто притча. К сожалению, всё это мы видим сегодня в реальной политике: все страны трактуют своё право по-своему.

Авторский стёб Игоря Гора пародирует известное высказывание Вольтера: «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». У Вольтера это выражено, без сомнения, гениально, но шпильки Гора адресованы, скорее, не ему, а в адрес современных либералов. Мы исказили своей деятельностью всё хорошее, что провозглашали пассионарии прошлых веков. Игорь Гор талантливо работает с культурным наследием человечества. Одна из глав называется «Се есть писатель», напомнив нам табличку, которая висела над головой распятого Христа. Книга Гора способствует развитию у читателей ассоциативного мышления. Это духовная работа на раскрытие личности каждого читателя. Автор работает с клише и затёртостями, пытаясь обновить наше сознание. Пересказать рассказы Игоря Гора своими словами без потери качества практически невозможно. Новаторским является сам язык книги, рассчитанной на мыслящего читателя. А вот философия Гора – не книжная. Автор не потакает читателю и не играет на его низменных инстинктах. Он глубоко знает повадки людей на основании личного опыта. «Читатель должен расти вместе с писателем!» – полагает автор. Зачем нужен людям писатель, который не способен научить их ничему стоящему?

Книга Гора вызывает неоднозначную реакцию. Мне показалось, что интереснее было бы не привязывать героя к персонажам прошлых лет. Но со стороны Гора отсылка к Остапу Бендеру – видимо, дань постмодерну, прочно вошедшему в культурный обиход современного читателя. Автор сказал на презентации, что находит в своей книге ответы на самые разные вопросы. Он предложил залу задать ему вопрос, а он откроет книгу – и прочтёт там ответ. Книга действительно получилась энциклопедически универсальная, и в этом плане она «умнее» автора. Рассказ «Укольчики» – настоящий шедевр философской литературы. Люди больно ранят героя, втыкая в его тело иголки. Конечно, у Гора это метафора. В реальной жизни больнее ранят словами и поступками.

Когда ни с того ни с сего разные люди начинают втыкать в тело героя иголки, он, хотя и не понимает, за что, вначале думает, что это нужно для чего-то, что он страдает за какую-то правду: «Первый ушёл. Подходит второй – и тоже свою иголку достаёт, и ну колоть, в бока, плечи, щёки, только успевай постанывать, больно же… Наш человек невозмутим – скулит, но не сопротивляется. А чего сопротивляться, свои же люди… зазря иголки-то тупить не будут. Наверняка готовят его к чему-то важному… Секретному, или, может быть, лечат как-то традиционно от заразы какой скрытной, большинству ещё не известной. А, может, обучают его так ускоренно чему-нибудь важному, чему иначе и не научишься никогда, и знать-то не будешь, что это существует». Пока иголки втыкали чужие люди, терпеть боль было легче. Но потом иголки стали втыкать в него и родственники: «Оказалось, что даже самые ничтожные укольчики от близких людей значительно качественнее переживаются и вдохновляют на большие страдания». В конечном итоге, героя спасает неизвестная девушка, которая обняла его, и пожалела, и осталась с ним, и отважилась разделить его судьбу. Надо попытаться стать добрее – всем без исключения! Не об этом ли буквально кричит автор?!

Книга Гора ультрасовременна и отражает многие процессы, которые происходят сегодня с нами. Вот какое философское напутствие даёт нам автор в рассказе «Быть в игре»: «Так хочется верить в лучшее, получить правильную оценку твоих жертв, признание твоих заслуг перед прогрессивным человечеством, но, увы! Никому до твоей „правильности“ нет дела. Ты жизнь свою положил за правильную идею, разрушил всё, что имел, сжёг все мосты за собой, принципиально рассорился со всеми близкими, гордо покинул страну. Сидишь, удовлетворённый, на чужбине и разговариваешь с уличным котом по душам, пытаясь незаметно утащить у него из миски рыбий хвостик. Ощущение такое, будто ты – шахматная фигура, и тебя „съели“, и ты стоишь рядом с доской и наблюдаешь, как шахматная партия проходит без тебя. А ты здесь, полон сил, ты умеешь „ходить буквой *Г*“, но там, на чёрно-белом поле, спокойно обходятся без тебя. И внутренний голос еле слышно шепчет тебе: „Самое правильное, что ты можешь делать – это быть в игре!“».

Быть в интеллектуальной игре Игоря Гора может теперь каждый читатель.

В добрый путь, яркая книга!

«ДУША ЛЕТИТ НАВСТРЕЧУ ЗВЁЗДАМ…»

(Алексей Прохоров, Метанойя. – М., Зебра Е, Галактика, 2020. – 318 с.)

Каждые три года Алексей Прохоров выпускает новую книгу. На мой взгляд, его поэзия – феномен нестандартного мышления. И, безусловно, это феномен языка. Язык Прохорова современен, его лексика – своеобразное «предъявление паспорта». Можно только порадоваться лексическому богатству поэта: метанойя, укулеле, прекариат, флажолет, клепсидра, рептильный алгоритм, сиринга, окарина, контрапункт. Иногда это совсем новые, придуманные автором слова: мыкарь, мегалингвоальпинист. Встречается и латынь: gloria mar. Видно, что это стихи человека очень эрудированного. Не могу сказать, что редко употребляемых слов в его лирике очень много. Но их присутствие создаёт особую атмосферу, «ауру» того или иного стихотворения. При этом речь поэта естественна, он нигде не употребляет такую лексику специально. Её употребление не выглядит нарочитым и хорошо вписывается в общую стилистику. Помимо образного мышления важную роль в произведениях Прохорова играет и мышление абстрактное, «геометрическое», что свойственно, например, метаметафористам. «Внутри меня зияет пустота, / и вся моя душа давно снаружи», – говорит он. Внешнее и внутреннее меняются у Алексея местами, расширяя космос его поэзии.

На мой взгляд, нужна особая смелость, чтобы назвать свою книгу словом, которое большинству читателей неизвестно – «метанойя». Мне нравится такая отвага:

чем больше ты увидишь птиц,
тем больше прилетит тебе покоя
и в громкой тишине страниц
останется лишь метанойя

«Метан*о*йя (др.-греч. μετάνοια – „сожаление (о совершившемся), раскаяние“, греч. μετάνοια – „перемена ума“, „перемена мысли“, „переосмысление“) – термин, обозначающий перемену в восприятии фактов или явлений, обычно сопровождаемую сожалением, раскаяние (особенно в психологии и психотерапии). В религиозной (особенно христианской) традиции имеет значение покаяния». Мы видим, насколько это глубокое понятие, которое можно вслед за Ницше назвать «переоценкой всех ценностей». Впрочем, наиболее «продвинутые» наши писатели употребляют и это слово. Так, пассаж о метанойе есть в новой книге искусствоведа и религиозного философа Валерия Байдина.

Прохоров умеет анализировать происходящее в мире. Проанализированное становится у него не только мыслью, но и чувством. Такова природа его таланта. Стихи пишутся у Прохорова во время озарений – «всполохов»:

мы под красным кадилом заката
перечеркивали рассвет
и под луковицей циферблата
нас сплетала цепочка лет

и в Венеции поднебесной
гондольеры вплывали во мрак
и в Голландии неизвестной
на мостах всё мелькал чей-то взмах

…это место в котором не люди
это место в котором лишь свет
там где мы карнавала не будет
одиночества больше нет.

То, что одиночества больше на карнавале, где очень много людей – цепляет за душу. Поэт «пишет, как дышит»; первородство интонации сложно повторить или скопировать. Космос поэта создан для двоих: «ты постоянно рядом, целое со мной, ты – я». Он почти повторяет знаменитое изречение на санскрите: *тат твам аси*. Именно двое, дуэт, тандем – формируют, по мнению Алексея, место силы. «Любовь – это часть судьбы», – говорит Прохоров. В мире двоих многое строится на фантазиях. «Кто первым был разочарован / в мужском или женском лице, / кто первым придумал другого – / всегда уточняют в конце». Так порой и читатель «придумывает» автора, вычитывая в его книге что-то своё, особенное, то, чего автор туда не закладывал. Больше всего меня поражают в текстах Прохорова откровения:

Подкошенный солдат. Подросший лепесток.
Никто не виноват. Никто не одинок.
Никто, нигде, никак, не нужен, не зачем.
Конвой рождает страх. Любовь рождает всех.

Или такие строки:

Чужая смерть всегда проста.
И эти две простых строки…
Расстёгнутый браслет моста.
Замёрзшая ладонь реки.

Для Алексея Прохорова поэзия – способ самопостижения:

Определённость чистого листа
без сожаления толкает в снег.
В языковом пространстве есть места,
куда не каждый совершит побег.

Что наименее отчётливо во мне,
то и достойно понимания – зачем.
И, если истина для Плиния в вине,
то для меня она в игре фонем.

Поэт рождает смыслы не для глаз,
в добытых строках возникает свет.
Куда лежит мой путь на этот раз?
Как говорят, пути обратно нет.

(«Память листа»)

Поэту свойственна парадоксальность мышления: «Мы чёрным ходом в будущее вышли / и оказалось будущего нет». Уже упомянутое выше «одиночество на карнавале». Или это: «Слепорождённые видят больше». Это, конечно, метафора. Но незрячим действительно свойственно компенсировать свой недостаток другими органами чувств – обонянием, осязанием, слухом – до такой степени, что они начинают «видеть» то, что недоступно другим: «зачем мы решили что были слепы / слепорождённые видят больше / привычно укроемся свежим пеплом / станем друг друга любить наощупь» («Маки судьбы»). Здесь мы притрагиваемся ещё к одной особенности стиля письма Алексея Прохорова: он часто пишет «тезисно», полунамёками, словно бы всё время немного не договаривая. Важно то, что поэт постоянно, размышляя, творит самого себя.

«Кто умножает познания, умножает скорбь», – говорил Экклезиаст. Чем больше себя узнаю, тем больше сожалею, тем больше сострадаю. Человек у Прохорова многолик, он видит себя «в семимиллиардном зеркале». Думаю, поэт интересен именно многообразием своих «я». Это творческая магма, комбинация тени и света. «Стихи – это попытка короткого разговора с Богом», – говорит Прохоров.

Сквозь воздух, сквозь прозрачный воздух
летит бездомная душа.
Душа летит навстречу звёздам,
бездумно, как воздушный шар.

Есть люди, которым одинаково хорошо удаются как верлибры, так и рифмованные стихи. Стихи Алексея Прохорова афористичны. В этом он – наследник Евгения Евтушенко: «В начале жизни побеждённых нет» («Мост»), «Февральте, покорные мысли» («Февральские чайки»), «Память-леопард в узорах-пятнах», «Входная дверь из мрака выхвачена светом», «Я – спасшаяся Атлантида, / растущая вслед за текстом». Мне интересно наблюдать за поэтом, ощущающим себя зерном, которое ещё не дало всходы. Находить и исследовать в себе непроявленность – редкий дар. Кто умеет это делать, видит цикличность бытия: «Я – то, что сейчас не видно, / но завтра опять воскреснет».

Непроявленное у Прохорова – своего рода «третья сторона медали», которая тайно развивается в ожидании момента, когда можно будет нагрянуть «из засады» на авансцену жизни – и заменить собой

лицевую и оборотную стороны, когда те устанут быть на виду. В этом плане «Метанойя» – этапная книга для Алексея Прохорова. Поэт обладает философским знанием и даром предвиденья, которые помогают ему не быть застигнутым врасплох перипетиями судьбы: «так вышло / что минуя смерть / находишь в поворотах / выбор / и мучает вопрос / куда». Я думаю, что это качество у Алексея – благоприобретённое. Как говорил Ницше, «что не убивает меня, делает меня сильнее». Метанойя Алексея Прохорова родственна ницшеанской «переоценке всех ценностей». Знание приходит к поэту как итог перенесённых испытаний. Но, безусловно, помогает этому изначально заложенная в творческом человеке способность к анализу.

За последние десятилетия русская поэзия стала очень демократичной: её ряды пополняют «разночинцы» из самых неожиданных слоёв общества. Это поэты с ярким талантом и нестандартной индивидуальностью. Иосиф Бродский однажды сказал в интервью: «Поэзия – наша видовая цель». И, как мы видим, движение в этом направлении в новом времени продолжается. Поэзия, как мироощущение – всеобща. Это логос внутри человека, трепет его души. А сам поэт – айсберг, в котором лучшее часто находится под водой.

«ЛУЧШЕЕ ИМЯ ЕЙ – ПЛАМЯ…»

(Анастасия Цветаева, Amor. Автобиографический роман (расширенная редакция). Вступительная статья и комментарии Ст.А. Айдиняна. – М., Бослен, 2024. – 544 с., ил.)

По мнению Станислава Айдиняна, Анастасия Цветаева – такой же классик русской литературы, как и её сестра Марина. Просто её таланты лежат в несколько другой области – она классик русского мемуарного жанра, автобиографической прозы. «Amor» – плоть от плоти своего автора, роман-герой. Он был написан автором в сталинских лагерях, откуда частями передавался на волю. Роман не выдуман, а «додуман» на автобиографической основе. Он составлял около тысячи страниц на папиросной бумаге. Время было тяжёлое, и часть романа часть была выкурена вольнонаёмными «курьерами» по пути в Москву. Анастасии Цветаевой по возвращении из ссылки пришлось восстанавливать эту часть заново. Но рукописи не горят – спустя три десятилетия писательница восстановила написанное. С романом «Amor» произошло чудо: преодолев невероятное количество экзистенциальных трудностей, он выжил и дошёл до читателя. Теперь это уже не «руины романа» – «Amor» впервые издан в полном объёме цельной «лагерной» редакции.

Когда берёшь в руки эту книгу, восхищаешься – как хорошо она издана, в суперобложке! Но при ближайшем рассмотрении суперобложка оказывается иллюзорной, что тоже впечатляет и смотрится очень оригинально. Дело в том, что корешок закрашен чёрным цветом, на котором белым напылением выведено: «Amor est vitae essentia» («Любовь – это суть жизни»). Это латинское изречение воспринимается как девиз. Эмблемой романа в этом издании является четырёхлистник, на каждом листочке которого выведены отдельные буквы слова «AMOR». Это тем более удивительно, что на двух книгах, посвящённых исследованию творчества Цветаевых и их круга у Станислава Айдиняна на корешках красуется изображение четырёхлистника, а одна из книг прямо носит название «Четырёхлистник». Об этом автор дизайн-проекта И. Чикмарёва не знала и это звучит для друзей А.И. Цветаевой как её призрачный привет из иного мира…

Остались высказывания Анастасии Ивановны о своём романе, из которых мы можем заключить, что она задумывала роман как психологический, настоянный на разнице мужской и женской психологии. Образ Ники в романе – автопортрет автора книги.

Главный герой романа, Мориц, соткан наполовину из света, наполовину из тьмы. С такими людьми сложно, никогда не знаешь, какой стороной он к тебе повернётся. Но в сталинском лагере выбирать особо не приходится – кого даёт тебе судьба, с тем и общаешься. Зато при частом и плотном общении появляется возможность рассмотреть человека со всех сторон. Сложного человека можно увидеть в разных ситуациях. В лагерном заточении люди быстро сходятся и учатся прощать друг другу личные недостатки. Таких людей, как Мориц, наверное, в ту эпоху было много. Одних людей время задвигало куда подальше, других, наоборот, выдвигало на главные роли. Таким человеком был и Арсений Этчин, прототип Морица. Однако и выдвинутые временем персонажи могли быть посажены

или расстреляны – за своеволие или какой-нибудь «пробел» в своей биографии.

Главные герои романа Анастасии Цветаевой – пассионарии, люди духа. Что есть личность? Что есть душа? Эти вопросы проходят через весь роман Анастасии Цветаевой. Можно ли разумом смирить страсть? Слово «любовь» не случайно идёт у автора на латыни, оно многозначно и многовекторно. «Amor» – не первый роман писательницы. Первые её дневниковые книги – «Королевские размышления» и «Дым, дым, дым» вызвали большой интерес и внимание известных писателей-мыслителей того времени – В. Розанова и Л. Шестова. Троекратно повторённое в названии слово «дым» отсылало к одноимённому роману Тургенева. Много Тургенева и в романе «Amor». Упоминаются там и «Дым», и «Дворянское гнездо». Приведу один из ярких фрагментов:

«Мориц читает стихи Ники… Это был для неё момент большой важности. Но, преодолев первый миг, – морщины его лба – она сразу сошла с подмостков Дузе – лёгкой ногой… Ника была совершенно спокойна. Точно дело шло не о ней. Она видела его наклонённую голову, сейчас он её подымет, дочитав последнюю строку. Он, конечно, не будет знать, с чего начать, учитывая её волнение. А этого волнения – нет. Испарилось. За это она так любила „Дым" Тургенева, дым от огня. Дым, испарение огня, пар, в облаке уходящий… в ней было любопытство. Сознание юмора минуты. Ответственность за совершённое. Холодила – или грела – непоправимость. Безвыходность положения их обоих! И – дружеское участие к нему и, конечно, немного иронии. Большое переполняющее чувство достоинства – именно тем, что оно ею так сознательно было попрано, давало ей ощущение горького счастья».

На примере этого фрагмента мы видим, насколько сложными могут быть чувства у человека. Психология женщины действительно отличается от психологии мужчины. А в Нике, вдобавок ко всему, женственность переплеталась с мужественностью. Она – волевая, это помогает ей выжить в лагере. И её любовь – это долгое пламя; здесь мгновение ничего не решает. В лагерях Ника месяцы работала поломойкой в бараках, но затем ей очень пригодился красивый, «библиотечный» почерк – и она, к счастью, была переведена на более лёгкую работу, учётчицей.

«Amor» – проза исповедальная. Её следует читать вместе с воспоминаниями Анастасии, написанными «пылью растёртых слов». Роман исключительно важен как продолжение автобиографии писательницы, как дополнение к ней. Анастасии Цветаевой была свойственна глубинная религиозность. Она часто ругала себя и каялась в содеянном. Такое мироощущение пришло к ней не сразу – до гибели второго сына и смерти второго мужа она была увлечена ницшеанством. «Нас бросили в этот мир и забыли», – богоборчески полагала она.

Спустя годы и годы новые беды свалились на Анастасию Ивановну из-за дружбы с Борисом Зубакиным, розенкрейцером, поэтом-импровизатором и ясновидящим. Анастасия спрятала, скрыла конспекты лекций Зубакина после его ареста, однако это её не спасло, – она тоже была арестована. Замечательное предисловие к роману «Amor» написал Станислав Айдинян. У меня сложилось впечатление, что он не только многое почерпнул из общения с Анастасией Ивановной в качестве её литературного секретаря, но и пережил, подобно героям романа, схожие коллизии в личной жизни.

1920-е – 30-е годы прошлого века были временем странных и авангардных романов Джойса, Кафки, Пильняка. По-видимому, Анастасия Цветаева не боялась использовать в своих произведениях интегральную драматургическую логику вместо обычной. Она так сказала о романе «Amor»: «Мой слоёный пирог».

Книга была переиздана, с дополнениями, приложениями, комментариями в связи со 130-летием со дня рождения писательницы. Удивительное дело: Серебряный век оказался от нас на расстоянии одного рукопожатия. «В литературу я войду самостоятельно», – сказала Анастасия Цветаева в ответ на предложение Льва Шестова написать рекомендательное письмо в журнал… Свои первые две книги – «Королевские размышления» и «Дым, дым и дым» она издала за свой счёт. Так же поступила Марина Цветаева со своими первыми тремя поэтическими книгами-сборниками. Обе вошли в литературу самостоятельно.

Как и в романе «Доктор Живаго» близкого друга А. Цветаевой Б. Пастернака, в конце романа «Amor» идут стихи главной героини, посвящённые главному герою, – «Из тетради Ники».

Закончить своё эссе мне бы хотелось строками её старшей сестры. Марина Цветаева так сказала о младшей в стихотворении 1913 года:

Взгляните внимательно и если возможно – нежнее,
И если возможно – подольше с нее не сводите очей,
Она перед вами – дитя с ожерельем на шее
И локонами до плечей.

В ней – всё, что вы любите, всё, что, летя вокруг света,
Вы уже не догоните – как поезда ни быстры.
Во мне говорят не влюблённость поэта
И не гордость сестры.

Зовут её Ася: но лучшее имя ей – пламя,
Которого не было, нет и не будет вовеки ни в ком.
И помните лишь, что она не навек перед вами.
Что все мы умрём…

ПРЕДСКАЗАНИЯ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА

(Михаил Лермонтов, Белеет парус одинокий. Избранные стихотворения. – М., Издательство «Проспект», Серия «Золотая коллекция поэзии», 2024. – 384 с.)

К 210-летию великого русского поэта вышло несколько новых изданий его произведений. Поэтов такого масштаба объединяет важное свойство: разнообразие их творческого наследия. Трудно поверить, что «Прощай, немытая Россия…» и «Люблю отчизну я, но странною любовью…», «Морскую царевну» и «Казачью колыбельную», «Выхожу один я на дорогу…» и «Купца Калашникова», «Парус» и «Не верь себе» написал один и тот же человек. Невзирая на то, что поэт прожил только 26 лет, его наследие настолько объёмно и разнообразно, что каждый раз, заглядывая в его стихи, я делаю для себя открытия и поражаюсь таланту автора. Стихотворение «Белеет парус одинокий» было написано юным поэтом в восемнадцать лет. Мало кто знает, что первая строка здесь принадлежит вовсе не Лермонтову. За четыре года до появления лермонтовского стихотворения Александр Бестужев-Марлинский опубликовал поэму «Андрей, князь Переяславский», где были такие строки: «Белеет парус одинокий, / Как лебединое крыло, / И грустен спутник ясноокий, / У ног колчан, в руке весло». Лермонтов, хорошо знакомый с творчеством Бестужева-Марлинского, фактически использует эту строчку как центон – задолго до появления постмодернизма. Затем, через много лет, эту строчку использовал в названии своей повести Валентин Катаев. Конечно, у Лермонтова, в отличие от Марлинского, это настоящий шедевр, хотя и мало оценённый самим автором при жизни – он считал, что это просто милый пустячок, ерунда, и не захотел включать стихотворение в книгу избранных произведений. Со временем этот недочёт исправили ценители его творчества.

Поэт предчувствовал, что вскоре будет убит, но не предпринимал ровным счётом ничего, чтобы избежать этой печальной участи. Конечно, после ссылки на Кавказ это было не совсем в его власти. Лермонтов верил в предопределённость судьбы: чему суждено быть – того не миновать. Он даже ходил во время своего последнего отпуска с фронта к петербургской гадалке, немке по национальности, и она сказала ему, что в столицу он больше не вернётся. Путь поэта из Питера на Кавказ лежал через Москву, и его друг Владимир Одоевский подарил Лермонтову тетрадь, с надписью: «Поэту Лермонтову даётся моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне её сам и всю исписанную. Князь В. Одоевский. 1841 апреля 13-е. СПБург». В этой тетради было записано и стихотворение «Сон»:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их жёлтые вершины
И жгло меня – но спал я мёртвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жён, увенчанных цветами,
Шёл разговор весёлый обо мне.

Но, в разговор весёлый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа её младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

Лермонтов, похоже, верил в такую слиянность двух душ, что один человек за тысячи километров может чувствовать, что происходит с другим человеком. Весть-марафонец ещё не пришла, а тонко чувствующий человек уже в курсе этой новости. Он даже не предвидит её, он – ЗНАЕТ. У поэта было, по-видимому, лёгкое отношение к смерти, свойственное глубоким и пытливым натурам. Вспомним, как весело он стрелял в воздух на своих дуэлях. По-видимому, пренебрежение к смерти пришло к поэту не сразу, а по мере

быстрого взросления. Дети, рано оставшиеся без родителей, необыкновенно быстро взрослеют. Раньше они могли «отдохнуть» за широкими спинами предков, закрыться от тревог, побыть до полного взросления ведомыми. Но когда уходит последняя кровная защита (другие родственники – не в счёт!), они остаются голыми и одинокими перед могущественными силами природы. В Лермонтове была дерзновенность, похожая на отчаянность – и он, безусловно, играл своей жизнью в русскую рулетку случая.

В стихотворении «Сон» поэт применяет приём «сна во сне», который чем-то напоминает историю со знаменитой бабочкой Чжуан-Цзы. Та, которая увидела его мёртвым в своём сне, не ужаснулась и не упала в обморок, как это делали многие женщины. Наверное, эта женщина, которая увидела его во сне, была бы ему хорошей парой. Она хорошо чувствовала его своей душой. Лермонтова часто посещали мысли о тождестве сна и смерти. Поэт полагал, что смерть – одна из разновидностей сна. Так зачем же бояться её человеку? Одна из нашумевших пьес испанского драматурга Кальдерона называлась «Жизнь есть сон». Лермонтов был близок к тому, чтобы объявить сон связующей нитью между жизнью и смертью.

В отличие от своего великого современника Пушкина, «певца империи и свободы», Михаил Лермонтов, на мой взгляд – чистой воды романтик. И это не удивительно, романтизм в начале XIX века доминирует в Европе. Новалис, Шатобриан, Гофман, Гельдерлин, Гейне, Байрон, Лермонтов – имя русского поэта будет совсем не чужеродным в этом списке. Но, вместе с тем, Лермонтов – ещё и визионер, и это качество роднит его с такими современниками, как Эдгар По и Жерар де Нерваль. Безусловно, «Сон» – не единственное сбывшееся предсказание поэта. Ещё в 1830 году Лермонтов написал стихотворение, которое так и называлось – «Предсказание»: «Настанет год, / России чёрный год, / Когда царей корона упадёт…». Царское государство травило его намного серьёзнее, нежели Пушкина. Не из-за этого ли стихотворения царь Николай Первый так невзлюбил поэта? История умалчивает, попадались ли русскому царю эти пророческие стихи. После подавления восстания декабристов критиковать русскую монархию было небезопасно. Доподлинно известно, что царь три дня читал «Героя нашего времени» – два дня с воодушевлением, третий – с разочарованием. Эти записи можно найти в дневнике царя. Видимо, монарха категорически не устроило, что поэт выбрал героем своего времени именно Печорина. На мой взгляд, и стихотворение «Смерть поэта» – пророчество о собственной судьбе Лермонтова.

Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?

Я был сильно удивлён, заглянув в текст, что это стихотворение начинается вовсе не с хрестоматийного «Погиб поэт, невольник чести…». Оказывается, к стихотворению автором была написана ещё и нерифмованная преамбула, увертюра, в которой поэт призывает царя казнить Дантеса: «Отмщенье, государь, отмщенье! / Паду к ногам твоим: / Будь справедлив и накажи убийцу, / Чтоб казнь его в позднейшие века / Твой правый суд потомству возвестило, / Чтоб видели злодеи в ней пример». Сколько любопытного мы ещё не знаем о Лермонтове! За год до гибели поэт написал стихотворение «Завещание», в котором также говорит в своей скорой гибели:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть.
На свете мало, говорят,
Мне остаётся жить!
…А если спросит кто-нибудь…
Ну, кто бы ни спросил.
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был.

Что касается стихотворения «Сон», его и сегодня, спустя без малого два столетия, невозможно читать без внутреннего содрогания. Поэт, ещё живой, описывает от первого лица свою гибель, которую он представляет как погружение в сон. Сейчас много говорят о том, что на самом деле Лермонтова убил вовсе не Мартынов, что это была шальная пуля, залетевшая с вражеской стороны. Только я убеждён: пуля, убившая Михаила Лермонтова, вылетела из его собственных стихотворений. А вина Мартынова, если она и была, невелика. Не случайно он у нас так и не стал, в контексте метаистории, вторым Дантесом. А больше всего огорчает меня в гибели Лермонтова реакция на неё царя Николая I. Мне стыдно за русского царя.

Интересно, успела ли прочесть эти стихи та, о которой пишет в этом стихотворении Лермонтов, что она одна не разделила веселья своих подруг? «Друг друга отражают зеркала» – так можно словами Георгия Иванова охарактеризовать сон во сне из одноименного стихотворения Михаила Лермонтова.

Но больше всего поражает в стихотворении «Сон» отсутствие ощущения реальности происходящего, как высшая реальность. Будто бы то, что происходит на странице стихотворения, давным-давно уже записано на скрижалях вечности. Несомненно, Лермонтов был фаталист, и не случайно одна из глав «Героя нашего времени» носит именно такое название.

Многие произведения Лермонтова имеют ярко выраженный автобиографический характер. Фатализм Лермонтова к концу жизни обрёл очертания равновесия между жизнью и смертью, как будто он уже смотрел на свою судьбу откуда-то сверху, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело» (Тютчев). Невыдуманностью картины своей смерти поэт словно бы прощается с ранним романтизмом своего творчества. Но нет! Стихотворение «Сон» – это тоже своего рода романтизм, только, наверное, это уже «чёрный романтизм», который в Лермонтове опередил своего родоначальника Густава Майринка на целое столетие! А вот ещё один пример «двойного» зрения Лермонтова – с земли на небо и с неба на землю. «В небесах торжественно и чудно! / Спит земля в сиянье голубом…». Здесь мы видим зачатки метаметафоризма, именно так, как его трактует Константин Кедров. Можно рассматривать «Сон» и как предтечу русской метаметафоры второй половины XX-го века.

Поэт часто рисковал своей жизнью. Родителей он потерял в детстве, любимая женщина была насильно, помимо своей воли, отдана замуж за другого. Именно она, Варвара Лопухина (Бахметева), и была, скорее всего – нет, не адресатом «Сна», а его непосредственной участницей. Ибо что такое любовь как не взаимопроникновение душ? В стихотворении «Сон» есть странная взаимосвязь мужчины и женщины, которые чувствуют друг друга на расстоянии. Кроются ли за этим бессмертные чувства? Или это уже воспоминание, сила которого способна «перебить» суровую реальность повседневности? Мы этого никогда не узнаем. В стихотворении великого поэта кроется ровно столько правды, сколько мы хотим услышать. К детской и юношеской недолюбленности поэта постоянно примешивалась неоценённость богатства его духовного мира, в том числе и женщинами, которых он любил. Одинокий поэт был вынужден носить маску, чтобы не показывать свои душевные раны. Поэтому, в сущности, «Маскарад» – драма всей его жизни. Весь пресловутый «демонизм» Лермонтова – не более чем обречённая покинутость большого ребёнка. Он знал такие бездны одиночества, что мог смело живописать их от имени своего Демона.

Много спорят о том, стал ли бы Лермонтов по масштабу вторым Пушкиным, если бы ему посчастливилось задержаться на белом свете чуть подольше. Честно? Не знаю. Зато я убежден: поэзия невольно оттеснила живопись в жизни Лермонтова на второй план. Возможно, как художник он ничуть не уступал по масштабу таланта писателю. Великого человека творят, прежде всего, глубина мысли и разнообразие дарований. И Лермонтов невольно «приглушил» в себе художника, иначе, возможно, мы бы увидели в его лице русского Уильяма Блейка, одинаково великого как в поэзии, так и в живописи. Предпосылки для этого были, и немалые.

Лермонтов не только нарисовал картину собственной гибели в стихотворении «Сон», но и примерно в это же время написал духовное завещание – стихотворение «Выхожу один я на дорогу». Значит, он в самом деле был уверен, что его жизнь не окажется длинной.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Поразительно! Поэт, слывший великим честолюбцем, не захотел себе никаких других памятников, кроме вечной жизни полусна-полуяви. Космонавт Юрий Гагарин подтвердил догадку Лермонтова о том, что наша Земля «спит в сияньи голубом». Именно так выглядит наша планета из космоса. Вместе с поэтом Эльдаром Ахадовым я побывал осенью 2017 года у домика Лермонтова в Гусарах (Азербайджан). Здесь поэт квартировал в 1837 году у военврача, подполковника Александра Маршева. Здесь им было написано стихотворение «Кинжал». Мы поклонились памяти поэта, и ещё раз убедились: связь времён действительно существует.

«ШКАФ»

ИРИНА ЧУДНОВА

ТРЕЗВЕНИЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ ВРЕМЕНИ
о новой книге стихов Юлии Долгановских

«Иллюзия обратного вращения» – третья книга стихов екатеринбурженки Юлии Долгановских, поэта, художника – тонкого лирика, глубоко чувствующего язык, слово и саму поэтическую ткань. С Юлией меня связывает многолетняя душевная и духовная близость, дружба человеческая, зародившаяся от близости в понимании поэзии. Я – первочитатель стихов этой книги, первочувствователь ожога от встречи с поэзией, со-переживатель, единочаятель. Мне важен воздух и огонь этих строк, высокое и тайное делание, совершающееся почти на моих глазах и всё же – подлинно непостижимое, неуловимое, сродни чуду, кормящему моё сердце тем, что потребно ему – высоким и негромким, но точным словом. Словом, заряженным духом, словно натёртая шёлковым лоскутом эбонитовая палочка заряжена электричеством.

Название книги – не случайная многозначительность, стихи в ней собраны преимущественно в обратном хронологическом порядке – от более поздних к более ранним. Мы словно отдаляемся от дня сегодняшнего, от страхов и надежд, обращённых в неизвестное будущее и проходим через пандемийное время к десятым годам, кажущимся отсюда уже почти неразличимыми. Ноги у нарисованного чёрным силуэтом человечка, наблюдаемого сквозь узкую щель киноаппарата, то движутся обратным ходом, а то вдруг, ни с того ни с сего, сбиваются с шагу, начинают догонять и перегонять будущее.

Так работает профетическое в поэзии. Так работает эта книга стихов – незыблемое срывается с места, описывает сложную траекторию и снова оказывается там, где и было, казалось, всегда. Но уже чуть сдвинутое с мёртвой точки, прирастающее смыслами.

Посмотрите, насколько тонко переплетается библейский текст: *«иже на водах землю повесивый»*, перефразированная цитата из протопопа Аввакума *«инда ещё побредим»* (то есть, впадём в состояние бреда) и тут же *«не побредём/ а поедем на велосипеде вместе мы»* и тут же картинка сюрреальной езды на велосипеде: *«намотаются на колёса веси и города / звери и птицы на спицы-вертелы»*, где намотанные на колёса «веси и города» – аллюзия к песне Владимира Высоцкого («наматываю мили на кардан») прирастает неприятным, страшным: *«и когда запахнет жареным и когда»* и вдруг – по-библейски же высоким: *«раскроют бутоны хищные смертелы / так и выйдет навстречу ангелов царь / так и хлопнет крыльями перья теряя»* – смертелы – авторский окказионализм, но такого качества, что, кажется, это слово всегда было в языке, просто мы почему-то не видели его до Юлии, попадало в слепое пятно, а вот она сказала – и вышло слово на свет, и стало по-настоящему предельно ясно:

«ах ты гарь моя
богооставленная гарь
от сожжённого нашим трением рая»

– стихотворение короткое, но ни одной проходной строки, ни одного пустого слова.

***

что дождь что днесь
мелкодисперсная взвесь
иже на водах землю повесивый

инда ещё побредим
не побредём
а поедем на велосипеде вместе мы

намотаются на колёса веси и города
звери и птицы на спицы-вертелы
и когда запахнет жареным и когда
раскроют бутоны хищные смертелы

так и выйдет навстречу ангелов царь
так и хлопнет крыльями перья теряя
ах ты гарь моя
богоставленная гарь
от сожжённого нашим трением рая

В стихотворении «домов шпалерная развеска» появляются три непривычные женские ипостаси – ласковая *марс* и две её дочери – *фобос* и *деймос*. Приём остранения по Шкловскому придаёт ситуации необычную окраску, мы как бы сдвигаем угол зрения с восприятия привычного мужского гнева *марса* (античного божества войны) на женское (войны не женское лицо?), не-женское лицо и ужаса и страха – то, что привычно в нашем восприятии порождает жизнь (женское), оказывается тем, что в «материнском гневе» может поставить страшный ключевой вопрос – «знать бы – живы / и есть ли жи».

Такой сдвиг вообще очень характерен для поэтики Юлии Долгановских и при этом необычайно продуктивен вообще – ибо такова и современность, окружающая нас. Юлия это замечает и точным, предельно спрессованным образом нам предъявляет. Понимать можно логически, но можно и интуитивно, и даже суггестивно – на уровне тела.

***

домов шпалерная развеска
рифлёный мозаичный наст
и с неба на прозрачной леске
свисает ласковая марс

ударным кратером краснея
качается перед окном
ни эллина ни иудея
не обещающий геном

о страх о ужас фобос деймос
две дочери планеты марс
на материнский гнев надеясь
опутывают спящих нас

вползают в уши в сердце в пятки
под кожу впрыскивают яд
и отслоение сетчатки
сужает помутневший взгляд

и вспышка видится разрывом
звезды далёкой – дребезжит
вода в стакане
знать бы – живы
и есть ли жи

Стихотворение «Вдоль апрелевского завода» – это стихи о музыке и немате – образ рыбы и половодья неслучайны – половодье звуков – таков привычный журналистский штамп, широко использующийся для описания симфонии или даже птичьего гомона в лесу – тут вывернут в немоту рыбы, которая «хочет о глубоком, / стоя в музыке по колено». На контрасте половодья и немоты и строится почти физическая сила слова – расколота грампластинка памяти – и патефонная иголка царапает уже живую кожу (рыба, штопанная кетгутом (!) неслучайна, она уже переживала боль забвения и муку возвращённой памяти, и не раз) – «33 оборота в минуту, 45 оборотов в минуту» – скорость, с которой вращается пластинка, острота иглы, царапающей кожу – ничего недостаточно, чтобы зазвучала музыка, и даже стоять в ней «по колено» недостаточно, если мутна «бывшая» вода.

***

Вдоль апрелевского завода
половодьем смыло запруду,
в эту бывшую, мутную воду
рыба, штопанная кетгутом,

входит грузно, корябая боком
эти прежде звучащие стены,
рыбе хочется о глубоком,
стоя в музыке по колено.

Чешуя её из грампластинок,
не ресницы – смычковый волос,
проплывай, сестра, под сурдинку,
видишь, память моя раскололась

по диаметру – вогнуто-гнуто –
и иголка царапает кожу.
Тридцать три оборота в минуту,
сорок пять оборотов в минуту –
и запеть бы. Хрипит, не может.

Стихотворение «Хоть святых выносили, они возвращались назад» соединяет, кажется, несоединимое – христианскую святость и инопланетность насекомого солдата –

«Христосуясь, ждали приплод,
яйцеклад разбивали, но, господи, было так пусто,
словно солнце навыворот, наоборот,
поднималась над кожей хитиновой пустула,
рассыхалась как рама в положенный час,
в оголённом окне отражая не нас».

А всё оттого, что в этой вселенной

«Из травы поднимался зелёный солдат,
вырастал, и надкрылья его говорили,
стрекотали одно об другое крыла,
чтоб любимая бросить его не могла».

Странен инопланетный хитиновый, и «волоска не касались их инопланетные лица», но как знакомо это сегодняшним нам: «только жвалы терзали впереди опадающих мертвецов – / и певцов, и отцов, и других храбрецов – / с громким хрустом».

Страшно, и христиански очистительно, как жить в этом времени, не закрывая глаз от правды.

***

Хоть святых выносили, они возвращались назад,
разбредались по стенам в лучах оседающей пыли.
Из травы поднимался зелёный солдат,
вырастал, и надкрылья его говорили,
стрекотали одно об другое крыла,
чтоб любимая бросить его не могла.

По мучнистой росе проплывали войска,
увязали по самые дыхальца в пепелице,
здесь сказать бы – на волоске, но волоска
не касались их инопланетные лица,
только жвалы терзали впереди опадающих мертвецов –
и певцов, и отцов, и других храбрецов –

с громким хрустом. Христосуясь, ждали приплод,
яйцеклад разбивали, но, господи, было так пусто,
словно солнце навыворот, наоборот,
поднималась над кожей хитиновой пустула,
рассыхалась как рама в положенный час,
в оголённом окне отражая не нас.

Рождество может явиться и таким, как в стихотворении «Хаймарсами и сарматами» – с образом ртутных шариков от разбитого градусника, загоняемых ребёнком в щель под половицу – не беда, что пары ядовиты, лишь бы мама не заругала, не беда, что правда горчит и режется во рту – что *«Металлическое, масляное / заползает под язык»*, не беда, что *«и звезда встаёт над яслями – / угрожающе, впритык»*, главный вопрос – как удержаться в ладу со своей совестью, зная и видя корни происходящего, осмысляя прошлое, настоящее и будущее?

***

Хаймарсами и сарматами
полон рот – не разомкнуть.
Помнишь, как осколки прятали,
по полу катая ртуть?

Или пробку с терпким запахом
излечения ли, сна,
в кулаке, как дверь, распахнутом,
неподвижном, как стена?

Металлическое, масляное
заползает под язык,
и звезда встаёт над яслями –
угрожающе, впритык.

И всё имеет значение – потому что значение имеет Поэзия. Тяжёлая и высокая необходимость смотреть правде в глаза, не важно, куда и на что направлен взгляд. Здесь я не стану ничего раскрывать и анализировать, пусть сами поэты скажут строками Юлии – о том, как тяжела беременная земля, как цветёт табак, крошками вытекая из карманов и о том, как расстаются неразлучные Осип и Георгий, чтобы остаться в русской поэзии, культуре, памяти – единожды и навсегда:

***

Ты никогда не вернёшься, говорит Мандельштам.
Щурится, прикрывает от солнца глаза Георгий Иванов –
мы увидимся, Осип, скоро, когда-нибудь, где-нибудь, там –
и табак сухим ручейком течёт из его карманов.

Этот странный и страшный цветок табака,
этот дым прогорающей, хрусткой газеты
за вчерашнюю жизнь, а пока, а пока,
обжигая гортань, рассыпается лето –

на цветы, на траву, на кусочки земли,
перетянутой стриями, как после родов.
И тяжёлой поступью корабли,
заливая глазницы, уходят под воду.

Что там ещё, на страницах этой книги? Любовь. Подлинная, не сентиментальная, но всеобъемлющая. Высокая словно песня. Способная удержать нас поверх времени, не дать пропасть, спасти от одиночества.

Книга выйдет из печати в январе 2025-го года в волгоградском издательстве «Перископ-Волга».